535081

Герольд
Бельгер

тамыр

Туюк су



ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР

Сочинения в десяти томах.
Избранное

«Балалар әдебиеті»
Алматы 2010

ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР

Избранные сочинения
том четвертый

ТУЮК СУ

«Балалар әдебиеті»
Алматы 2010

УДК 821 (574)
ББК 84 Рус-Каз 7-44
Б 44

ПО ЗАКАЗУ МИНИСТЕРСТВА
СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ

Бельгер Герольд.
Б 44 Избранное: Сочинения в десяти томах. /*Герольд Бельгер.* — Алматы, «Балалар әдебиеті», 2010.

ISBN 978-601-252-019-4

Т.4. ТУЮК СУ. *Роман, рассказы, эссе.* — 400 с.

ISBN 978-601-252-033-0

535081

В четвертый том Избранного Герольда Бельгера вошли роман «Туюк су» и рассказы, написанные в разные годы. Туюк су — место обитания многих национальностей на юге Казахстане. Здесь причудливо переплелись человеческие судьбы, быт и история.

В древнем краю меж холмов и степных речушек очутился не по своей воле осенью 1941 года и главный герой романа Эдмунд Ворм. Здесь он познал и себя, и людей, жизнь, печаль и радость, обрел достоинство и веру. После десяти лет жизни в Германии, куда он эмигрировал в 90-х годах прошлого века, он посещает родные края, воочию видит крутые перемены, вспоминает былое, задается извечным вопросом: «Что значит родина? Что ему казахстанская земля? И кто он этой земле?...»

УДК 821 (574)
ББК 84 Рус-Каз 7-44

ISBN 978-601-252-033-0 (Т.4.)
ISBN 978-601-252-019-4

© Бельгер Г., 2010
© «Балалар әдебиеті», 2010

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА

РОМАННОЕ ТВОРЧЕСТВО Г.БЕЛЬГЕРА

Г.К. Бельгер широко известен в Казахстане и за его пределами как прозаик, переводчик, публицист, литературовед и критик, общественный деятель. Его неравнодушное слово и мнение по актуальным проблемам современности всегда с интересом воспринимают читатели республиканской прессы. Рецензии, вышедшие из-под пера Герольда Бельгера, не только охватывают то или иное произведение, ставшее объектом обстоятельного литературоведческого анализа, но и дают картину развития современного литературного процесса Казахстана, России и Германии.

Писатель творит на трех языках: немецком, казахском и русском. Русский язык творчества Герольда Бельгера, как и его немецкий и казахский, играет особую роль в социокультурном пространстве Евразии, служит средством и действенным методом воспитания межнациональной толерантности, взаимообогащения языков и культур.

Романное творчество Г.К. Бельгера удивительным образом соединяет прошлое и современность. Тревога за судьбу казахского аула, где он вырос и окончил среднюю школу, — отличительная черта его эпических произведений. В романе «Разлад» — современный аул и современный город, неприкаянность старшего поколения, аксакалов, потерявших опору и цель в жизни. Прежние ценности и идеалы остались позади, что впереди — люди преклонного возраста, всю жизнь прожившие в благородном труде, понять не могут. Разлад в доме, в ауле, в себе самом — так определяет главную тему романа сам автор.

Архетип дома в романе «Туюк су» расширяется до архетипа аула, некогда зажиточного, благополучного, но захиревшего на глазах, словно неизлечимый больной. Расцвет аула пришелся на послевоенные годы, тогда это был совхоз имени Кирова. За последние годы аул переименовали в Туюк су (тихую заводь), и все пошло вкривь и вкось. Очутился аул в тупике. Г.К. Бельгер описывает историю аула, население которого всегда было разноликим: казахи, киргизы, сарты, таранчи, татары. В годы войны появи-

чись сначала корейцы («малорослые, молчаливые, изможденные, желтолицые, узкоглазые» трудяги), еще раньше поляки («на всех взирали надменно, гордо, будто все вокруг были виноваты перед ними»). Потом привезли в аул немцев (покладистых, терпеливых, послушных и безотказных). Немцы прижились, стали говорить по-казахски. Поляки после войны уехали.

Но на исходе войны привезли чеченцев и ингушей, карачаевцев, греков, турок, кумыков, крымских татар и прочий люд. На склонах холмов стали лепить свои «плоскокрышие сакли, точно птичьи гнезда» чеченцы. Когда чеченцы вернулись на родину, «глиняные времянки, лишенные человеческого присутствия, быстро разрушались, развалились, дожди и ветры разровняли их с землей, а редкие проплешины на холме вскоре заросли травой и кустарником». Лирическое отступление о судьбе аула, о переменах в его внешнем облике звучит в авторской речи: «Изменился он ... еще и чем-то неуловимым: многоязычной речью и песнями, новым обхождением разных племен, новыми отношениями между людьми, взаимной терпимостью, диковинной мешаниной нравов и обычаев, манерами в быту, раздольным и задушевным тамырством».

Концепт исторической памяти является определяющим в романе Г.Бельгера «Туюк су», как и мотив пути: «Люди — песчинка, перекати-поле. Куда его ветер погонит — лишь Аллах знает». Роман начинается с описания дома, в котором когда-то жил главный герой Эдмунд Ворм, писатель из Германии, очутившийся в Казахстане не по своей воле осенью 1941 года. «Дом свой Эдмунд не узнал. Осевший, обшарпанный, замызганный, дом лишь по общим очертаниям напоминал некогда вымечтанный и по кирпичику собственноручно сложенный добротный особняк». Прожив десять лет в Германии, он возвращается в родные места, воочию видит перемены, вспоминает былое, задается извечным вопросом: «Что значит родина? Что ему казахстанская земля? И кто он на этой земле?» Писатель через внутренний монолог главного героя передает его раздумья о жизни соотечественников на исторической родине: «Мы там, в Германии, на родине предков, за это время точно десять жизней прожили. И в лагерях теснились, и всю немецкую изнурительную бюрократию изведали, и Notwohnung, временное обиталище познали, и на тягомотных языковых курсах изнывали, и на социале пожили, и не раз впадали в отчаяние, даже подумывали о возвращении, и душу перелицевали, и безработицу хлебнули, и каких только мытарств не прошли,... а былой дом наш в этом азиатском захолустье все эти годы стоял сиротой-сиротинушкой, заброшенный, запущенный, лишенный внимания и сострадания».

И еще один дом — саманная постройка в форме курджуна. Старый, приземистый, скособочившийся. И хозяйка его Кумис похожа на осевший по весне сугроб. Не ладятся дела у его хозяев, и дом приходит в запустение.

Далее в тексте художественного произведения по мере разворачивания событий встречаются дома-сакли, дом — убогая хибара, одинокая келья странника, дом — дукен (комок).

В романах «Дом скитальца» и «Туюк су» сходятся воедино главные темы, волновавшие Г.К. Бельгера на протяжении всего его творчества. Эти произведения, являющееся многоплановыми, с разветвленными сюжетными линиями, обладающими стройной своеобразной композицией, подводят, на наш взгляд, своеобразный итог разрабатываемым ранее темам, поднимают их на новый уровень художественного обобщения, так как в этих произведениях отражены целые пласты истории (репрессии, война, трудовая армия, послевоенное время и современная действительность).

Начало романа «Дом скитальца» предваряет выписка из плана Государственного Комитета Обороны о вселении немцев в Казахскую ССР согласно Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 28 августа 1941 года. Оценка Указа неоднозначна. Беседующий с Давидом Эрлихом заведующий райздравотделом размышляет: «И Указ, на который ссылается запись в трудовой книжке, ему известен. Известен да непонятен. То, о чем говорится в том Указе, не укладывается в его сознании. Никак не укладывается. Но кто знает... Время смутное. Помнится, в том Указе так и сказано: «По законам военного времени...», «во избежание кровопролития...» Бес его знает, что это за законы такие... Нет, обо всем этом не поговоришь. Тем более с человеком, которого и видишь-то впервые. Может, когда-нибудь позже, при случае, вне этих стен. А пока лучше держать язык за зубами». Несобственно-прямая речь передает сомнения, закравшиеся в душу персонажа, и в то же время отражает тот холодок недоверия, царивший в стране.

В тексте романа зловещий Указ будет цитироваться и упоминаться не раз и чаще всего в сочетании с указательным местоимением «тот», придающим несколько отстраненный оттенок и в то же время вполне конкретный. Указ — это своего рода образ-символ репрессий, депортации немецкого этноса, рефреном проходит он через всё творчество Г.К. Бельгера, включая очерки, эссе, повести и рассказы.

Г.К. Бельгер и ранее обращался в своих разножанровых произведениях к теме репрессий. Судьба спецпереселенцев волновала его на протяжении всего творчества. Но в романах «Дом ски-

тальца» и «Туюк су» она решена на такой щемящей ноте, что вновь и вновь возвращает читателей в те страшные годы. Один из героев романа «Дом скитальца» — Христьян, спецпереселенец, вернувшийся из трудармии из Сибири, тяжело больной и предчувствующий свою близкую смерть, воспроизводит по памяти рисунок дома на Волге, где прошло его детство. В его уста писатель вкладывает взволнованные слова о родине: «...Тоска по родине, по родному дому, невозможность иметь родину, вынужденное странствие по белому свету, неприкаянность, неизбывная тяга к родному очагу, одинокая судьба вечного скитальца, трагизм чувства бездомья — самый распространенный, душераздирающий мотив немецких песен. Мечется немец по всему свету, везде он пускает или, точнее, стремится пустить корни, обосновывается крепко, обустраивается, строит дом, но все равно это не его земля, все равно он точно чужеземец, изгой, странник, и дом его, где бы он ни стоял, — дом скитальца, который у него каким-то фатальным образом непременно норовят отобрать».

Картины настоящего и прошлого, причудливо переплетаясь в структуре романа «Туюк су», помогают Г. Бельгеру полнее воссоздать событийный ряд. Рассказ о детстве Эдмунда Ворма идет от имени автора. Заброшенный закуток возле колхозного амбара Карл Ворм («здоровенный детина, русоголовый и добродушный») превратил в приличное жилье. Уважением пользовался умелец на все руки Карл Ворм в ауле, но новая беда обрушилась на немцев — трудармия. И вновь картины настоящей жизни аула сменяются трагическими страницами мобилизации в трудовую армию. Приказ не просто жесток. Он бесчеловечен. Шесть мобилизованных в трудармию, насильно оторванные от своих детей, сбились в тесный кружок в кузове. «Одетые в самое теплое, что у них осталось, с дряблыми котомками у ног, все одинаково серые, безликие, с испуганными, измученными глазами, они сидели на замызганном брезенте, смиренные, безмолвные, обреченные». Употребление в одном предложении трех эпитетов усиливает ощущение безысходности. Паулина Ворм жила надеждой, что кончится война, вернется из трудармии ее Карл, потом все они, депортированные и эвакуированные, переедут в родные места, и жизнь опять наладится. В самый отчаянный момент, когда она понимает, что некому оставить своего маленького сына, неожиданно в облике ангела-хранителя появляется ее подруга и соседка Хадиша: «Будет он братиком моей Асимы. В обиду твоего сыночка не дам».

Через год порог мазанки Хадиши переступила «изможденная старуха с потухшими глазами, в рваной фуфайке, в сапогах, во фланелевой юбке, в измызганном платке из мешковины». Поли-

ну не узнали ни дети, ни Асима: «Незванная гостья жутковато улыбнулась, из белесых, полубезумных глаз покатились слезы, рот искривился, плечи затряслись... И голос ее был больной, деревянный. Слова вырывались из нее со свистом, натужно, дряблые и мертвые». Переболев сыпным тифом, она уже не представляла никакого интереса в качестве работницы и была отправлена, обессилевшая, изможденная, домой. Она страдала «куриной слепотой», зрение возвращалось к ней лишь с восходом солнца.

Тяжелее всего привыкал к ней сын, он так и рос между двумя женщинами, а сверстники завидовали ему: ни у кого из них не было двух мам. «Весь аул испытывал трогательную радость при виде, как смугленькая дочурка Хадиши и рыженький мальчик Полины, взявшись за руки, точно брат с сестренкой, щебеча по-казахски, ходили между домами, нежно заботясь друг о друге». Но скряга-судьба (такой необычный немного фольклорный образ избирает Г.Бельгер) позавидовала их радости. Хадиша получила похоронку на мужа, а Полине привезли мешок с запихнутым в него мертвецом («желтая, дряблая кожа лица, обросшая серой щетиной; запавшие глазницы, почти голый, с кулак череп; плотно сжатые лиловые губы, несуразно огромный нос, уставившийся в небо»).

Сколько ни пыталась Полина вернуть истощенного Карла к жизни, ничего не получалось. С осенними дождями запахло в хибаре «нежитью и одиночеством». Перед последним вздохом Карл позвал Паулину: «...кто-то позвал ее издалека, из далекой юности, с такой нежностью и забытой любовью...» Игра света и тени на фоне вечерних сумерков передает страшное дыхание смерти: «... тень пробежала по его лицу. Тень шла неумолимо, неотвратимо явственной межой от лба к глазам, к носу, ко рту, к подбородку, к шее».

Война вмешивается в судьбы героев и после ее окончания. Вернувшийся живым Жуматай не нашел ни дочери, ни жены, которая второй женой была просватана к его родственнику, двоюродному брату Кайролле. Жуматай вернулся из плена «несчастным, побитым, помятым жизнью». Жуматай понимает, что плен навсегда вошел в его жизнь: «Ничто не забудется. Не дадут забыться. Не позволят. И не все позади. На нашу долю горестей хватит». Трудно пришлось Жуматаю даже в родном ауле, он вскоре понял, что из всех изгоев — он самый изгой, даже там, на «чужбине, в лагерях, он не чувствовал себя таким одиноким и несчастным. Здесь надежды не было никакой. Он был вне закона. Он был никому не нужен».

Буквально на следующий день жители аула стали избегать его, распространять всякие небылицы. Он не мог никуда устро-

иться на работу. Жуматай с горечью понимал, что «отмыться ему от позора и сплетен никогда уже не удастся». В ауле знали одно: пленный — значит предатель. Предатель родины. Отшельником живет Жуматай в своей убогой хибаре, в том доме, где некогда был счастлив с Хадишой. Удивительно теплые и доверительные отношения установились у Жуматая во время его недолгого пребывания в родном ауле с Эди, который из школы сразу бежал к соседу. В диалогах героев причудливо переплетались реплики на трех языках. Жуматай, прошедший через горнило войны и ужасы плена, учил Эдмунда помнить о своих предках, о своей родине: «Длинна, долга дорога до дому. Волгу помнишь?» Так и он, наверное, сам вспоминал в плену свой родной аул, который отторгает вернувшегося, опустошенного, неприкаянного своего жителя.

Когда приехали за Жуматаем с приказом доставить его в Кумкент, он сник, растерялся, стал собираться, как во сне. Мальчик бежал изо всех сил за повозкой, увозящей Жуматая навсегда. Он «точно летел над иссохшей, покрытой жесткой травой степью, и с отчаянным надрывом кричал: «Ага, Жуматай-ага! Агатай!» Он бежал из последних сил, но расстояние все увеличивалось, тогда он с размаху упал в траву. Он теряет навсегда близкого человека, родственную душу, поэтому и «степь, солнце, холмы, темный аул, небо — все казалось чужим и враждебным». Долго еще звучит голос Жуматая, «печальный, одинокий, отравленный тоской и горем».

Г.К. Бельгер показывает казахстанскую и немецкую действительность глазами главного героя, который сопоставляет, сравнивает и делает выводы, порой неутешительные. Германия не стала землей обетованной. На встречах российских немецких писателей (дойче шрифтштеллер аус Руссланд) Эдмунда поражала склочная, завистливая атмосфера. «Каждый старался показать и доказать, что он более немец, чем кто-либо другой, более модерновый, современный, чем его коллега». Берлинец, глухой и капризный старец, выдававший себя за непревзойденного знатока старого и современного немецкого языка, горячо, с неистовым азартом убеждал: «Кто не пишет по-немецки, тот, разумеется, не немецкий писатель». Все просто и ясно.

Путешествуя по просторам Средней Азии, Эдмунд, любуясь степным пейзажем из окна вагона, обратил внимание на то, что не бродят по степи тучные стада, не видно ни отар овец, ни задумчиво отрешенных чабанов. И оттого степь кажется ему «пустой, безжизненной, невеселой. И эта пустота навевала невольно печаль, неизменную спутницу путешественников». Встречный тугой ветер доносит до купе запахи казахской сте-

ни, пропитанные «вечным ароматом горькой полыни и вольной ширью. Эти запахи, особенно по весне, как бы возрождали человека, придавали ему силу и ощущение свободы, беспредельности бытия, предвкушение удачи, радости, надежды». От них, степных запахов, «ширится грудь и веселится душа». Не ощущал Эдмунд этого в Германии, с ее дивными, ухоженными полями, зелеными холмами, множеством рек и речушек.

Автор романа передает странное ощущение главного героя, живущего одновременно как бы в двух измерениях: «нынешний зрелый мужчина, на исходе шестого десятка, седой, помятый жизнью, встретился невзначай с собой, когда он был совсем еще малец, мало что соображавший в жизни, но крохотным своим сердцем понимавший, чувствовавший, что в ней много горя и несуразицы». Но не все так плохо, как показалось Эдмунду вначале, вызревает и новое, хорошее. Вновь появляется в романе «Туюк су» знакомый образ учителя Франца Фризена, собирателя фольклора поволжских немцев. Родом из поволжских менноитов, которые отличались зажиточностью, строгим порядком, молчаливостью, подозрительностью, суровостью нравов, очутился Франц в Кумкентской области. Проработав три года колхозным бухгалтером и наведя образцовый порядок в бумагах, он стал преподавать пение, историю и географию, немецкий и русский языки в школах. Стал заслуженным учителем Республики. Из заброшенной, полуразрушенной мазанки, которую превратил в игрушку, перебрался в отстроенный дом, главным достоянием которого были книги.

Он уверен, что мало что немецкого осталось в Германии, куда любит ездить только в гости к дочери. «Что-то все скособочилось», — убежден Франц Оттович. После долгой разлуки старый учитель напоминает Эдмунду старого льва. Своими духовниками и собеседниками он считает Гете, Шиллера, Гегеля и Гейне. Их портреты украшают мансарду. В уста Франца Оттовича автор романа вкладывает самые важные размышления о российских немцах. Он — дитя двух культур. «Русскую или российскую ментальность надобно в нем сберечь..., а немецкую терпеливо и настойчиво культивировать».

Множество актуальнейших вопросов ставит автор в новом романе, некоторые пока остаются без ответа. Но в том-то и проявляется прозорливость писателя, что одним из первых акцентирует на них внимание. Так кто же он, главный герой романа — бывший спецпереселенец, поздний возвращенец: «Человек без родины? Скиталец с нескладной судьбой? Где тот уголок земли, где утешится и утишится его душа? Нет ответа...»

Главный герой нового романа Г.К. Бельгера «Зов» размышляет о том, что такое литература. Безусловно, они отражают точку

зрения самого автора, всю жизнь посвятившего служению слову. «Литература — это то, чем болит душа, чем болит общество, это тот самый коржун людских бед, который литератор добровольно взвалил себе на плечи. Это клубок неразрешимых проблем. Это сплошные несчастья, которые ты тщетно пытаешься развеять, развести руками. Это опять-таки напрасные потуги разбудить человека в человеке, разбудить его ум и сердце, сделать его благородным, сердобольным. Разве объяснишь, что такое душа, мечта, любовь, жизнь, небесный свет? Все это и есть литература». Ее Величеству Литературе и Художественному Слову, укрепляющему взаимопонимание людей, толерантность и проникновение культур, вот уже более полувека служит Герольд Карлович Бельгер, тонкий прозаик, страстный публицист, чуткий переводчик, творчество которого — ярчайшее явление в современной литературе Казахстана.

С.В. АНАНЬЕВА,
кфн, доцент, зав. отделом мировой литературы и международных связей Института литературы и искусства им.М.О.Ауэзова МОН РК

ТУЮК СУ

«Твой аул за холмами, за пригорками...»
Народная песня

«Коль можешь,
возлюби всем сердцем край родной,
И землю возлюби, где путь был начат твой».
Гумар Карашев

I

Дом свой Эдмунд не узнал. Осевший, обшарпанный, замызганный, дом лишь по общим очертаниям напоминал некогда вымечтанный и по кирпичику собственноручно сложенный добротный особняк. Еще только приближаясь, Эдмунд мимовольно посмотрел на крышу. Веселого, яркого флюгера-петуха на месте не оказалось. И сама крыша имела неприглядный вид: там и сям зияли дыры, провалы, будто их пробивали нарочно. Кое-где вместо тщательно прилаженных, плотно пригнанных друг к другу черепиц темнели заплаты из крошившегося по краям, тяп-ляп прибитого шифера. Штукатурка верхнего этажа обнажилась. Вместо стекол в окнах бросались в глаза выщербленные дождями, ветрами и солнцем фанера и картон. Изгородь пошла вкось и вкривь. Ворота скособочились, точно старый инвалид, краска выцвела, облупилась, калитка испещрена диковинными рисунками и надписями. В палисаднике копошились куры. Часть фруктовых деревьев

вырублена под корень. В давным-давно высохшем хаузе-бассейне, забросанном измельченным сеном и трухой, томились на привязи две захудалые, с обтерханными и обвислыми боками козы на привязи. Под раскидистой орешиной была сооружена огромная суфа-лежанка, застеленная кошмами и домотканным паласом-алашой. В середине суфы виднелся круглый раскладной столик. Здесь, должно быть, спали под масаханой-накомарником и иногда распивали чаи. Летняя кухня была обклеена давно выцветшими и засиженными мухами аляповатыми плакатами. В глубине сада темнел туалет. Вместо туалетной дверцы болталась на гвоздях старая рогожка.

Эдмунд обескураженно взирал на это запустение.

Странно, по степям, склонам, лощинам еще гуляла запоздавшаяся весна, травы еще не пожухли под жгучим, набиравшим силу солнцем, а здесь, на подворье мугаллима Рахметбая, уже царила безотрадная осень.

Возле высохшего бассейна резвилась ватага голопузой малышни. Неподалеку от суфы на треноге булькал казан, рядом дымил самовар. Грузная женщина в просторном цветастом узбекском платье, в белом платке подкладывала под таган кизяк и сушняк.

Эдмунд застыл у приоткрытой калитки и потрясенно оглядывался вокруг.

«Либер Готт! — подумалось невольно. — За эти десять лет, видно, к дому не прикасалась добрая рука. Мы там, в Германии, на родине предков, за это время точно десять жизней прожили. И в лагерях теснились, и всю немецкую изнурительную бюрократию изведали, и Notwohnung, временное обиталище, познали, и на тягомотных языковых курсах изнывали, и на социале пожили, и не раз впадали в отчаяние. Даже подумывали о возвращении, и душу перелицевали, и безработицу хлебнули, и каких только мытарств не прошли.., а былой дом наш в этом азийском захолустье все эти годы стоял сиротой-сиротинушкой, заброшенный, запущенный, лишенный внимания и сострадания. Сколько труда загублено! Попробуй все это восстановить... Действительно, не имеет цены то, что досталось задаром».

Малыши давно следили за пришлым у калитки. Рослый, седой чужак в очках, с огромным кожаным саквояжем со

множеством кармашков на застежках, заклепках и молниях вызывал у них любопытство.

Не услышав обычной шумной детской возни, должно быть, насторожилась и женщина у тагана. Обернулась, привычно поправила платок, скользнула взглядом вдоль ворот.

«Неужели Асима?»

«Оу, знакомый, что ли?»

Женщина поднялась, приставила ладонь ко лбу, вгляделась в пришельца, пошла навстречу.

— Вам кого? — спросил знакомый голос.

— Асима Жуматаевна здесь живет?

— Ия... да-а... — пролепетала женщина. — Ой, Алла-ай, Эдмунд... Эдя... ты?!

— Ой, Әсима... сенбісің? — изумленно спросил пришелец. — Қарындасым-ай... сестренка моя!

И они бросились в объятия.

— Совсем седой стал, — тихо заметила женщина.

— И ты... Хотя тебе это к лицу.

— Как я рада!

— И я!

Долго простояли они у калитки в обнимку.

На суфе под орешником кто-то зашевелился, оторвал от подушки разлохмаченную голову.

— Кім бұл, апа?.. Кто это? — спросил хрипло.

— Ағаң ғой. Дядя твой. Дядя Эдя... из Германии.

— А-а-а... — зевнул лохматый, уронив голову.

— Проходи, проходи, Эдя... Сейчас и Рахметбай подойдет.

— А где он?

— В школе... Где же еще ему быть? Там день-деньской и пропадает. Директор ведь.

— Е-е... Тогда все ясно, — сказал Эдмунд, показывая рукой вокруг.

Женщина обо всем сразу догадалась.

— Ия... Так получилось. Руки не доходят, бауырым.

Он приобнял ее за круглые оплывшие плечи.

— Апырай, Әсима... Как я по тебе соскучился, — сказал он по-казахски, и Асима уловила в его голосе незнакомый акцент.

II

Кенже ввалился в дом, с силой хлопнул за собою дверью и, странно переломившись в пояснице, шмякнулся на чурбак у входа.

Долговязый, мосластый, в затрапезном плаще и в помятой, невесть от кого доставшейся ковбойской шляпе, он был похож сейчас на огромную подбитую птицу — нахохлившуюся и растерянную.

Из-под шляпы торчали нечесаные космы, жесткие, как конская грива, лицо осунулось, обострилось, взор гневно блуждал. Плечи и голова повисли, будто под непосильной тяжестью.

В доме чаевничали. Как всегда, молча, неторопливо. Известно, спешка — шайтанов удел.

Дом как дом. Таких в здешних краях все еще немало. Казахи их окрестили «коржун-уй». Бесхитростная саманная постройка в форме коржуна — переметной сумы. Справа — помещение для молодых, слева — для старших, посередине — подобие просторного холла для повседневного житья-бытья.

Дом старый, приземистый, скособочившийся. Стоит на отшибе, на краю захламленного оврага, заросшего ивняком, жимолостью, чертополохом и бурьяном.

Старик Жаймурза, отпивая из кесушки чай со сливками, шумно отдувался, покрякивал, привычно приборматывал: «Е, Алла... Бергеніңе шүкір!», вытирал полотенцем пот. Его байбише, Кумис, маленькая, высохшая старушонка в просторном, неведомо какого цвета и каких времен камзоле и таком же давно потерявшем вид тюрбане примостилась рядом, похожая на осевший по весне сугроб и отщипывала, откусывала, точно мышка, от рафинада. Молоденькая, лишь недавно затяжелевшая сноха Айжан, поджав под себя одну ногу, а другую согнув в колене и тщательно прикрыв длинным подолом платья, вся из себя образцовая и учтивая келин, сидела у самовара и сосредоточенно разливала по чашкам чай, поминутно заглядывая в заварник и пополняя его крутым кипятком.

Быстро кинув взгляд на мужа, Айжан мгновенно почувствовала неладное, вся сжалась, оцепенела и выронила из рук деревянную ложку в миску со сливками.

— Бисмилля! — пробормотала свекровь, сглаживая оплошность снохи.

Жаймурза вприщур глянул на сына.

— Присаживайся к дастархану. Что, как сирота, у порога сел? Аманшылық па?

— Все, коке! — тотчас взорвался сын, словно ожидал, когда у него что спросят. — Все! Больше не могу, не могу, не могу! Пропади все пропадом!

— Астафиралла! Не дейді?! — всполошилась мать.

— Не болып қалды? — спокойно спросил Жаймурза, по обыкновению пощипывая куцую бороденку. — Говоришь так, будто небо обрушилось на землю.

— И обрушилось! Обрушилось! — чуть не взвизгнул сын. — Все, коке! Хана, коке! Биздес!

Кенже сорвал с головы нелепую ковбойскую шляпу и с силой швырнул ее в угол, угодив в дремавшего кота. Тот, как ошпаренный, взлетел на шкаф с посудой, нервно забил хвостом.

Лет пять назад Кенже вернулся из армии, обогатив свой язык диковинными словечками, смысл которых в ауле никто толком не понимал. Даже во сне, бывало, он их грозно выкрикивал, будто из автомата строчил. Потом малость отошел, утихомирился и вполне обходился без них. Но в случаях большого возбуждения эти причудливые слова выскакивали из него в бесконечном сцеплении, оканчиваясь на коротком как выстрел, слове «мать».

— Так говори же, что стряслось? На тебе лица нет, айналайын, — подала голос Кумис.

— Корову увели, вот что! — выпалил в сердцах Кенже. — Корову!.. Понимаете?! Увели, сперли на хрен! Каюк! Баста!.. Твою мать!

— Как увели? — Жаймурза отставил чашку, сильнее подергал жидкую бороденку.

— Как, как!.. Просто! Увели, выкрали! Сперли, свол-лыш-тар!..

— Так разве она не в хлеве стояла? Взаперти? И Майлыаяк рядом.

— Х-ха! В хлеве! Взаперти! Майлыаяк! — и вовсе вышел из себя Кенже. — Майлыаяк твой, коке, даже не тявкнул. И след его простыл. А ворота тихо сняли с петель и корову увели. Ай, мерзавцы! У-у, свол-лыш-тар!

— Может, пошутили? На выгон пустили? — неуверенно предположила Кумис.

— Ой, апа... Не смешите! Я и так вот-вот лопну. — Кенже пнул подкравшегося к нему для примирения кота. Кот,

5335091

взмяукнув, шмякнулся у противоположной стенки, выгнулся, ощетинился, зелеными глазищами бешено полоснул по обидчику.

— И никаких следов? — спросил Жаймурза.

— След рядом, в овраге за лесочком. Там и прикончили нашу кормилицу. Помятая трава, кровь, кишки, исклеванные воронами, растащенные собаками. Все, что осталось.

— У кого только поднялась рука?!

— Свои же! Кто же еще? Не из степей же пришли. И не с неба свалились... Чтоб их отцы в могиле завыли! — заскрипел зубами Кенже.

За дастарханом онемели.

Диктор по радио захлебывался:

«Вчера на нашей священной земле открыли еще один памятник нашему славному предку, батыру, сподвижнику хана, народному заступнику и благодетелю... Воспрянул дух наших предков, чья бессмертная слава...»

— Енді не істедік, ойбай! — запричитала старуха. — Единственная корова...

Жаймурза оставил свою тощую бороденку в покое, пятерней поскреб плешивую голову, сдвинув засаленный тюбетей к затылку.

— Свол-лышш!.. В гроба мать... — никак не успокаивался Кенже. — Все, коке! Они меня достали! Уеду, уеду к чертовой матери. Хватит!..

III

В последние годы некогда зажиточный благополучный аул хирел на глазах, словно неизлечимо больной. А какой был аул — загляденье! Уютный, зеленый, многолюдный, весь в садах и огородах. Местный рифмоплет, баламут и краснобай Нурдаулет воспел его в худосочной «районке»: «О, мой Туюк су, Туюк су, ты — райский уголок на земле! Ты мой зеленый остров. Ты мой причал!» И даже подобрал к своим виршам мелодию, отчего прослыл зараз и поэтом, и композитором.

Ну, райский — не райский, можно еще поспорить. Никто из усопших оттуда не возвращался, чтобы поведать землякам, каково в самом деле живется в достохвальном раю. А, с другой стороны, явный излишек всевозможных грешников заставлял сомневаться в том, что Туюк су — райский уголок.

Но аулом своим жители гордились. Расцвет его пришелся на послевоенные годы. До того он был неприметный-незаметный, как все аулы в округе, точно чахлый ягненок в отаре. И не Туюк су он тогда назывался, а колхозом имени Кирова. Какое имел отношение тихий аул с пятью-шестью десятками невзрачных саманных домишек в долине между холмами к видному большевистскому бельсенды, никто не упомнит. Надо было как-то назвать — ну и назвали, никого не спросив. А как назывался аул еще до пришествия «болшайбеков», тоже никто не помнил. По словам выживших из ума старцев, аул числился вроде как под номером двадцать один, что позволило шутникам-острословам называть его просто «Очко».

И вот обрушились новые времена, советская власть — о, Аллах, кто только мог о том подумать, — сгинула за одну ночь, будто в тартарары провалилась, и все — от шибко партийных бастыков до аульной шантрапы — тому страшно обрадовались, будто у всех жены в один день долгожданными наследниками разродились. Все сплошь и рядом начало переименовываться, и все на казахский лад. Молочница Зина вдруг обернулась Зылихой; баба Катя, торговавшая куртом и иримчиком на местном базарчике и гадавшая на бобах-кумалаках, стала называться Катираапа. Жена бригадира Жагыпара, по прозвищу Янычар, настаивала, чтоб ее отныне называли не просто Кырмызы, а Кырмызы-ханум.

Участились собрания и даже стихийные сходки, которые стали называться митингами.

Отголоски шумной жизни областного центра, находившегося на расстоянии двух ягнячьих перегонов, докатывались и до сонных кировчан, и местные крикуны подняли хай: «Долой Кирова! Он никогда в нашем краю не бывал! И вообще, кто он такой?! Даешь Туюк су!»

Спор разгорелся всерьез и надолго.

— Туюк су! Туюк су! Так называли это место наши предки, — горланили одни.

— Какие предки? С каких пор? — возражали другие.

— Как с каких пор?! Испокон веку!

— Скажешь тоже! Первые поселения появились в этом краю в конце 19 века.

— Откуда ты знаешь, пришелец безродный? Это твой дед-бродяга пришел сюда в конце 19 века. А казах был всегда!

— Загибаешь, айналайын. Не было здесь казахов!

— Молчи, пока не схлопотал по роже! Вон тот холм видишь?

— Ну?

— Так там Чингиз-хан прошел.

— Ну и что?

— А то, остолоп, что Чингиз-хан казах был. Доказано! И жена его — казашка. Борте! Из рода конграт.

— При чем тут Туюк су? Туюк — это тупик. Тихая заводь. Чем это лучше Кирова?

— Заткнись! Тебе слова никто не давал!

— Никаких! Туюк су и баста! Исконное название аула!

Пошумели, погалдели, состряпали «кумагу», отправили куда надо. Вскоре оттуда спустили решение: впредь колхоз имени Кирова называть «Туюк су».

— Звучит плохо, — заметил учитель Франц Фризен, переселенец с Волги, уважаемый в этих краях человек. — И кончится это плохо. Кривое имя — кривая судьба.

— С чего вы, аксакал, взяли, что имя кривое? Ничего подобного!

— Нет, неудачное название, — настаивал старик. — Нехарактерное ни для нашего времени, ни для Казахстана вообще.

— Извините, Франц Оттович. Нашим предкам было виднее. А если вас послушать, то милее «Заря коммунизма» и названия нет.

Франц Фризен спорить не стал.

Но как в воду глядел старый немец-спецпереселенец.

Разладилась жизнь. Все пошло вкривь и вкось. Не пошли дела, и все тут. Все, что было, разворовали, и разбежались кто куда. Сам Фризен и подсчитал: в одном селе слонялись без дела не менее пятидесяти здоровенных парней и мужчин. Пили, курили, воровали, куражились над женами.

Нет, в недобрый час аул обрел свое новое имя. Ни с того, ни с сего очутился Туюк су в тупике.

IV

Кто только не обитал в этом ауле! Уж больно удачно расположился он на перекрестке древних дорог, в зеленой долине меж бурых, крутобоких холмов, неподалеку от

водохранилища, заполнявшегося весной талой и паводковой водой, вокруг которого раскинулись и тянулись до горизонта кукурузные, хлопковые, луковые и виноградные поля. Край солнечный, земля — благодать. Воткни в нее рукоять камчи — зазеленеет, ветки распустит, листьями зашуршит. Только поливай да убереги от проказливых и прожорливых коз. В давнюю пору, еще до зарождения колхозов и после, возле неказистых, плоскокрыших саманушек ставили юрты, на привязи держали дойных кобылиц, неподалеку, у склона холмов, паслись отары. И над аулом висел кизячный дымок, и пахло паленой овчиной, перебродившим кумысом и айраном. Проживал здесь большей частью мусульманский люд: казахи, киргизы, сарты, таранчи, татары. И малышня болботала с детства на диковинной мешанине тюркских наречий. Жили в согласии, по заповеданным предками обычаям, занимаясь дедовскими ремеслами и незлобиво, в шутку, подтрунивая друг над другом.

— Эй, сарт! Когда дыней-арбузом угостишь?

— Эй, казах! На согум пригласить не забудь!

— Эй, таранчи! Смастерил бы моей дочке браслет с сердоликом. Барашка не пожалею.

— Ты меня не облапошишь, хитрозадый татарин!

Подобные шутки-колкости срывались чаще всего с уст мужчин, а когда началась война с вероотступником Гитлером (чтоб черти его вечно драли на том свете!), и мужское поголовье в ауле резко сократилось, национальный вопрос сам по себе увял, отпал, совсем ушел на убыль, ибо женщинам и детям вообще не было дела до праздных пересудов: надо было просто-напросто выжить, а в горе-бедствиях все божьи создания оказались равны. Национальный вопрос — искони забава сытых смутьянов.

Потом аул заселил приезжий, подшибленный властями, подавленный духом люд. Сначала привезли корейцев. Долго, видно, везли. Все, как на подбор, малорослые, молчаливые, изможденные, желтолицые, узкоглазые. Иных и от казахов, бывало, не отличишь. Но трудяги, каких аул отродясь не видывал. От мала до велика копошились возле жилья и на поле, точно муравьи, от зари до зари. Особенно поражало то, что они, не спросясь, ни у кого полосатой бечевки не брали. Никого не обижали. При встрече с аулчанином за версту улыбались и кланялись.

— Ай, неплохой народ — эти карисы, — говаривали в ауле.

— И с чего на них взъелась советская власть?

Потом, еще в канун войны, объявилось несколько семей поляков. Они держались особняком, замкнуто, всего чурались. По-русски старались не говорить, хотя и все понимали. На всех взирали надменно, гордо, будто все вокруг были виноваты перед ними. Постоянно твердили, что они здесь временно, что они непременно вернутся на родину, что здесь, в этом Богом забытом захолустье, им делать нечего. Возможно, потому жили неряшливо, неприхотливо, как на вокзале, а на людях одевались броско, по аульным меркам изысканно, к аульному быту относились брезгливо; местным особенно запомнилось, как их барышни и бабы собирали кизяк в белых, до локтей, перчатках и в шляпах с развевающимися разноцветными бантами. Была одна молодая польская чета по фамилии Войцеховские, у которых подрастал милый курчавоголовый мальчуган годков двух-трех. Он родился в изгнании или накануне выселения, и родители не давали ему имени. Он откликался на «Эй!» «Да как же так?! — недоумевали местные. — Разве может ребенок без имени?» Войцеховские гордо, с вызовом отвечали: «Имя он обретет, когда вернется на родину. В неволе у человека имени не бывает!»

— Непонятный народ, — говаривали в ауле. — Строптивый. Не то, что мы...

Сразу после войны поляки сорвались с места и куда-то уехали, почти не оставив о себе в ауле ни следа, ни памяти.

Потом, уже когда шла война, привезли в аул немцев, по указанию властей распределили их по домам, а некоторых и вовсе поселили в заброшенные кошары, в завалюшки, в сараи, лишь бы крыша была над головой. Были они покладистые, терпеливые, послушные и безотказные. С местным населением ужились с первых же дней. Жили очень бедно, скудно, но чисто и аккуратно. И на любую работу оказались горазды. Очень скоро начали болботать на местном наречии. За все были благодарны и на добро отвечали добром.

— У них на лице есть иман, хоть и немцы, — говорили старики.

— Апырай, если все немисы такие, то с кем мы воюем?!

— Видно, этот Китляр и не немыс вовсе, а ублюдок, проклятый в утробе матери.

— Да и мать его, скорее, ведьма, мыстан-кемпир.

Вскоре немцев-мужчин забрали в трудовую армию. Потом дошел черед и до девушек и молодых женщин. Остались старики и дети. И глядя на их горе горькое, на голодную, сиротскую долю, у многих аулчан не выдержала душа: забирали несчастных рыжих да конопатых детей-немцев в свои семьи, обогрели, обласкали, не дали душе загибнуть. Да и сами эти подранки стойкими да цепкими оказались. Ко всему приспособились, все выдержали. Иные даже как бы отпочковались от казахской души, прилепились к казахскому гнезду.

Потом на исходе войны также нежданно-негаданно привезли, словно с пожарищ, чеченцев и ингушей, карачаевцев, греков, турок, кумыков, крымских татар и прочий народ, чем-то не угодивший безбрежной российской империи.

— Эй! Что это такое! Всех беженцев с верховий и низовий , что ли, мы должны привечать? Наш аул, что, Ноев ковчег?!

— И в других аулах то же самое.

— Только шуршутов не хватает...

— А эти кто такие?

— Да китайцы, кто же?

— Да их на нашем базаре уже косой десяток. Что бы ни продавали — все у них «тли лубли».

— Оу, разве на всех казахов хватит? Эдак мы скоро затеряемся, как горсть проса в степи.

— А не нравится, пожалуйся усатому вождю.

— Он мигом тебе мозги вправит. Или сошлет туда, где на собаках ездят.

— Астафиралла!..

Что поделаешь... Жить надо. В тесноте, да не в обиде. Впрочем, и на тесноту жаловаться грешно. Божьей земли на всех хватало. Склоны холмов облюбовали чеченцы. Стали лепить свои плоскокрышие сакли, точно птичьи гнезда. Чем промышляли грозные с виду, сухопарые мужчины в темных чекменях и папахах — Аллах весть. День-деньской слонялись по холмам, редко спускались в долину. Жены их, с головы до пят одетые в черные просторные одежды, молча и безропотно месили саман и лепили жалкие жилища, в которые из местных никто не входил. Смышленая, расторопная малышня пришлых горцев шастала по аулам

гурьбой, тащила курт с циновок, лазала по садам, затевала стычки с местными сверстниками. Жили чеченцы едва ли не беднее всех, но не роптали и никому не подчинялись. Не считались они и с укладом и обычаями местной жизни. Как ни агитировали доморощенные просвещенцы отдавать детей в школу (даже в войну с законом всеобуча приходилось считаться), но чеченцы и слушать о том не хотели. Или соглашались, кивали головами, обещали, но поступали по своему усмотрению и разумению. Девчонок вообще не выпускали со двора, а мальчики особого рвения в учебе не проявляли и вели себя дерзко, постоянно переча учителям, а муталимок и вовсе не принимали всерьез. Аулчане терпеливо сносили их капризы и буйные выходки.

— Что ж... Народ обиженный, обозленный. Сорвали среди зимы с родных мест. Лишили гор. Легко ли им, беднягам?! — урезонивали старики-казахи своих внуков, недовольных своеволием их сверстников с Кавказа и их склонностью к частым стычкам.

Особенно допекал аулчан суховатый и тоненький, как веточка тальника, чернобровый, рыжеволосый подросток Махмудка. Кур он тащил в ауле бесподобно. Идет, бывало, по аулу с беззаботно невинным видом, независимо легкой походочкой, зорко оглядываясь по сторонам, руки в карманах брючишек, папаха надвинута на лоб. Идет себе и идет, прогуливается Махмудка, никого не задевает, не задирает. А в пяти-шести шагах за ним, хлопая крыльями и неестественно вытянув шею, отчаянно бежит-семенит, спотыкаясь, курочка с выпученными глазами. И такая картина происходила на глазах изумленных аулчан ежедневно. Что за диво? Какой магнит притягивает безмозглых домашних пернатых за чеченским подростком, мирно шествующим по пыльным улочкам аула? Потом лишь сообразили-догадались, в чем тут был секрет. Обзавелся смышленый Махмудка тонюсенькой, прозрачной леской, едва заметной поблизости, с крохотным рыболовным крючком на одном конце. На крючок Махмудка насаживал распаренное зернышко пшеницы или кукурузы и забрасывал свой силок возле навозной кучи, где безмятежно копошились куры. Какая-нибудь дуреха-ряба тут же попадалась на приманку, жадно заглатывала зернышко вместе с крючком, и тут стоявший в сторонке Махмудка резко дергал другой конец лески, зажатый в руке. Что оставалось бедной жерт-

ве? С крючком в зобу, насаженная на леску, не в силах даже закудахтать, она обреченно семенила за удачливым охотником кур, который торопливо шагал впереди в сторону холма. Но и этот трюк Махмудки не вывел из себя сердобольных и снисходительных аулчан.

— Э, ладно... — говорили. — Шалость... Не будем же из-за курочки бучу затевать. Аллах ему судья.

Но куры исчезали все чаще, то в одном дворе, то в другом. И женщины все же пожаловались чеченцам-старикам на подобные проказы их соплеменника. Старики долго обсуждали цирковой номер Махмудки и обещали возмущенным хозяйкам образумить сорванца. Но Махмудка, как ни в чем не бывало, продолжал свое доходное занятие и даже со временем усовершенствовал свой метод, умудрившись насадить на леску сразу два крючка и уволакивать таким макаром зараз по две курицы. Аулчане уже не столько возмущались, сколько восхищались сноровкой неуемного Махмудки.

Мальчишку жалели. Жил он один с матерью, отец его, рассказывали, сбежал во время депортации и как в воду канул. То ли вернулся в свои горы, то ли изловили где-нибудь и наказали за самовольный побег. Мать Махмудки впала в тоску и почти не выходила из конуры на склоне холма: жильем это называть было невозможно.

Махмудка не только искусно тащил кур, но и умудрялся, расчленив их на части и сварив, обменивать — нередко у самих хозяек — на айран, молоко, просо, кукурузу, курт и тем самым разнообразить свой скудный рацион.

...Позже, несколько лет спустя, чеченцы вернулись на родину. В их жалких жилищах на склоне холма поселились одичавшие кошки и бездомные собаки. Иногда там резвилась малышня, но заброшенное обиталище несчастных изгнанников пугало, наводило ужас, там будто обосновался беспокойный и непокорный дух. Глиняные времянки, лишенные человеческого присутствия, быстро разрушились, развалились, дожди и ветры разровняли их с землей, а редкие проплешины на холме вскоре заросли травой и кустарником.

А еще лет через десять в неузнаваемо разросшийся и изменившийся аул приехал стройный, рослый, весь из себя ладный-складный джигит, густобровый, в черном костюме и папахе, с усиками, и кое-кто из аулчан с трудом

признал в нем прежнего ловкого укротителя домашних кур Махмудку. Да, да, это был он! Состарившиеся тетки и апашки, чьих кур некогда без зазрения совести таскал бойкий чеченский мальчишка, обрадовались ему, как родному человеку, приглашали наперебой в дома, угощали, привечали, слушали и рассказывали, вспоминали давнишнее житье-бытье и проказы-шалости гостя, прицокивали-прищелкивали умиленно языками и приговаривали: «Ай, айналаин-ау, Махмуд-баламут, слава Аллаху, в такого парнягу вымахал, таким джигитом стал, что тебе в пору не кур ничтожных таскать, а верблюдов угонять!» И вытирали невольно наворачивавшиеся слезы, вспоминая давнюю неприкаянную долю и сиротскую жизнь.

Не забыл Махмуд казахской речи. Ладно, степенно говорил слова приветствия, уважения и признания. Все помнил. И что вытворял, и кого обижал.

Было, было... Было да не сплыло. Не все быльем поросло. Осталась память о добрых людских сердцах. Говорят, вкус черствой лепешки, съеденной в голодное время, слаще меда. Всех знакомых обошел Махмуд Арсланов, поднялся на холм, где некогда обитали его соплеменники-изгои, присел на корточки, пробормотал молитву, огладил ладонями лицо, даже прослезился, расчувствовался, а потом привез с Кумкентского базара жирного валуха, сам зарезал его, сготовил в тай-казане плов, угостил всех, кто его знал и помнил, сказал подобающие торжественному случаю слова, да так сказал, что старики и старухи прослезились. А на прощание одарил нескольких апашек яркими платками, обнял и расцеловал всех подряд и, скрывая волнение, говорил в шутку:

— В память о ваших курах.

И уехал гордый чеченец Махмуд Арсланов, посетив тот край земли, куда пригнала его в лихолетье горькая судьбина и злая воля усача-властелина. И долго еще вспоминали о нем жители большого села, носившего имя большевистского вождя.

Да, кого только не знавала эта древняя земля на развилке дорог! Всех теперь и не упомнишь. Одни обосновались здесь надолго, обжились, пустили корни, породнились и перемешались. Для других этот край стал лишь временным обиталищем. Но всех помнит эта земля, всех, кто оставался ей благодарным. А неблагодарных никакая земля и не пом-

нит. Аул изменился. Аулом его называли лишь по давней привычке. Не аулом он стал, а большим селом. Изменился он не только внешним обликом, домами, постройками, садами-огородами, которых когда-то и в помине не было, но еще и чем-то неуловимым — многоязычной речью и песнями, новым обхождением разных племен, новыми отношениями между людьми, взаимной терпимостью, диковинной мешаниной нравов и обычаев, манерами в быту, раздольным и задушевным тамырством.

V

Хворь отстанет, привычка — нет. Так говаривали еще предки, и в справедливости этой поговорки старый Жаймурза давно уже убедился. Сколько он себя помнит, вставал всегда спозаранок и первым делом выгонял скот в степь, которая в те безмятежные, благословенные времена простиралась во все стороны сразу за аулом. Мальчишкой он пас овец и коз, которых, помнится, у отца всегда водилось десятка два. Пас, конечно, не сам Жаймурза, пасли попеременно взрослые аулчане или нанятый всем миром опытный овчар, а мальцам полагалось чуть свет выпускать из загона проголодавшихся за ночь барашек, пригнать в общую отару у подножья холма, где уже поджидал своих подопечных хмурый спросонья овчар с длинной палкой в руке и двумя услужливыми пастушьими собаками. Пригнав барашек в отару, Жаймурза любил подниматься на макушку ближней сопки и подолгу вглядываться в утреннюю, еще окутанную зыбкой дымкой даль, завороженно любуясь выкатывавшимся из-за гряды серовато-бурых холмов багровым шаром. Как дивно все тогда казалось, как маняще! И синь бездонного неба, и заливистая трель жаворонка, и неумолчное сипенье кузнечиков, и огненные тюльпаны по весне, и странный, глухой гул, льющийся с прозрачной выси, и шуршание песков где-то далеко-далеко, и горький запах молодой полыни, от которого ширилась грудь и сильнее стучало сердце. Каким все казалось загадочным и прекрасным. Далеко неповторимое детство, когда все-все, что окружало тебя, воспринималось чуткой душой как чудо.

А вечером, перед заходом солнца, Жаймурза вместе со сверстниками встречал возвращавшуюся с выпаса отару,

над которой клубилось сизое облако пыли, отделял от отары своих овечек и благополучно запирал их на ночь в загон.

Таков был извечно заведенный порядок, сложившийся в поколениях ритуал.

Пацаном был мокроносым, босоногим, в выцветших бязевых штанах и застиранной ситцевой рубашонке, заляпанной вечно айраном, в блеклых разводьях от кумыса, а с обязанностью своей немудреной справлялся запросто, поражая русского тамыра Вовку, сына колхозного кузнеца, тем, что безошибочно отличал своих овечек в огромной общей отаре. «Эй, Мурза, как ты отличаешь своих овец от других? Они же все одинаковые!» Жаймурза смеялся над наивностью своего тамыра. «Как люди отличаются друг от друга, так и бараны не все одинаковые». Но Вовке это было невдомек. Помогая Жаймурзе, он в своем усердии нередко загонял в загон и чужих овец и диву давался, видя, что и овцы с изумлением взирали на чужака, оттесняли его, а сам чужак растерянно таращил глаза и мекал беспрестанно, тоскуя по своим, пока, спохватившись, хозяева не забирали заблудившегося беднягу.

Потом Жаймурзе доверили пасти коров, одно время отец держал их тоже пару-другую. С ними мороки было много: надо было зорко следить, чтобы прыткие телята-сосунки возле дома не сорвались с привязи и не помчались, как обалдевшие, навстречу истомившимся за день по теленку буренкам, с ходу тычась нежными мордашками в набрякшие сосцы. Тогда беда: никакими силами не оторвешь ошалевших сосунков от мам-буренок, все молоко высосут до последней капли, и напрасно потом будет разгневанная хозяйка дергать-тискать обмякшее враз вымя своей кормилицы. Немало неласковых слов приходится в таких случаях выслушать и незадачливому помощнику, не углядевшему за теленком.

А когда со временем обзавелись еще и кобылицей, и она благополучно ожеребилась, тут и вовсе в семье никому покоя не бывало. Кобылицу надлежало доить по восемьдесять раз на дню, и пока мать прилаживалась, опустившись на одно колено, с кожаным подойником на согнутой руке к вымени кобылицы, Жаймурза из всех своих силенок удерживал сбоку жеребенка, норовившего оборвать волосяной недоуздок, чтобы, оттолкнув хозяйку с подойником, самому припасть к вожделенным сосцам.

С годами Жаймурза окреп, стал джигитом, а хозяйство незаметно все хирело, приходило в упадок, и скота на подворье становилось все меньше и меньше. И все же не бывало такого, чтобы в хозяйстве вообще не оставалось никакой живности. Даже в самые гибельные военные и послевоенные годы. Аул разрастался, пастбища неизменно сокращались, вокруг простирались кукурузные и хлопковые поля, а какой-никакой скот умудрялись держать едва ли не в каждом доме (иначе как прожить?) И Жаймурза по-прежнему чуть свет отправлялся теперь уже не в просторную, как некогда, степь, а на пустырь, на придорожные участки, на захламленный канал то с уздечкой в руке, то с арканом и колышком, то просто с дрыном, в зависимости от того, кого он пас и обихаживал.

И вот теперь, в начале восьмого десятка лет, он дожил до того, что брел совершенно один, тыча туда-сюда бесполезной увесистой палкой. Брел, брел, все примечая вокруг, и сердце его от жалости и тоски сжималось в комок, пощипывало, посасывало, подкатывало к горлу. Что стало с родным краем, с родной землей, по которой он ходит вот уже столько десятков лет. Говорят: в пятьдесят лет меняется облик земли. Наверное, даже чаще. На его веку сколько уж раз менялась земля. Немногие ныне помнят, какой она была в его детстве. Разве сравнишь? Пусто ныне вокруг, уныло. Поля заброшены, запущены, торчат прошлогодние будылья, вдоль дороги валяется ржавеющий под открытым небом никому не нужный былой общественный инвентарь. Всюду разруха, запущенность, бесхозяйственность. Вдали вихрь закручивает столбы пыли. Склоны сопок бесстыже обнажились, облысели. По канавам шастают-шныряют тупоголовые ящерицы, ползут неведомо куда черепахи. Безлюдно, одиноко. Придорожный лопух и лиловые кусты устели-поля сникли, завяли. На небе ни облачка, словно плошка, вылизанная собакой. Солнце, едва поднявшись на длину аркана, шпарит немилосердно, будто силясь выжечь все дотла, в прах истолочь необихоженную, необласканную людьми землю.

Брел, брел старик, и чудилось ему, что он не по родной земле ступает, а судьба забросила его невзначай на забытый Богом участок или вовсе на Луну. Так все было вымороченно, куда ни посмотри.

«От всего и от всех отвернулся Создатель», — с тоской подумал Жаймурза. Мы состарились, детки разбрелись по

свету в поисках обманчивой удачи, власть в который раз сменилась, и неизвестно, есть ли она вообще. Земля, как женщина, устала, одряхлела, превратилась в сварливую неродиху-бабу, ветры озлобились, песчаные бури взбесились, вода ушла.

Кто я теперь? И кому я нужен? И что я могу? Старый, иссохший, плешивый старикашка в помятых штанах, потертых до белизны кирзовых сапогах, изъеденной молью войлочной шляпе... Э-хе-хе... Кто-то говорил: жизни конец — что изгрызенная псами заскорузлая шкура.

Вдали мелькнула одинокая фигурка. Кружилась-кружилась на одном месте, что-то собирала, волочила за собой мешок. Жаймурза пригляделся и с трудом признал в ней хромоножку Зайду, сверстницу, доживавшую свой век среди ватаги бестолковых и беспомощных внуков. Ее Жаймурза помнил еще четырнадцатилетней чумазой девчонкой с жидкими косичками и вышитой тюбетейкой на голове. Она и тогда немного приволакивала ногу, жила у тетки без отца-матери, и, кажется, тогда же ее и выдали замуж за пожилого вдовца. Всю жизнь прожила Зайда в нужде-бедности, без ласки-внимания, тихая, незаметная, народив от рано ушедшего постылого мужа одного-единственного сына, да и того непутевого. Рос ее Сакен шалопаем-дуралеем, ни к чему не пригодным, а повзрослев, из тюрьмы не вылезал то за кражу, то за тунеядство, то за мелкий разбой. Время от времени попадая под очередную амнистию, он слонялся по аулу, осчастливливал жену-балаболку неопределенных занятий и неведомых кровей еще одним ребенком, а Зайду — внуком, вновь попадал в лапы стражников закона и исчезал с глаз долой на несколько лет. Жена Сакена вечно с кем-то скандалила, жила бог весть как, тоже, случалось, пропадала время от времени со встречным-поперечным хахалем, и бедная Зайда оказывалась облепленная внуками разных мастей и племен, как бездомная собака репейником. Бедствовала Зайда страшно, но покорно сносила все испытания безрадостной жизни. В ауле все ее жалели и понемножку помогали, видя ее мытарства с вечно голодными и оборванными внуками.

Бедная, бедная Зайда-бишара, подумал про себя Жаймурза, уж коли жизнь не заладилась с самого начала, ничего хорошего не жди. Искривилась стежка-дорожка твоей судьбы — на тропу счастья не выйти. А еще говорят, соз-

датель справедлив. Нет, не справедлив. Одного, бывает, осыпает милостями-благами с ног до головы едва ли не с самого рождения, другого долбит по башке, потюкивает колотушкой до глубокой старости, пока вообще не вгонит в могилу. Какая тут справедливость?

Еще издали Жаймурза отметил про себя, как состарилась, скрючилась в последнее время Зайда. Щеки запали, губы истончились, глаза пеленой подернулись, одной рукой она подерживала спину, другой волокла за собой грязный холщовый мешок.

— Ия, қалайсың, Зайда? — спросил он.

— Шукир, — автоматически ответила она, изобразив на лице подобие улыбки.

— Мал-жан аман ба?

— Е, жан, слава Создателю, аман. Бегают, галдят, прокорм просят сорванцы-внуки. А мал... какой может быть мал? Был да сплыл... весь вышел. Одна поносливая коза осталась, да и ее, обжору, не знаю, чем кормить.

— Так ты топку собираешь или траву?

— А что под руку попадется. Все сгодится. Сам знаешь, газ отключили напрочь. Теперь и свет обрезали.

— Газ — понятно. Соседи-узбеки приверединичают. А что со светом стряслось?

— Неуплата. Долг вроде большой.

— А Загипа, сноха твоя любезная, куда смотрит?

— Митингует нынче. Подалась с бабами в Астану требовать выплаты детского пособия.

— Чего-то в Астану сразу? Есть же акимы в районе, в области.

— Е-е... Эти акимы что решают? Никто их и в глаза не видит.

— Апырай, такие значит бастыки...

— Не говори! Загипа, знаешь, какая настырная. С группой шалых хатунок пробилась в этот... как его... ну, контора ихняя...

— Акимат, — подсказал Жаймурза.

— Ия, в акимат. Изловила-таки главного начальника.

— Акима, — опять помог Жаймурза.

— Ия, ия, акима. Его самого. Он, говорит, струсил, побледнел при виде разъяренных баб. Вжался в кресло, брюхо обеими руками обхватил. «Чего тут разорались?! — говорит. — Не можете прокормить, чего же нищету плодите,

как крольчихи?! Ладошкой прикрыли бы срамное место. Или вообще замкнули».

— Так и ляпнул?

— А что ему? Начальник... Что хочет, то и ляпает. Ему закон не писан. Ну, и Загипа, сам знаешь, за словом в карман не полезет. Палец ей в рот не клади. Оторвет, откусит. «Не у тебя, хорек вонючий, спрашиваем, когда и что прикрывать, когда не прикрывать».

— Загипа скажет! Не на ту нарвался охальник-аким.

— Она еще похлеще сказала. Мне неудобно повторить. Но и тот, бастык-то, заерепенился. Что, мол, надрываешься? Где, дескать, я возьму тебе пособия, если денег никаких нет? Все перевел в «Бобек». Понимаешь: нет, нет! Что ты теперь, мой Богом данный отросток отрежешь, , что ли,?!

— Ну и ну! Аким называется...

— Да все они такие. Хамы. Живодеры. Наглецы. Никто им не указ. И хан, и бек, и бий в одном лице. Будет он церемониться с голодным бабьем.

— Неужто Загипа смолчала?

— Смолчит она! «Да и отрежем, сейчас же и оттяпаем у самого основания со всеми причиндалами», — говорит, подступая к опешившему бастыку. «Бабы, дайте нож! Я мигом лишу его мужского достоинства!»

— Хи-хи! Ых-ых! — засмеялся Жаймурза, и Зайда осклабилась, явно довольная выходкой дерзкой своей снохи. — Ну, а дальше? Дал?

— Что дал?

— Ну, пособие-то.

— Какой там?! Схватилась взбешенная Загипа за ширинку акима, вкогтилась в его причинное место, и тут ворвалась в кабинет вооруженная охрана, растолкала, сграбастала баб, затолкала их в зарешеченную машину и увезла в каталажку. А бабы взяли да голодовку объявили. У каждой по шестеро-семеро детей. И мужья безработные. Отпустили баб от греха подальше, а они тотчас в Астану подались пособие требовать.

— Е-е... — понурился Жаймурза. — Выходит, у тебя полный коржун новостей.

— Новостей хватает... Да все больно невеселые.

Пошли рядком, помолчали. Тихо вокруг. Только и слышны стук палки в руке старика да шелест, шорох во-

лочившегося за старухой мешка. Зайда иногда на ходу, быстро склонившись, срывала пучок лиловой травы и совала в мешок, а кизяк попадался совсем редко. Откуда бы он взялся, если скотины в ауле почти не осталось.

— Солай де, Зайда...

— Солай, солай, соқыр Миколай, — тотчас отозвалась присказкой из далекой молодости старуха и тут же смутилась, прикрыла краешком платка беззубый рот. — А тебе-то, Жаке, как живется?

— Е-е, чего спрашиваешь? Кенже-то, младшенький, укатил с невестушкой в город. Невмоготу, говорит. Хочет пробиться в люди. Ну, отпустил. Не могу же полного сил джигита в путах держать. Вот и кукуем теперь с Кумис вдвоем. Как говорится, две половинки — одно целое.

— А старший?

— Что старший? — насупился Жаймурза. — Старший в плену своей марджи. В год раз дает о себе знать — и ладно. В Ресее, якобы жизнь налаживается.

— Дочки заботятся?

— От дочек какой прок? Обе в отъезде. Судьбу свою устраивают. Здоровы, а чем занимаются — Аллах весть. Но, чую, и им несладко. Где нынче хорошо?

— Так, так, — согласилась Зайда. — Вроде как в больших городах, сказывают, неплохо, а в аулах кругом запустение и бестолковщина.

— Да, непонятно все. Может, мы, Зайда, состарились, раскисли и ничего хорошего уже не видим, а? — постарался Жаймурза повернуть разговор.

— Ай, не знаю. Мы-то, конечно, свое отжили. Шукир... Жаловаться не будем. А молодежь мается — сам видишь. Разбежались. А те, что остались, разве живут? Что же, например, с моими внуками будет? Кому они нужны? Растут, как сорная трава.

— Солай, солай, Зайда. Верно говоришь. Какой-то странный заман наступил. Никто никому не нужен. Никто... Никому...

Незаметно за разговором они вошли в аул. С этого края аула тянулись в строгом ряду добротные, ухоженные дома с большими подворьями. В них еще недавно жили немцы, копошились день-деньской, ухаживали за садами, виноградником, откармливали свиней, разводили нутрий, кроликов, индоуток, играли на гармошках,

скрипках, цимбалах, по праздникам пили самодельное кислое вино и ладно горланили песни. Зажиточно жили, все имели, горазды были на всякие новшества и выдумки. А что-то не по душе пришлось, за какой-нибудь десяток лет все сплошь сорвались с насиженных мест, и продать ничего толком не продали, оставили, забросили, раздали задарма все нажитое тяжким трудом за многие годы и укатили в Германию, в благодатный край далеких предков, о котором и представление-то имели весьма смутное и приблизительное. По слухам, тамошняя жизнь не чета здешней. И все же, поговаривают, и там жизнь не для всех сахар. Уехали немцы, на добрую треть оголив, опустошив аул. Некоторые дома и поныне пустуют, разграбленные соседями. Другие обжили ловкачи-дачники из Кумкента и Таскалы. Еще в какие-то поселили оралманов — возвращенцев из Монголии и Ирана. Что там говорить, заметно поблек, оскудел аул с отъездом неутомонных трудяг немцев. Странно, другие уезжали — греки, крымские татары, — не так заметно было. Может, потому что немцев просто было больше и как-то крепче, основательнее они внедрились в аульный быт.., кто знает.

— Ну, бывай, Зайда, — сказал старик на прощание. — Рад, что встретил тебя. Нас, старожилов, совсем уже мало осталось. И в гости пойти не к кому, по душам поговорить не с кем.

— Ия, ия... Верно говоришь, Жаке. Но сегодня к тебе, наверное, гость зайдет.

— Кто? — встрепенулся Жаймурза.

— Гость солидный. Издалека...

— Оу, говори же, не томи.

— Эда.

— Какой еще Эда? Откуда?

— Ойбай-ау, ты что, нашего Эду забыл? Эда Борым.

— Борым?!.. А-а... наш немыс-казах?

— Ия, ия... Он самый. Вчера приехал. У учителя Рахметбая остановился. У сестренки Асимы. Приехал навестить аул. Соскучился.

— Надо же! Казахи уезжают — так с концом, а немцы, смотри-ка, уезжают, а край, где жили, не забывают. И какой он из себя?

— Да такой же. Рослый, большой. Только поседел, в очках, гладкий, справный.

— Вот как! Казахский не забыл?

— Не забыл. Но говорит врастяжку, медленно, будто жвачку жует или книгу по слогам читает.

— Ай, маладес! С ним бы охотно покалякал. Наш ведь бала. Аульный...

VI

Эдмунд Ворм попал в этот аул четырехлетним мальцом. Не попал — привезли. Привезли несколько семей немцев — спецпереселенцев с Волги и расселили по домам, по семьям казахов. Но глава семейства Вормов — Карл Ворм, здоровенный детина, русоголовый и добродушный, как вскоре выяснилось, мастер на все руки, и кузнец, и тракторист, и гармонист, общительный и безотказный, сразу облюбовал заброшенный закуток возле колхозного амбара, быстро переоборудовал его, подладил, обмазал, побелил и за месяц-другой, еще до осенних занудливых дождей, преобразовал в довольно приличное жилье, в котором, правда, повернуться было невозможно. Еле втиснули кушетку, стол, две табуретки, а у самого потолка прорубили окошко, в которое просачивался скудный свет. Потом Карл также неожиданно пристроил тамбур наподобие сенцев, чтобы не сразу с улицы вваливаться в комнатушку. И тамбур из саманного кирпича получился, как игрушка. И Паулина, улыбчивая, общительная, миловидная жена Карла, пропадала на работе, ничего не чуралась, и на току наравне со всеми горбилась, и по дому все успевала, а сынишка их, которого все звали Эдиком, Эдей, всегда был опрятно одет, вымыт, ухожен, причесан, словно херувимчик. Мальчишка поразил аулчан тем, что очень скоро научился прилично лопотать по-казахски и совершенно невообразимым образом стал мешать немецкие, русские, казахские слова, будто так и положено, удивляясь при этом, когда его, случалось, не понимали. «Ай, ай, Турсунчик, — обращался он, бывало, к соседскому сверстнику. — Кел, кел, сюда, воллен вир шпиелен». Турсун щерился, не понимая: «Немене, шпиелен не? Ойнайық па?» «Іа, Іа, кел давай, ойнайык», — подтверждал смышленый пришелец.

К немцам во всей округе поначалу относились настороженно. Никак не укладывалось в сознании, что немцы бывают разными, в том числе «наши» и «не наши». В самом

деле, казах есть казах, где бы он ни жил, и любой орыс есть орыс, и по виду, и по языку, и по манере, а почему немыс должен быть разный? Их Гитлер — свол-лышш, кровопийца, у него и облик-то нечеловеческий, на роже никакого имана, совести-благости, как посмотришь — сразу видно: разбойник, какого свет не видывал. Это он затеял войну, фашисты убивают наших, немыс — пашис, немыс — враг, ну и что, что этих с Волги вытурили, значит, есть за что, значит, душа их повернута к своим, к соплеменникам, сокровникам, значит, они — «не наши», они — явные враги. Айналайын советская власть и ее усатый вождь не ошибаются, точно знают, кто «наши» и кто «не наши». Эй, зачем нужно этих изгнанников-немысов еще встречать-привечать, родичи , что ли, они по материнской линии? Зачем их распределяют по домам, уступают им место, устраивают на работу, проявляют заботу? Разве с врагом так поступают? А еще некоторые жалеют, дескать, они тоже люди, тоже хотят жить, ну, мало ли что? И червь жить хочет. И гадюка. И волчонок. Говорят, их тоже мать родила. Ну и что? Всех тварей на свете матери рожают. И Гитлера-ублюдка, небось, тоже мать родила, а не сука подзаборная. Эй, оставьте свои тары-бары-растабары: немыс есть немыс, враг есть враг. Немыс убивает моего коке, а я его должен на почетное место усаживать, чаем потчевать, говорить ему айналайын?! Как бы не так!

Так или примерно так рассуждали в ауле многие.

С другой стороны, все видели, как тихо, мирно и послушно ведут себя пришлые немцы, как не гнушаются самой черной работы, как не жалеют себя, никогда не скандалят, даже явную обиду проглатывают молча, всегда готовы услужить, отвечают добром на добро, уважают твои обычаи и язык. Враг разве так ведет себя? А как бедствуют, нищенствуют, голодают, но на чужое не зарятся, не спросясь, ни у кого обрывка аркана не возьмут. И какие чистые, аккуратные, старательные! Как трепетно относятся к земле и вещам. Сами трудяги, они и чужой труд неизменно почитают.

Нет, их хаять не годится. Они, может, напрасно называют себя немысами. По недоразумению. Все собаки, понятно, собаки, но породы-то разные. А если эти и немысы, то — другие, совсем другие, не фашисты, не гитлеровцы. Они, видно, действительно наши, только обиженные, униженные, оскорбленные. А унижать униженного — грех.

И такое мнение бытовало в аулах. И понемногу оно стало преобладать.

Был тогда в ауле старичок Ишанкабул, и при советской власти не потерявший склонности к вольной беседе. Однажды в споре о приезжих немысах он сгоряча взял да и ляпнул: «Эй, детки мои, одно скажу я вам: эти немысы лучше твоих орысов». Дерзкая фраза облетела весь край (Ишанкабул слыл муллой, и к суждению его прислушивались) и вскоре дошла туда, где шуток не понимали. Затаскали Ишанкабула, припугнули так, что он был готов проглотить свой болтливый язык. И напрасно, спохватившись, он потом доказывал, что его слова извратили, что он — точно помнит — сказал: «иных орысов», а не всех вообще, но в учреждении, где не понимали шуток и каких бы ни было двусмысленных намеков, Ишанкабулу так вправили мозги, что он зарекся отныне вообще произносить слово «орыс», а тем более сравнивать «орысов» с кем-то. Ишанкабул после этого случая стал язык держать взаперти, даже пословицами, до которых был мастак, перестал сыпать, а вскоре отправился в лучший мир. Однако сомнительная фраза его осталась жить еще долго, передавалась из уст в уста, и люди, усмехаясь, рассуждали: «Наш Ишеке, видно, был прорицатель. Видно, уже тогда знал то, что не знали другие».

Карл Ворм как-то сразу и легко вписался в аул, будто всю жизнь здесь прожил. Особенно пришелся он по душе пожилым казашкам, с которыми быстро перезнакомился. К нему лезли со всех сторон.

— Эй, Карыл, у меня ведро прохудилось.

— Карыл, самовар наш протекает. Посмотрел бы.

— Карыл, плетень, видишь, покосился. Уделил бы, айналайын, один вечерок.

И расторопный, безотказный Карл Ворм делал все: паял, лудил, рубил дрова, поправлял плетень и крышу, возил сено, чистил колодец, ловко сыпал двумя-тремя десятками казахских слов, что позволяло ему запросто обходиться без толмача. А умиленные апашки мгновенно распустили слух, будто спецпоселенец Карл Ворм очень способствовал сближению приезжих и местных и развеиванию первоначальных подозрений. Он, Карл Ворм, и прихрамывающий гигант Франц Фризен, вскоре ставший бухгалтером в колхозе, были самыми приметными и популярными среди

приезжих немцев. К ним за советами шли и немцы, и казахи. Любое всеобщее дело в ауле без них не обходилось. К тому же эти двое играли на разных инструментах, веселя и подбадривая аулчан. Казахи в долгу не остались, помогали Карлу чем могли: делились айраном, пшеном, куртомиримчиком, иногда одаривали даже свежей бараниной, а курчавого, светловолосого, белолицего мальчугана Эдю с длинными пушистыми ресницами все старались обласкать, потискать, погладить, и смазливенький малец всем улыбался ясно и открыто. И при этом голубые глазищи его светились чисто и доверчиво. Каждая старуха норовила притронуться к нему, сказать что-нибудь ласковое, неизменно приговаривая: «Айналайын-ай» и тут же сплевывая, чтобы не сглазить дивное созданье.

Так и повелось: поселенца Ворма звали в ауле «немыс Карыл», при этом «немыс» употребляли не в качестве национального определения, а чтобы отличать от местного Карла-казаха, секретаря аулсовета. В ауле был еще и свой Маркс, а в соседнем ауле подрастал чернявенький Энгельс. И еще был среди местных один Мэлс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин) и один Марельс (Маркс, Энгельс), а вот Ленина и Сталина пока что-то не водилось.

Паулина Ворм оказалась искусной швеей, да еще и обладательницей машинки «Зингер», на которой она вечерами строчила, латая и перелицовывая всякое шмутье. Аульное бабье все время носило ей что-то на починку. И спецпереселенка пришлась ко двору. Только и слышно было: «Поля», «Поляжан», «Болажан», кому как заблагорассудилось, но с неизменным сочувствием и подчеркнутым вниманием.

На Ворма и его семью равнялись и другие переселенцы.

Но эта тихая, мирная жизнь продлилась недолго. Уже в феврале 1942 года всех мужчин-немцев забрали в трудармию, куда-то в Сибирь. В первый же призыв попал и Карл Ворм.

Зима была по-южному кислая, слякотная. Немцев повезли на трех рыдванах, запряженных волами, в Кумкент, чтобы там посадить на поезд. Но мужчины, забросив котомки, рюкзаки, самодельные чемоданчики на рыдваны, шли гурьбой в сопровождении охраны из облвоенкомата, и за ними молча, понуро тянулись жены, сестры, родители, дети, провожая кормильцев в неведомый путь. Высыпали

из домов, оград и местные жители, скорбно взирали на это шествие, некоторые казашки прослезились, иные, что находились вблизи, кричали вслед:

— Карыл, Карыл, аман бол!

— Ганс, Ганс, не горюй!

— За детьми присмотрим, в беде не оставим!

Любопытные казашата тоже вертелись тут, шли рядом со своими пригорюнившимися сверстниками-немцами.

— Куда везут ваших коке?

— На фронт!

— Как это? Немыс с немысом будет воевать?

— И мой коке на фронте. Может, встретятся там? Скажи своему коке: моего коке зовут Батырхан. Пусть привет передает!

— Скажу, скажу.

— И пусть вместе вернутся. Мы с тобой курдасы, и наши коке, наверное, курдасы.

За аулом, когда обоз выбрался на большак, охранники заставили всех мужчин сесть на рыдваны, а провожающим приказали завернуть назад. Немки послушно застыли на месте. По их осунувшимся лицам текли слезы. Дети прижались к ним, растерянные и испуганные.

Никто ничего не знал. Но многие предчувствовали: разлука эта навсегда. И в жизни их предстоит еще не одна депортация. А пока надо жить, как придется, уповать на лучшее и быть готовыми к худшему.

VII

И остались старики Жаймурза и Кумис на склоне лет одни-одинешеньки в пустой плоскокрышей мазанке в форме переметной сумы. Два высохших дерева. Две неприкаянные тени. И говорить не о чем стало. И все заботы враз улетучились. И думы преследовали хоть и нескончаемые, а бесплодные, изнуряющие. Беспросветные, серые дни тянулись впустую. Бессонные ночи изматывали душу.

Утром за скудным дастарханом — чай, сахар, лепешки-шелпеки — старики молчали, вздыхали, лишь Кумис, случалось, невзначай проронялa:

— Сноха наша теперь уж, наверное, разрешилась от бремени. Хоть бы дильграм дали.

— Дадут, жди, — ворчал-бурчал Жаймурза, не скрывая обиды.

— И первенец наш уж год не пишет, — сокрушалась старуха.

— Где ему писать-то? Небось, свиней пасет у русской марджи, — язвил старик. — Небось, и адрес забыл.

— И Айман не везет. Давно бы пора девке замуж. О чем думает?

— А о чем думать? — фыркнул Жаймурза. — Нынче как? Сегодня — свадьба, завтра — развод. Путевых женихов-то нет. Одни алкаши, тунеядцы...

— Ия, ия... Тяжко девушкам. Особенно в городе.

— Ну, и сами хороши! Об одном думают: тряпки да богатая жизнь. А на родителей чихать.

— Да кому нужны беспомощные, дряхлые родители, в трухлявом доме которых ветер свищет?

— Помолчи, байбише. Не трави душу. И так муторно.

Кумис еще больше сжалась, сникла. И то верно: чего хмурое небо на старика обрушивать? И так измаялся, сердешный...

И что, в самом деле, с детьми стало? Хорошие были дети, росли, радовали родителей, учились, как все, резвились, подсобляли в домашнем хозяйстве, никакого горя с ними не было. Жаймурза, было время, переживал, что у него всего четверо детей, его сверстники вон шестерых-семерых сообразили, а его Всевышний как бы обделил. Но потом Жаймурза смирился: и тому спасибо, четверо детей по нынешним временам не так уж и плохо, два сына, две дочки, потом, Аллах даст, добавятся две снохи и два зятя, от них пойдут новые побеги, молодые копытца, чем плохо, нечего гневить судьбу.

И все шло, как по маслу.

Старший, Есенгельды, окончив школу, сразу угодил в армию. Был он жилистый, крепкий, и служба была ему, по-видимому, не в тягость, и служил неподалеку, на станции Отар, писал домой редко и никогда ни на что не жаловался. Потом вдруг несколько месяцев ни слуху, ни духу. Уже было забеспокоились в доме, пока не пришло письмо из чужих краев, и в письме том странный набор слов — «ограниченный контингент», «интернациональный долг», «душманы»; поняли родители, что сын попал в самое пекло непонятного побоища, но утешали себя тем, что первенец жив. И с того дня тревога не покидала плоскокрышую мазанку — «коржун уй» на окраине все более разрастав-

шегося аула. Ложились с одной мыслью: «Жив ли? Здоров ли? И когда придет конец этой бойне?» И вставали по утрам с той же мыслью. И совсем было лишились сна и покоя, когда в аул привезли сразу три цинковых гроба. Трех аулчан, вчерашних сорванцов, соклассников Есенгельды доставили через Кумкент в сопровождении двух офицеров и четырех солдат, строго проследили, чтобы никто не осмелился открывать гробы и похоронили на местном кладбище с воинскими почестями: закопав, постреляли в воздух, потом участвовали в поминках, говорили скорбные и бодрые слова про интернациональный долг, ограниченный контингент и душманов, обняли безутешных родителей убиенных неизвестно за что и укатили восвояси. Война национальностей не выбирает. Среди тех трех в запаянных гробах один был казах, старший сын учителя Рахметбая, второй — немец, Володя Франк, сын механизатора, и третий — Слава Петрюк, единственный сын уборщицы аулсовета.

Аул был потрясен. На траурный митинг собрались все, и все с удивлением заметили, сколько их в некогда тихом, уютном ауле, и у всех одна судьба, над всеми висит один рок. И все поняли: благополучие зыбко, жизнь в один час может обернуться трагедией. И эта неопределенность, даже какая-то фатальная неизбежность, обреченность ужасала всех.

Жаймурзу и Кумис судьба пощадила. Есенгельды вернулся живой, целехонький. На радостях провели, как подобает, большой той. Но родители с трудом узнавали в сыне прежнего добродушного увальня, покладистого джигита. Он даже внешне изменился. Одубел, костлявый стал, ссутулился, голову втягивал в шею, будто опасаясь удара, круглый череп наполовину оголился, усы отпустил, как у Тараса Бульбы в школьной хрестоматии, говорил деревянным голосом, врастяжку, подолгу молчал, потом вдруг начинал тараторить невпопад, горячо, захлебываясь, и в глазах его плескалась муть, отчего даже мать пугалась. Ничего его не интересовало, ни в доме, ни в ауле, и Жаймурзе иногда казалось, будто за эти три года сына подменили. Приехал Есенгельды не один — с боевым другом-тамыром Степаном, рыжим, конопатым парнем родом из Воронежа. Были они неразлучны, ели, спали, ходили вместе. И обосновались на старом сеновале, затащив туда ветхие текеметы и

шубы. Беспрестанно курили и что-то бормотали между собой. Только и слышно было: «Степа, Степа... Есен, Есен...»

Однажды, встревоженный необычной тишиной во дворе, Жаймурза осторожно поднялся по лестнице на сеновал и опешил: Степа и Есенгельды, обнявшись и повесив головы, раскачивались из стороны в сторону, как болванчики, и молча плакали. Это так поразило Жаймурзу, что он, тотчас спустившись по лестнице, тут же присел на корточки и схватился за голову. Об этом случае он даже Кумис ничего не сказал. Видно, в душах этих ребят творилось такое, что лезть к ним с какими-то советами было бы неделикатно и бесполезно.

Через две недели Есенгельды сказал отцу:

— Коке, я должен съездить со Степой на его родину.

— Тебе виднее, балам. Если должен, какой разговор?..

— И надолго? — всполошилась Кумис.

— Видно будет... Заранее говорить трудно.

Есенгельды сказал это так веско, с таким нажимом, что Жаймурза понял: надолго, а может, и навсегда.

— Ладно... Главное — аман бол, балам.

Уехали друзья. Как в воду канули. Лишь через год пришла от первенца долгожданная весть. Есенгельды скупо, по-русски, сообщил, что женился, взял в жены сестру Степана с девочкой, жену зовут Клава, сам он работает на стройке и ставит себе дом. Вот обустроится, может, через год-другой посетит родные края.

Кумис сразу ударилась в слезы. Жаймурза, как всегда, в волнении, яростно поскреб пятерней бритую голову.

— Ладно, байбише. Не убивайся, — сказал. — Лишь бы живой был. А живой к своему очагу рано или поздно пристанет.

Былая мечта Жаймурзы о будущей жизни в новом большом доме, непременно на двух уровнях, как строили немцы в селе, вместе с детьми, снохами, зятьями, внуками, в окружении большого сада со всякими пристройками, дала трещину, но улетучилась еще не совсем.

Айман, окончив школу, вместе со стайкой сверстниц, упорхнула в Кумкент, поступила в медицинское училище, выучилась на медсестру, да так и осталась в городе, все реже и реже навещая отчий дом. Приезжала она от силы на неделю, первый день была весела и возбуждена, переворачивала в доме все вверх ногами, обегала знако-

мых, привозила немудреные гостинцы, но на третий день начинала скучать, раздражаться по всякому поводу и пространно-путанно толковать, что так жить нельзя и пропадать в такой дыре стыдно. Ходила она и на местную дискотеку, но, возвращаясь, яростно отплевывалась, ругая на чем свет стоит «мамбетов» и «мамбеток» славного Туюк су. Рассуждения ее родителей пугали. И одевалась Айман чересчур уж по-городскому, в такие странные лохмотья, вызывающе выставляла напоказ все свои девичьи прелести, так оголяя все, что только возможно было оголять, что Жаймурза конфузился и отводил от дочери глаза.

— Замуж тебе пора, доченька, — осторожно намекала Кумис.

— А я, апа, замужем. Неужели не догадалась?

Кумис опешила.

— К... ка-ак?

— Просто. Как замуж выходят?! — поджала губки Айман.

— Ну, а той-то... Свадьба.

— Какая еще свадьба, апа! — задергала выщипанными бровями Айман. — При вашей-то нищете? Что, хотели бы барашка пожертвовать, «жар-жар» петь, глупые речи говорить?!

— Ой, Алла-ай... Что ты говоришь, кызым?! Шутишь, что ли,?

— Не шучу. Больше года живем с Вагифом.

— Не дейді?! Какой еще Вагиф? Разве у казахов бывает такое имя?

Айман досадливо поморщилась.

— При чем тут казах?

— А... не казах, , что ли,?! — совсем уж растерялась Кумис.

— Мать — татарка, отец — азербайджанец, — с вызовом ответила Айман.

— Мәссаған безгелдек! — вырвалось у Кумис. — Он что, врач в твоей больнице?

— Ну, апа. Не смешите! — нервно передернулась Айман. — Он не врач, а экспедитор. И я уже не медсестра, а на базаре торгую, челночница.

— Это что еще такое?

— Товар из-за границы привожу и продаю. Туда-сюда, туда-сюда езжу.

— И куда едешь?

— В Турцию, в Саудовскую Аравию. Теперь в Польшу собираюсь.

— Астафиралла! И как... как это случилось?

— Ну, апа. Жить-то надо. А иначе нынче не проживешь.

Дочь говорила с таким напором, таким нажимом, с затаенной обидой, будто в ее нескладной судьбе (если родители так считают) виновата не она, Айман, никак не она, а некие внешние обстоятельства, а прежде всего несостоятельность семьи, из которой она вышла, и весь этот убогий аульный быт.

— Доченька, ты считаешь, что мы живем бедно?

— Вы, апа, не бедно живете, а нищенствуете. И не живете, а прозябаете! — отрезала Айман.

— Браво, браво! — захлопала в ладоши ее сестренка Шолпан, присутствующая при разговоре. — Я сколько твержу: так жить стыдно!

Но ни Жаймурза, ни Кумис не считали себя такими уж никудышными, таким бишаринским отродьем, жили честно, открыто, не таясь, не подличая, не изворачиваясь и суетясь, жили как все, или как многие в ауле, по обычаям и нравам, заповеданным предками. В самом деле, дом, хоть и старенький, неказистый, есть, скот какой-никакой водится, имеется подсобное хозяйство, Жаймурза не расстается с кетменем, детей учил не хуже других, одеты-обуты, в ауле относятся к ним уважительно, что еще надо? Правда, из года в год жить становится труднее, некоторые круто изменили быт, строят дома, обзаводятся мебелью и разными мудреными городскими штучками, о которых еще недавно и не слыхивали. Правда, то, что все у них, у Жаймурзы и Кумис, как-то по старинке, что довольствуются тем, что есть, неужели это повод для отчуждения детей, для каких-то недовольств и нареканий.

Выходка Айман озаботила Жаймурзу и Кумис. Они впервые засомневались в правильности их извечного уклада и представления о достойной жизни. А Айман после откровенного разговора с матерью все реже наведывалась в аул, жила непонятной жизнью, часто пропадала надолго по своим торгашеским делам.

«Апырай, как же это случилась? И что вокруг происходит?» — все чаще задумывался Жаймурза.

А жизнь вокруг действительно круто менялась, и, как казалось, в худшую сторону. Где-то в верхах происходи-

ли перемены, вчерашние «игі жақсылар» — избранники народа и пристебаи-жандайшапы власти завели другую шарманку, пускали пыль в глаза, жались к государственной кормушке, лихо и нагло отхватывая себе весомые, лакомые куски, толкая и отпихивая друг друга, как овцы у колоды во время водопоя. Стали процветать и преуспевать у всех на глазах откровенные рвачи, хапуги, юркачи, пысыкаи-пристегаи, голодные, как волки в зимнюю пору, и жадные, как шакалы, и волны этой дикой колобродиостигали и тихий аул на семи ветрах и шести перекрестках. Выяснилось, что строится новая жизнь по базарному принципу: «Кто смел, тот два съел» и вчерашние благодетели народа, которым привыкли заглядывать в рот, стали проявлять такую прыть, будто наконец-то сорвались с невидимой цепи и обрели желанную возможность топтать всех и вся, и вели себя точно разбойники-ворье во время пожара или вражеского нашествия: «если враг грабит родной аул, не сплошай — тоже грабь и хватай все подряд». Такая вдруг пошла свистопляска, будто все в одночасье лишились разума и чести-достоинства, и глаза даже, казалось бы, достохвальных джигитов подернулись пеленой наживы.

Известно: ломать — не строить. Привычный уклад жизни мгновенно рухнул. То, что вчера казалось предосудительным, стыдным, ныне обернулось деловой хваткой, удалью и достоинством.

«Ой, Алла-ай... Что с людьми стало?!» — только дивились, хватаясь за воротник, недавние смиренные колхозники и безмолвные трудяги совхозов.

Вчерашний всеми презираемый тунеядец, пьянчужка и спасшист Сарсембай вместе со своими дружками промышлял ночным разбоем, останавливал на трассе грузовые машины из соседнего, тоже независимого теперь государства и собирал обильную дань, потом он проводил шумные пиры-тои, угощал всех аулчан, раздавал подарки, от богатства аж лопался и лоснился, и все знали, откуда посыпались нежданные блага, и все откровенно завидовали ему.

— Апырай, как развернулся наш Сарсембай! Джигит! Ловкач!

— Всех за пояс заткнул!

— Даже начальство заискивает перед ним.

— Вот как, оказывается, жить надо!

— Перед богатством и ангел бесом стелится.

Извечные нищеброды-сорлыбаюшки, месяцами не получая зарплаты, шли на поклон к удачливому Сарсембаю, и он щедро одалживал им. Учителя школы, для которых еще недавно лентяй и бездельник, дебошир и невежда Сарсембай служил отрицательным примером в их педагогической деятельности, теперь гордились благосклонностью и вниманием своего нерадивого ученика, считая его отныне образцом предприимчивости и делового размаха в новых обстоятельствах жизни. Девчонки, еще вчера шарахавшиеся от него, теперь млели, глядя на его разгульные манеры и модный прикид, в котором он браво щеголял изо дня в день. И если, бывало, их неудачные сверстники говорили: «Но он же вор, разбойник!», то аульные красотки, презрительно поджимая губки и фыркая, обрывали своих незадачливых ухажеров: «А ты недотепа! Бестолочь!»

«Герой нашего времени» — говорили о Сарсембае в ауле, кто ерничая, кто в шутку, а кто из зависти.

Фельдшер Дукенбай, который и до наступления новых времен не столько людей лечил, сколько занимался домашним хозяйством, из года в год увеличивая поголовье личного скота и успешно торгуя на базаре, вдруг присвоил-приватизировал себе аульный медпункт, переселился туда со всеми домочадцами и нацелился еще и на местный детсад.

Директор совхоза Джамид Хуснуддинович присвоил себе несколько машин, тракторов и комбайнов, куда-то выгодно сплавил и сам срочно укатил в Россию.

— Маладес! — восхищались иные в ауле. — Умеет жить. Всех облапошил.

— Если наступили лисьи времена, будь волком и рви всех подряд.

— Ну, а если все захотят быть волками?

— Не смогут. Не всем дано!

— Тогда загрызут друг друга.

— Так заведено: овечек всегда больше. А времена — волчьи. Уцелеет тот, кто силен. Бишару истолкут в прах или швырнут на свалку. Пеняй на себя.

— А большевики всем твердили: человек человеку — брат.

— Брехня. Сказка. Человек человеку — волк. Это еще древние говорили. И вот мы снова к этому идем.

— Апырай-а! Наверное, так оно и есть...

Перемены происходили совсем уж оглушительные, невообразимые, противные нормальным человеческим представлениям.

Засидевшаяся в девках невзрачная дочь бывшего секретаря райкома, возглавившего теперь какую-то фирму с мудреным полурусским, полуанглийским названием, надумала вдруг участвовать в конкурсе красоты и вопреки всеобщему злословию стала победительницей — «Мисс юга». И фотографии ее в немыслимой короне и в купальнике шириной в два пальца с бриллиантом на самом потаенном месте замелькали в районных и областных газетах, и их придирчиво рассматривали все, цокая языками и удивляясь, где и каким образом углядели высокие ценители в этой кривоногой, безгрудой образине-воображуле хоть какой-то намек на красоту. «Нет, эта красота мир никак не спасет», — заметил старый учитель Франц Оттович, и эта его фраза загуляла по всем окрестным аулам.

В ауле ахнули, когда кривоглазая, кривобокая дочь областного начальника, преподававшая в областном вузе основы марксизма-ленинизма, а потом — научный коммунизм, стала вдруг доктором политологии и объявила всему народу, что захотелось ей быть оперной певицей, и однажды закатила концерт для бедствующих многодетных матерей, перед которыми новоиспеченный доктор битых два часа дурниной голосила цыганские романсы. И местные шатоки вокала взахлеб говорили и писали о новом таланте, неслыханном диапазоне голоса, о глубоком постижении тайн цыганского колдовства, о проникновении в магические глубины искусства, доселе никому не доступные.

— Ойпырмай! — восхищались приближенные областного правителя. — Настоящая Има Сумак!

— Ну, куда твоей Име Сумак до нашей Сабиры! Има могла рычать львом, хохотать гиеной, а Сабира еще и верблюдицей стонет и ишаком ревет! Всех исполнителей цыганских романсов запросто за пояс заткнула.

— Ия, ия. Солай. Сами цыгане ревмя ревут, когда наша Сабира их песни поет!

Все перевернулось верх дном. Странная пошла жизнь. Преуспевали совсем не те, кто, казалось бы, должен преуспевать: не трудяги, не даровитые, не башковитые, не способные, а отъявленные лодыри, башибузуки, тупицы и бездари. Появились новые люди, которые не учились,

книг не читали, не трудились, презирали все обычаи и нравы, считали удалью и достоинством «ломать хребет» закону, обходить все лазейки и ловушки, а пользовались всеми благами жизни, валяли дурака, точили лясы, гуляли-пировали, швыряя налево-направо невесть откуда взявшиеся «зелененькие».

Аксакалы и карасакалы недоумевали, находясь в постоянной растерянности. Новые веяния, упругим, всесокрушающим смерчем врывавшимся в тихий аул, взбаламучивали привычный уклад, и приноровиться к ним было многим не с руки. А молодежь захватила, завлекла, затащила в омут эта шальная круговерть. В городах азартно разрушали и сбрасывали с пьедесталов былых кумиров, каменные идолы и памятники, всех тех, кому столько лет поклонялись, и это было забавно и заразительно.

Как-то раз, запыхавшись, примчался из школы возбужденный Кенже, с порога громко объявил, как радостную новость.

— Коке! Сегодня снесем памятник революционерам у аулсовета.

— Э, чем они вам не угодили? — усмехнулся Жаймурза.

— Ойбай, коке! Они ведь семь десятилетий мутили воду, всех сбили с толку. Всех нас, оказывается, в тупик ввели.

— Как это?

— А вот так! — еще более воодушевился Кенже. — Все ученье их было ложно. Не нужна была народу никакая революция. И власть советская была неге... нели... тим... гимная.

— Это еще как понять?

— Незаконная, значит. Силком захватили власть, установили свои порядки, морочили людям голову. Дескать, все равны, все будут жить богато. Чушь!

— А те, что теперь у власти, законные?

— Не знаю, коке. Я пошел. Я только за ломом заскочил. Прикончим сегодня революционеров!

— Астафиралла! — только и успел сказать Жаймурза.

Гипсовый памятник революционерам в скверике возле конторы аулсовета, где чахлые акации давно общипали нахальные аульные козы, снесли весело, дружно, раскурочили до основания, сравняли с землей. Потом начальство

дало втык сокрушителям за то, что в азарте погубили и цементный подстав. На него, оказалось, собирались водрузить бюст местного богача, не признавшего в далекие годы советскую власть и подавшегося сначала к басмачам, а потом и вовсе за рубеж — не то в Синь-Цзян, не то в Иран. Никто этого мятежного бая уже в ауле не помнил, но кто-то уверял, что именно он в годы смуты достоверно знал истинный путь к благоденствию и справедливости. И на дух не переносил «болшайбеков». И уже за это он заслуживал увековечевания.

В другой раз Кенже и вовсе оглушил своей вестью.

— Сегодня, коке, оторвем Ленину башку.

— Что ты мелешь? Как можно?!

— Не я говорю, а один джигит приехал сегодня к нам из Кумкента. Представитель какой-то партии. Не запомнил, какой. То ли «Аттан», то ли «Астан», то ли «Атан». Какой позор, говорит, что у вас в селе возле школы все еще стоит Ленин! Вы хоть задумались, куда он указывает? В сторону высохшего водохранилища, которое давно превратилось в мягушатник. Значит, он зовет вас, дуралеев, в болото, в тупик, понимаете?! Разве можно такое терпеть? Да он, этот Ленин, и казахов не знал, путал с киргизами. Решением нашей партии оторвем сегодня лысую башку пролетарского идола.

— А кто этот джигит?

— Не знаю, — дернул плечом Кенже. — Член исполкома партии на «А». Зовут Кыркымбай. Или Тыркымбай.

— И имячко-то у него дурное. Крикун, видать. Башибузук! Кто он такой, чтобы на Ленина руку поднимать? Тоже мне судья нашелся! И вы, дурачки, идете у таких на поводу.

— Ойбай, коке, сам директор школы перед этим Кыркымбаем-Тыркымбаем лебезит. Как этот Кыркымбай ладони сложил да громовым голосом затянул аят из Корана, директор школы так растерялся, что мигом на корточки опустился и тоже огладил ладонями лицо.

— Значит, балда! Неслучайно, видать, три года назад партбилет свой прилюдно сжег, хотя всю жизнь этой партии задницу лизал.

— Как?! Директор школы — балда? Вы что, коке?! Вы этого не говорили, а я не слышал.

— Ну, не балда, так оборотень, каких развелось нынче, как ящериц по весне.

— Ладно, коке! — снисходительным тоном солидно заметил Кенже. — О том скажешь другим. В последнее время появилась вдруг и у юнца такая манера — разговаривать с отцом, будто с недотепой, который ничего уже не смыслит в том, что происходит вокруг. — Вечером еще побеседуем. А сейчас — бегу. Там уже вся ребятня собралась. Вот потеха будет! Не каждый ведь день вождей с трона сшибают.

И — сшибли. Свалили. Разрушили. Раскромсали. Кто-то из общества охраны памятников старины авторитетно подтвердил, что скульптура пролетарского вождя художественной ценности не имеет. От памятника вождя, стоявшего за штакетником с середины тридцатых годов, остались только тупоносые гипсовые ботинки на пьедестале. Кыркымбай (или Тыркымбай?), член исполкома партии на букву «А», руководивший этим погромом, напоследок на потеху юнцов выцарапал гвоздем на пьедестале кривую надпись: «Прости, жолдас! Мы пойдем другим путем».

Молодежь как осатанела. Жадно прислушивалась к тому, что происходило в больших городах. Доставала и зачитывала до дыр разные газетенки, в которых в хвост и в гриву ругали власть — прошлую и настоящую и печатали фотографии голых баб в немыслимых, непристойных позах. «Вот она, демократия!» — ликовали юнцы.

Все вдруг сорвались с насиженных мест. Уехали греки. Отправилось в Крым несколько татарских семей. Не торопясь, степенно тронулись в далекий путь немцы. До того некоторое время всюду говорили, что власти милостиво возвращают немцам их былую автономию на Волге, что решили таким образом исправить дикую ошибку подозрительного вождя-усача, казалось, вот-вот добьются настырные немцы своего, и вдруг — видно, что-то случилось — немцы в одночасье на все махнули рукой — и на все разговоры, и на автономию, и на кенигсбергские варианты, и на российскую власть, начали организованно и в массовом порядке выезжать на родину предков. Один их ученый, крупный авторитет, в беседе в Кремле четко заявил: «Немецкая проблема — не немецкая, а русская. Немцы свою проблему решили. От их эмиграции и экономически, и политически выгадывает только Германия. Если Россия это понять не в состоянии, то вообще какой может быть разговор?!»

Национальный вопрос Россия никогда не понимала. Вожди ее были уверены, что обустроить страну они могут без евреев, без немцев, без всех других, которых она веками использовала, грабила, депортировала, унижала и преследовала.

Уезжали немцы, как толковали в аулах, по разным причинам: одни давно готовились к отъезду, пользуясь перестроечными послаблениями. Другие окончательно разуверились в восстановлении былой автономии на Волге и вообще где бы ни было на территории распавшегося Союза; третьи хотели оставаться немцами, избежать во что бы то ни стало неизбежной ассимиляции; четвертых пугали ближайшие перспективы молодой независимой страны, вступившей на путь долгих реформ, обвал привычного уклада, потеря родины, как малой, так и большой, вспышка нетерпимости некоторых неуемных крикунов из местных патриотов, ошалевших от свободы и приобретенной независимости.

И разговоры нет-нет да и всплывали, случалось, дурные, которых никто из пришлых-келимсеков не ждал. Недоброжелательность, дерзость, вызов сквозили в этих темных намеках.

Бывало, пройдет по «немецкой слободе» какой-нибудь гусь-джигит из молодых да ранних, у которого и под носом-то недавно только пообсохло, и как бы в шутку обронит:

— Эй, Ганс! Что засиделся, родина-то зовет.

— Какая родина? — недоумевал Ваня, которого вдруг с явной подковыркой назвали Гансом.

— Ну, как же?! Родина у Ганса — Германия.

И, уловив потайной намек, Ваня-Ганс ощетинивался.

— А что, я тебе мешаю?

— Не мешаешь. Но, сказывают ведь, джигит стремится на родину, а собака — где сытно пожрала.

От подобных разговоров немцы настораживались, острее чувствовали, что они, как ни крути, — пришельцы, не на своей исконной земле обитают, а коли так — ты чужак.

Странно и больно было слышать такое от казахов, которые сорок-пятьдесят лет назад с таким благодушием и сердечной добротой радушно привечали поневоле переселенный люд. Что случилось? Что изменилось? Терпение

иссякло? Надоело жить среди разных племен? Тесно стало? Какое-то ущемление испытывают? Души зачерствели? Раздражает относительное благополучие чужаков? Заиграло чувство хозяина?

Кто знает... Не все на свете поддается объяснению.

На общем совхозном собрании, когда знатный бригадир Петр Поляков принялся было бушевать по поводу нерадивых сельчан, захламивших поселок и канал нечистотами, задиристый заведующий клубом, недавно прибывший из города, запальчиво, на весь зал заявил:

— Эй, орыс, помолчи! Посмотри на шанырак, где находишься! Чего свои порядки навязываешь? Не нравится, катись в свою Россию. Там места много, а здесь без тебя обойдутся!

Верзила Петр от такого выпада растерялся, как мальчишка.

— Ты что, белены объелся, Сарымсаков?! У тебя я , что ли, спрашивать должен, куда мне ехать?

— Да, у меня! — закусил удила завклубом. — Я здесь хозяин, понял?!

— С каких это пор? Ты же здесь без году неделя! Хозяин нашелся!

— Я здесь всегда! Со времен гуннов! Мой предок — Аттила, если хочешь знать!

— Ах, ты щенок! Сопляк! — загремел бригадир, знатный полевод. — Гриву отрастил, бороду отпустил и думаешь — Аттила?!

И зал загудел. И было понятно, что не все возмутились выходкой завклубом, что многие склонны поддерживать его.

И кто поднимал эту мутную волну? Откуда дул ветер? С каких верховий? Кем насаждался исподволь подобный настрой?

Трудно сказать. Власти по-прежнему осуждали и национализм, и шовинизм. В печати, на собраниях все дружно ратовали за интернационализм. В самых высоких верхах постоянно твердили об единстве, о том, что Казахстан многонационален и в этом его сила и многообразие. Но находились и такие, кто утверждал вовсе обратное и незаметно смущал души местного населения, внушая ему, что оно — титульная, приоритетная, главная нация и потому должна играть первую скрипку везде и во всем, а все остальные

должны помалкивать и благодарить Бога, что их терпят, позволяют жить под единым небом и что «знай, сверчок, свой шесток», «протягивай ножки по одежке», «почаще поглядывай на шанырак». Казахстан — это атамекен казахов, и никому о том забывать не следует.

Однажды Шолпан и Кенже пришли из школы радостно взволнованные. Шолпан тогда заканчивала школу, а Кенже еще протирал штаны в седьмом классе. У Кенже глазки поблескивали.

— Коке, скоро переедем в новый дом!

— В какой дом?

— В немецкий! Представляешь? Двухэтажный, просторный, с летней кухней, с огромным погребом, с баней, душем, поливной установкой. Рахат!

— И откуда такое благо?

— Вот, читай!

И протянул отцу помятый, засаленный лист бумаги. Текст был отпечатан на плохой машинке. И, судя по темным полоскам по краям, размножен на ксероксе. Жаймурза повертел-повертел листок в руке, поднес к глазам, прочел обращение: «Казахи! Мусульмане!» и передал его Шолпан.

— Ну-ка, дочка, прочитай! Что за дакмент раздобыл наш удалец Кенже.

Шолпан с явным возбуждением принялась читать. И по голосу ее чувствовалось, что слова воззвания явно грели ее душу. «Казахи! Мусульмане! Не спешите выкупать недвижимость (квартиры, дома, дачные участки, автомобили, мебель и т. д.) у немцев, русских, украинцев, отъезжающих на свою родину.

Наша Родина — Казахстан!!!

И все, что находится на ее территории, — наше! Необходимо терпеть, и придет время, когда все будет наше (это будет быстро и внезапно).

Мы за национальную свободу казахов в Казахстане!!!»

Жаймурза нахмурился. Исподлобья глянул на раскрасневшуюся от волнения дочь.

— Не тараторь! Я же не учился, как ты, в десятом классе. Читай медленнее еще раз.

И Кенже весь превратился в слух, застыл, сев прямо у порога.

Шолпан прочла воззвание еще раз, делая долгие паузы, чтобы отец смог осмыслить все слова.

— И кто эти пакостные бумажки распространяет? — холодно спросил Жаймурза.

— Почему пакостные?! Земля-то наша! Зря, что ли, за свободу и независимость боролись?!

— Ты, что ли, шалопай, боролся? С кем, хотел бы я знать, — усмехнулся Жаймурза.

— Ну... — смутился Кенже. — Не я, так предки наши...

— Какие предки?

— Ну... эти... наши славные ханы... э... Аблай... батыры, бии... другие.

— И что, предки твои завещали отбирать дома у орысов и немысов? Так, по-твоему?

— Коке, — вскинула бровки Шолпан. — Согласитесь, земля-то наша, казахская.

— Ну и?

— И все эти келимсеки-пришлые обустроились на нашей земле.

— Ну, допустим.

— И почему они живут лучше нас? Почему, скажем, Ворм живет на усадьбе, как пан-барон, а мы ютимся в развалюхе-хижине? Это разве справедливо?

— В том, что я живу, как ты говоришь, в развалюхе, разве Ворм виноват?

— Ну, не виноват, а построил-то на нашей земле, на наши материалы. А родина его не Казахстан. Его родина — Россия. Или даже — Германия. Ну и пусть уезжает. Он там еще построит. А мы будем жить в его хоромах.

— Славно рассуждаешь, дочка. И это, по-твоему, будет справедливо?

— Конечно, коке! Это и есть национальная свобода казахов в Казахстане, как здесь написано.

— Это, дочка, не свобода, а грабеж, разбой, насилие, кощунство, если хочешь знать. И Бог покарает тех, кто зарится на чужое.

— Почему, коке, «чужое», если это наше, построено на нашей земле?! — надул губы и вспыхнул зрачками Кенже. — Почему на своей земле мы, хозяева, живем хуже других?

Жаймурза долго молчал, попеременно смотрел на двух отпрысков-последышей, укоризненно покачал головой.

— Э, бала, бала... Молодо-зелено! Что вы понимаете?.. Вот что, дети, оставим эти разговоры. Завтра вам стыдно

будет. И бумажку эту поганую порвите. И другим скажите, чтобы руки не марали. Это какой-то подлец, черная душа, мерзавец насочинил. Это позор! Казах так думать не может. Поймите, айналаиндар. А если вам тесно в отчем доме, повзрослеете, построите дом еще лучше, чем у Ворма. Кто вам помешает?

Но воззвание всколыхнуло аул. Судачили на всех углах еще долго. Потом страсти улеглись, испарились, ажиотаж спал, но немцы про себя решили: симптом недобрый, в чьих-то дремучих душах подобные мысли тлеют, а потому лучше вовремя убраться восвояси подобру-поздорову, пока еще поезд не ушел и Германия не закрыла калитку, испугавшись огромного потока с Востока. Дранг нах Остен сменился вдруг Дрангом нах Вестом.

Каждое утро приносило новость.

— Шмидт уехал. Так и не нашел покупателя. Оставил дом соседу.

— Зандеры тоже уехали.

— Пфайффер со всей своей русско-узбекско-казахской артелью укатил. Пятнадцать человек! Сразу!

— Сивоконь уехал.

— Куда?

— На Украину.

— Поляковы уехали.

— Куда?

— В Россию.

— Джалаладдин тоже собирается уезжать.

— А он-то куда?

— В Крым.

— Не дейді?! Что такое стряслось?! Кто же в ауле останется?

— Мы останемся. Нам-то ехать некуда.

— Оралманы понаедут. Узбеки примчатся. А там и шуршуты не за горами.

— Ай, нехорошо, нехорошо! Аул наш поблекнет, зачахнет, оскудеет.

— Нешауа! Жили же когда-то без келимсеков. И дальше будем жить.

— Ай, не знаю... Почему вдруг все с насиженного места снялись? Чего им не хватает? Все же есть. Лучше казахов живут.

— Перспектив, говорят, нет.

— Чего нет?

— Перспектив. Будущего, мол, нет. Зандер так и сказал: «Вы феодализм строите. Ханство возрождаете. А нам жить в феодализме не с руки».

— Надо же! Неужели что-то почуяли, что нам невдомек?

— Кто знает?.. Все оставляют — дома, подворье, скарб. Все нажитое таким трудом, за столько лет. У некоторых ведь и дети все здесь родились, и внуки.

— Неужели не жалко?

— Очень жалко, говорят. Там, на этой... исторической родине... ничто хорошее нас не ждет. Так раздольно, говорят, мы там жить не будем. Знаем, каждый холмик, каждый кустик, каждое деревце, выращенное возле дома, сниться будет... Но выхода нет.

— Да, да... конечно, каждую тварь тянет к себе подобным.

— В других местах то же происходит? Или только у нас?

— Ой, везде такой тарарам.

Действительно, за два-три года многолюдный недавно Туюк су захирел, опустел до неузнаваемости. Приуныли сады в «немецкой слободе». Даже птички не чирикали так бойко, как прежде. Зачахли виноградники вдоль склонов пригорков. Там теперь вольно паслись овцы, резвилась малышня. В усадьбах не слышно стало музыки, песен, смеха, детского гомона; никто уже не играл на скрипке, цымбале, мандолине, гитаре. Из совхозной мастерской не доносился привычный грохот. На машдворе не урчали машины. Амбулатория не работала. Звероферму кому-то продали. Инкубатор раскурочили. Хлебопекарню закрыли. Враз исчезли электрики, слесари, ремонтники, механики. В школах некому стало преподавать. В опустевших домах со временем поселились дачники из городов, кому председатель аулсовета задешево сплавлял добротные подворья. Клуб тоже кому-то продали. И баню. И детсад. Базар обезлюдел. В магазинах продавали соль, спички, заплесневевшие макароны, тухлую рыбу, кости забитого молодняка.

Тяжко было смотреть на всю эту разруху. А по радио расшибались, и в газетах писали о реформе, о планах, процветании, национальном достоинстве, духе предков и небывалых достижениях.

— Вот что значит свобода! Раньше Центр забирал 93 процента нашего годового дохода и только 7 процентов оставлял нам. Теперь все наше!

— У нас есть все — нефть, уголь, металл, зерно.

— Мы будем Кувейтом!

— За пятьдесят лет так рванем — мир ахнет.

— Все трудности временные. Это временный период. Реформы идут!

— Потерпите! Времена, когда на спине ягненка жаворонок совьет гнездо, вот-вот наступят.

— Нас признает весь мир!

— Инвестициями завалят!

— Перемены небывалые наступят!

— Апырай, почему эти благие перемены до аулов никак не доходят?

— Дойдут. Все еще впереди. Сразу и Москва не строилась.

— Так, конечно. Все образуется. Это пока власти мудрят — все бестолково. А когда народ сам дотумкает как и что, тогда все наладится.

— Беда в том, что до народа все трудно доходит.

— То-то и оно! Для этого и надо, чтобы у вожаков светлые головы были.

— Но откуда взяться светлым головам? Все ведь криводуи, плебеи. Все из грязи вышли. Только и научились, что хапать.

— Ия, ия... Из Мыркымбая, как ни старайся, вождя не получится.

— От Мыркымбая чаще всего и рождается Мыркымбай.

Так рядили-судачили в ауле, а жизнь протекала своим чередом.

Пошла полоса неудач. Неудачи и раньше шли полосами. За неудачей непременно следовала удача, так извечно устроена жизнь. Но на этот раз одна неудача сменялась еще более крупной неудачей.

И на этот раз в «коржун-доме» Жаймурзы она исходила от строптивой Шолпан.

Едва получив аттестат зрелости, Шолпан решительно заявила, что дома сидеть и в ауле прозябать она не собирается. Отправится пытать счастье в Алматы. Если уж упасть, так с верблюда. Тәуекел! Рискну! Даже педагогический

институт в Кумкенте ее не устроит. Нет! Только в Алматы! Попытается пройти в юридический на международное право, после окончания которого прямой путь на дипломатическую стезю. Либо — на худой конец — поступит в институт иностранных языков на факультет английского языка. И оттуда путь в дипломатический корпус при определенной поддержке не заказан. А работать будет только за рубежом. Только! И замуж выйдет только за иностранца. Богатого и красивого. Только! И жить будет красиво. Это ее судьба. Жребий. Это определено. И от этой мечты никто ее не отговорит.

О своих мечтах и планах Шолпан постоянно твердила матери, а потом своим решением поделилась и с отцом. И, к удивлению всех, Жаймурза возражать не стал. Правда, ему хотелось, чтобы младшая строптивая дочка все же выбрала Кумкент для старта в большую и красивую жизнь, как-никак под присмотром старшей сестры Айман, житейски более опытной и рассудительной, все же надежней. Но Шолпан настояла на своем: надоели, обрыдли ей все эти мамбеты и мамбетки, как в Туюк су, так и в Кумкенте. Она должна пообтесаться в большом мире, среди больших людей.

— Не будем гасить твой порыв. Не станем обуздывать твое стремление, — сказал Жаймурза.

Упорхнул из уютного гнезда и третий птенчик. Укатила в Алматы Шолпан и месяца два не давала о себе знать. Потом сообщила открыткой: с юридическим институтом ничего не вышло, туда, мол, поступают только по великому блату или за солидную «пара». Где у нее такая возможность? Поступила на заочное отделение какого-то странного учебного заведения. И устроилась на одну секретную работу. Не волнуйтесь, не беспокойтесь. Все о'кей. Проживу — и безбедно. Снимаю комнату, но лучше писать «до востребования». Приеду, может, через год.

Прошел год. Второй. Шолпан так и не приехала. И открытки приходили все реже.

Кумис все чаще вытирала слезы. Материнское сердце почувствовало неладное. Жаймурза вздыхал. И все грозился отправиться в Алматы и самому убедиться, где учится, работает и как живет Шолпан.

Но пыл отца каждый раз гасила Айман, которая не раз бывала в Алматы.

— Не волнуйся, коке. Дочь твоя не пропадет. И живем не хуже других. Позаботься лучше о своем наследнике.

Наследник, Кенже, между тем заканчивал школу и готовился в армию.

VIII

Полина билась в истерике. Несколько немок удерживали ее, хватали за руку, уговаривали, успокаивали, гладили по голове и плечам. Она, как безумная, кричала, вырываясь, голосила:

— Нет, нет, нет! Не могу! Лучше убейте, убейте! Сразу! Вместе с ребенком!

Представитель облвоенкомата, серый и злой, терпеливо выслушал женский вой. Уже столько дней одно и то же во всех поселках и аулах, где проживали депортированные немки. Плач. Крик. Истерика. Отчаянье. Некоторые прижимали к себе онемевших от ужаса малых детей и надрывно вопили, сильнее обычного обнаруживая свой немецкий акцент:

— Либер Хайланд! Иезус Мария! Нэт, нэт! Найн! Пропадут майне киндер...

Капитан из облвоенкомата суровел, перекатывал желваки, белел глазами.

— Да поймите вы-и! Это приказ. Его надо выполнять. Все для фронта! Понимаете? Весь советский народ... А вы? Это называется саботаж! Значит, вы вредите Красной Армии. Вы способствуете Гитлеру.

Женщины на мгновение умолкали, понимая свое бессилие перед такими аргументами.

— Мы на все готовы. И на все согласны. Мы любой указ-приказ выполним. Только не разлучайте нас с детьми.

— Разрешите их забрать с собой, товарищ военный.

— Или сначала убейте их. Все равно нам всем пропадать.

Из колхоза имени Кирова по разнарядке военкомата предстояло мобилизовать в трудармию шесть немок в возрасте от шестнадцати до сорока двух лет. Не трогали только тех, у кого были совсем уж малые дети. Если же ребенку исполнилось три года — никаких разговоров, никаких исключений. Оставь ребенка или детей у бабушек, а нет бабушек — отдай на попечение родственникам, а если

нет и таковых — то можешь их отдать в детский дом. Советская власть в беде не оставит. А потом, когда разгромим Гитлера в собственном логове, вернетесь домой и заберете своих чад в целости и благополучии. Из шестерых мобилизованных две были еще зелеными девчонками. Одной едва исполнилось пятнадцать. Другой было восемнадцать, и она была еще не замужем. Из замужних у одной не было детей. У другой было двое, но их брали к себе бабушка и дедушка, жившие в соседнем селе Коммунар. А у Полины Ворм ни близких, ни знакомых во всей округе, и Эдю предстояло передать в неведомый детский дом в Кумкенте.

— Вернешься — заберешь. Не пропадет твое сокровище, — мрачно буркнул капитан.

— Кто отвезет его в детдом? Дайте тогда срок, — предложила Полина.

— Это уже не твоя забота. Этим займется аулсовет. Оформит бумажки и отвезет, определит. Можешь не беспокоиться.

Полина была в отчаянии. Она смирилась с тем, что вместе со всеми единокровниками выселена в неведомые края. Смирилась с нуждой и лишениями. В конце концов, не она одна, все так живут. Смирилась и с тем, что Карла забрали в трудармию. И тут она не одна такая: у всех женщин вокруг забрали мужей. Не одна в одиночестве коротает дни. От Карла пришло за год одно лишь письмо из Свердловской области, где он работал на лесоповале. Она жила надеждой, что распроклятая война когда-нибудь кончится, Карл вернется, потом все они, депортированные и эвакуированные, переедут в родные места, и жизнь опять наладится, потечет по-старому, а пока хотя она, Полина, и живет на чужбине, но среди людей, над головой есть крыша, работает в колхозе, и сыночек, ее отрада, рядом, подрастает, щебечет, мать радует и утешает. Надо только жить и надеяться на то, что все утрясется, все образуется.

И вот новая напасть, новое испытание. Надо оставлять бедный, но свой очаг, опять уезжать в неведомые края на каторгу, еще более удаляться от Карла и разлучаться с родной кровинушкой, беспомощным, еще ничего не понимающим в этом жестоком мире Эдмундом. Что с ним будет? Кто о нем позаботится? Кому он нужен? Что станет с ней? Увидит ли она еще когда-нибудь мужа и сына?

И, не находя ответа на эти вопросы, она окаменела, и слезы сами по себе струились по ее запавшим щекам.

Выехать в Кумкент предстояло на рассвете на полуторке, присланной из райвоенкомата. На сборы отвели ночь. Полина металась в закутке, перебирала вещи, складывала их в брезентовый рюкзак; другие, что не могла забрать с собой, пихала в большой фанерный чемодан. Все вокруг казалось чужим и ненужным. Единственно дорогими реликвиями были семейный фотоальбом, запечатлевший тень ушедшей навсегда жизни и памятные черты близких людей, аккуратный сундучок с набором слесарных и столярных инструментов Карла и одно-единственное его письмо, написанное вперемешку по-русски и по-немецки.

Эдя спал на кушетке. Спал тревожно, ворочался, скрипел зубами, пускал слюну. Видно, и его крохотное сердечко чувствовало что-то неладное. Может, и он догадывался о предстоящей разлуке.

Сердце Полины разрывалось. Будильник, прихваченный еще с Волги, мерно отсчитывал время. До отъезда оставалось несколько часов, а Полина никак не могла остановиться на окончательном решении: как быть с сынишкой? Кому его оставить хоть на первых порах? Бабке Амалии? Но у нее своих три внука, и сама еле-еле передвигается. Может, Софии? Но она одинокая и больше поглядывает на редких в ауле мужчин, чем на детей. Какая из этой шалавы нянька? Непонятно, по каким причинам ее не забирают в трудармию? За какие такие заслуги? Выходило, во всем селе некому оставить под присмотром ребенка. Она вспомнила, как всего месяц назад в соседнем Коммунаре также забирали немок, и пятерых их детей от трех до шести лет заперли в контору аулсовета, чтобы не путались под ногами, не надрывали души сердобольных аулчан и чтобы на другой день отвезли их в Кумкентский детдом. Рассказывали, как всполошился весь аул, когда увозили трудмобилизованных немок, как голосили они, как их с трудом удерживали в кузове и как в окошко аулсоветской конторы глядели пять пар расширенных от ужаса детских глазенок. Говорили, весь аул был потрясен. Одного мальчонку пригрела казахская семья, а остальных детей утром отвезли на двуколке, запряженной ишаком, в Кумкент.

Неужели такая судьба ждет и Эдю? Полина, обливаясь слезами, склонилась над спящим сыном, осторожно погладила по его белокурым кудрям, вспотевшим у основания, по нежному лобику, чувствуя, что сердце ее не выдержит и она вот-вот рухнет без сознания.

Ночь была на исходе. Вскоре надо было с рюкзаком появиться у аулсовета. Опаздывать нельзя. Еще вечером строго-настрого предупредил их о том суровый капитан из облвоенкомата. К десяти часам утра они, мобилизованные на каторжный труд немки-спецпереселенки, должны предстать на медосмотр в области. «Никаких шуток и фокусов! — предупредил капитан. — Никакого членовредительства и сознательного отравления! Никаких бабьих штучек! И никакого рева! По закону военного времени... смотрите... Хуже будет... как врагов народа...»

Прилегла измученная Полина на рассвете, прижалась к сыну и незаметно забылась, уснула, как в яму провалилась. И даже сон приснился. Неожиданно у порога вырос Карл, неестественно длинный, худой, обросший, в плаще, застыл, уставился в одну точку и стоит, ни слова не говорит. Так он постоял-постоял, потом повернулся, точно растворился во мраке, исчез. «Карл! Карлуш! Карлуша!» — в голос закричала Полина, но голоса своего не услышала. А услышала осторожный, вкрадчивый стук в дверь. Полина очнулась в испуге.

— Поля. Полечка. Это я, Хадиша.

— О, господи, что случилось?

— Ничего не случилось. Не бойся.

Хадиша в длинном цветастом платье, в заношенном бархатном камзоле, в сапогах, в платке, зябко кутаясь, присела на краешек кушетки, покосилась на спящего Эдика, умиленно пробормотала «айналайын» и уставилась большими, влажными, как у верблюжонка, глазами на Полину.

Жила Хадиша через пять-шесть домов от мазанки-времянки Полины, а работали они с осени все время на пару — на току, потом на ферме, то телятницами, то доярками, и незаметно две молодые женщины так подружились, что не обходились друг без друга, только что ночевали врозь. Мужа Хадиши забрали в армию в самый канун войны и служил он где-то на Украине. В письме писал: «По утрам, когда рассеивается туман, мы видим на том берегу речки, как копошатся немцы». Это было его единственное письмо. Потом ни слуха, ни духа. И жила Хадиша с двухлетней дочуркой Асимой, оберегая очаг своего Жуматая. В ауле ее утешали: «Раз нет похоронки, значит, жив. А жив, так когда-нибудь к своему очагу вернется». С этой надеж-

дой Хадиша каждый вечер ложилась спать. С этой надеждой вставала по утрам. С этой надеждой трудилась деньденьской в колхозе.

Полина заметила в глазах Хадиши решительный блеск, тугие смуглые щеки от быстрой ходьбы или от волнения порозовели:

— Ну, что решила, Поляжан?

— Ой, не знаю, не знаю. Всю ночь продумала, ничего не надумала.

— Мне доверяешь? — сглотнув, горячо спросила Хадиша.

— Что это значит? Почему не доверяю? Ты в этом ауле для меня самый близкий человек.

Хадиша вскочила и порывисто обняла Полину. Обе женщины прослезились.

— А доверяешь — оставь Эдика мне. Да, да! Как за Асимой присматривать буду. Вернешься — заберешь сына. Оллахи, сберегу!

У Полины расширились и застыли зрачки. Она долго ничего не смогла сказать. Наконец хрипло спросила:

— Ты серьезно? Немецкого мальчонку возьмешь в свою семью?! А что твои... твои... ну, сородичи скажут?

— Не беспокойся. Никто ничего не скажет. Дети — божьи создания. У них нет вины. А Эдика я давно полюбила. Будет он братиком моей Асимы. Не бойся, не бойся, Поляжан. В обиду твоего сыночка не дам. Оллахи-беллятхи!

Полина точно онемела. Слезы опять полились из ее глаз. О таком варианте она и не думала.

— А что муж твой скажет? Вернется с фронта и увидит в своем доме мальчика-чужака.

— Знаю, Жуматай будет только доволен. Похвалит. Нет такого казаха, который бы плохо относился к малым детям.

— Ты все обдумала, Хадиша?

— Со вчерашнего дня только о том и думаю. Все взвесила. Будет Эдик для меня как родной.

И опять надолго замолчала Полина. Мальчик тихо посапывал. Будильник мерно отстукивал время.

— Поляжан, послушай меня. Скоро тебе выходить. Мальчик проснется. Ты начнешь на его глазах плакать, кричать. Испугаешь его на всю жизнь. Обними и поцелуй его сейчас, пока он спит. А я его заверну в одеяло и унесу к себе. А проснется, все ему расскажу, уехала, скажу, скоро

вернется, уговорю, утешу, обласкаю. Так будет лучше. Поверь, Поля...

— Господи, как все неожиданно... Ничего не соображаю...

Полина встала на колени у кушетки, склонилась над ребенком, прильнула лицом к его личику и, вдыхая родной запах, чуть не разрыдалась. Стиснув зубы, задрожала подбородком. Хадиша нежно гладила ее по плечам, похлопывала ладошкой, успокаивая, по спине.

— Тише. Разбудишь. Возьми себя в руки.

Полина вдруг окаменела лицом, побледнела, только глаза лихорадочно блестели на заострившемся лице. Встала с колен. Повернулась лицом к крохотному, зарешеченному окошку.

— Забери, Хадиша... Ты — мой ангел-хранитель.

Хадиша проворно закутала спящего мальца в одеяльце, прижала к себе, обнюхала влажный лобик, перешла на шепот:

— Все. Пошла. Остальные вещички потом перенесу. И за домом присмотрю. Не беспокойся. Все-все сберегу к твоему возвращению. Крепись. Не отчаивайся.

Ни словом не обмолвилась Полина. Было неясно, расслышала ли она жаркий шепот подруги.

В крохотное оконце она еще увидела, как быстро-быстро перебирая ногами в огромных, мужниных сапогах, развевая подолом цветастого платья, юркнула за угол улицы Хадиша с дорогим свертком на руках. «Стой! Стой!» — хотелось кричать Полине, вернуть ее, приникнуть еще раз напоследок к сыночку, но у нее не было ни сил, ни голоса. Как подкошенная, она рухнула на кушетку, затряслась в рыданиях. И сквозь забытье услышала гудок машины и гулкое в утренней тишине урчание мотора. «Все! Все! Все! — лихорадочно мелькало в ее сознании. — Неужели навсегда? Навсегда?»

— Эй, Ворм! К выходу! — услышала она прокуренный голос капитана. — Быстро! Шнель-шнель, фрау-мадам!

Полина ни жива, ни мертва закинула на плечо рюкзак, сжалась вся в комок, будто шла на казнь, прикрыла за собой хлипкую дверь, привычно провернула ключ в замке, засунула ключ в застреху над косяком и направилась к дрожавшей от нетерпения полуторке.

— Гутен морген! — привычно поприветствовали ее товарки по несчастью, сбившиеся в тесный кружок на кузо-

ве. Все уже были в сборе. Шесть мобилизованных. Одетые в самое теплое, что у них осталось, с дряблыми котомками у ног, все одинаково серые, безликие, с испуганными, измученными глазами, они сидели на замызганном брезенте, смирные, безмолвные, обреченные.

— Гутен морген, — еле слышно отозвалась Полина, неуклюже вскарабкиваясь в кузов.

— Тафай, тафай, — подделываясь под немецкий акцент, весело произнес капитан и подтолкнул снизу Полину. Ухмыльнулся, облизнулся. — Гутен морген, гутен таг, бьем по морде просто так...

И, разрывая утреннюю тишь, старая разбитая полуторка покатилась в сторону Кумкента.

IX

Город Жаймурзу ошеломил. В Кумкенте он не был лет восемь. За это время и люди изменились, и города стало не узнать. Жаймурза вначале растерялся, будто попал не в затрапезный, зачуханный, пыльный Кумкент, который всегда казался ему лишь несуразно большим аулом, а в какой-то совсем незнакомый, иностранный город, какие иногда мельтешат на экране телевизора. Все бывшие здания, по которым он, бывало, ориентировался в городе, либо неузнаваемо преобразились, либо вообще на месте не оказались. Вместо двух-трехэтажных чумазых кирпичных домов устремились в небо сплошь девяти-десятидвенадцатиэтажные размалеванные, разукрашенные здания из бетона и стекла. «Апырай, из-под земли, что ли, они выскочили? Или с неба свалились?» — диву дивился старик в аульном обличии и с ветхим, обтертым коржуном. Он долго топтался на пятачке автостанции, озирался вокруг, соображая, куда теперь ему податься, повторяя про себя адрес дочери. Айман квартировала недалеко от автовокзала — всего две-три остановки на троллейбусе номер пять. Старик, щурясь, смотрел на таблички, увидел, как сновали вокруг машины, автобусы, допотопные коробки и совсем новехонькие, важно колыхавшиеся на поворотах, с плавным, мягким ходом иномарки, а троллейбусов что-то не было видно. Жаймурза в снующей людской толпе высмотрел миллиционера-казаха, изнывавшего в своей форме и сапогах на лютой жаре, подошел к нему.

— Эй, дорогой, подскажи, где здесь ходит пятый троллейбус? — спросил по-казахски.

Милиционер хмуро оглядел старика в нелепой помятой шляпе и обвислом пиджаке поверх свитера и рубашки, брякнул:

— Что, ахсакал?

И по тому, как миллиционер-казах произнес слово «ахсакал», старик догадался, что с этим малым, пожалуй, сподручнее говорить по-русски.

— Э, пятай, пятай троллейбус где?

— Какой еще троллейбус! — буркнул милиционер. — Троллейбусы в городе уже больше года не ходят.

— Как не ходят? — не понял Жаймурза. — Пятай, пятай надо.

— Вам же, ахсакал, русским языком говорят: троллейбусы не ходят.

— Па-а-шему?! — возмутился Жаймурза.

— Вот заладил! — У милиционера от раздражения даже усики зашевелились. — Пошел бы ты, ахсакал!

— Куда пошел, айналайын?

— «Куда, куда»... Куда надо, туда и иди!

«Вот остолоп! — подумал про себя старик. — С левой ноги, что ли, встал? Или с бабой ночью не поладил?» Старик завернул за газетный киоск. Здесь поудобней устроились трое явно сомнительного вида и, сидя на корточках, разделывали под орех «акмаганбета» — бутылку огненной водицы. На старика с коржуном посмотрели с любопытством.

— Что, старина, заблудился? Отару потерял?

Тройка дружно расхохоталась, а старик, крепче стиснув коржун, заплетаясь ногами, свернул в другой уголок, присел на валун.

Невеселые мысли роились в потной, плешивой голове старика. «Как же теперь быть? Куда податься?.. Ай, необдуманно все получилось. Сунулся в воду, не зная броду. Тут и в самом деле заблудиться немудрено. Как-то все не заладилось с самого начала. Все пошло сикось-накось. Все неудачи начались с того, что пенсию уже за несколько месяцев так и не дали, и занять было не у кого. Тогда по примеру аулчан, которым позарез предстояло выезжать в райцентр или Кумкент то проведать знакомых в больнице, то навестить родных, то по базарным делам, он погнал

на грейдер двух валухов и час-другой постоял на обочине, дожидаясь, когда кто-нибудь из проезжих смилостивится или позарится на барашек, которых бедные жители уступали в спешке почти за бесценок. На вырученные от одного барана деньги можно было съездить до Кумкента и вернуться назад. Ну а если надумал привезти из города для старухи и внуков кое-какие гостинцы, тогда сплавь проезжающим лихачам и второго барана. А надобности для поездок в район или в город было достаточно у каждого жителя аулов. И коли ни у кого денег не было, а зарплату и пенсию не выдавали годами, то за короткое время весь скот в ауле и ушел на ветер, доставаясь разным мазурикам, лихачам да бойким городским ухарям, падким на дармовщинку.

Деньги, вырученные за двух валухов, Жаймурза, раза три пересчитав (он купюры плохо различал, поскольку редко видел), сложил в потайной кармашек брюк и время от времени щупал его, удостоверяясь, что капиталы на месте. Ему все чудилось, что валухов он продал удачно, и денег у него теперь навалом — и на дорогу хватит, и на гостинцы-базарлык останется.

Отдохнув с дороги на валуне в укромном местечке, отломив кусок лепешки из коржуна, сжевав его, он не спеша прогулялся по вокзалу в надежде, что, может, встретится кто из знакомых. Народу толпилось больше, чем людей, но знакомых лиц что-то не попадалось. Все суетились, бегали, сновали взад-вперед, раскладывали товар, торговали кто на что горазд.

Огромный вокзал вмиг превратился в базар. Лавки выстроились в два ряда в огромном зале ожидания, в каждом закутке — стекляшка, а в ней чего только не навалено, не развешано, не разложено, и все какой-то аляповатый заморский товар. Торговали все и всем в коридорах, клетках, боковушках, в проходах, возле касс и туалета, везде и всюду, куда можно было протиснуть столик, ящик или хотя бы расстелить газету. «Апырай, все казахи, что ли, торгашами заделались? — невольно изумился Жаймурза. — Откуда все взялось? И кто это все покупает, если у людей нет денег? И кто где работает, если даже вокзал превратился в базар?»

Жаймурза пригляделся, осмотрелся и глазам своим не поверил. Цены были совершенно немыслимые, невооб-

разимые. Он прикинул: за цену одного валуха он может купить коробку конфет, пять бутылок воды, пару пачек сигарет и блок жвачек. Ой, аллай! Откуда у бедного аулчанина столько овец?! Ну его к шайтану! Лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться с утра.

Прямо у входа расположилась за раскладными столиками молодая, дородная казашка и смачно жевала жвачку. Вокруг толпилась ватага джигитов, что-то разглядывала и гоготала. Жаймурза подошел, протиснулся и рот разинул от удивления. С глянцевых обложек журналов на него глядели, улыбались, подмигивали, зазывали, представляя, предлагая, выказывая свои обнаженные прелести, красотки всех мастей, и это было так неожиданно, что Жаймурза опешил, застыл, не зная, куда спрятать глаза. Прожил с Кумис более полувека, вырастил четверых детей, но сроду не предполагал, что женщина может быть такой, может стоять, сидеть, лежать в таких позах и бесстыже, нагло показывать людям то, что вообще не положено обнажать.

— Ну как, аксакал, нравится? Какую бы ты выбрал? — спросил, ухмыляясь, прыщавый юнец.

Вокруг осклабились, ощерились, захихикали. Жаймурза не нашелся что ответить.

— Х-хе! Старик дело знает. Видать, в своем ауле немало телок катал. Вон как губа у него отвисла.

— Нет, серьезно, какая тебе больше по душе, аташка? Блондинка? Брюнетка? Рыжуха? Тощая? Пухлая?

Все повернулись к старику, зажали его со всех сторон, а он был готов провалиться сквозь землю.

— Ему по вкусу подходит та, что днем тощая, стройная, а ночью румяная и пышная, как баурсак. Верно, аташка?

Толпа юнцов дружно загоготала, заколыхалась, нечистая ухмылка исказила их еще мальчишеские лица. Особенно поразила Жаймурзу толстая молодка, что смеялась вместе с юнцами и торговала сомнительным товаром.

— Үй, ақмақ! Көргенсіз! Ұятсыздар!

Жаймурза в досаде сплюнул и скорее ушел от срамного места.

Юнцы загоготали ему вслед.

— Расстроился бабай!

— Обидно стало. Жизнь прожил, а что такое секс — понятия не имеет.

— Дундук аульный! Мамбет допотопный!

Жаймурза по стрелкам на стенах определил, где находится туалет, и подался туда. И здесь, у самого спуска в подземку, шла бойкая торговля. Струился дразнящий дымок от жаровен, пахло горелым луком, свежими лепешками, уксусом, поджаренными орешками, кунжутным маслом. Под ногами валялись кожура от фруктов, грязные кульки, семечная шелуха, раздавленные помидоры, огрызки яблок, набухшие в лужах пачки сигарет и кипы газет. Солнце припекало. Роились жирные зеленые мухи. Шныряли бездомные собаки и кошки. Старик, все время поправляя сползавший коржун, протискиваясь сквозь толпу, толкаясь и оступаясь, спустился по обшарпанным, выщербленным ступенькам вниз и попал в слабо освещенное помещение, в котором стояла длинная очередь в два направления — мужчины и женщины. И все с чемоданчиками, баулами, «дипломатами», сумками. «У, собачьи дети! — подумалось старику. — Всем приспичило в одно время». Старик пристроился в хвосте мужской очереди. У перегородки за столиком, вытянув, точно шлагбаум, ноги в толстых шерстяных чулках и азиатских галошах, важно восседала, будто на троне, громоздкая чернявая бабища неопределенного возраста и национальности, отхлебывала из пиалушки кок-чай, принимала плату за свои услуги, сдавала сдачу, выдавала, отрывая от рулона, туалетную бумагу остро нуждающимся и ленивым, но властным жестом направляла нескончаемый людской поток в два русла по половым признакам.

«Интересно, сколько она наберет за день? — подумалось Жаймурзе. — Наверняка дневная выручка потянет на два-три барана. Это надо же! Сидя в холодке, в туалете, потягивая кок-чай и раздавая бумажки для подтирки, она зарабатывает больше... больше...» Но больше кого, старик так определить и не смог. «Пай, пай! А как сидит! Какой вид! Царица!»

— Скорей, скорей, бабай! — утробным голосом пророкотала баба с усиками и отхлебнула из пиалы. — Заранее деньги готовить надо!

Жаймурза полез в боковой карман пиджака. Еще утром, продав валухов у грейдера и садясь в автобус, он на всякий случай сунул две бумажки — трешку и пятерку — в боковой карман. Сейчас, явно робея перед бесцеремонной, усатой гром-бабой, он полез рукой в карман и застыл,

будто колотушкой невзначай хватили по темени. В кармане было пусто. Сунулся в другой карман, достал помятую бумажку с адресом Айман. Похлопал по карманам брюк. Нету! Пропали денежки! Пот мгновенно выступил на лбу. Он слышал, что город кишит воришками-щипачами, но и в мыслях не допускал, что можно средь бела дня так ловко, так незаметно обчистить карманы.

— Что, бабай, уснул?! — гнусаво подстегнула его коньбаба.

Жаймурза вздрогнул. Стоял, как вкопанный. Женщины и мужчины вокруг, укоризненно косясь на него, кидая в плоскую алюминивую тарелку монеты и получив положенную порцию туалетной бумаги от худевшего на глазах рулона, быстро исчезали за кабинками по обе стороны помещения. Людской конвейер тянулся безостановочно, а у старика кружилась голова, и мысли роились-бились, как мошки перед дождем. «Как же так? Как я мог так сплоховать? Неужели опростоволосился у лотка со срамными картинками?»

Старик попеременно щупал свои карманы, все еще недоумевая, лихорадочно дотронулся до потайного кармашка в просторных брюках за ремнем. На месте. Бугрится. Но как быть? Как вытащить деньги из-за пояса? Жаймурза начал расстегивать брюки.

— Не здесь, не здесь, бабай! Подожди! — басила коньбаба, то ли сторож, то ли кассир. — Сначала оплати.

— Сишас! Сишас! — бормотал старик, одной рукой поддерживая коржун, другой стараясь извлечь из маленького кармашка за ременным поясом сверток с деньгами. Пальцы его дрожали. Пот струился по лицу. Жирная зеленая муха жужжала и вилась у его носа. Вокруг толкались, сновали люди.

— Э, ладно, бабай, — смилостивилась грозная стражница. — Бог с тобой, иди! А то еще обделаешься невзначай.

Баба убрала вытянутую ногу в вязаных носках, пропустила старика, и он, сконфуженный и растерянный, забрался в кабину, закрыл за собой дверь, не сразу сообразив, зачем он сюда пришел.

Жаймурза достал деньги, отслюнил одну бумажку, сунул поглубже во внутренний карман пиджака, остальные туго завернул в носовой платок, затолкал в потайной кармашек и только тогда вспомнил, ради чего он сюда прита-

щился. Ему показалось, что он не замешкался, управился быстро, но баба-стражница оказалась другого мнения.

— Эй, бабай! Ты все еще здесь?! — бесцеремонно гудела она в гулком помещении. — Давай, давай, проваливай!

Он подошел к ней, видно, не с того бока, против течения, достал десятку, неуверенно протягивая ее грозной стражнице, но та небрежно повела рукой.

— Ладно, ладно, бабай. Иди! В следующий раз расплатишься.

Выбравшись из подземелья на свет божий, Жаймурза пришел в себя, огляделся и отправился на поиски квартиры Айман, расспрашивая каждого встречного-поперечного.

— Шумилов улиса кде?

Верно сказано: расспрашивая, и до Мекки дойдешь. Улочка Шумилова действительно находилась от автостанции на расстоянии ягнячьего перегона. Сначала по обе стороны улиц тянулись новые высотные дома, и все вокруг было ухожено, опрятно, выложено фигурными плитками, всюду скамеечки, фонтанчики, клумбы, фонари, бассейны, как на картинке, но потом все это великолепие враз обрывалось, пошли кривые закоулки, переулки, тупики, глухие домишки, ветхие заборы, выщербленный, побитый асфальт, мусорные баки, запущенность и убожество. Голопузая малышня, похлеще аульной, азартно гоняла на пыльном пустыре мяч. По виду все черноглазые, черноголовые, но галдели все по-русски.

— Эй, балалар, где здесь дом двадцать один?

Но никто из бойкой ватаги ему не ответил, пока он не повторил свой вопрос по-русски.

— Дальше, дальше, дедушка, — махнул в сторону обросший, больше всех кричавший малец, видно, заводила. — Здесь пятьдесят шесть.

И Жаймурза поплелся дальше, замечая, что он спотыкается все чаще, ноги гудят, и странная дрожь волнами прокатывается по телу.

Солнце пекло все заметнее, медленно приближалось к зениту. Временами налетал ветер, вздымая пыль и песок. Улочки становились все теснее. Из-за кустов и чахлых деревьев виднелись железные ворота. От стоячей, ржавой воды в захламленных арыках шел тяжелый, смрадный дух.

«Город называется! — ворчал про себя старик. — Яма зловонная! Поставили несколько стекляшек посередине,

размалевали их как платье узбечки, а здесь... все тот же залатанный старый чапан».

Поминутно расспрашивая редких прохожих, топчась вокруг неприглядных домишек, подслеповато разглядывая железные таблички с поблекшими, стертыми цифрами, сверяя числа с тем, что было указано в адресе, он добрелтаки до двухэтажного, явно довоенного, камышитового дома, такого неприглядного и запущенного, что даже боязно было войти в подъезд.

Жаймурза поднялся по шатким деревянным ступенькам, жалобно скрипевшим под ним, на второй этаж, сразу увидел дерматином обитую дверь, из щелей которой торчало грязное веретье, вытер рукавом потное лицо, сказал «Бисмилля!» и нажал на кнопку.

Старик почувствовал, как сердце его колотится, гулко отдаваясь в висках, а гадкая дрожь ударила в ноги.

За дверью залаяла собака. Потом послышался вялый, надтреснутый старушечий голос.

— Кто там?

— Э... э... Айман дома? — не сразу нашелся старик.

— Кто?.. Какая Айман?

— Э... Айман... дочка. — Из головы вдруг вылетела фамилия дочери. — Э... эта... Айман Бимендина. Ия, ия... Бимендина.

— А кто спрашивает? — поинтересовались за дверью через паузу.

— Э... атес... да, да... атес... Из аула.

Дверь приоткрылась на длину цепочки. И в щель сначала просунулась тупорылая морда собаки, лаявшей утробно, с надрывом, а затем немного выше яростного пса — одутловатое, как расплывшееся тесто, лицо пожилой хозяйки.

— Отец Айманки? — переспросила старуха, запахивая на груди неопределенного цвета халат.

— Ия, ия... Атес Айман... Аул приехал.

— Так Айман здесь не живет. Уже давно съехала. Она теперь важная стала. И муженька отхватила из крутых. О, Айманка еще та птаха.

— Постой, постой... — Старик еле остановил говорливую хозяйку. И сквозь гулкий лай рассвирепевшего пса он половину слов не расслышал и не понял. — Постой... Ызнашит, Айман дома нет?

— Да съехала, говорю вам. Уже давно.

— Куда уехала?

— Откуда мне знать?! Нашла себе хахаля и укатила, — начала сердиться старуха и на своего пса, и на бестолкового старика за дверью.

— Эй, постой! Минотка! — Старик приник плотнее к щели. — Скажи мало-мало понятно. Какой какаль? Какаль — что? Куда катил?

— Да пошел ты! — прикрикнула хозяйка на пса, даже пнула его. И на старика повысила голос. — Говорю тебе: замуж вышла твоя Айман. Понимаешь? И здесь не живет.

— А где живет?

Но вопрос старика прозвучал в пространстве, так как в это самое время оскорбленный пес ударился в протяжный, остервенелый лай, и хозяйка в досаде захлопнула дверь.

У Жаймурзы подкосились ноги. И он опустился прямо на ступеньку, привалившись спиной к шатким перилам. Он перевел дыхание, вытер рукавом пот, сам у себя спросил.

— Енді не істедік? Енді қайттік?

Неужели ему вернуться в аул ни с чем? Двух валухов продал-промотал, мотался, как неприкаянный, как дервиш-бродяга, трясся в пыльном автобусе, по разбитым дорогам, и вся недолга? Где теперь ему искать дочь? Чего только не мелет эта марджа с бульдожьей харей. «Замуж вышла — говорит. — Укатила». «Какаля какого-то нашла». Что за какаль? Она же вроде была замужем...

Отогнав, видно, бульдога в заднюю комнату, хозяйка опять приоткрыла дверь, не сняв с щеколды цепочку, изумленно спросила:

— Вы все еще здесь?! От того, что будете здесь торчать, Айман не дождетесь. Она здесь не появится. Вы знаете... сходите-ка на базар. Базар знаете?

— Знаим... знаим...

— Вот сходите на базар. Найдите контейнерный ряд под навесом. Лабиринт называется. Там у Айман магазинчик. Два спаренных контейнера. Понимаете?

— Ия, понимаю... — пробормотал Жаймурза, с трудом соображая — Хантайнар — это что?

— Ну, это... торговая точка. Магазинчик. Иностранными шмотками торгует. В самом углу, в глубине лабиринта. Там, может, найдете Айман. Или у продавщиц спросите. Они, может, адрес дадут.

— Понял, понял, хозяйка. Рахмет!

Потопал Жаймурза на базар. Когда-то он бывал на той знаменитой толкучке — не однажды. Базар находился недалеко от мечети, чей минарет был-виден издалека. Это был заметный ориентир, и Жаймурза, грохоча обтерханными кирзачами по асфальту, ринулся в ту сторону. Он опять удивился разительным переменам, произошедшим в городе за каких-нибудь семь-восемь лет. Все было неузнаваемо. Центр оказался весь перестроенным. Новые дома и совсем не похожие друг на друга магазины, кафе, забегаловки, парикмахерские, чайхана и кумысхана, бары, пивные, какие-то учреждения, офисы с непонятными, на английском, турецком языках, надписями у входа, скверы, фонтаны, клумбы, памятники неизвестно кому, какие-то батыры в доспехах, горделивые ханы, восседавшие на вздыбленных конях, бии, сидевшие рядком, с камчами в руках и немыслимых шапках. Нет, поистине Кумкент было не узнать. Апырай, что же это получается? Аул хиреет на глазах, как хворый ягненок... кругом распад, разруха... люди уезжают, бросают все нажитое, а тут, в городе, под боком кипит-бурлит диковинная жизнь, все сверкает, блестит, откуда деньги... откуда все это богатство, великолепие? Неужто из аулов выкачивают? Неужели одни преуспевают, жируют за счет других? Ведь известно, у Бога ничего лишнего нет. Все в разумных пределах. Всех облагодетельствовать он не в состоянии, он только то, чем владеет, у одного отберет, другому дает. Может, и нынешние политики, благодетели и заступники народа пошли по такому пути. Просто у аула берут и городу отдают. Вот горожане с жиру и бесятся. Непонятно, непонятно... Какие двери, окна у этих магазинчиков! Сколько, интересно, понадобится баранов, чтобы обрести такую вот дверь с медными ручками, окованную блестящими железяками?.. Когда по радио день-деньской долдонят о реформах, о новой жизни свободной, независимой страны, то, видно, вот это и имеют в виду. А они, аулчане, перебиваясь с лепешки на чай, живя в нужде, в беспросветном захолустье, без света, газа, пастбища, скота, без школ и больниц, без бани и вообще без ничего, просто не знают, не ведают о нынешних преобразованиях, о переменах, не представляют, что происходит в стране.

И мечеть вся преобразилась. Возвышалась горделиво, вся подновленная, разукрашенная, неприступно величе-

ственная, за чугунной оградой. Купол зеленел под ярким солнцем. Минарет подпирали мраморные колонны. За оградой темнела толпа. Мелькали муллы в роскошных чапанах, ослепительно белых чалмах, с аккуратно подстриженными бородками. При случае, подумал Жаймурза, надо бы зайти. Вдоль ограды густо, точно вороны на карагачах по обочине дороги, сидели нищие. Вздорили, дрались за место, недобро косились друг на друга. Жаймурза заметил, что мусульмане и кафиры-иноверцы сидели вперемешку.

Мечеть строили долго, на нее лет десять собирали всем миром деньги и поговаривали, что жидкобородый, дородный, косноязычный муфтий, больше похожий на торгаша, нежели на духовное лицо, сначала отгрохал себе двухэтажный особняк с гаражом, сауной и бильярдной, потом лишь принялся за перестройку мечети, которую довел до ума якобы крупный богач, недавно вырвавшийся из тюрьмы на волю. Слух о новой мечети докатился и до дальних аулов.

Многолюдный вокзал, поразивший воображение Жаймурзы, по сравнению с базаром оказался пустынным уголком. А настоящее столпотворение оказалось здесь, на базаре. Видно здесь собирался весь город. Здесь с утра до вечера околачивались все от мала до велика. И невозможно было понять, кто продает, а кто покупает. Пройдя через огромные ворота под аркой, старик сразу очутился в круговерти, от чего ему стало не по себе. На сколько хватило глаз, тянулись каменные лавки во все стороны, под гулким сводом раскатывалась разноплеменная речь, и за лавками стоял разношерстный люд, и по эту сторону толпились представители всех народов и рас. Людской поток разливался налево-направо, растекался на русла, вновь сливался, как льдины в половодье, сгущался и ненадолго рассасывался, и понять что-то в этом колоброде было невозможно. Старик, всех задевая, сшибая, расталкивал своим коржуном, протискивался сквозь плотные заслоны не обращавших на него внимания людей и углублялся все дальше, дальше, чувствуя, как у него кружится голова и тошнота подступает к горлу. Сначала он вглядывался в лица, выхватывая из толпы казахские обличья, чтобы хоть кого-нибудь остановить, спросить, а потом лица сливались, превращались в сплошное месиво, и старик только удивлялся, каким

образом люди разбираются в этой толчее, знают, куда им двигаться, где и что покупать, и при этом умудряются еще разговаривать, обмениваться на ходу, что-то жевать, пить, грызть, щелкать, раскладывать по сумкам, сеткам, пакетам, кулькам, хохотать или гневаться.

Жаймурза, углубляясь в чрево этого гигантского муравейника, уже не смотрел ни на что, ничего уже не замечал, чувствуя, как его со страшной силой засасывает людская воронка, все пробивался и пробивался, расставляя локти, и только время от времени вопрошал громко:

— Хантайнар где? Лабиринт где?

— Там, там, — говорили ему, показывая куда-то вбок. — Дальше, дальше... Впереди!

И он снова протискивался сквозь нескончаемую, тугую толпу, без конца поправляя коржун на плече, правой рукой как бы врубаясь в чащобу, прокладывая себе дорогу. Все вокруг колыхалось, шумело, клокотало, ярилось, бушевало, гудело, кричало, сталкивалось и расходилось.

— Хантайнар где? Лабиринт где?

— Дальше, дальше, старина!

— Топай, топай, аксакал.

— Близко, близко!

Наконец он очутился в сумрачном узком коридоре, по обе стороны разделенном на клети, закутки, набитые, увешанные до самого потолка разномастным товаром. Казалось, все барахло со всего света свезли сюда и навалили, как попало. «Апырай, кто это все покупает, одевает, обувает, ест и пьет? И что это — райское изобилие или адские муки?» Было ужасно душно, темно, смрадно. Пахло потом, кожей, плесенью, залежалым товаром, чем-то кислым, удушливым.

«Забраться-то забрался, но как отсюда выберусь?» — обеспокоенно подумал Жаймурза.

— Это иес хантейнар?

— Контейнер, дедушка.

— Э, лабиринт, да?

— Лабиринт, дедушка.

«Что-то казахов маловато. Или их в этой толчее не отличишь?»

Наконец он добрался до самого дна этой адской утробы. Казалось, дальше некуда. Тупик.

Он перевел дыхание, прищурился, вглядываясь в лица озабоченных женщин в закутке. Потом уцепился взглядом в тугощекую, черноглазую бойкую келиншек.

— Айналайын, скажи, Айман здесь работает?

— Какая Айман, ата? — с любопытством спросила смуглянка.

— Бимендина Айман. Сказали, здесь торгует.

— А вы кто ей будете?

— Әкесімін.

— Да-а? Солай ма? Ауылдан келдіңіз бе?

— Иә, қарағым. Ауылдан келіп тұрмын. Қызымды іздеп жүрмін.

— Ой-буй! — воскликнула смуглянка, и Жаймурза только теперь заметил, какая она видная из себя, туготелая, пышногрудая, с оголенными плечами, подкрашенными губами. «Городская, видать» — смекнул Жаймурза.

— Ее нет в городе. Уехала за товаром.

— Куда?

— Точно и не знаю. То ли в Турцию, то ли в Эмираты.

— Амират — это что? Город?

— Нет, ата, это страна. Богатая. Айман туда часто вылетает.

«Надо же! Хоть и городская птаха, а ловко лопочет по-казахски. И учтивая. Только зачем ей свои груди-дыни так выставлять напоказ?»

— Ата, а вы разве не созвонились? Она ведь там может задержаться.

— Откуда я знал, милая? Приехал по ее адресу.

— Какой адрес?

— Шумилова двадцать один.

— Ой, ата! Как так можно? Там она давно уже не живет. Теперь она, как царица, в элитном микрорайоне обитает.

— Алитный — как понять?

— Ну, крутые, ата. Баи современные.

— Вон как! А как она к баям-то попала?

— Умудрилась, значит! Сумела! Заарканила одного джигита.

Старик задумался. Он хотел спросить у этой грудастой тараторки, что такое «какаль», но раздумал: вдруг что-нибудь неприличное...

— Қызым! А ты знаешь ее адрес?

— Нет, ата. Она мне не говорила. А спрашивать — неловко. Она же моя начальница.

— Вон как! А где я могу узнать?

Смуглянка на мгновение задумалась, поправила платье на груди.

— А тут, через три контейнера, сидит один аташка в корейской безрукавке, много кармашек на молниях, в тюбетейке, неподалеку. Айман говорила, ваш земляк. Он, может, знает.

— Земляк? Кто еще может быть? — удивился старик.

— Не знаю. Но слышала, будто из вашего аула. Сходите — узнаете.

— Рахмет, айналайын. Көп жаса!

Он хотел было сказать на старинный манер «Роди сына!», но вовремя прикусил язык. Кто знает, замужем ли она и по душе ли ей такое благожелание.

Земляка он нашел быстро. Фатых, оказахившийся крымский татарин, лет двадцать работавший в колхозе бухгалтером, перебрался в город сразу же после смерти своей байбише к сыну, и с той поры как в воду канул. Никто никогда о нем в ауле и не вспоминал. А он, оказалось, живой и, судя по внешнему облику, чувствовал себя совсем неплохо. За лавкой восседал степенно, как на троне, зыркал цепко по сторонам и тянул-цедил кок-чай из крохотной пиалушки, время от времени подливая в нее из заварника. Жаймурза с удивлением и даже с завистью наблюдал за своим земляком, которого не видел целую вечность. Земляк и не изменился-то особенно, только отпустил усы и аккуратную, холеную бородку на манер грамотеев в начале века, и ему это шло. Лицо было гладкое, розовое, без следов усталости или душевной маеты. Шея красная, крепкая. Он и моложе-то Жаймурзы, может, года на два-три, а не сравнишь. Жаймурза рядом с ним хилый, ветхий старикашка. Вот что значит жить в городе: и забот меньше, и уход лучше. Нехудо, видно, живется у сына, не последнего, как сказывают, человека.

— Эй, Фатых, амансың ба? — сказал Жаймурза, встав к нему вплотную, напротив.

Земляк вбуравился в него подозрительно, прищурился на неказистого аульного старикашку в помятой шляпе, на мгновенье задумался.

— Что, не узнал? Не признаешь аульчанина? Важный стал?

И тут вдруг Фатых расплыл лицом, глаза зажглись радостным огоньком, он вскочил, раскинул руки.

— Оу, Жаке, вы откуда свалились?! Вот-те раз! Ассалаумагалейкум!

— Алейкум салем! — обрадовался и Жаймурза, почувствовав сразу облегчение оттого, что в этом городе он теперь не одинок.

— Проходите, Жаке! Сюда, сюда! — Земляк завел его за прилавок, снял с плеча гостя увесистый коржун, вытащил откуда-то сбоку табурет.

— Оу, да ты, Жаке, вижу, устал, измучился. Присядь. Промочи хоть горло.

И плеснул в стаканчик зеленого чаю.

— Рассказывай, Жаке. Какие заботы пригнали тебя в город?

Жаймурза все вкратце рассказал.

— Тогда поступим так. Я тут, Жаке, подсобляю соседке. Она бегает домой кормить ребенка. В ее отсутствие сижу здесь, караулю. Она вот-вот придет, и тогда мы пойдем ко мне. Отдохнешь, заночуешь. К тому времени я и адрес твоей дочки раздобуду. Пойдет?

— Да будет Аллах тебе опорой! — растрогался Жаймурза. — Но... я тебя не стесню?

— Ой, Жаке, о чем вы говорите!

Фатых жил с сыном в просторной двухкомнатной квартире. Сын много лет назад развелся с женой и теперь о женитьбе и не подумывал, убежденный, что все, что связано с женщиной, — шатко и опасно. Отец и сын — два бобыля — жили, видно, в ладу. В комнатах было чисто, уютно, ухожено, опрятно. Диваны, кресла, телевизор и несколько шкафов книг. Книги громоздились везде.

— Кем твой сын работает?

— Историк. Сейчас лекции читает в Туркестане. Книжки пишет. Он еще и исламовед.

— Е-е-е... Вон оно как! — вырвалось у Жаймурзы.

Он чувствовал, что в своем затрапезном аульном обличии плохо вписывается в обстановку городской квартиры. Он долго топтался в прихожей, с трудом стянул сапоги, удрученно смотрел на носки, на тапки, поданные хозяином, снял пиджак, бросил его на стульчик, потом долго размышлял, куда бы пристроить шляпу.

— Проходи, проходи, — все приговаривал Фатых. — Сейчас поставлю чай. Сообразим что-нибудь. Покалякаем.

Жаймурза присел с краешка роскошного глубокого кресла, с тоской косился на свои запыленные, заляпанные с дороги штанины, раза два глянул в трюмо возле двери и удивился своему виду. Старичок-сморчок, весь какой-то помятый, зачуханный, неуклюжий. Лицо сморщенное, загорелое, точно обугленное, взгляд неуверенный, затравленный, губы лиловые, щеки провалились, скулы выпирают, уши торчат, на плешивой голове там-сям встопорщились седоватые клочки волос, рот почти без зубов. А Фатых, гладкий, сытый, с тугим брюшком, в турецком спортивном костюме, розовый, ухоженный, точно купчиха, уверенно сновал вокруг, гремел на кухне, что-то расспрашивал и рассказывал, сияя золотой улыбкой и поблескивая серебристой, точно приклеенной бородкой.

На журнальном столике лежала кипа газет и журналов.

— По-прежнему все читаешь? — спросил Жаймурза.

— Да, привычка, — улыбнулся Фатых. — Времени много. Что делать? Читаю, радио слушаю, телек смотрю.

Жаймурза вздохнул.

— А в ауле сейчас никто не читает. И газет не выписывают. Телевизор еще смотрим, когда свет бывает. Радио с утра до вечера балаболит, да толку-то?! Ахахаахаху... ләйлім шырақ.

— Плохо, плохо, — отзывался Фатых из кухни. — Давай, Жаке, руки сполосни. Надо — так в закуток сходи, куда сам царь уединяется.

Жаймурза потолкался по закуткам, поражаясь обилию разных мелких вещичек: кругом какие-то стаканчики, полочки, зубочистки, щеточки, баночки, бутылочки, вазочки, бритвенные принадлежности, мыльницы, полотенчики, рулончики, подставки, половички, зеркала, вешалки, крючки... в глазах рябит. «Живут два человека, а сколько всякой всячины!» Жаймурза ополоснул руки, по привычке хотел было высморкаться, выхаркаться, да не решился, смущенный белизной раковины. Зашел было в туалет и еще больше смутился. Как можно среди такого кафельного блеска и сверка, зеркал и стерильного унитаза справлять греховную нужду?..

А на кухне царил тарарам, и было явно тесно. А может, опять-таки было слишком много вещей: огромный холодильник, рядом морозильник, настенные шкафы, тумбы, стулья, стол, мойка, кухонная утварь. Чувствовалось отсутствие женского пригляда. И стол был заставлен, не убран,

и мойка завалена немытой посудой. И цветы в горшках, вазочках явно не политы. На подоконнике стоял аквариум, в котором метались диковинные рыбки.

— Как твоя байбише... Кумисжан? — поинтересовался Фатых, заваривая в большом фарфоровом чайнике зеленый чай.

— Е-е... аман... шукир. В здравии. Шебуршит по дому. Для домашних дел еще година.

— Слава Всевышнему. Береги байбише. Без жены ой худо, худо.

— А что не женился? Столько лет вдовствуешь.

— Подумывал одно время. Да невесты привередливые попадались. Одна все интересовалась, какие у меня сбережения. Другая спрашивала, на кого записана квартира. У третьей одни путешествия и веселая жизнь на уме. Понял, что я-то сам никому и не нужен. Такие вот городские вдовушки. Плюнул. А теперь и жениться-то нечем.

Жаймурза понимающе хмыкнул.

— А с виду ладный, холеный, как колхозный бугай.

— Это, Жаке, с виду. А так — возраст есть возраст. Да и хворостей — уйма. Душа при теле и ладно.

Помолчали, повздыхали, чай хлебали.

Жаймурза вдруг спохватился, бросился в коридор к коржуну, развязал его, притащил на кухню кульки с куртом, иримчиком, куском вяленого мяса, баурсаками, сверху положил полкруга вареной конской колбасы.

— Вот аульные гостинцы. Ты, Фатых, наверное, отвык от всего этого. Попробуй. Вспомни аульные лакомства.

— О! Знакомым дымком пахнет!

Фатых разжевал комочек красного иримчика, потом долго сосал твердый комок курта, съел один баурсак.

— Ну, как живется в ауле? Из моих знакомых кто-нибудь еще остался?

Жаймурза помрачнел.

— Э... что об ауле-то рассказывать? Того аула, что ты помнишь, уже нет. И из твоих знакомых, может, и осталось два-три старика да пяток старух. Остальные отправились либо в тот мир, да будет земля им пухом, либо разъехались кто куда. Аул опустел, захирел. Кругом разруха, нищета. Молодежь разбежалась. А та, что осталась, слоняется без толку. Пьет, травкой балуется. Старичье век свой доживает. Плохо, плохо...

— Апырай, что так? Немцы уехали?

— Двое-трое остались. И Фризен, старик, остался. Запустили все. На самотек бросили. Нынешним властям, видать, аул не нужен. Махнули на него рукой. Как брошенная баба. Живи, как хочешь. Свободу вам дали, независимость обеспечили, что, мол, вам еще надо? Работайте, изворачивайтесь, приспосабливайтесь, как можете. А как работать, когда того нет, этого нет... ничего нет. Чтобы в земле ковыряться, и то поддержка нужна. Последнего лишились. И работать ныне не выгодно. Вот и изворачиваются. Воруют, значит. Тащат все подряд. И главные воры — начальство. Как с цепи сорвались. Хапают все, что попадется под руку. Хапнет — и с глаз долой. А все долдонят: репорма, репорма, переходный период. И куда только переходят и сколько еще продлится этот переход — Аллах знает.

— Апырай, а, — только и поддакивал Фатых, слушая невеселый сказ давнего аулчанина.

— И прямо обидно, когда певцы-горлопаны и поэты-трепачи как бы издеваются: «родной аул», «родной аул», «зеленый мой причал», «голубая моя мечта», «мой надежный остров», «мой остов», «моя надежда»! Тьфу! Какой там зеленый, голубой?! Какой остов, какая надежда! Оттуоймат! — совсем уж распалился Жаймурза. — Серый, пыльный, грязный! Все развалено, разворовано. Люди бегут, как от чумного места. А эти поэты-певцы, что баксы, старую пластинку крутят: аул да аул, сами пожили бы в ауле. Поглядел бы на их прыть.

— Это только в Туюк су или везде так?

— Ну, не знаю, как везде, а у нас и во всей округе скверно. И, боюсь, безнадежно. Какая может быть надежда, когда сплошное запустение. Там, в аулах, все надо начать заново. А главное — где людей взять? Как людям веру вернуть.

— Апырай, а!

— Солай! Даже соплюхи-девчонки норовят как можно скорей в город сигануть. Прямо беда! Живут в аулах с каждым годом все хуже и хуже. Раньше хоть скот держали. А теперь и коров уже не держат. За паршивой козой и то глаз не спускаешь. Чуть зазевался — угонят.

— Апырай, а! Как же жить?

— Вот так! Потому-то все и удирают из аула. Все невыгодно: и пахать, и сеять, и скотину держать, и торговать. Одно выгодно — воровать. Но и воровать нечего.

— Апырай, а! Куда ни поверни — всюду Коркутова могила.

— Получается так.

До вечера проговорили. Всех близких и знакомых вспомнили. Беседовали на кухне. Беседовали в зале. Беседовали в комнате Фатыха. Беседовали на балконе, расположившись в шезлонгах. Жаймурза диву давался убранству. «Как удобно! Живи — не тужи! А в моем коржун-доме вечно все вверх тормашками».

— Сколько платишь за квартиру?

— Ой, много! Каждый месяц прибавляют. Газ, свет, тепло, вода, телефон, техслужба, вывоз мусора, радио, уборка площадки, ступени — за все плати и плати. Считай, моя пенсия полностью уходит на квартплату. На лекарства не хватает. Слава создателю, сын поит-кормит. Шукир, на плаву держимся. Так и живем, не лучше одних, не хуже других...

— Зато райская жизнь.

— Не жалуюсь.

Вечером старики отправились на прогулку. Шли мимо магазинов, кафе, гостиницы. Гремела музыка. Толпилась молодежь. Сверкали огни. Фатыха многие узнавали. Ступал он степенно, вальяжно, постукивал увесистой нарядной тростью, выпячивал грудь, откидывал голову с нарядной такией. Рядом семенил недотепистый старичок-сморчок в кирзачах, в нелепой шляпе и просторном, обвислом пиджаке, в пузырящихся на коленях бесцветных брюках. Весь ухоженный, величественный вид Фатыха издали подчеркивал: «Я городской. Со мною не шути!», а затрапезное обличье Жаймурзы вопило: «Я из аула. С меня и взятки гладки. Извините уж!..»

Пришли к укромному, зеленому скверику со всадником на пьедестале. Конь грозно занес правую переднюю ногу, присел на задние, по-лебединому изгибая шею. На толстозадом коне грозно восседал коротконогий, грудастый детина в кольчуге, с огромным мечом в правой руке, с палицей на поясе.

— Кто это? — спросил шепотом Жаймурза.

— Батыр, — равнодушно проронил Фатых.

— Какой?

— Бог знает. Может, Карасай.

— А разве был такой батыр?

— Это я должен у тебя спросить. Был, наверное, раз стоит.

Вокруг резвилась детвора. На низких каменных скамейках сидели разморенные духотой толстые бабы, сторожа детей и без умолку тараторя. Чуть поодаль вокруг фонтанчика чертила круг за кругом группка заслуженных пенсионеров. У некоторых в руках были кипы газет, у других — сумки с хлебом и кефиром, третьи размахивали тросточками и при этом неторопливо о чем-то беседовали.

— Это и есть наша компания. От них узнаешь все новости в стране и в мире. Эти мудрецы знают, что было, есть и будет, — громко сказал Фатых, подводя к ним своего земляка. — Ассалаумагалейкум всем! Примите в свои ряды моего аульчанина Жаймурзу.

— Э, барекельде! Милости просим, — дружелюбно отозвался тотчас самый рослый в компании, с орденской планкой на светлом пиджаке, при галстуке и шляпе.

— Вот, Жаке, знакомьтесь, — начал Фатых представлять своих дружков. — Бейсеке, прапеср, литературовед, президент нашего клуба. Вот Кареке, полковник в отставке, заслуженный ветеран одной организации из трех букв. Хамзеке, тоже ветеран и тоже полковник...

— И тоже из организации из трех букв, — усмехнулся Бейсеке.

— Только другой организации, — поспешно добавил плотный, коренастый крепыш, названный Хамзеке.

— А вот, — с удовольствием продолжал Фатых, — Абеке, философ, вот Шаке, политолог, специалист по кадровым вопросам высшей власти. Вот Сергей, геолог, специалист по зарубежным «голосам». Алексей, бывший замминистра. Нуреке — госдеятель. Маке — писатель. Остальные еще подойдут.

Жаймурза, смущенный и польщенный, пожал всем руку, стараясь всех упомнить, отметил про себя, что все они «бывшие», все важные, а теперь рядовые пенсионеры, хоть и за особые заслуги, такого же примерно возраста, как и он, но, понятно, образованные, знающие себе цену, уверенные, а он среди них, что степной воробышек в стайке городских скворцов.

Познакомились, пошутили, позубоскалили, пошли кружить вокруг фонтана, продолжая оборванный разговор.

— Нет, нет, неспроста примчался в Казахстан Горбачев. Все эти разговоры о фонде, о клубе и прочее — для отвода глаз, — горячо говорил, размахивая руками, Шаке.

— Как он только посмел появиться в Казахстане! — возмутился Хамзеке. — После событий 86 года. После «казахского национализма». Неужели он полагал, что его встретят с распростертыми объятиями?

— Ну и встретили! Ты же видел! И не только акимы Алматы и области, сам президент полчаса обнимался с ним.

— Что не сделаешь ради политики?!

— Поверьте мне. Этот қасқа примчался по заданию самого Путина, — продолжал, захлебываясь, Шаке. — Не терпится приторочить Казахстан к России. Ждут в Казахстане Лукашенко.

— Вполне может быть, — подтвердил Маке.

— Ия, ия, похоже, — поддакнул и Абеке.

— Только наш президент на это не пойдет. У него ушки на макушке. В российский капкан он не попадется.

— Так, так, — опять подтвердил писатель Маке.

— Ия, ия, похоже, — согласился философ Абеке.

— А Горбачева Запад любит, — заметил Кареке.

— Конечно, — усмехнулся неистовый Шаке. — Если по заданию Запада развалил СССР, как не любить! Там такие горбачевы только и нужны.

— И все ж Горбачев порядочнее Ельцина.

— Ай, — махнул рукой Бейсеке. — Оба хуже, как говаривал Усач. Друг друга стоят.

Все с этим согласились.

— А как вы обясните последнюю пертурбацию? — подбросил вопрос Фатых.

— Ну, там все ясно, — ответил Маке. — Централизация власти. Укрепление кланового ядра.

— Солай, — подтвердил Шаке. — Некоторые посажены временно. Готовится место для более нужных людей.

— Через полгода, думаю, жди новую пертурбацию.

— Знаем... Известное дело.

— И премьер вот-вот слетит.

— Конечно. Сначала заменят министров, потом примутся за премьера.

— Да, да, — сказал Сергей.

— Неизбежно, — поддакнул Алексей.

Жаймурза сообразил, что оба русских азиата понимали казахскую речь. Ему тоже хотелось что-то сказать, но он не знал — что и как. Все шибко грамотные, а он, из аула, что может сказать?

— А как это... с этой... ну, с этой... с коррупцией — выдавил он из себя, считая неприличным далее молчать. Еще подумают: дундук.

Все заинтересованно посмотрели на него, а Фатых почувствовал неловкость за своего земляка.

— Коррупция, как и мафия, бессмертна, — изрек один.

— Коррупция — вечный двигатель власти, — сказал второй.

— Нельзя бороться с самим собой, — заметил третий.

— Борьба с коррупцией — блеф, миф, — проронил четвертый.

— Борьба с коррупцией — мыльный пузырь, пыль в глаза, — уточнил пятый.

— Борьба с коррупцией — театр одного актера, — заключил шестой.

— Несомненно, — согласился писатель.

— Да, да. Так, — поддержал его философ.

Похоже, вся эта компания давно знала и понимала друг друга с полуслова. Фразами они перекидывались точно мячиками. Правда, одни говорили осторожно, с намеками, другие — категорично, убежденно, будто все им было известно заранее. При этом называли имена политиков и руководителей страны панибратски, запросто, разоблачая, развенчивая всю их подноготную и выставляя их неисправимыми интриганами и ограниченными мыркымбаями. «Наверное, это и есть демократия, — подумал про себя Жаймурза. — Как смело рассуждают, без оглядки, будто бьют наотмашь». Завсегдатаи прогулок у памятника батыру рассуждали в открытую не только об известных правителях, но и о их женах, детях, внуках и о всех говорили с разоблачительным пафосом. Они знали назубок их биографии, происхождение, род, подрод, места работы, кто с кем находился в каких отношениях, кто кого в свое время оскорблял или унижал, кто кому что и сколько «дал на лапу» и что в результате этого получилось. Осведомленность пенсионеров просто поражала. «И откуда они все знают? — недоумевал Жаймурза. — Тоже мне прорицатели-саугеги! Можно подумать, что они день и ночь находятся рядом с правителями народа».

Особенно выделялся среди них Шаке. Он с упоением говорил, что произойдет в верхах через полгода, через год, куда кого двинут, кого кем заменят, кто кому является ширмой, что за этими перестановками кроется, и рассказывал с таким жаром, апломбом, будто все эти перемены исходят не от кого-либо, а исключительно и лично от него самого.

— Логично, — вставлял иногда словечко писатель.

— Посмотрим, — говорил невысокого роста философ.

А Сергей и Алексей, прерывая друг друга, излагали зарубежные новости, при этом один все ссылался на газеты, а второй на «голоса» — и не только на «Свободу», «Би-Би-Си», «Немецкую волну», «Голос Америки», но и на индийское, китайское, иранское радио.

«Видно, ничем другим эти почтенные сабазы не занимаются, кроме того, как ловят слухи, роются в газетах, слушают радио. И зачем это им надо? Будто от них что-то зависит. Или будто от перестановки в верхах власти им что-то перепадет. Ну и что из этого? Одни приходят, другие уходят. Вместо одного Мыркымбая завтра придет другой Мыркымбай. Ну и что? Народу-то от этого ни холодно, ни жарко. И какое мне дело до японского императора или иракского вождя, или до нескончаемой войны между арабами и евреями? Поговорили бы лучше о другом — о жизни, об ауле, из которого все они когда-то вышли», — размышлял про себя Жаймурза.

Ровно через час завсегдатаи встреч у памятника батыру-воину разбежались по домам.

— До завтра! Аман болайық!

— На сегодня все мировые проблемы обсудили.

Ежедневные часовые прогулки были у них своеобразным ритуалом. Потом они расходились, кто за хлебом и кефиром, кто в аптеку, кто принять лекарство или получить укол от разных хворостей.

— Сахар что-то поднялся, — озабоченно говорил один.

— Давление играет, — жаловался другой.

— Отложение солей обострилось, — делился третий.

— Урологу надо показаться, — посетовал четвертый.

«Ну, вот... оказывается, у каждого есть своя печаль. А я живу себе и ничего не ведаю — ни о сахаре, ни о соли, ни о давлении. У них здесь в городе, видно, и болезни другие», — думал на обратном пути Жаймурза.

— Жаке, ты вечером чай пьешь? — спросил уже дома Фатых.

— Вообще-то, пью... — неуверенно ответил Жаймурза.

— Зря, — заметил Фатых. — Вредно. Да и спать будешь плохо. Я перед сном пью айран.

— Тоже неплохо.

Фатых достал из холодильника зеленую эмалированную кастрюльку с густым, настоенным айраном, разлил ковшиком по мискам, придвинул гостю.

— Сам готовлю. Покупаю молоко, кипячу, потом заквашиваю. Через полсуток получается айран — язык проглотишь.

Действительно, айран был хорош — густой, пахучий, слоистый, хоть ножом режь.

— А молоко где берешь?

— Сами приносят. Чуть свет под окном орут: «Ма-лако!.. Тво-рог!.. Сме-та-на!»

— Хорошо!

— А через час другие орут во все горло: «Кар-тош-ка! Мор-ковь! Ка-пуста!»

— Райская жизнь!

— Да-а... Лишь бы деньги были.

Потом они удобно расположились в креслах у телевизора. Фатых облачился в просторный аляповатый халат, на босы ноги нацепил диковинные тапки, водрузил на нос очки и принялся щелкать на кнопки какой-то игрушечной штучки. Нажал одну кнопку — на экране жуткая бойня: у дюжих джигитов по пистолету в каждой руке, стреляют сверху, снизу, сбоку, из-за угла, с крыши, лежа, падая, кровь льется рекой, какие-то пышногрудые, обнаженные девки, тараща глаза и вертя тугими задами, тоже бабахают напропалую. Фатых нажал другую кнопку: на пышной кровати возлежала томная дива, тоже почти голая, бедрастая, волосню распустила, делает вид, что книгу читает, тут заходит рослый, усатый молодой человек в широченной шляпе, с широким поясом, с пистолетом, с кобурой, в штанах в обтяжку, обветренный, неотесанный мужлан, смотрит, смотрит на голую красотку, облизывается, сглатывает слюну, мрачнеет, возбуждается, упругим, кошачьим шагом направляется к картинно распластавшейся красотке, расстегивая на ходу пояс и распуская ширинку, коршуном набрасывается на девку, разворачивает ее, сграбастывает, та стонет, закатывает глазищи, опрокидывает голову,

раскидывает круглые, белые ляжки, джигит начинает судорожно дергаться, будто вознамерился раздавить девку в лепешку...

— Астафиралла! — вырвалось у Жаймурзы.

Фатых нажал другую кнопку. Трое кудлатых парней в майках и спущенных штанах остервенело рвали струны гитар и неистово шаманили в жутких конвульсиях, а позади их завывали голодными волчицами три девицы чуть ли не в чем мать родила и временами издавали такие вопли, будто их насиловали. Фатых надавил еще на одну кнопку. Под пальмами в гамаке лежала, раскинув дебелые телеса, белокурая деваха и томно потягивала из пакетика сок, а с дерева запрыгнуло на нее косматое чудовище, похожее на орангутанга, но почему-то с клыками и рогами. Деваха, увидев чудовище, с испуга зашлась в крике, но тотчас безропотно разбросала во все стороны руки-ноги, замерев в экстазе. Фатых снова щелкнул кнопкой. Дюжина мордастых молодцев, одетых в кольчуги, будто воины-сарбазы, с палками в руках, словно одичавшие кони, металась по кругу, гонялась за крохотной шайбой, сшибая друг друга с такой яростью, будто вознамеривалась затоптать друг друга. Потом что-то случилось, бравые молодцы, как по команде, враз отбросили палки и начали колотить, дубасить друг друга, устраивая немыслимый погром на крохотном ледяном пятачке.

— Ничего другого нет? — спросил Жаймурза. — Может, «Тамаша»?

— Сейчас «Хабар» начнется.

Но еще до «Хабара» долго кружилась, порхала маленькая певунья со скорбными глазами и старушечьим ртом. Держа в руках микрофон и почти запихивая его в рот, она пела старинную любовную песню, но при этом тоже неприлично дергалась, вихляла тощим, костлявым задом степной наездницы, заливалась дурниной, хлопала себя по бедрам, призывая зал бить в ладоши в такт своим судорожным движениям. Наконец появился на экране черноволосый, гладкий джигит с усиками и сообщил, что сегодня в Астане глава страны встретился с главой правительства и они обстоятельно обсудили ход экономических реформ, которые, как выяснилось, шли в исключительно правильном направлении. Благосостояние страны улучшалось неукоснительно с каждым днем.

Жаймурза устал, начал задремывать.

Фатых постелил гостю в своей комнате, а сам отправился спать в комнату сына.

Ночью Жаймурза спал плохо. Проснулся от хохота девиц, пьяных криков парней, гула машин, громкой музыки. Оказалось, за углом дома находился ночной клуб, в котором пили-ели, плясали-гуляли, шумели-куролесили до рассвета.

Временами Жаймурза засыпал, и тут же приблазнялась ему чудовищная нелепица: возле памятника воину дергались голые девицы, а воин-батыр, спешившись и скинув доспехи, принялся вдруг этих девиц попеременно покрывать, будто кобылиц в косяке, а какой-то тип, похожий на всезнайку-Шаке, все назойливо вещал: «А я что вам говорил? Как я сказал — так и будет», и маленький философ кивал в сторонке головой: «Похоже, так оно и есть».

Забылся Жаймурза лишь на рассвете, а когда проснулся, то заметил, что в квартире один. Фатых куда-то исчез с утра пораньше. Жаймурза посидел, позевал, почесал грудь, помял колени, потом отправился в ванную, долго плескался, в который раз поражаясь удобству, вышел на балкон, обозревая окрестность и вдыхая утреннюю свежесть. Солнце в степи, видно, давно проснулось, но еще не поднялось над девятиэтажками, и внизу было по-раннему прохладно и темновато. У мусорных баков копошились невзрачные тени: какие-то люди выуживали из контейнеров пакеты, куски хлеба, рассматривали, обнюхивали, перебирали и складывали в сумки. «Что они делают? Объедки собирают? Для собак, видно», — решил Жаймурза. Старуха, обвешанная сумками и узлами, громко ругалась с маленьким тщедушным, давно не бритым старичком, который из-под ее носа выхватил из бака большой разноцветный пакет. Из него торчал неочищенный банан. Старуха, огромная, как львица, с такой яростью отпихнула старикашку, что тот отлетел в сторону, выронив пакет, из которого посыпались бутылки, банки, покатились яблоки, помидоры. Старуха проворно все сграбастала и запихнула в свои бездонные мешки, а старик, лежа в стороне, среди мусора, материл старуху на чем свет стоит. «Ой, Аллай, что это они?» — поразился Жаймурза.

У детских качелей возле тележки с бидоном стояла небрежно одетая тетка и горланила на весь квартал: «Маалаа-коо!» Чуть поодаль, в кустах жимолости, на корточках,

прижавшись друг к другу, сидели три лохматых подростка и, точно заговорщики, молча варили на костерке что-то в помятом котелке. Весь их вид выказывал нервное нетерпение. Несколько пожилых женщин в штанах и куртках прогуливали собак. Бородатый верзила в футболке и шортах пытался завести помятый драндулет, который кашлял, чихал, словно тяжелобольной, и временами изрыгал из изношенной железной трубы едкие клубы дыма. По дорожке вокруг здания бегала трусцой группка мужчин, и среди них Жаймурза с удивлением приметил Фатыха. В спортивном турецком костюме, в кепчонке с длинным козырьком, в белых кедах он тоже трусил, размахивая толстой суковатой палкой в руке. «Ты глянь-ка на него, — подумал невольно Жаймурза. — Брюшко трясется, а туда же, ножками дрыгает». Фатых, ни на кого не обращая внимания, трусил и трусил, как заведенный, громко откашливался, делал какие-то замысловатые движения, будто выполнял тяжкую, постылую работу. «И чего себя мучает? Неужто вознамерился прожить сто лет?»

К мусорным бакам подрулила огромная, вконец раздрызганная машина, и старика со старухой точно ветром сдуло.

Фатых ввалился в квартиру бодрый, веселый, долго фыркал в ванной, потом на балконе растирался мохнатым полотенцем до красноты и отправился на кухню готовить завтрак. Все спорилось в его руках, и Жаймурза поразился, как ловко хозяин орудовал на кухне. Гостю он подвинул масло, сыр, хлеб, сосиски, яйцо, джем, сахар, а сам почти не притрагивался к еде.

— По утрам я пью сок, съедаю один бутерброд и одно яблоко. Все! — торжественно заявил Фатых, и Жаймурза испытал неловкость, глядя на тарелочку со всякой-всячиной и вспомнив, что пьет пятую или шестую чашку чая.

— А я, почтенный Жаке, — сообщил Фатых, — с утра провернул одно дельце. Через знакомых раздобыл адрес твоего зятя. В обед он приезжает домой, и мы тут заявимся и все узнаем про твою Айман.

— Вот было бы здорово! — сразу оживился Жаймурза. — А кто мой зять, не узнал?

— Зять твой — шишка! — выпалил Фатых. — Крутой! Большими делами ворочает. Афанасий Тэн.

— Как? Апанас? Русский, что ли?

— Кореец! Личность в городе известная.

Жаймурза опечалился, отодвинул недоеденную сосиску.

— Это как же получилось?!

— Что?

— Что Айман пошла за корейца.

— Ой, что тут такого! Кто из молодых ныне на это обращает внимание? Нынче бабы и китайцами не брезгуют. К тому же иной кореец — тот же казах. Не отличишь!

Но настроение Жаймурзы было испорчено. Неужели «какаль» и означает кореец?..

К обеду Фатых и Жаймурза взяли такси и поехали в микрорайон с элитными корпусами.

Район был новый, благоустроенный. Это был даже не район, а отдельный городок для избранных, как бы город в городе. Трех-четырехэтажные нарядные здания весело и самодовольно сияли на солнце, смотрели затемненными стеклами надменно, вокруг росли ухоженные молодые ели, сочно зеленел подстриженный газон. На площадках перед подъездами под новехонькими фонарями стояли на приколе сплошь иномарки.

— Видишь, здесь обитают одни ыгаи и сыгаи. Не нам, смертным, чета. Вон куда залетела твоя Айман.

Жаймурза, однако, никакой радости не испытывал. Он был благодарен Фатыху за то, что тот отсоветовал ему брать с собой корджун и заменить войлочную шляпу легкой кепочкой. А то он смотрелся бы среди этого великолепия, как пришелец из диких песков.

Ватага ребят играла во дворе в футбол. Жаймурза заметил, что все были одеты с иголочки в аляповатое заморское шмутье. Мальчишки говорили вроде как по-русски, но ни одного слова старик не понял.

— Эй, балашки! — обратился к ним Фатых. — Девятая квартира какой подъезд?

Узкоглазый, круглолицый крепыш сразу насторожился.

— А к кому вы?

— К Афанасию Корнеевичу Тэну.

— А зачем? — серьезно спросил круглолицый.

— Дело есть.

— А вы кто? — настаивал крепыш.

— Слушай, ты что, прокурор, что ли? — насмешливо спросил Фатых. — Я же подъезд спрашиваю, а ты мне допрос учиняешь.

— Хм-м... — хмыкнул крепыш. Его тотчас окружила вся ватага. — Я не прокурор. Я сын Афанасия Тэна.

— Да-а?! — Фатых смутился — Ну, и отец дома?

— Сейчас нет. Но вот-вот должен подъехать.

— А мама? — осторожно поинтересовался Фатых.

— Мамы у нас нет, — насупился крепыш.

— Как нет? А Айман?

— Айман не мама, — еще сильнее насупился крепыш. — Она... просто так.

— Ясно. — Фатых покосился на Жаймурзу. — А тебя как зовут?

— Валера. А вот и папа!

К подъезду подкатил красный, как огонь, «фольксваген». Из машины вышел средних лет плотный мужчина с густым, тронутым сединой «ежиком», в золотых очках, белом костюме, ядовито-желтом галстуке. Вертя ключами в руке, цепко посмотрел на двух незнакомцев, спросил:

— С кем ты беседуешь, Валера?

Гладко выбритое холеное лицо, аккуратные усики, узкие щелки глаз, настороженная, учтивая улыбка, весь из себя видный, вальяжный.

— Вот, к тебе.

— Вон как! Салем алейкум, аксакалы!

Представились. Познакомились. Разговорились.

— Как отец Айман? — На смугло-желтом лице Афанасия обозначилось явное недоумение. — Айман никогда ничего не говорила. Я думал, одна, сирота.

И по всему растерянному виду Афанасия было ясно, что он действительно не знает, как ему быть.

— Интересно, интересно... — пробормотал Афанасий. — Отец, значит. Вот не знал. Никогда не говорила. Из Туюк су? Знаю, знаю... Там Хван был директором. Хм-м. Вот как!.. А Айман в Эмиратах. И за товаром поехала, и отдохнуть. Бог знает, когда вернется. Может приехать неожиданно. А может и задержаться. Бизнес — такое дело. Никогда с полной уверенностью ничего не скажешь.

Афанасий продолжал что-то говорить, поминутно поглядывая на часы, и гости поняли, что заявились совсем некстати.

— Надо было позвонить, — сказать Афанасий и тут же спохватился. — Ну, да... вы телефона не знали... Так, так...

— Извините, Афанасий Корнеевич, — пролепетал Фатых, чувствуя, что робеет перед этим важным господином. — Вот отец... дочь хотел проведать... Два года не виделись.

— Странно... странно... — продолжал Афанасий. — Айман никогда не говорила об отце. Я думал, сирота. Одна в городе. Никого нет...

— Кеттік, — тихо сказал Жаймурза.

— Ну, почему? — тотчас отозвался Афанасий. — Зайдемте. Только я очень спешу. На обед заехал... на полчаса.

— Кеттік, — повторил Жаймурза.

— В другой раз, — проронил Фатых. — Извините. Не знали. Думали, Айман дома.

— Странно... странно... — Афанасий протянул визитку с цветной фотографией. — Вот мой телефон. Позванивайте. Может, Айман объявится.

— Хорошо, хорошо.

— Кеттік! — раздраженно сказал Жаймурза.

— Извините, спешу... Очень...

— Э, минутку, — спохватился Фатых и выхватил у Жаймурзы пакет. — Вот гостинцы из аула. Примите, пожалуйста. Аульный салем.

— А-а-а... — осклабился Афанасий, блеснув рядом золотых зубов. — Валера, возьми. Спасибо!

Афанасий, сделав ручкой и изобразив улыбку, нырнул в подъезд, а Валера, заглянув в пакет и удостоверившись в его содержимом, радостно завопил:

— Пацанва, налетай! Аульные сладости!

И ватага хлынула к нему, мгновенно растащив аульные гостинцы, которые бедная Кумис так долго собирала дочке.

Домой старики вернулись на автобусе. Жаймурза был мрачен, и, глядя на своего гостя, предпочел молчать и Фатых.

Вечером Фатых опять повел своего гостя к своей компании у памятника воину-батыру. И опять всезнайки-пенсионеры кружили битый час вокруг памятника, опять делились мировыми и кумкентскими проблемами, и опять неутомимый Шаке, загадочно улыбаясь, всем доказывал, кого в ближайшее время уберут, кого куда задвинут, кого кем заменят. По его словам, министр культуры станет министром сельского хозяйства, госсекретаря назначат се-

натором, бывшего министра сельского хозяйства отправят куда-то послом, а бывшего акима перекинут в госуправление кадрами или в президентский аппарат. И все слушали, кивали головами, ахали, поддакивали, иногда слегка возражали, и тогда Шаке сходу поправлялся:

— Это второй вариант. Такая версия тоже отрабатывается.

— Несомненно, — подтвердил писатель.

— Похоже, — глубокомысленно изрекал философ.

Сергей взахлеб рассказывал, каким неутомимым в любви был Джон Кеннеди, а Алексей клял по привычке Горбачева и пространно рассуждал об исключительной образованности Иозефа Геббельса.

— Да, да, я сам читал! Восемь университетов кончил! — горячо уверял он.

Жаймурза, думая о своей дочери, спутавшейся совсем уж непонятно как с корейцем Афанасием, слушал все эти разговоры завсегдатаев памятника батыру вполуха, даже раздражался их бесплодными спорами и чувствовал, как тоска в груди разливается все шире и что хочется ему домой, в аул, где все привычно и знакомо. «Пустоболты — ругал он про себя говорливых городских пенсионеров. — Трепачи! Мне бы ваши заботы...»

День спустя позвонили еще раз: Валера ответил, что папа собирается в командировку, а тетя Айман сообщила, что задержится в Эмиратах еще неизвестно сколько.

— Что отец ее в городе, передали? — спросил Фатых.

— Не-а, — ответил Валера. — Забыл...

— Жарайды. Болмады, — вслух решил Жаймурза.

На другой день старики отправились на базар, набрали полный коржун городских гостинцев, и после обеда, напившись на дорогу кок-чаю, Жаймурза поехал на раздрызганной, пыльной коробочке-автобусе назад в аул.

X

Полина объявилась в ауле неожиданно через год. Когда изможденная старуха с потухшими глазами, в рваной фуфайке, в сапогах, во фланелевой юбке, в измызганном платке из мешковины неуверенно протиснулась в мазанку и опустилась, точно подкошенная, прямо на порог, Хадиша испугалась.

— Вам кого? — еле произнесла она по-русски.

И дочка, и Эдя тоже в страхе прильнули к Хадише с двух сторон, тараща глазенки на незнакомку.

— Эдмунд... mein Sohn... mein Kindelein... komm doch zu mir... komm, komm...

Незванная гостья жутковато улыбнулась, из белесых, полубезумных глаз покатились слезы, рот искривился, плечи затряслись. Костлявые руки, протянутые к мальчику, крупно дрожали.

— О, Кудай всемилостивый! Это ты, Полина? — пролепетала Хадиша.

— Ну, конечно... Неужели не узнала?

Гостья скинула рвань с головы, и вместо пышных белокурых волос, локонами спускавшихся на плечи пригожей некогда Полины, Хадиша увидела мелкие, жиденькие кудряшки, бесцветным пушком покрывавшие жалкий круглый череп.

— Не бойся, Хадиша. Это я, Полина Ворм. После болезни... Списали... Вернулась...

— Ой, да что ты у порога села? Проходи, раздевайся, Поляжан, — захлопотала Хадиша. — Ну, встань же!

— Сейчас, сейчас... Не могу... Обессилела... — И опять Полина жутко осклабилась, выказав черные провалы во рту и грязным рукавом фуфайки пытаясь вытереть слезы. — Ноги не держат. Сейчас... Пройдет.

Серый зрачок блуждал в красных прожилках, прикрытых опухшими веками. Гостья уставилась, точно завороженная, на маленького Эдю и бормотала какие-то ласковые немецкие слова. Голова мальчика была обрита на казахский манер, и только впереди оставалась белокурая челка, чуть прикрывавшая гладкий, чистый лобик.

— Эдмунд... mein Kind... das bin ich... deine Mutti... deine Mammi...

И по выражению глаз мальчика Полина с ужасом поняла, что он ее не понимал и не узнавал. Более того, он испытывал страх, ужас при виде страшной старухи. И слезы все лились по ее впалым щекам, скатывались по подбородку, и рыдания сотрясали ее изнуренное тело в нелепой фуфайке.

Хадиша заметалась в своей комнатушке. То прижимала, утешая, успокаивая, к себе детей, то бросалась к печке, подогревала воду, то что-то собирала на стол, говорила невпопад.

— Ой, Поля, Поля... Да как же так!.. Жива, и слава Богу... Все остальное уладится. Вижу, потрепало тебя... Но, главное, — жива. Главное — вернулась. И сын твой здоровенький. Видишь? Подрос, окреп... Ой, Поля, Поляжан...

Полина, что-то вспомнив, кинулась рыться в котомке, перебирая, перетряхивая жалкое содержимое, наконец извлекла со дна облепленные всяким мусором два леденца — в форме петушка на палочке, дунула, обтерла, протянула дочке Хадиши и своему сыну. Дети покосились на диковинный подарок, не понимая, что это, потом вопрошающе посмотрели на Хадишу и, лишь когда она кивнула головой, приняли гостинец, не зная, однако, что с ним делать.

— Это кампит, кампит, — подсказала Хадиша, и тут же ее дочка принялась облизывать леденец. Глядя на нее, осторожно лизнул глянцевого петушка и Эдя.

Полина умиленно смотрела на сына.

— Да, Хадиша... сынок мой подрос... Спасибо тебе! По гроб обязана. Но почему его так остригла?

— А по-другому у нас в ауле не умеют. Сейтен-ата всех подряд обривает на один манер. Может, мальчишкам так и лучше.

Полина не могла налюбоваться своим чадом. Ей хотелось его обнять, прижать к себе, расцеловать с головы до ног, но мальчик явно дичился, чурался ее и неотступно, как на привязи, следовал повсюду за Хадишой.

Совсем отвык. Не узнает меня. Изменился. Такой кудрявенький ангелочек был, нежный, розовый. А теперь загорел, огрубел, одичал, совсем-совсем аульным казашонком стал. Круглолицый, круглоголовый, с челочкой, губастенький. Сейчас бы и Карлуш его не узнал.

— А хата твоя в порядке, — доложила Хадиша. — Я присматриваю. Зимой, правда, не топили. Но все на месте. Очухаешься — можешь посмотреть.

— Да, да... дом... — бессмысленно бормотала Полина. — Посмотрю... потом-потом... Спасибо!

Хадиша сготовила чай, выложила в деревянную миску несколько сваренных в молоке кукурузных початков, высыпала из мешочка горсть иримчика и курта, поставила в блюдечке топленое масло.

— Присаживайся, Поля... Подкрепись. Вижу, совсем дошла.

— Да, да... лагерь... сыпной тиф... Списанная... Доходячка, — продолжала бессвязно лопотать Полина. И голос

ее был больной, деревянный. Слова вырывались из нее со свистом, натужно, дряблые и мертвые. С помощью Хадиши она поднялась с порога, стащила с себя фуфайку и предстала в длинной мужской рубашке в заплатах. Поля была так худа, так заморена, что казалось, вот-вот рассыпется, рухнет. Поразительно, как в этом скелете еще теплилась жизнь.

— Ополоснись, — тихо сказала Хадиша, поставив у ног гостьи тазик с медным кумганом. — Давай, я полью.

С горем пополам Полина ополоснула руки, лицо, тяжело дыша, вытерлась полотенцем, присела к столу, не в силах унять дрожь, колотившую все ее изможденное тельце.

— Письма есть? — безжизненным голосом спросила Полина.

— Ешь... ешь... Отогрейся, — ответила Хадиша, сумрачно сдвинув брови.

Но есть Полина не могла. Долго разжевывала, перекатывая во рту кусочек красного иримчика, уставясь пустыми глазами в пространство. Казалось, она плохо соображала, где находится и что происходит вокруг. Потом она пыталась поднести ко рту пиалу с остывшим чаем, но не смогла, выплеснула чай на юбку, виновато осклабилась.

— Ой, Поляжан... Совсем тебе худо. Может, полежишь?

— Сейчас... сейчас... Пройдет. Это от радости, от волнения. Прости...

Трудно выходила Полина из оцепенения. Первые три дня после возвращения она жила у Хадиши, все старалась привлечь к себе сына, говорила ласковые слова, попыталась даже спеть немецкую колыбельную, которую так любил, бывало, маленький Эдя, но мальчик не понимал, память его точно отшибло, он вообще был неразговорчив, общался только с Хадишой, называл ее «апа» и лопотал только по-казахски.

— Ничего... привыкнет, — утешала Хадиша Полину. — Признает. И немецкие слова вспомнит.

И гладила при этом Эдю нежно по челочке и гладко выбритой головенке.

Потом Полина переселилась в свою убогую келью, копошилась по дому, попросилась на работу в колхоз, но бригадир Жаймурза, глядя на ее истощенный вид, сказал:

— Э, бейшара, какой из тебя работник? Тебе оклематься надо... Ты же на поле упадешь от дуновения ветерка.

Особенно худо становилось Полине после захода солнца: она страдала «куриной слепотой». Едва заходило солнце, как Полина слепла, постоянно натыкалась на разные предметы, все валилось из рук, все получалось неуклюже, невпопад. Лишь с восходом солнца зрение возвращалось к ней.

Аульные казашки прониклись ее горем, наведывали ее, подкармливали. Женщин особенно взволновали ее отношения с родным сыном. Мальчик дичился и упорно избегал ее. Все это время он продолжал жить у Хадиши и никого больше не признавал. И Полина заметила, что все же он внимательнее приглядывался к ней, силился что-то вспомнить, в глазенках зажигалось любопытство.

Каждый вечер после работы Хадиша, подоив корову и накормив детей, наведывалась к Полине, старалась Эдю приучить к родной матери, но душа мальчика никак не оттаивала. И это расстраивало Полину больше всего. И при виде своего мальчика она не в силах была сдерживать слезы.

— Не спеши, — убеждала ее Хадиша. — Не пугай ребенка. Он обязательно признает тебя.

Понемногу Полина начала приходить в себя. После сыпного тифа голова ее закудрявилась, волосы пошли густо, но уже с проседью. В глазах затеплилась жизнь. Она выпрямилась, окрепла. Вскоре впряглась в колхозную работу, пошла в бригаду полевода Жаймурзы. Тот был к ней внимателен, называл ее почему-то «келин». Постоянно нахваливал за расторопность и прилежание.

Наступило лето. Степь отцвела тюльпанами. Склоны холмов зеленели разнотравьем. Над аулом витал запах полыни. Степные речки, буйные по весне, вошли в свои берега. В оврагах росли щавель, дикий лук. На лугах резвился молодняк. Детский гомон оглашал окрестности. А где-то все еще шла война. Колхозную лямку по-прежнему тянули женщины, подростки, старики. Горе и лишения прочно обосновались в аулах.

Полина работала наравне со всеми, прислушивалась к скудным аульным новостям, вспоминала мирную довоенную жизнь, терпеливо ждала вестей от Карлуша, но больше всего изо дня в день, как наваждение какое-то, назойливо думала об одном — о том мгновении, когда к ней вернется ее мальчик, когда он узнает в ней свою прежнюю

маму. Она верила, что час этот настанет. В том постоянно убеждала ее и Хадиша. Об этом мгновении грезили все женщины аула.

Мальчик что-то чувствовал, что-то начал вспоминать. Ему все чаще мерещился зыбкий облик далекой, как в тумане, матери. Он помнил маму молодой, пышноволосой, с теплыми глазами и нежным голосом, а у этой изможденной, донельзя осунувшейся женщины все было не так, она была ему чужой.

— Мама моя не такая, — доверительно сказал он однажды Хадише.

— Почему не такая? Она просто очень тяжело работала и долго болела. О тебе горевала. Вот и изменилась немного, — убеждала, успокаивала его Хадиша.

— Ты моя мама, — настаивал мальчик.

— Ой, айналайын. Я люблю тебя, но я не мама. Я твоя апа. Апа, понимаешь?

— А разве апа не мама?

Хадиша терялась от настойчивых вопросов мальчика.

— Апа бывает много. А мама — одна.

Но постепенно мальчик привыкал к Полине. Но никак не называл ее. Случалось, даже ночевал в мазанке Полины. Но, проснувшись, мальчик неожиданно заявлял:

— Я пойду к апе. Она меня ждет.

Так и рос мальчик между двумя женщинами. И сверстники завидовали ему: ни у кого из них не было двух мам. Аульные дружки Эди так и говорили ему: «твоя немка-апа» и «твоя казашка-апа».

— Ты не горюй, не убивайся, — сказал однажды бригадир Жаймурза, видя, как задумчиво и отчужденно ведет себя на работе Полина. — Мальчик — твой. Никто у тебя его не отнимает. А подрастет, ума наберет — сам во всем разберется. Ведь ему неплохо, сама видишь.

Да, это Полина видела. И зависти материнской к Хадише не испытывала. Ей было только досадно, что ее мальчик отрывается от своих корней, от родного языка, что его истинное, исконное становится ему чуждым. И еще ее постоянно не покидала тревога: вот, дай Бог, вернется Карлуш, ведь должен же быть этой проклятой войне когда-нибудь конец, вернется Карлуш, вернется, вернется, а сын также не признает отца, также начнет его чураться, избегать, будет бегать к Хадише и лопотать по-казахски, что тогда ска-

жет Карлуш, вдруг упрекнет ее, жену свою, в бессердечии, в равнодушии к родному сыну. Вдруг он скажет: как получилось, что сын наш стал чужим, пристал к другому берегу, отрекся от нас и чужая женщина стала ему ближе, роднее нас, его матери и отца. О том намекали и немки, с которыми Полина жила в одном ауле, работала в одной бригаде.

— Как же ты, Полина, проворонила родного сыночка? Ну почему он избегает тебя? Чем приворожила его Хадиша? И что тебе потом Карлуш скажет? Нет, не похвалит он тебя за это?

Эти мысли терзали Полину неотступно. Но однажды произошло неожиданное.

Приехал в очередной раз, как и положено, в конце каждого месяца, комендант из райУМВД, собрал неблагонадежный «элемент» в аулсовет, заставил всех расписаться в том, что все, как один, на месте, никто никуда не убег, инструкцию не нарушают, без спроса никуда не высовываются, порядок соблюдают, законы советской власти все покорно почитают. Любил комендант, бывший вояка, лишившийся на фронте левой кисти, покуражиться, поизгаляться над беззащитными немками, угрожал, пугал, стращал, напоминал, кто они, кто он, истинный патриот, проливавший кровь в борьбе с гитлеровскими оккупантами, отпускал игривые, соленые шутки, строил грязные намеки, подчеркивал, что их, спецпереселенцев, судьба и судьба их мужей в далекой трудармии всецело зависит от его, коменданта, воли, и что стоит ему только захотеть, они никогда не вернутся, а если его ублажат и на него снизойдет добрая воля, он в состоянии даже кое-кого облагодетельствовать.

Все спецпереселенцы должны были явиться в аулсовет «на отметку» непременно с детьми, дабы комендант имел перед глазами весь вверенный ему на участке вражеский контингент.

И в тот памятный день маленький Эдя напряженно и послушно сидел со своей мамой в аулсовете, тараща глазенки то на сердитого, красноносого, грозного дядю в галифе, гимнастерке и с кобурой на боку, то на женщин, испуганно шмыгавших носами. Мальчику шел шестой год, и он что-то понял. Чутким своим сердчишком он почувствовал, что дядя в военной форме обижает всех тетей и дедушек, которых собрал в аулсовет и что-то им грозно выговаривал.

Вдруг он и маме сказал что-то недоброе, потому что Полина вся сникла, сжалась и тихо сказала:

— Я понимаю. Понимаю, гражданин начальник. Но я не виновата. Я не дезертировала. Меня списали после болезни. У меня есть справка.

— Я — твоя справка! Я!! — рявкнул краснорожий дядя в военной форме. И поднял левую изуродованную кисть вместо кулака. — Я! Поняла?

— Понимаю... Понимаю... — послушно пролепетала Полина.

И мальчик вдруг прижался к ней, вцепился в ее руку, и Полина крепко обняла его, чувствуя неожиданную опору. Отметившись, все переселенцы и административно высланные, почему-то пряча друг от друга глаза, разбрелись по домам и на работу, а Эдя, держа Полину за руку, пошел с нею, а войдя в свою «фатеру» с порога как-то по-взрослому серьезно заявил:

— Mammi, ich bleib hier!

Так и сказал по-немецки, и так ловко, убежденно, что Полина от изумления застыла, потом опустилась на колени и головой прижалась к сыну.

— Lieber Heiland! — запричитала. — Mein Kind... mein Kindelein...

И была Полина на седьмом небе от счастья...

Эдя рос не по годам серьезным. И иногда удивлял взрослых своими неожиданными суждениями.

Хадиша прослезилась, узнав о решении мальчика. Она обрадовалась, что мать и сын вновь обрели друг друга, но и почувствовала печаль оттого, что ее любимец как бы покинул ее. Она сама не могла объяснить свои чувства. А мальчик, казалось, все понимал, за все переживал.

— Апа, — сказал он Хадише при встрече. — Апа, я буду к тебе приходить. И я тебя люблю.

— Ой, айналайын-ай, — расчувствовалась Хадиша. — Ай, ақылыңнан айналайын, балам.

И обнимала его, обнюхивала умиленно его рыжеватую челку. Весь аул испытывал трогательную радость при виде, как смуглянькая дочурка Хадиши и рыженький мальчик Полины, взявшись за руки, точно брат с сестренкой, щебеча по-казахски, ходили между двумя домами, нежно заботясь друг о друге. Если Хадиша угощала дочку свежим шелпеком, Асима тотчас отламывала половину и говорила:

— Это я отнесу Эде.

И спешила к мазанке Полины. Когда Полина, случалось, пекла пирожки с картошкой или морковью, Эдмунд отбирал самые пышные и румяные и заявлял:

— А это для Асимы.

И матери не могли нарадоваться взаимной привязанности своих детей.

Но скряга-судьба проявила свою черствость к двум женщинам, позавидовала и их малой радости.

Осенью 43 года пришла в аул очередная черная весть — похоронка на мужа Хадиши, Жуматая. Несколько дней люди текли в скромную хибару Хадиши, выражали соболезнование юной вдове, говорили подобающие слова утешения, вспоминали добром джигита Жуматая, проклиная Гитлера и все немецкое отродье. Немцы села воспринимали каждую похоронку как личное несчастье. После каждой похоронки они чувствовали на себе чуждые, осуждающие взгляды, какой-то холодок возникал в добрых отношениях с местным населением, словно они, переселенцы с Волги, Украины, Крыма, Кавказа, были повинны в общем горе. Даже являться в скорбный дом для выражения сочувствия и сострадания казалось им предосудительным. Еще как поймут? Еще как воспримут? Вдруг с горя скажут такое, что всю жизнь не забудешь, что пронзит душу, дойдет до самых костей и навсегда омрачит, испепелит нормальные и искренние человеческие отношения. Конечно, ты не виноват, совсем-совсем не виноват, но ты немец, сокровник, соплеменник злодеев-кровопийцев, принесших людям столько горя, бед, несчастья. Скорбный плач женщин, получавших похоронку, ранил в самое сердце немцев-спецпереселенцев. Нет ничего страшнее — быть ответчиком за чужие злодеяния.

Когда Полина пришла с сыном к Хадише, чтобы обнять ее и поплакать вместе с нею, она заметила суровые и отчужденные взгляды казашек на себе. Женщины сидели вокруг убитой горем Хадиши, плакали навзрыд, причитали громко, утешали друг друга, обнимались. Полина, вся сжавшись, вытирая ладонями слезы, подошла к Хадише, приобняв, прижалась неловко к ней и почувствовала, как та вся окаменела и не ответила на ее сердечный порыв, как бы замкнулась. А Эдмунд застыл у порога и испуганно таращил глаза. Он вообще не понимал, что происходило. И

не осмелился почему-то подойти к своей апе. И чувствовал, что апе сейчас не до него. Женщины прекратили голосить, о чем-то заговорили, и Полина расслышала одну фразу, которая ее обескуражила, сразила.

— Немістің бәрі неміс, — сказала одна молодайка, и Полина услышала в этой фразе столько боли, отчаяния и презрения, что была готова провалиться сквозь землю, исчезнуть, испариться. Она, посерев лицом, тихо-тихо, бочком-бочком выбралась из скорбного дома.

Эдя крепко вцепился в ее руку и, тоже побледнев, плотно сжав губы, не проронив ни слова, засеменил рядом, покорный и опечаленный.

Так он, мать и сын, и побрели, как неприкаянные, домой.

«Немістің бәрі неміс».

Слова эти взбаламутили, отравили душу. С этого черного дня Полина вновь замкнулась, ушла в себя. Неотступные, горькие думы угнетали и ее маленького сыночка. А однажды Асима, зайдя к ним, чтобы поиграть с Эдмундом, вдруг неожиданно произнесла:

— Моего коке убили немцы...

И, услышав это из уст крохотной девчушки, Полина оцепенела, не зная, что сказать и как утешить смуглую сиротинушку.

«Немістің бәрі неміс» — сверлило в мозгу.

А потом, уже поздней осенью, накануне затяжных занудливых дождей, когда уже деревья обезлистились и с севера задул зыбкий ветер, привезли в аул Карла Ворма.

Привезли ни живого, ни мертвого.

В мешке.

Плоская, деревянная двуколка с огромными кокандскими колесами, запряженная в задрипанного ишачка — на таких двуколках сарты обычно перевозят с бахчи арбузы и дыни, — остановилась около полудня у хибарки Полины. Двое незнакомцев — один в изношенной куцей гимнастерке и пузырящихся на коленях, залатанных галифе, в фуражке, другой — в фуфайке, в толстых штанах, из прорех которых торчали грязные клочья ваты, в вязаной, молью травленной кепке — что-то говорили между собой, потом спросили у облепившей странную повозку любознательной аульной малышни.

— Ворм Полина здесь живет?

— Здесь, здесь, — загалдела ватага чернявых и рыжих мальчишек.

На шум вышла Полина. Растерянно посмотрела на повозку, на странных пришельцев. Сердце заколотилось. Дурное предчувствие захлестнуло горло.

— Ворм? Полина? — переспросил мужчина в галифе и огромных, на толстенной подошве ботинках.

Полина кивнула, не в силах вымолвить словечка.

— Примите вашего благоверного. Кажется, доставили живым.

Полина стояла, как вкопанная. Тот, что был в фуфайке, молчун, отвернул край мешка, разворошил трухлявое сено, показал жестом на поклажу.

Полина, все еще ничего не соображая, повела глаза на то, что лежало в мешке и чуть не лишилась сознания. В мешок был запихнут мертвец. Желтая дряблая кожа лица, обросшая серой щетиной; запавшие глазницы, почти голый, с кулак, череп; плотно сжатые лиловые губы, несуразно огромный нос, уставившийся в небо.

— Не похож? — полюбопытствовал мужик в гимнастерке.

— Либер Готт! Кто это?! — вырвалось у Полины.

— Как кто? Карл Ворм. Собственной персоной. Доставили согласно адресу.

Чувствуя, как слабость ударила в ноги и глаза застилала пелена, Полина заставила себя еще раз глянуть на голову покойника, торчавшую из серой рогожи и увидела... о, господи... как у того затрепетали, вздрагивали белесые ресницы и синяя жилка на детской шее забилась заметнее. Что-то необъяснимое привлекло внимание женщины. Она увидела большую, с ноготок, черную родинку у левого виска. «Он! Он! Мой Карлуш!» — забилось, зачастилось сердце женщины. «Lieber Heiland! Что с ним сотворили?!»

— Карлуш! Карлуш! — со стоном вырвалось у Полины. Существо в мешке сильнее захлопало ресницами, и из провалов глаз медленно поползла слеза.

— Узнала? — спросил мужик в галифе.

Полина вцепилась в край двуколки, чтобы не упасть. Двое незнакомцев схватили мешок с двух сторон и затащили в хибару, сбросили на кушетку. Полина присела с краешка, склонилась над мешком и лишилась сознания.

Очнулась оттого, что кто-то тормошил ее за плечи, шлепал по щекам, подносил ко рту кружку с водой. Полина

открыла глаза, будто вынырнула из омута и узнала стоявшую над ней Хадишу, а у двери, прижавшись друг к другу, притихшие и напуганные, стояли, как часовые, Эдмунд и Асима.

— Поля, Поля, крепись... не распускайся, — твердила ей Хадиша. Полина доверчиво прижалась к ней и разрыдалась. В мешке что-то зашевелилось. Карл с усилием чуть приподнял руку, но она тут же свалилась, как подрубленная.

— М-м-м... — промычал, простонал он, силясь что-то сказать.

Полина вздрогнула. Испуганно отшатнулась и Хадиша. Дети у порога дружно заревели.

— Айналаиндар... выйдите немножко... я вас позову, — сказала им Хадиша, вытирая широким рукавом платья слезы.

— Майн Готт!.. Что мне делать? Что мне делать? — ломала в отчаянии руки Полина.

— Прежде всего успокойся, — ласково сказала Хадиша. — Возьми себя в руки. Твоего Карла хоть живым привезли. Бог даст — встанет на ноги. Душа-то при нем, в теле. А моего, моего... И могила где — неизвестно.

И не договорила, только пуще прежнего зашмыгала носом. А Поля тотчас выпрямилась, собралась с духом.

Карл лежал неподвижно и даже не открывал глаз. Только ресницы трепетали да пальцы что-то шарили вокруг, неуклюже, деревянно, как у слепца.

Вечером, отправив Эдю к Хадише, при тусклом свете семилинейки Полина, стиснув зубы, распорола мешок, извлекла из него своего мужа, вернее, то, что от него осталось, сорвала с него всю грязную, вонючую, сопревшую рвань, осторожно обмыла его теплой водой, завернула в простыню, укрыла шерстяным одеялом. От крепкого некогда мужчины остался скелет заморыша. Того и гляди, косточки рассыпятся. Видно, потому и привезли его в мешке. Глянув на безжизненное, беспомощное тельце мужа, Полина вновь не удержалась от слез и впервые со знобящим страхом подумала: «Нет, не жилец... Не жилец...»

Незнакомцы, доставив списанного доходягу-трудармейца домой, тотчас уехали восвояси. Никто так и не узнал, кто они, какое имеют отношение к Карлу и откуда они привезли его сюда. Полина решила позже рас-

спросить о том самого Карла. Но он, казалось, провалился в бездну беспамятства и совершенно не соображал, где он и что происходит вокруг.

Теперь смысл жизни Полины заключался в одном: выходить Карла. Она нянчилась с ним, как с малым дитем. Отпаивала настоем шиповника, черемухи, боярки. Натирала морковь. Кормила толченой в молоке картошкой. Надорванный, изнуренный организм Карла ничего не принимал. Он только мычал, иногда стонал во сне, лежал неподвижно, смотрел подолгу в потолок совершенно бессмысленными глазами.

— Карлуш, Карлуш, — тщетно пробивалась к его сознанию Паулина, но он, казалось, не узнавал ее. Она, плача, обтирала его мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде, осторожно переворачивала его, поражаясь, как в этом истощенном, иссохшем тельце, покрытом тонкой, почти прозрачной, мертвенно серой кожей, могла еще теплиться жизнь. Живот запал, точно прирос к позвонку. Ребра выпирали так, что, казалось, прорвут кожу; руки-ноги беспомощно болтались, как наживуленные.

Эдмунд пугался нового жильца. И напрасно Паулина внушала сыну: «Это твой папа. Папа, понимаешь! Он просто болен и истощен. Он поправится, поправится». Но мальчик испытывал ужас при виде живого мертвеца и снова просился к Хадише.

Зашел однажды к Паулине и бригадир-полевод Жаймурза, строгий, недовольный тем, что колхозница Ворм уже несколько дней не показывается на стане, но, едва взглянув на Карла, неподвижно возлежавшего на кушетке, тотчас отвернулся и, запинаясь, шепотом сказал Полине:

— Сходи к кладовщику. Пусть выпишет тебе килограмма два пшена или овса. За счет трудодней. Овсяной отвар ему поможет...

Женщины аула сочувствовали горю Полины и радовались:

— Добрый знак. Карл твой первым вернулся оттуда. Трудармия, видать, тот же ад. Из ада вернулся! И, может, за ним последуют другие.

Умирающий Карл Ворм вселял в души женщин надежду. Надежды не было только у тех, кто уже получил похоронку.

Полина потеряла счет времени. Дни и ночи сливались в сплошной кошмар. Она и задремывала лишь ненадолго,

сидя у изголовья Карла. Поглаживала его сухой, холодный лоб, жидкие серые волосенки, старалась высмотреть в изможденном, пергаментном, обтянутом лице живые черты ее некогда неугомонного, веселого, улыбчивого Карла. Без конца щупала пульс, пальчиком дотрагивалась до набухшей синей жилки у виска, разглаживала глубокие морщины, избороздившие все его лицо, шептала ласковые слова. Ее удручало, что Карл ни на что не реагировал, редко открывал глаза, водил вокруг блуждающим взглядом и не узнавал ее. И не говорил ничего, только шевелил губами. Сколько прошло дней и ночей, она не знала. Она чувствовала: стоит ей только отлучиться на миг от Карла, и он уйдет, погаснет.

В эти кошмарные дни заявился в аул комендант. Потребовал, чтобы спецпереселенка Паулина Ворм непременно сама пришла в аулсовет и «отметилась», как все, как положено по инструкции.

И когда Паулина пришла в аулсовет, оставив Карла без присмотра, комендант сходу на нее напустился, накричал при всех неблагонадежных.

— Ты что?! Сама скрываешься и муженька своего скрываешь?! Почему он не встал на учет? Почему не заявили сразу, куда надо? Знаешь, что я могу с тобой сделать?!

Паулина молчала.

— Да болен он, ее Карл. Еще не ходит. Совсем плох, — заступились за нее немки.

— Молчать! — налился кровью комендант и воздел изуродованную кисть левой руки над головой. — Что значит «совсем плох»? Не околел ведь! Притащи его сюда! Пусть встанет на учет и распишется. Давай! Шнель, шнель, фраумадам! Форвертс!

— Да не может он, Спиридон Тимофеевич, — подала голос бабка Амалия. — Как она его доставит? Рассыпется. Только на носилках разве?

— Как хочет, так и доставит! Мне какое дело?! — настаивал комендант.

Однако задумался. С бабкой Амалией он не желал связываться. Она может такое ляпнуть при всех, что последний авторитет потеряешь.

Был такой случай. Когда комендант распалился не на шутку, бабка Амалия осадила его.

— Ты что здесь разорался? Ты советский офицер или торговка на базаре?! И не размахивай своей культышкой, как победным знаменем. Кого пугаешь? Еще неизвестно, кто прострелил твою кисть — фашисты или ты сам! Не ори здесь, петух недорезанный! Веди себя достойно. А то мигом найдем управу. Нашел над кем изгаляться, вояка засранный!

Комендант, побагровев, раззявил было хайло, но огромная, толстая, точно медведица, бабка Амалия Браун, колыхая непомерными грудями, так грозно надвинулась на него, что бравый страж порядка решил с этой бешеной спецпереселенкой лучше не связываться. И сейчас, подумав, он сказал:

— Ладно, Ворм... фрау-мадам Паулина. Войду в твое положение. На этот раз распишешься, так и быть, за своего мужа. Но в следующий раз — смотри! — чтобы он был здесь, как штык. Поняла?

Паулина кивнула.

Проходили дни за днями. Состояние Карла не улучшалось. Он так и продолжал лежать ни живой, ни мертвый. Заехал в их аул фельдшер из колхоза им. Ильича, Георгий Смириди, из ссыльных греков, рослый, костлявый мужчина с длинными смоляными волосами и мощным, с горбинкой, носом, огромным кадыком на жилистой шее. Долго выслушивал, выстукивал Карла, щупал пульс, приложился ухом к тощей груди, щупал впалый живот, помолчал, повздыхал, сказал Паулине по-немецки, пряча глаза:

— Schwach, schwach, gnaedige Frau. Sehr schwach. Врать не могу. Ist eigentlich nichts zu machen.

И ушел, сгорбившись больше обычного, держа в одной руке неизменную аптечку, другой — прихватывая расползавшиеся полы белого халата.

Паулина и сама обо всем догадывалась. И уже смирилась: не жилец Карл, не жилец... И слез уже не было. И в груди ощущалась одна холодная пустота. И молитвы иссякли.

А тут зарядили холодные дожди. Тучи черной кудлатой грядой толпились-плыли над аулом. В хибарке стало сыро. С потолка капало. Тяжелые капли звучно шлепали в ведро, в таз, как бы отмеривали последние мгновения угасавшей жизни.

Вечерело. Паулина, отупев от усталости и безнадежья, понуро сгорбилась у изголовья еле дышавшего мужа. Сутемень в хибаре густела. Пахло нежитью и одиночеством.

Вдруг Карл забеспокоился, пошарил лихорадочно вокруг рукой, поймал кисть Паулины, слабо пожал ее. Потом, задышав со свистом, будто все легкие были продырявлены, приоткрыл глаза, долго всматривался в одну точку, еле внятно прошептал:

— Пау... линь... хен...

Это было так неожиданно, что Паулина вздрогнула, оглянулась. Ей почудилось, что кто-то позвал ее издалека, из далекой юности, с такой нежностью и забытой любовью. Полина, вся встрепенувшись, приникла ухом к его бескровным губам и ясно услышала:

— Пау-линь-хен... Liebe... Пау-линь-хен!

Она стиснула его руку, прижала к груди, и Карл точно потянулся к ней, как бы силясь покрепче прижаться.

— Карлуш... Карлуш... Говори, говори... Я тебя слышу, милый.

— Пау-линь-хен... — внятно прошептал Карл. А через паузу будто выдавил из себя. — Ich sterbe... Paulinchen... Ich sterbe...

— Йезус Мария!.. О чем ты? Не надо... Я ведь с тобой... Я рядом.

— Пау-линь-хен...

Даже в сумерках Паулина ясно увидела, как тень пробежала по его лицу. Тень шла неумолимо, неотвратимо явственной межой от лба к глазам, к носу, ко рту, к подбородку, к шее. Карл еще раз вдохнул в себя воздух и замер, затих, не успев выдохнуть.

— Карлуш! — вскрикнула Паулина, припав к нему. Но она не услышала собственного голоса.

Мерно капали с потолка в ведро и тазы тяжелые, набухшие капли. За окном чавкал глухой осенний дождь.

XI

Над железнодорожной станцией в азиатской глухомани плыл, слоился, рассеиваясь, утренний туман. На перроне толпились заспанные, потрепанные пассажиры. Вдали мигал светофор. Глухо доносился гул приближающегося состава. Сновали торговцы, катя перед собой тележки

с водой, айраном, вареными яйцами, связками вяленой рыбы, вялыми бананами, залежалыми мантами, обугленными по краям, уже успевшими зачерстветь тандырными лепешками, уже не пышными пирожками, усыпанными тмином, маком, плюшками. За оградой станции бушевала сирень. Где-то далеко надрывались петухи, лаяли собаки.

По перрону шагисто ходил взад-вперед, зорко вглядываясь во все, что происходило вокруг, рослый, явно нездешнего вида мужчина: седой, в очках, в джинсах, заморской куртке, с большой, сплошь в «молниях» и кармашках кожаной дорожной сумке на широком ремне через плечо. От всего внешнего облика мужчины веяло уверенностью, силой и спокойствием. На груди его болтался фотоаппарат. Из-за распахнутой куртки виднелся широченный кожаный пояс в металлических заклепках и со множеством карманов. Длинные мускулистые ноги упруго подрагивали под плотными, в обтяжку, добротными джинсами. Мужчина ступал по-кошачьи, мягко, пружинисто, неслышно — так ходят ковбои в голливудских фильмах.

Все ему показалось здесь знакомым. И толчея на вокзалах и автостанциях, и крикливая, гортанная, разноязыкая речь, и несусветная бестолковость, казалось, во всем, и неистребимая грязь, разболтанность и разруха, какая-то подчеркнутая безалаберность и безответственность, всеместная терпимость к полнейшему отсутствию порядка. Когда-то он на это не обращал внимания, даже не всегда это замечал. Теперь и грязь в буфете, и хамство служителей станции, и немыслимая загаженность общественного туалета, и бесцеремонность вокзальных уборщиц, и проржавленные трубы, захламленные фонтаны и арыки, искореженные, пошлостью исписанные скамейки, опрокинутые урны, жуткие очереди у касс, и небритые, немытые, косматые типы, шатавшиеся по углам и торговавшие явно чем-то запретным, и сонные, развинченные девицы с голодными глазами, промышлявшие совершенно определенным бизнесом, и разбитые автоматы и телефоны — все-все чудовищно назойливо бросалось в глаза и вызывало неприязнь и раздражение.

Он пытливо вглядывался вокруг, отмечая про себя те явственные, очевидные перемены, которые произошли за время его проживания в другой, далекой отсюда стране. И подумал про себя, что, видно, все же изменился за эти де-

сять лет, ибо все воспринимает помимо воли другими глазами, острее и обнаженнее. За эти дни, пока он находился в этих краях после столь долгой разлуки, он еще не мог определить для себя эти перемены. А сегодня он склонялся к мысли, что народ этих краев за последнее десятилетие стал жить, пожалуй, в большинстве своем беднее, суетливее и растерянней. Словно что-то надежное, привычное уходило из-под ног, будто все жили временно, сегодняшними лишь заботами и хлопотами, а завтра хоть трава не расти.

Это он заметил и на семинаре среднеазиатских литераторов на Иссык-Куле, куда неожиданно — по личному знакомству с расторопной, неугомонной редакторшей — его пригласили и где он презентовал собравшимся две свои книжки, изданные на собственные средства в местном издательстве.

Он слушал выступления литераторов из Средней Азии, их собралось немного, да и они приехали на этот форум не из своих республик — не из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, а из Финляндии, Швеции, Канады, Германии, где обрели убежище от новой демократической власти своих суверенных стран. И только литераторы из Киргизии и Казахстана прибыли в домик-музей на Иссык-Куле не из стран-убежищ, а с родных мест, но держались как-то особняком и даже не участвовали в заключительном «круглом столе», где речь шла, главным образом, о правозащитных функциях писательского объединения и о бесправии печати в несвободных странах. Писатели говорили о необходимости объединения, о восстановлении единого культурного пространства, едином духовном поле, о правах человека и прелестях свободы, но, чувствовалось, сами они не очень всему этому верили. Одна из поэтесс, давно уже нашедшая пристанище в раздольной России, темпераментно убеждала собравшихся, что она вольная беженка, цитировала русского поэта, сказавшего как-то: «И не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Тональность всех выступлений была унылая и даже безвыходная, бесперспективная. Деликатный и умный культуролог из Казахстана, обладатель звучной, магической фамилии, философски убеждал собравшихся в губительности власти временщиков, разъедающей духовную ауру, сложившуюся в течение веков. Скованность и неуверен-

ность ощущались во всем: в общении, в выступлениях, случайных репликах, даже во время чаепития и застолья. Но в меру оживлен, возбужден и общителен был только литератор из Финляндии, который бойко тараторил по-русски, по-английски, по-немецки, а во время застолий спел даже еврейскую шуточную песню на идиш. Он по-детски радовался встрече с давними друзьями и, казалось, не особенно вникал в их заботы и тревоги или делал вид, что все это — нечто второстепенное, а главное — «друзья, прекрасен наш союз!»

Но союза не было. Была тоска по союзу, стремление к союзу, жажда вольного, творческого союза.

Так почудилось гражданину Германии Эдмунду Ворму.

Нечто схожее он ощущал и в Германии на редких встречах немецких литераторов из России, которые с некоторых пор называли себя дойче шрифтштеллер аус Руссланд. Они собирались в разных городах Германии, проводили «лезунген» среди бывших соотечественников, иногда затевали бестолковые споры, даже, случалось, ссорились, кто-то изъяснялся на приличном «хох-дойч», кто-то шпрехал на смеси диалектов, кто-то предпочел изъясняться на русском и читал тоскливые вирши под аккомпанемент гитары, некоторые умудрялись издать свои опусы на свои деньги ничтожным тиражом и тут же раздавали свои книжки знакомым с трогательно-выспренними надписями, кто-то печатался в жалких, никому не ведомых сборничках. Эдмунда Ворма поражала общая склочная, завистливая атмосфера этих сборищ, склонность к неистребимому раздраю. Каждый старался показать и доказать, что он более немец, чем кто-либо другой, более модерновый, современный, чем его коллега, так и не сумевший перебороть ментальность распавшегося Советского Союза. Те, кто сочинял свои опусы на немецком, с высокомерием относились к тем, кто продолжал творить по-русски. Те, что печатались еще в Советском Союзе, не признавали германских новичков. Одни придерживались фольклорных мотивов и классических канонов, другие тужились исповедовать авангардизм. Те, что писали в рифму, на дух не переносили верлибрщиков. Почти каждое такое сборище заканчивалось скандалом, раздражением и обидой. Обиженные литераторы разъезжались по своим домам на германских землях, зарекаясь когда-либо еще с кем-либо

из «своих» встретиться. Но проходил год или меньше, и та же группа престарелых и пожилых «творителей» вновь оказывалась вместе и читала свои сочинения перед соплеменниками из Союза или СНГ.

По части унижения своих несчастных коллег особенно преуспевал один берлинец, глухой, капризный старец, выдававший себя за непревзойденного знатока старого и современного немецкого языка и обладавший вздорным, несносным характером, не терпевший ничьих мнений и возражений. Родом он был из меннонитов и еще в Советском Союзе везде и всюду выдавал себя за голландца. Выступая, он обычно ухмылялся, делал гримасы, закатывал глаза, размахивал руками, сыпал непонятными большинству английскими, латинскими фразами, всячески подчеркивал свою образованность, высмеивал всех и вся, пародировал коллег, ехидничал, ерничал, язвил и испытывал большую радость, когда удавалось ему стравливать участников «лезунга». Он неизменно ратовал за чистоту редеющих и без того рядов немецких писателей бывшего Союза. Он горячо, с неистовым азартом убеждал: кто не пишет по-немецки, тот, разумеется, не немецкий писатель. Можно даже писать по-немецки, но, если в твоих жилах течет инородная кровь (еврейская, латышская, русская etc.), ты считаться подлинно немецким писателем тоже не можешь. Ты можешь быть безукоризненным немцем по происхождению и творить на безупречно немецком языке, но, если ты при этом пишешь не на немецкую тему, если не отзываешься на немецкие проблемы, а пишешь, скажем, об африканцах, индейцах, казахах, шуршутах, ты писатель тоже не совсем немецкий. Таков был незыблемый штандпункт этого всезнайки-меннонита-голландца.

На «лезунгах» собирались иногда по двадцать человек, выходцев из Советского Союза, прибывших на историческую родину в разное время, но глухой патриарх признавал достойными по его классификации лишь двух-трех коллег, остальных он относил к нечистым, случайным попутчикам, примазывавшимся к подлинным немецким творцам. Их еще следовало переварить в истинно германском котле. И эти свои сумбурные идеи он отстаивал и внедрял с упорством маньяка и в Советском Союзе (в котором он, кстати, нигде не уживался), и в Германии в течение пяти-шести десятилетий.

После трех-четырех таких «лезунгов» у Эдмунда Ворма напрочь пропало желание в них участвовать. Он чувствовал себя среди этих амбициозных сочинителей белой вороной. Он отмежевался от них, ушел в себя, забился в свою комнатушку в подвальном помещении, которую арендовал на зимнее время у бюргера в городе Киль, и после работы корпел ночами напролет над своими рукописями, наведывая семью в Падерборне лишь раз в неделю — с пятницы по понедельник. Писал он по-русски, так ему было сподручнее, писал о российских немцах, писал, как умел, как понимал, как чувствовал, излагая свою неизбывную, невытравляемую боль и обиду давних лет. Писал он для себя, по велению души и не думал ни о публикации, ни о славе, ни — тем более о гонорарах. Он руководствовался одной лишь потребностью высказаться — открыто, без утайки, без боязни, столь въевшейся еще в Советском Союзе. Ольга, жена, однажды без ведома мужа, набрала все его опусы на компьютере, отправила их почти наобум в Бишкек на какой-то конкурс, и там местные знатоки обратили на неведомого автора внимание, узрели в его писаниях что-то свежее, непривычное и решили издать отдельной книжкой, разумеется, на его средства. Потом таким же образом родилась вторая книжка, попавшая на две международные книжные ярмарки. Книгу, к радости автора, восприняли благосклонно.

Затем неожиданно последовало приглашение на семинар среднеазиатских литераторов. Эдмунд отозвался с радостью. В Германию он эмигрировал десять лет назад в самом начале позорного развала Союза и суверенизации республик, прошел через все бюрократические препоны (никогда не думал, что немцы столь искусны и занудливы в бюрократических делах-делишках), испытал немало унижений, на собственной шкуре познал все прелести свободного рынка и свободу бесправия, остро почувствовал ханжескую ложь западной демократии, разочаровался в высоких человеческих достоинствах, вкусил убойную силу гибельного одиночества и окончательно убедился, что в этом мире он чужак, что никому нет дела до его прошлого, до его обид и болей. Более того, он был вынужден признаться в том, что там, в Советском Союзе, а точнее, в Средней Азии, жизнь его была осмысленней и содержательней и что там, несмотря ни на что, он был временами

счастлив. Здесь же, в Германии, он был сыт, ухожен, обрел работу, уверенность и надежность, вошел в размеренное русло, в монотонное течение жизни, но был не нужен, никому не нужен, чужак, сам по себе, нужный лишь себе и, может, семье, и то до той поры, пока дети не встали на ноги. Именно это — общественная ненужность, постоянное ощущение личной невостребованности и привели его к сочинительству, к бумагомаранию, к желанию высказаться, выразиться, облегчить душу в словах.

На перроне заколыхалась толпа. Все изготовились к штурму вагонов, притянув, придвинув вплотную к рельсам баулы, вместительные китайские сумки, ящики, коробки, рюкзаки. И уже из-за угла медленно, с зажженными фарами, точно жуткое чудовище из рассеивающегося утреннего тумана, выполз паровоз, изрыгая клубы дыма, грохоча колесами и скрежеща буферами.

Эдмунд разглядывал толпу. Раньше он, бывало, безошибочно выхватывал из любой толпы своих соплеменников, чем-то неуловимо выделявшихся в любой среде, он не мог точно определить, чем — может, внешней опрятностью, настороженностью и напряженностью в движениях, молчаливостью, неистребимым страхом во взгляде, неброскостью, подспудным желанием незаметнее раствориться среди людей, не обращать на себя ничье внимание. Трудно сказать... Случалось, заприметив единокровника, подходил к нему, спрашивал в упор по-немецки: «Deutscher, nicht wahr? Откуда?», — и усмехался про себя, видя, как незнакомец терялся, затравленно оглядывался, будто уличали его в чем-то предосудительном. На любом репрессированном человеке оставалась невидимая постороннему взгляду каинова печать, которая не выветривалась и после отмены комендантского режима. Здесь, на станции Кара-Балта, сколько бы Эдмунд не всматривался в разношерстную толпу, соплеменников он сейчас не замечал. А сколько их бывало в этих краях! В каждом поселке, в каждом ауле, на всех станциях и полустанках непременно жили его единокровники с Волги, из Крыма, Украины, Кавказа. Неужто все разъехались? Неужто все стали поздними возвращенцами? Ведь в Средней Азии и Казахстане их было натыкано не один миллион. Немудрено. Теперь их видишь повсюду в Германии. И там их отличишь за три версты. И вовсе не обязательно по выговору, по манерам, по поступкам,

жестам. Поздний возвращенец может сходу облачиться в европейское шмутье, может выучиться самым расхожим немецким словечкам и фразам, может даже лихо употреблять молодежный сленг, все равно что-то неуловимое и неистребимое выдает его сразу. И там, в Германии, Эдмунд — особенно поначалу — с тайной радостью и любопытством останавливал своих бывших земляков и опять-таки допытывал: «Russlanddeutscher? Aus SU? Откуда? Из Казахстана? Сибири?» И поздний возвращенец также застывал в изумлении, оглядываясь по сторонам и не решаясь сразу признаться, что он — да, оттуда, из Сибири, из Казахстана, Таджикистана, Молдавии. Географические особенности огромного Советского Союза неизгладимо отпечатывались даже на внешности так называемых российских немцев. На это обратил внимание Эдмунд Ворм еще на съездах соплеменников в Москве в конце 80-х и в начале 90-х годов. Сибирские немцы сразу бросались в глаза своей агрессивностью, резкостью, бесшабашностью и кондовым русским языком, местными речениями. Немцы из Казахстана вели себя очень корректно, толерантно, отличались общительностью, спаянностью, покладистостью. Немцев из Туркмении невозможно было отличить от самих туркмен. Некоторые туркменские немцы даже щеголяли в мохнатых бараньих шапках, создавая комический эффект. Немцы с Поволжья глядели на своих туркменских собратьев, как, должно быть, европейские евреи на своих африканских единокровников. Туркменские немцы казались самыми забитыми и молчаливыми. Совсем уж чужаками воспринимались немцы из Дальнего Востока, Сахалина, Якутии, Тувы. Странным казалось, что они в тех краях есть. И уж ни на кого не были похожи немцы из Петербурга и Балтики. Они были чопорны, галантны, вежливы, держались особняком и почти не говорили по-немецки, а если и говорили, то не так, как другие, на диалектах, а выражались по-книжному, правильно, на «хохдойч» и никогда не позволяли себе срываться на крик, ор, свист и топот. По этой части как раз мастера были немцы из Сибири — из Нижнего Тагила, Свердловска, Новосибирска, Читы. Те вообще бывали склонны к драчкам, словесной перепалке, оглушительным, соленым словам.

И русских на перроне было совсем мало. Преобладал люд смуглый. И самое поразительное — обилие китайцев.

Маленькие, щупленькие, они волочили за собой огромные баулы и сумки и сновали в толпе незаметно и уверенно, словно стая мальков в мелководье.

Поезд шел из Бишкека в Джалал-абад, и станция Кара-Балта была лишь второй станцией по пути следования, однако вагоны уже битком набиты пассажирами. Из раскрытых окон вагонов высовывались оживленные желтые, плосконосые лица в шляпах, кепках, торчали цепкие, жилистые руки, выхватывавшие еще на ходу поезда тяжеленные сумки и баулы снаружи, которые лихорадочно впихивал такой же возбужденный люд в таких же шляпах и кепках, пока еще бодрые, не особенно помятые проводники, стоя на подножках, торжественно держали на вытянутых перед собой руках железнодорожные флажки. Толпа мгновенно удвоилась, утроилась, будто выросла из-под земли. Наконец состав, тяжело отдуваясь, нехотя остановился, и толпа, подняв рев и гвалт, штурмом кинулась к вагонам.

Эдмунд высмотрел свой вагон, нащупал в кармашке билет и пристроился к концу кучки людей, облепивших подножку. Туготелая, смуглая молодка в плотно облегающей форме — синей юбке и белой блузке, прочно встала у входа в купейный вагон и презрительно, надменно оглядела толпу, не спеша косясь на протянутые билеты и бесцеремонно отпихивая локтями и бедрами особенно нетерпеливых пассажиров. «Успею, — подумал Эдмунд. — Билет в кармане, купе двухместное. Не буду толпиться». Но, оказалось, тертая проводница наметанным взглядом давно заприметила его.

— Вам что, гражданин, нужно особенное приглашение?

Эдмунд протиснулся к ней, протянул билет. Проводница мельком покосилась на билет и уставилась ему прямо в глаза. Она была недурна собой: гладкая, короткая прическа, черные, миндалевидные глаза, но смотрела вызывающе, нагло; ноздри трепетали; губы полные, чуть подкрашенные, подрагивали. Тугие груди мощно выпирали под блузкой.

— Проходите! — сказала она, обдавая жаром. — В любое купе.

— Как в любое? — переспросил он, слегка смущенный ее бесстыдным, точно ощупывающим его взглядом. — У меня же третье! Эсвэ!

— Ну, располагайтесь!

Эдмунд протиснулся в душный, отдающий неприятной смесью застоявшихся запахов вагон, резко раздвинул створку третьего купе и ахнул. Двухместное купе было до самого верха завалено баулами, сумками, корзинами, негде было повернуться, а за столиком у окна восседала толстая тетка в цветастом халате, шерстяных чулках, разношенных тапках; возвышалась горой, расставив слоновьи ноги, и выставилась на него с неприязнью и одновременно испуганно. Разномастным багажом оказались заваленными оба нижних сидения. На столике громоздился огромный термос, возвышалась горка лепешек вперемешку с помидорами, огурцами, раздавленными мантами и бесформенными пирожками. И когда только эта верблюдица успела так вольготно расположиться? Уж не с ночи ли, еще в Бишкеке, пробралась в вагон?

— Простите, это все ваше? — спросил он, косясь на тюки.

— Мое, мое, — утробным голосом отозвалась тетка, вытирая огромным платком пот с необъятного, до черноты загорелого лица. Пот струился с нее по щекам, от черных, густых, как конская грива, волос, с покрытой грубой щетинкой верхней губы по шее и подбородку, и она беспрестанно обмахивалась платком и тяжело отдувалась — уф-ф!.. Отдувалась так бурно и шумно, что колыхалась черная от копоти занавеска на окошке.

— Извините, но... здесь мое место, — пробормотал он. — Согласно купленному билету.

— А я разве возражаю? — ухмыльнулась тетка, отбиваясь пухлой рукой от назойливой мухи, ошалело кружившейся над ней. — Устраивайтесь. До Тараза все утрясется.

— А вам до Тараза?

Тетка кивнула и опять шумно выдохнула — уф-ф-ф, обдавая Эдмунда густым облаком смешанных запахов.

Он снял с плеча кожаный саквояж, сверху положил пакет с книжками и вышел в коридор, соображая, как быть. Ему мечталось основательно выспаться в тиши купейного вагона. Ехать с такой попутчицей в такой тесноте никак не входило в его планы.

Вагон хоть и считался купейным, дорогим, СВ, но представлял жалкое, если не жуткое зрелище. Весь побитый, обшарпанный, разболтанный, с потресканными, выбиты-

ми, местами фанерой заделанными окнами. Но особенно тяготил смрадный дух, шедший из всех его щелей.

Досадливо морщась, он прошелся по коридору из конца в конец, заглянул и в другие купе. Все они оказались забитыми до верху товаром, а среди баулов, сумок и тюков сидели, затихнув, какие-то бородатые, усатые, помятые гаврики, и было неизвестно, когда и как они успели пробиться в вагон.

Наконец поезд тронулся; гул и галдеж на перроне усилились, во все еще открытые двери летели полосатые тюки, кто-то втаскивал их ловко и швырял по углам, потом, уже на ходу, впрыгивали с шумом, с руганью еще какие-то люди, запыхавшиеся, потные, расхристанные, с безумными глазами.

«Ну, кажется, влип, — подумал с тоской Эдмунд. — Не поезд — барыга».

Он стоял у окна, смотрел на проплывающие мимо пристанционные ветхие пристройки, на унылые пустыри, на которых паслись одинокие тощие коровы, козы, ишаки на привязи, а по коридору взад-вперед забегала, зашныряла бойкая проводница, собирая, видно, дань с вольных пассажиров, с одиноких «зайцев», и каждый раз, проходя мимо, как бы ненароком задевала Эдмунда в тесени то бедрами, то грудями, то локтями, обдавала дразнящим бабским духом от распаренных, горячих телес.

Наконец Эдмунд остановил ее, извиняюще сказал:

— Мое место, оказывается, занято.

— Что? Как занято?! — вскинула глазища проводница. — Вы же там вдвоем.

— Ну, да... вдвоем. Только багажа столько, что и садиться негде.

— Как это?! — наигранно возмутилась проводница и энергично направилась в купе, привычным рывком раздвинула дверь.

Эдмунд еще больше удивился, увидев в купе, помимо толстухи, изнывавшей от духоты и пота, еще трех попутчиков — двух молодых женщин в шароварах и цветастых платьях и подростка в тюбетейке, незаметно втиснувшегося между тюками, точно воробышек в застрехе.

Проводница тотчас повысила было голос, заговорив на такой странной тарабарщине узбекских, киргизских, казахских слов, что Эдмунд даже не уловил, о чем шла речь.

Он только понял, что проводница гневается, обращаясь главным образом к толстухе. Та выслушала негодование яростной проводницы, потом лениво взмахнула пухлой ручкой, обмахнулась платком, затем запустила руку куда-то за необъятные груди, извлекла из потаенных глубин несколько помятых и потных купюр и небрежно сунула смазливой служительнице порядка. Проводница тотчас сникла, смолкла, сунула деньги в сумку со множеством ячеек для билетов и буркнула Эдмунду.

— Пройдемте ко мне.

Он схватил свой кожаный саквояж, очутившийся под столиком между ног толстухи, пакет с книгами и послушно последовал за проводницей, невольно обратив внимание на то, как упруго ходили ходуном ее могучие ягодицы под плотной форменной юбкой.

В закутке проводницы возле туалета было относительно свободно и прохладно.

Одна полка пустовала и была заправлена белой простыней и одеяльцем.

— Вот здесь и располагайтесь. Вам удобней будет.

— Как? А если контролер нагрянет?

— Это моя забота, — лукаво ухмыльнулась проводница и опять нахально стрельнула в него бесовским взглядом.

— Ну, ладно, — смиренно ответил он.

Проводница без конца куда-то отлучалась, переругивалась с пассажирами, уверенно укрощала строптивых, переговаривалась со своими товарищами из других вагонов все на той же немыслимой мешанине и, входя время от времени в свой закуток, шельмовато улыбалась.

— Ну, как? Претензий нет?

— Нет, нет, — поспешно соглашался Эдмунд, в самом деле уютно развалившись на нижней полке поверх простыни и с удовольствием вытянув гудевшие ноги.

Он долго читал лежа. Потом с любопытством разглядывал проплывающий пейзаж. В Киле, Гамбурге, откуда он вылетел дней пять назад, было дождливо, сыро. Солнце показывалось редко, и было оно беспомощное, чахлое. А здесь весна была уже на исходе, солнце весело взирало с вершин далеких гор, вокруг тянулись холмы, по их склонам ярко пылали маки, и трава еще сочно зеленела, и у горизонта плыло, зыбилось марево. Чувствовалось, что надвигалось знойное азиатское лето. Через месяц-полтора,

надо полагать, обрушится нестерпимо жаркая пора, которую казахи называют шильде, а узбеки — чилля. А пока жара еще не изнуряла, над степью дул освежающий ровный ветерок, и над дорогами вдоль железнодорожной насыпи вольный смерч еще не взвихривал пыль. Благодать! Но вглядываясь в голубеющие дали, Эдмунд ловил себя на том, что на памятном ландшафте чего-то не хватает, и сразу не сообразил, чего именно. А потом осенило: слишком редко встречаются тучные стада, отар овец не видно, задумчиво-отрешенных чабанов, восседавших на понурых маштаках. И оттого степь казалась пустой, безжизненной, невеселой. И эта пустота навевала невольно печаль, неизменную спутницу путешественника. Разные мысли приходили в голову Эдмунду. Интересно, как сейчас выглядит Туюк су? Коснулись ли его перемены, о которых не очень лестно отзывалась германская печать? Кто еще жив из старожилов колхоза, а позже — совхоза имени Кирова? Уцелел ли его, Эдмунда Ворма, дом? Узнает ли он Асиму? За эти десять лет, конечно, он сильно изменился. Поседел, постарел. Да и Асима уже раскрутила шестой десяток. И он может ее не узнать...

И, думая о своем ауле, где он вырос и жил долгие годы, почувствовал щемящую грусть, и глаза поневоле повлажнели... Завтра к вечеру поезд доставит его до Кумкента, а там на автобусе или на попутной машине два-три часа, и он в ауле.

Сердце его забилось учащенно, когда он представил тот миг: вот пройдется он по аулу, встретит знакомых и скажет по-казахски, врастяжку: «Ассалаумагалейкум!»

Пока он читал и предавался приятным размышлениям, в закуток несколько раз заскакивала проводница, и Эдмунд явно уловил, как от нее все гуще пахло вином и пережаренным луком. И черные зрачки ее поблескивали все ярче и беспокойней. Потом она и вовсе исчезла часа на два и уже в сумерках ввалилась в купе в изрядном подпитии. Движения ее стали неверными, начала похохатывать невпопад, блузка вылезла из юбки, волосы разлохматились, губы расплылись, глаза нечисто туманились. Сквернословя на своей тарабарщине, она плюхнулась на свою полку, не оправляя задравшуюся юбку и выказывая полные, смуглые, гладкие ноги.

— Ну, как... Хорошо? Доволен?

— Нормально, — ответил Эдмунд на всякий случай.

— Слушай, — решительно перешла проводница на «ты» и даже заговорщически подмигнула. — Травку куришь? Для полного кайфа.

— А есть?

— Найдем, — загадочно сказала проводница. — Для хорошего человека постараемся.

— Не надо.

— Что так? Может, что-нибудь покрепче? Шприц есть.

— Нет, благодарю.

— Ведешь здоровый образ жизни? — неприязненно заключила проводница и откинулась на подушку, закинула руки за голову, отчего груди ее напряглись под блузкой, бугрясь маняще. Юбка задралась выше колен, обнажив смуглые тугие бедра.

— А может, может... — Проводница по-дурному захихикала, закатила глаза, облизнула губы, пьяно икнула.

— Что, может? — переспросил Эдмунд, затаив дыхание, невольно ощупывая глазами ловкое, распластавшееся тело ядреной смуглянки.

— Ну, это... — Она сделал пальцами неопределенный жест. — Удовольствия желаешь?

И отвернула голову вбок, приоткрыв рот, обнажив два золотых передних зуба, незаметно расстегнув верхнюю пуговицу блузки, стеснявшей полные груди.

За окном сгущались сумерки. Поезд набрал ровную скорость. Вагоны размеренно покачивались, колеса стучали: «так-так-так...» В купе слабо брезжил свет. Колыхалась занавеска. Смуглянка нога об ногу скинула туфли. Одна рука свисала с полки, обнаженная, полная, гладкая. Другой она как бы пыталась поправить задравшуюся юбку, прикрыть круглые коленки, но это ей не удавалось.

Знобкая дрожь прокатилась по животу Эдмунда. Стало жарко. Женщина мызгала губами, цокала язычком, протяжно вздыхала.

Эдмунд порывисто встал, сунул ноги в дорожные кеды, откинул щеколду-затвор дверцы, вышел в коридор.

Гулял ветер. Пахло углем, мазутом, ржавой водой. В тамбуре сбились в круг мешочники, поминутно поплевывали себе под ноги, затягивались вонючим дымом, передавая закрутку друг другу. Третье купе было распахнуто. Проходя мимо, Эдмунд заглянул: толстая баба, задыхаясь, все обмахивала себя платком, без конца вытирала пот; мальчик-подросток, точно надломленный, притулился к

тюку и спал, широко открыв рот. Дремали и две молодки в цветастых платьях и шароварах.

Эдмунд долго стоял в коридоре, выставив лицо встречному тугому ветру, вдыхая аромат степей. Запах этот, настоенный разнотравьем, был ему знаком с детства. Странно, такие запахи он в Германии не ощущал. И там встречались дивные, ухоженные поля, зеленые холмы, множество рек и речушек и даже леса в густой листве, и дожди повсеместно поливали это благолепие, а запахов, от которых ширится грудь и веселится душа, нет. А степи казахские пропитаны вечным ароматом горькой полыни и вольной ширью. Эти запахи, особенно по весне, как бы возрождали человека, придавали ему силу и ощущение свободы, беспредельности бытия, предвкушение удачи, радости, надежды. И потом, уже после службы в армии, став водителем-дальнобойщиком, исколесив всю ширь Средней Азии и Казахстана, он вдосталь насладился этим запахом степных трав.

И сейчас, с наслаждением вдыхая столь знакомый и желанный аромат ночной степи, он испытывал радостную грусть и вечное желание чего-то неповторимого, безвозвратного.

В купе проводницы он вернулся за полночь.

При тусклом свете закопченной лампочки на потолке, беспомощно согнувшись, за столиком сидела проводница и, обхватив разлохмаченную голову обеими руками, тихо плакала. Она была совсем не похожа на ту бойкую, развязную, туготелую бабенку, которую он видел днем. Перед ним сидела растерянная, несчастная хатун, тыльной стороной ладоней смахивавшая безутешные слезы и вздрагивавшая, как обиженный ребенок, плечами.

— Что случилось? — спросил он участливо.

Проводница хлюпнула носом, давясь от рыданий.

— Вам плохо? Чем могу помочь?

Она уставилась на него большими, жгучими глазами, полными слез, и ему стало не по себе: столько отчаяния, боли и тоски он разглядел в них. Тихо плача, женщина с упреком поглядывала на него, временами пьяно икая, и от нее нехорошо пахло перегаром и еще чем-то неприятным.

— Вот ты сидишь тут... гладкий, сытый, здоровый бугай... я же вижу — нездешний... и думаешь: грязная, пьяная баба... Так?

— Ну, почему? — смутился он. — Я так не думаю.

— Думаешь! — зло выпалила проводница. — Еще хуже думаешь! Думаешь: наглая, нахальная... пассажиров обирает... наркотиками промышляет... себя предлагает. Ничем не брезгует... Сволочь, мол, тварь, сука.

— Да откуда вы взяли? — совсем уж растерялся Эдмунд.

— Знаю. Знаю. По глазам вижу. Нутром чувствую. А почему я такая — подумал?! Почему я ишачу на этом поезде, среди алкашей, мешочников, наркоманов — подумал? Зачем я побирушничаю — подумал? Ни хрена не подумал, извини за выражение. А как жить — подумал? Что работы нет, что за все плати, что каждой скотине на каждом шагу только дай, дай, дай — подумал?!

— Не-ет, — признался Эдмунд, растерявшийся от яростных наскоков женщины.

— То-то и оно, что нет! — продолжала проводница. — Откуда тебе все знать? Ты же нездешний?

— Да, нездешний.

— Из Германии? Из наших немцев?

— Допустим.

— Я сразу догадалась! — торжественно заявила проводница. — И что по-казахски понимаешь, сразу смекнула. И по-русски говоришь с акцентом.

— Неужели? — удивился Эдмунд.

— Да, да, заметно. Давно уехал?

— Десять лет назад.

— То-то же! Потому и не знаешь ничего. Не ведаешь, как мы тут выкручиваемся. Не представляешь, каково бедолагам, когда нечем жить, когда муж — растяпа, тюфяк, безработный, алкаш, когда дети голодные... когда каждый скот тебя унижает, когда за место проводницы дай одному, другому, третьему... да я корову продала за это место... когда дай бригадиру, милиционеру, разным хмырям... когда заставляют торговать Бог весть чем... чтоб только толкать, пихать в ненасытные глотки каждому долба... извини... Вот и крутись, вот и живи. Понял?!

— Чего не понимать-то? Знакомо, — грустно заметил Эдмунд.

— Откуда? — вскинулась проводница. — Десять лет назад, когда ты уезжал, разве так было? Жили нормально. Все, как у людей. Я экономистом в совхозе работала. Не ве-

ришь?! Представь! И в жизни не думала, что буду трястись в этом вонючем закутке, на колесах, среди рвани и дряни... А куда денешься? И за это благодаришь Создателя каждый божий день.

— Вы из местных?

— Да откуда же? Не из Германии. За Таразом и живу. В бывшем совхозном центре.

— Казашка?

— Помесь носорога с бульдогом. Мать узбечка, отец азербайджанец.

— Я думал, уйгурка, — признался Эдмунд. — Или курдянка.

— Курдов у нас много. А вот остальные разъехались. Кто куда: в города, в Россию, немцы уехали все. И греки, и крымские татары, карачаевцы.

— И чем занимаетесь?

— А ничем! Бабы, бедные, торгуют наркотой и собой, как придется. Мужики слоняются без дела... за детьми присматривают, пьют... что еще?

— А наркоту где берут?

— А везде! Какие-то жуки промышляют и молодых баб в это дело втягивают. И все знают. И у всех есть крыша. Один другого прикрывает. Некоторые на этом деле наживаются ой-ой-ой! А рыбешки попадаются. Ловят только уж совсем несчастных бедолаг.

— Вы не боитесь?

— А что делать? Боюсь! Но, надеюсь, в беде не оставят. Такая, как я, тоже кому-то нужна. На нас, бишаринцах, и наживаются где-то в верхах.

— Вы думаете, и власть в этом замешана?

— А как же! От власти все и идет. Она жирует на народном горе.

Эдмунд промолчал, задумался. О том, что в наркобизнесе очень даже заинтересованы самые высшие эшелоны власти, ему убежденно толковали и писатели из Туркменистана и Узбекистана на семинаре на Иссык-Куле. Они приводили также цифры и факты, что Эдмунд содрогнулся, хотя о том и раньше догадывался.

Ночь прошла без сна.

Ближе к утру зашныряли какие-то обросшие подозрительные типы в купе к проводнице, начали шушукаться, показывать что-то на пальцах, жестикулировать, щелкать

языками. Проводница совала им что-то из дорожной сумки, оглядывалась по сторонам, прикладывала палец к губам и бесцеремонно выпроваживала сомнительных посетителей. Время от времени и сама куда-то исчезала, запирая дверь купе на замок, выходила на полустанках и тут же возвращалась с сумками и тюками, коробками и пакетами и все это ловко распихивала по верхнему и нижнему багажникам.

Потом успокоилась, заперла изнутри дверь и выложила на столик и полку вороха помятых купюр, раскладывала их, разглаживала, пересчитывала, делила и рассовывала по сумкам, кармашкам, за лифчик, куда-то подмышки и за пояс юбки.

Эдмунда она не стеснялась или считала, что он спит.

Потом, уже на рассвете, зашел важный мужик в железнодорожной форме, хозяйски расселся на постели проводницы, снял фуражку, вытер лысину и, запихнув сверток за пазуху, довольный, как раскормленный гусак, пошел по другим вагонам. Немного спустя последовал еще один и, тоже получив сверток, провалился, как сквозь землю. Затем показался милиционер, тоже что-то получил, но, видно, ему этого показалось мало, он игриво прижался к проводнице, потискал ее груди, шлепнул ниже спины и по-жеребиному загоготал. Потом воровато проскользнул в дверь тощий, плешивый хмырь с повязкой на руке, пошнырял, позыркал глазами по сусекам, полкам, багажнику, ухмылялся, носом ширкал, будто принюхивался к чему-то, и проводница и ему сунула сверточек и тут же выпроводила.

— Сволочи! — ругалась она. — Шакалы! Кровопийцы! Крокодилы! Чтоб вы все подавились, подохли!

И злые слезы брызнули из ее глаз.

Приунывшая, сникшая, отрешенная, она потом начала растапливать титан с водой, готовить для пассажиров утренний чай. Потом сухо сказала Эдмунду:

— Часа через два прибудем в Тараз. Меня заменит сменщица. Третье купе освободится. Перейдете туда.

Она снова перешла на «вы», говорила холодно и отстраненно, и Эдмунда этот ее тон огорчил. После ночного доверительного разговора он почему-то рассчитывал на более дружеское обхождение. К тому же проводница вызвала в нем искреннее сочувствие. Он действительно понял, как

она бьется за место в жизни, как пытается вырваться из нищеты, а ему, позднему возвращенцу, все это так было понятно.

— Хорошо, хорошо, — согласился он, собирая свои вещи. — Я перейду. Могу до Тараза даже подождать в коридоре.

Проводница тоже занялась своими баулами и тюками, успевая на ходу причесаться, прибраться, подкрасить губы. Даже обрызгала себя резко пахучим дезодорантом. И вновь стала опрятной, смазливой, уверенной в себе женщиной.

Он достал кошелек, протянул ей двадцать марок.

— За что? — неприязненно спросила она.

— Просто, — пробормотал он смущенно. — На гостинцы вашим дочкам. Мне было приятно с вами.

— Неужто? — зарделась она и хмыкнула. — Что-то не заметила, чтоб вам было приятно.

Он понял намек.

— Ну, что вы?.. Не обижайтесь... Я благодарен за все, что вы мне рассказали.

— И вы поверили?.. Мало ли что могла наболтать подвыпившая баба случайному спутнику? А марки свои оставьте себе. Я их не заслужила.

— Да что вы?! — совсем уж расстроился Эдмунд. — Я ведь серьезно, от души.

— И я серьезно — отрезала она.

Он сразу сник, потух, выбрался из купе, отошел, встал у окна.

Состав замедлил ход. В вагоне все зашевелились, засуетились. Некоторые принялись заранее подтаскивать багаж к выходу, загородили весь проход.

Выбралась из третьего купе и гора-баба со своими спутниками. Подросток никак не мог проснуться и ежеминутно плюхался на тюки, приваливался к сумкам и закрывал глаза, что-то недовольно бурча.

Наконец поезд подкатил к перрону станции Тараз. И тут началось такое столпотворение, такой поднялся гвалт, будто на эшелон набросились разбойники. Стоя у открытого окна, Эдмунд наблюдал, как у вагона тотчас образовалась гора багажа. Первой начала швырять на перрон тюки и баулы проводница. Невзрачный, тощий мужичонка в турецком спортивном трико, в помятой кепчонке, небритый,

не вынимая сигарету изо рта, ловил снизу поклажу, грузил на тележку, пошатываясь, подгибаясь, а рядом две девочки лет девяти-десяти, также молча, без конца пересчитывали сумки и тюки. Проводница только распоряжалась: «Скорей! Скорей! Да брось ты свою соску! Что, с утра нализался?! С какой радости?!»

Наконец мужичонка толкнул груженую по самый верх тележку и в сопровождении двух девочек, поддерживавших поклажу с двух сторон, исчез, растворился в толпе, а проводница, что-то на ходу объясняя, передала сумку, флажок, какие-то папки своей, должно быть, сменщице, рослой, костлявой, полусонной тетке.

«Ну, вот и все...» — почему-то грустно подумалось Эдмунду.

В коридоре творилась жуткая толкучка. Началось встречное движение. Неизвестно, как пробились новые пассажиры и со штурмом, криками, руганью занимали освободившиеся места. Гвалт стоял — чертям тошно. Эдмунд, держа над головой свой саквояж, пробился-таки в третье купе и разлегся поспешно на свое законное место, решив на этот раз не уступать его никому.

На второй нижней полке успели между тем устроиться уже четверо. Все распаренные, потные, возбужденные, шныряли глазами по сторонам.

— У вас у всех билеты в это купе? — спросил Эдмунд.

— Ия, ия... в это, в это, — закивал один.

— Какой билет?! — возмутился другой. — Билетов нет. Никогда не бывает.

— Поезд проходной, — задумчиво заметил третий. — Залез — вот и билет.

— Но... купе-то двухместное, — осторожно намекнул Эдмунд.

— Двухместное. Да, да... — согласился первый.

— Там, где двое, поместятся и четверо, — поддакнул второй.

— В тесноте да не в обиде, — философски заметил третий.

— Все люди — братья, — подытожил четвертый.

Эдмунд промолчал.

Поезд стоял сорок минут. Они показались вечностью и превратились в сущие Содом и Гоморру.

Но всему приходит конец: поезд тронулся. И только теперь Эдмунд убедился, что поездка на поезде в южном

направлении — тяжкое испытание. Грязь, жара, теснота, давка, бестолковость, беспредел начались после Тараза. Впечатление было такое, будто все казахи обосновались у железной дороги и промышляли торговлей, кто на что горазд. Сразу же от Тараза по вагонам бесконечной вереницей шастали взад-вперед дети, старухи, инвалиды-попрошайки, крепкие, но опустившиеся парни, изможденные, зачуханные молодки-келиншеки. Эдмунд поневоле вспомнил песню мертвецов из некрасовской «Железной дороги». Многоголосый ор вокруг ни на минуту не угасал.

— Семечки! Курт!

— Минеральная вода! Кола!

— Пиво! Свежее пиво! Кумкентское!

Старуха в жаулыке, загорелая, как головешка, надсаживалась:

— Банка-бодка! Бодка-банка!

О Lieber Gott, где это видано, чтобы старая мусульманка спаивала честной народ сомнительной водкой в банках.

— Чулки, носки!

— Платья, халаты! — перекрикивали друг дружку горластые смуглые молодки в длинных, до пят, разноцветных, потом пропитанных, измызганных платьях.

Четверка джигитов, явно навеселе, металась по вагонам, зорко зыркала по открытым купе.

— За обувью, за обувью следите! — завопила русская тетка в соседнем купе. — Стащат! Стырят! Я в тот раз босиком вышла из вагона.

— Да, да... прямо на ходу подцепляют, и ищи-свищи! — поддакнул кто-то.

— И сумки уволокут запросто.

В руках джигитов свежевыструганные домбры.

— Аден палка — два струна, — Мұның аты домбыра, — в рифму прокричал один из джигитов, на вытянутой руке держа за гриф связку домбр. — Полторы тыщи тенге!

Другой яростно хлестал по струнам, вопил дурниной:

— Кел билейік, ән салайық...

— Тенге покупаем на сумы. Тенге берем, сумы даем, — хрипел третий.

— Доллар меняем, марку, юань меняем!

За парнями тащилась ватажка девиц.

— Самса! Самса с картошкой!

— Кому пиво? Кому кола?

— Напиток со льдом! Давай налетай!

В грязном пластмассовом ведерке, прикрытом чумазой рогожкой, плескалась розоватая жидкость с куском льда. К ведерку была привязана бечевкой заржавленная, замызганная кружка.

— Айран! Курт!

— Сметана!

— Агуршик! Помидор!

— Редиска! Лук!

— Семешка, семешка! Пива калодный! Минвода!

Сотня продавцов, торгашей, барышников, нищих, оборванцев, шаромыг всех мастей сновали взад-вперед, туда-сюда, вопя охрипшими голосами, усталые, озабоченные, ошалевшие от жары и нищеты, замурзанные от беспросветной житухи. И Эдмунд прикинул: подавлющее большинство из них были казахи. Вот это-то больше всего и поражало, угнетало, отчаивало Эдмунда. Он в жизни не допускал, чтобы за какие-нибудь десять лет могло случиться такое. Еще недавно, насколько ему известно, казах стеснялся овец продавать на базаре, считал это недостойным для степняка занятием. А если и продавал, то через посредника, а сам смущенно стоял в сторонке, или уступал животину за бесценок. Можно себе представить, до какого состояния дошел аул, вчера еще тихий, чаще всего благополучный, до чего докатился народ, еще недавно презиравший суету и подлое торгашество. О какой духовности может идти речь?! Эдмунд вспомнил семинар на Иссык-Куле, представил дискуссию за «круглым столом», длинные, витиеватые и воодушевленные речи литераторов о духовности, едином поле культуры, о нравственности и национальных традициях, живо вообразил поэта-посла, который, судорожно размахивая руками, глотая слова, на дурном русском языке, то и дело срываясь на крик, долго допекал всех длинным, как тонкая баранья кишка, отрывком из своего вычурно-странного романа о Чингиз-хане. До чего же беспомощными, назойливыми и пустыми показались Эдмунду сейчас все эти патетические словеса после того, что он видел воочию вокруг. Понятно, начальство, власть предержащие на таких поездах не ездят, и весь этот хаос, разгул не видят, а вот писателей, радетелей о народном счастье не мешало бы время от времени провезти по таким дорогам, дабы и они «думали думу свою», а не вита-

ли в облаках и не судили о жизни по ресторанам.

На станции Кумкент он вышел опустошенный, изнуренный, раздавленный. Он ходил по торговым рядам, чувствуя, как проголодался, но не решился отведать ни румяных, исходивших жиром шашлычков, ни чебуреков, ни мант, ни плова в дымящемся котле, ни сорпы, ни чужука и казы, разложенных на промаслившейся насквозь газете, ни другой какой-нибудь восточной снеди, все это продавалось тут же, среди шныряющей толпы, на ветру, на солнце, рядом с хламом, мусором и не вызывало доверия.

Неподалеку стояли помятые, повидавшие виды автобусы, раздрызганные частные машины. Водители, надсаживая глотки, зазывали пассажиров.

— Кому в Таскент?

— Кому в Гулистан?

— Кому в Сары-Агач?

— Келес! Келес!

— Черняевка!

У киосков, комков, лотков надрывались радиоприемники. Уши вяли от узбекских, казахских, русских, иностранных шлягеров. Солнце пекло немилосердно. Грузчики вламывались в густую толпу, грозя ненароком раздавить своими тележками зазевавшихся прохожих.

— Ноги! Ноги! — кричали они охрипшими голосами.

Эдмунд купил у худощавой девочки в камзольчике и тюбетейке две тонюсенькие лепешки, посыпанные темными зернышками зра, у другой торговки в соломенной шляпе, похожей на дунганку, купил два здоровенных бордовых помидора, называемых в просторечии «бычьим сердцем», и осмотрелся вокруг, ища укромное местечко, где бы можно было закусить перед дальнейшей дорогой. Такое место он нашел за газетным киоском, где было не особенно людно. С удовольствием умял духмяные, еще теплые лепешки, заедая плотной, сочной мякотью помидора, и сразу же взбодрился. В ряду автобусов он высмотрел старенькую коробку с выцветшим щитком «Туюк су». Автобус был пыльный, раздрызганный, на нем не было живого места, и не верилось, что такой драндулет может тронуться с места, тем более перевозить людей. Шофер, пожилой, обросший сивой щетиной верзила, громоздился в кабине и заглатывал, точно крокодил, сочные, проперченные манты, запивая чаем из термоса. В автобусе на обшарпанных,

продавленных и шатающихся сидениях томилось уже человек десять.

Было душно, смрадно, жарко. Эдмунд, обтирая руки салфеткой, прихваченной в дорогу еще из Германии, расположился на заднем сидении, взлядываясь в лица пассажиров. Нет, знакомых не оказалось.

С трудом влезла в автобус грузная, необъятная старуха, плюхнулась на переднее сиденье, выдохнула:

— Бисмиля р-рахман р-рахим...

И тут же плюгавенький русский старичок, устроившийся у окна сзади, откликнулся в рифму:

— Мы работать не хотим.

И так неожиданно и комично у него это вырвалось, что кто-то хохотнул, но тут воцарилась недобрая тишина. И через паузу — взрыв. Боже, что тут началось!

Старуха грузно обернулась, уничтожающе забуравила черными глазищами растерявшегося мужичонку, процедила сквозь зубы:

— У, кафыр! Безбожник! Над словом Корана потешается!

— Бессовестный! — тотчас вскипел мужчина в тюбетейке. — Ты, што-о, аден рработаешь?!

— Над народом глумится!

— Хам!

— Привыкли ляпать!

— Для них мы «ишаки», «зверь», «бабай», — заворчали сразу со всех сторон.

— Да вы что?! — всполошился мужичонка в застиранном кепончике со сломанным козырьком. — Я же просто так... пошутил... к слову пришлось...

— Пошутил он!

— Знаем мы эти шутки!

— С подковырками.

— Ишь ты! Он, понимае-ешшь, работник, а остальные разгильдяи, тунеядцы.

— Обнаглели!

— Распустились!

— Им все наше не по нутру.

Страсти не на шутку разгорались. Толстобрюхий верзила в широченных полотняных штанах и в просторной майке с хохочущей обезьяной на груди грозно насупился, с ненавистью, тяжело посмотрел на мужичонку.

— Заткнись, понял?! — зашипел, засвистел он, колыха-

ясь необъятным брюхом. — Оставь свои дурацкие шутки при себе, не то — так шутну, что мигом вылетишь отсюда.

— Господи, да что я такое сказал! — заерзал, заверещал мужичонка, явно струхнув.

— Он еще и возмущается!

— Наглец!

— Да пусть катится в свою Расею, раз ему здесь не нравится!

— Работничек!

— У пивного ларька.

В пыльной раскуроченной коробке все мгновенно возбудились. Такого Эдмунд не ожидал. Это было что-то новое, неожиданное.

— Эй, қойыңдар! — сказал пожилой казах с большой сумкой на коленях. — Ну, сказал человек глупость. Чего сразу ополчились на одного несчастного бишару?

— Нет, почтенный. Не просто он ляпнул. А сознательно. В насмешку. Издевательски!

Мужичонка совсем растерялся, сник, вжался в спинку сиденья, стал еще меньше, незаметнее.

— Р-р-разговорчики! — рявкнул флегматичный шофер из кабины. — Что это вы с утра про дружбу народов базарите? Высажу всех!

В автобусе примолкли. Автобус заурчал, затрясся, проскрипел всеми железками, проскорготал проржавленной утробой. Мотор раза три чихнул, и машина, качнувшись, тронулась с места.

— И-и-и, Алла, поддержи, подсоби! — громко произнесла толстая старуха на переднем сидении.

И мужичонка на этот раз промолчал.

XII

Об этом событии шушукались в окрестных аулах несколько лет.

Война отгремела. Немногие мужчины вернулись в убогие аулы. А те, что вернулись, никак не могли очухаться от пережитого и долго не могли войти в прежнюю колею. Аулы были разорены. И жилось всем тяжко.

Хадиша смирилась с тем, что Жуматая своего лишилась навсегда. Но, как и положено молодой казашке, покорно сносила свою горькую женскую долю, растила

дочку, хранила очаг, не позволяла обрушиться шанираку — остову семьи. С Паулиной Ворм она не расставалась. И на посеве, и на прополке, и на жатве они, как прежде, работали на пару, неразлучно, и дети их, Эдмунд и Асима, по-прежнему ночевали то у одной, то у другой, считая, что у них есть два дома и две мамы.

О будущем не говорили. Будущее было неопределенно. Паулина мечтала о том времени, когда ее брат Гельмут вернется из трудармии снова к своей семье на Алтае, и тогда он, может, вызовет сестру к себе, и заживут они вместе, быть может, веселее и легче. Но так лишь мечталось. Брат все еще находился в неволе, за колючей проволокой, где-то в Нижнем Тагиле, и неизвестно было, когда его освободят. А комендант, по-прежнему собирая спецпереселенцев раз в месяц на «отметку», со злорадством заявлял, что хоть война и кончилась, но доверия врагам советской власти нет, все высланные высланы навечно, закон еще более ужесточился, и о возвращении в родные края и речи для переселенцев быть не может.

— Да и как ты можешь уехать? — говорила Паулине Хадиша. — Неужели оставишь могилу Карла?

— Не знаю, не знаю... — Слезы поневоле наворачивались на глаза Паулины. — Буду наведываться. Да и ты присмотришь.

— Конечно, присмотрю, — соглашалась Хадиша. — Ты все же счастливее меня. Ты хоть знаешь, где похоронен твой муж. А я... а я...

Подруги обнимались, утешая друг друга.

Эдмунд пошел в первый класс казахской школы, учился прилежно, легко, и Полина не могла нарадоваться успехам сына. Она охотно ходила на родительские собрания в школу, чтобы при всех услышать из уст молоденькой учительницы: «Эдмунд Ворм — отличник и образцовый ученик». Мальчик рос не по годам серьезный и сосредоточенный. Присматривал за Асимой, и та слушалась его больше, чем мать, собирал кизяк, выгонял на выпас корову — кормилицу двух домов, обихаживал курей, поливал огород, успевал везде и всюду. Верховодил и в детских играх и забавах. Старики похваливали «немыс бала», говорили: «Осы адам болады» — «Он станет человеком», «Он выбьется в люди».

Но с некоторых пор Хадиша ходила задумчивая, отстраненная, вокруг нее все чаще увивались старухи, в чем-то убеждали ее; пригласили ее на беседы и старики во главе с

аульным муллой Камашем.

— Что с тобой происходит? — спросила как-то Полина. — Ходишь сама не своя...

Хадиша отмалчивалась, хмурила брови.

Вскоре поползли по аулу слухи, что Хадишу сватает двоюродный брат Жуматая из соседнего колхоза «Коммунар». Заготовителя Кайроллу, молчаливого усатого мужчину лет сорока с большой бритой головой, знали во всей окрестности. Зимой и летом разъезжал он по аулам, собирал шкуры, рога, шерсть, разное старье и отвозил в район на сборный пункт. Поговаривали, что заготовитель Кайролла живет зажиточно, держит скот, и работа прибыльная, шкуры, шерсть скупает за бесценок, едва не задарма, а продает государству с заметным наваром, и вообще, мол, мужик себе на уме, с начальством ладит, к зиме кое-кому подбрасывает согум или — на худой конец — сыбага и умеет язык держать за зубами. Заботился он все эти годы и о Хадише, привозя ей на зиму то тушку барана, то мешок муки, то кулек-другой сахару. Помог он провести и годовщину Жуматая честь по чести.

Одна беда — жена Кайроллы оказалась неродихой. И то, что не было детей, угнетало Кайроллу больше всего. Из-за этого, случалось, он прикладывался к огненной водице. Наливал всю бутылку в чашу, выпивал залпом, заваливался на телегу и пускал лошадку восвояси. Так он лежал, бормотал что-то, плакал, сетовал на судьбу, подложив под голову старый овчиный полушубок, а лошадка понуро брела по проселочным дорогам из аула в аул, сочувствуя горю безутешного хозяина.

После того, как справили поминки по убиенному Жуматаю, Кайролла все чаще задумывался о Хадише. По всем канонам степных обычаев он имел право грезить о молодой жене покойного родственника. Никто, разумеется, не волен упрекнуть его за то, если он возьмет вдову второй женой. Даже положено. Даже достойно. Благородно, если уж на то пошло. Предками заповедано. Не о пошлом блудеойнасе в конце концов речь, не о греховном вожделении. Во всех отношениях желанное, божье дело. Ведь он, живой, заступается за честь усопшего брата. Он берет на себя заботу о его вдове и дочке-сироте. Он блюдет достоинство рода. Жена покойного брата не станет лакомой добычей случайного хмыря, первого встречного-поперечного. Да и

ему, заготовителю Кайролле, пора думать о наследнике. И так слишком затянул. Не уйти же из жизни бобылем бездетным. Перед духами предков стыдно. А Хадиша — бабенка крепкая, жаркая, в соку. И постель его обновит, согреет, и детишек, даст бог, кучу народит. Он-то, Кайролла, сейчас в самой мужской силе. Не одну бабу заездит, состарит. Хадиша не останется в обиде. Небось, тоже истомилась по крепкой мужской ласке. А байбише возражать не станет. Сама не раз намекала: моей вины нет в том, что мое лоно бесплодным оказалось, так судьба распорядилась, теперь уже и состарилась, для любовных забав не гожусь. Так что, мол, поступай, как хочешь, как разум-совесть подсказывает. Мешать не осмелюсь. А детям твоим от молодки стану доброй и заботливой бабушкой.

Судьба, казалось, сама шла Кайролле навстречу.

Он был уверен, что и Хадиша согласится, куда ей, бедной, деться. Кто позарится на вдову без кола и двора, да еще с ребенком. Охотников таковых в окрестных аулах не осталось. Кайролле стоило только заикнуться о своем затаенном желании, как аульные старцы охотно взялись за его воплощение. Собрались как-то за чаем, поговорили, как подобает, с молодой вдовой.

Сказали:

— Не годится юной, смазливой женщине в одиночестве коротать свой куцый бабий век.

Сказали:

— Умершему — покой, живому — жить. Так исстари заведено. Кто умер — не вернется, а продолжать род — святое дело.

Сказали:

— Таков добрый обычай, заповеданный предками. Не к чужому уходишь, а остаешься в родном табуне.

Сказали:

— И дочке твоей нужен заботливый отец, а тебе — опора.

Сказали:

— Развеешь беду доброго джигита-азамата. Поможешь ему обрести смысл жизни.

Сказали:

— Подумай, айналайын. Согласись. Мы тебе худого не желаем. Благословим.

Хадиша, учтивая казахская келин, безропотно выслу-

шала все аксакальские наставления, поднялась, молча поклонилась, прикрыла краешком платка рот, еле слышно произнесла:

— Подумаю, почтенные. За заботу спасибо.

Потом мудрые аксакалы подослали к келин своих старух, чтобы вразумили, обратали ее, укрепили ее дух, развеяли все сомнения.

И через некоторое время ответила Хадиша:

— Согласная я. Что делать? Видно, так судьбе угодно.

— Как?! — поразилась Полина. — Второй женой? Под одной крышей? Ужас!..

— Тебе это не понять, — тихо возразила Хадиша. — У нас другие обычаи.

— Да, да... Не понимаю. Один мужчина, две жены. В одном доме. Я бы так не могла.

— Знаешь, Поляжан... Скажу тебе честно: мне все мерещится, будто Жуматай живой.

— Как живой? — еще пуще поразилась Полина. — А похоронка?

— Мало ли что?.. Может, ошибка...

— Какая ошибка? Два года прошло!

— Не знаю, — печалилась Хадиша, склонив голову. — Мне Жуматай часто снится.

Но... старики задумали — дело решено. Воля стариков в ауле — высший суд. Вскоре приехал Кайролла на своей бричке, погрузил немудреный скарб Хадиши, усадил ее с дочкой, велел Полине присмотреть за мазанкой и даже корову доверил ей на время. Сказал:

— К зиме заберу... на согум.

На радостях заготовитель Кайролла зарезал в своем «Коммунаре» жеребенка, закатил отменный той, ублажил всех стариков, угостил всех аульчан и обновил, как говорится, запах супружеского ложа. Отселил старшую жену, байбише, в просторную гостевую, обвешанную коврами, застеленную паласами, заставленную сундуками, обитыми серебряными пластинами со всякой всячиной, а сам с молодой токал расположился в спальне с широкой железной, с шишечками, кроватью с панцирной сеткой за шелковой ширмой; промежную комнатку щедро предоставил Асиме, и началась новая жизнь без нужды, тревог и забот.

В аулах считали брак благословенным.

Но бата — благословение аульных старцев, видно, до

Всевышнего не дошло.

Как-то рано утром, выгнав корову на выпас, Полина Ворм увидела возле хибары Хадиши незнакомого мужчину. Он был в длинной, обтерханной шинели, галифе, тяжелых заморских ботинках на толстенной, с шипами, подошве, сидел, сгорбившись, на пеньке у входа и курил. Весь его скорбный вид выдавал человека несчастного, побитого, помятого жизнью. Был он истощен, костляв, щеки запали, лоб изрезан морщинами, скулы обострились, в глазах застыли боль и скорбь.

Сердце Полины екнуло. Откуда взялся этот бродяга? Что он потерял у заколоченной мазанки Хадиши?

— Простите, — обратилась к нему Полина. — Вы кого-то ищите?

Незнакомец пристально посмотрел на Полину, усмехнулся.

— Eine Deutsche? — спросил он глухо.

— Откуда вы взяли? — изумилась Полина.

— Ach gnaedige Frau, ich habe das gleich bemerkt.

Полина опешила. Давно она не слышала такой правильной, чистой немецкой речи с незнакомой интонацией. И так странно было слышать немецкие слова и такое непривычное обращение из уст узкоглазого, скуластого, желтолицего пришельца.

— Вы... вы... — начала запинаться от волнения Полина. — Жуматай?

— O ja. Ganz genau. Das bin ich .

— Поше мой! — воскликнула Полина. — Разве вы живой?!

Незнакомец отшвырнул недокуренную «козью ножку», осклабился. И Полина заметила, что у него нет нескольких зубов, да и щетиной оброс заметно.

— Вроде живой. Aber ziemlich kaputt.

— Поше, поше! — совсем растерялась Полина. — А Хадиша... Хадиша... это... в прошлом году...

Она никак не могла договорить.

— Знаю, — вытолкнул из себя Жуматай и зашелся в утробном кашле. — Знаю... Еще вчера в райцентре сообщили.

— На вас еще три года назад пришла похоронка.

— Знаю, — закивал головой Жуматай.

— И годовщину вашей смерти провели.

— Знаю.

— И Хадиша долго не верила. И не хотела. Старики уговорили. Такой, мол, обычай.

— Ja, ja. Eben ... И не верила, и не хотела. — Жуматай осклабился. — Но старики уговорили.

— Да, да! Именно так... получилось.

— Все правильно. Stimmt, — горестно проронил Жуматай и заиграл желваками. — Мертвый не должен воскресать. So, liebe Frau...

— Не знаю, — озадачилась Полина.

Она действительно не знала, как быть. Пригласить пришельца к себе? Отпереть мазанку? Направить в «Коммунар»? Что будет с бедной Хадишой?

— Асима подросла... Красивая девочка. Помощница, — невпопад сообщила Полина.

Жуматай улыбнулся, потеплел глазами. Но продолжал сидеть, перебирая пальцами.

— Скажите... э-э... Жаймурза Бимендин жив?

— Да. Бригадир.

— Вон как!.. И живет там же?

— Да... Вон... За тополями, на краю аула.

— Туда, значит, и пойду, — решил Жуматай и, неловко разгибая спину, поднялся.

Шинель была на нем обвислая, замызганная. Огромные ботинки смотрелись, как колоды. В одной руке Жуматай держал суковатый дрын, в другой — тощий рюкзак.

— Благодарю. Данке, данке, милостивая фрау...

— Паулине, — подсказала Полина.

— Ach, Pauline... Sehr angenehm... Ну, до встречи.

Странной, явно нездешней походкой пришелец поплелся, вздымая пыль-пухляк, в сторону «коржун-уй» бригадира Жаймурзы.

Полина, точно застыв, долго смотрела ему вслед. Она думала об одном: как сообщить бедной Хадише о воскресшем муже...

Весть о возвращении Жуматая в тот же день облетела все окрестные аулы. На каждом углу только о том и судачили.

Говорили-рядили:

— Совсем не похож на себя. Исхудал. Одет, как попало. Ни одного ордена, ни одной медали.

— Да откуда ордена-медали, если он, считай, и не вое-

вал, в плену сидел?!

— По-немецки, сказывают, шпарит без запинки. Наших немцев за пояс заткнет.

— И что теперь будет? Как Хадиша на него посмотрит?

— Поцапаются братья. Вот потеха-то будет!

— Нашел потеху, дурень. Не потеха — горе.

— Раз в плену побывал — житья ему не дадут. Наш усатый вождь пленных не жалует.

— Ия, ия... бедный Жуматай! Кто бы подумал!

Вечером весь аул собрался в доме бригадира Жаймурзы. Всем хотелось повидаться с возвращенцем с того света. Жуматай в потертой гимнастерке и неопределенного цвета галифе сидел на почетном месте в окружении стариков; у двери плотной стайкой сбились женщины; толпилась и во все глаза глазела малышня. Казалось, всем было неловко. Женщины вытирали кончиком жаулыков и платков глаза; мужчины откашливались беспрестанно; старики изрекали истертые истины.

— Да-а-а... Судьба играет человеком.

— Верно говорят: надежды не теряй. Кто в саване — не вернется. Кто в рубище — вернется.

— Ия, ия... Все в воле Всевышнего.

— Люди — песчинка, перекати-поле. Куда его ветер погонит — лишь Аллах знает.

— Да-а... Голова человека — мяч Аллаха...

Жуматай все молчал, будто онемел, только тер впалые, щетинистые щеки. Каждый раз, когда протискивался в дом бригадира кто-нибудь из аулчан, Жуматай вставал с места, обнимался с пришедшим, что-то бормотал.

Кумис успела испечь баурсаков и шелпеков. По дастархану врассыпную разбросала комочки курта и иримчика. В плоской тарелке золотилось топленое масло. Молодка-соседка разливала по деревянным расписным чашам кумыс.

Но разговор не клеился. Ждали, когда приедет заготовитель Кайролла со своей молодой токал. Все томились в ожидании встречи воскресшего Жуматая со своей богом данной женой и того, как произойдет эта встреча между братьями.

— Приехали! Приехали! — загалдели мальчики за домом.

Все затихли. Подобрали, как говорится, руки-ноги.

Вошел в дом Кайролла. И все заметили: непохож он на себя — бледен, растерян, усы повисли, голова опущена.

— С радостью вас, люди, — произнес он глухо. — С возвращением тебя, братишка!

Жуматай встал, подошел. Братья, пряча друг от друга глаза, обнялись, постояли в гробовой тишине. Оба плакали — большой, крутобрюхий, упитанный и щуплый, изнуренный заморыш в болтающихся галифе и гимнастерке.

— Ой, Алла-ай!.. — вырвалось, точно стон, у одной старухи.

Потом братья разжали объятия, Жуматай сел на свое место, а Кайролла опустился на корточки возле порога.

— Проходи, проходи, — пригласили его на торь старики, теснясь и высвобождая важному гостю место, но заготовитель будто не слышал.

За Кайроллой, запутавшись в платок, в расшитом темно-синем камзоле и длинном, до пят, в оборках платье стояла, учтиво или стыдливо опустив голову, Хадиша и, лишь на миг взглянув на бывшего мужа, тихо, но четко сказала:

— С возвращением и радостью тебя, отец моей дочки!

— Ах, — выдохнули женщины, поспешно прикладывая кончики жаулыков к глазам. — Ай, Кудай-ай!..

Не назвала Хадиша бывшего мужа по имени, не решилась при старших, так сказала: «Отец моей дочки». И только тут все заметили Асиму, аккуратно расчесанную, торжественно приодетую, но смущенную и напуганную, насмерть вцепившуюся в мать.

Жуматай опять вскочил, направился было к жене, ставшей теперь ему дженге-снохой, но спохватился, застеснялся, нагнулся к дочери. Асима отшатнулась, спряталась за матерью.

— Что ты, глупышка! — вымолвила Хадиша, приобняв испугавшуюся дочку. — Это ведь твой коке.

— Забыла...

— Столько лет.

— Конечно, не помнит, — зашлепали губами старухи.

Жуматай улыбнулся и, не смахивая слез, протянул было моляще обе руки, но девочка подолом маминого платья закрыла лицо, еще сильнее прижалась к ее бедру.

Опять обрушилась тишина. Никто не знал, куда и как повернуть разговор.

Молчал, свесив голову, Кайролла. Молчал вконец расте-

рявшийся Жуматай. Молчали старики. Тихо плакали женщины.

— Люди! — снова послышался голос Хадиши. — Никто из нас не виноват. Так получилось. Но простите меня. И вы, братья, простите. Мне горько, что я, несчастная, встряла между вами. Простите...

Голос ее дрогнул. Последние слова она выдавила из себя с трудом. Слез удержать она была уже не в силах. Через паузу добавила тускло, обреченно:

— Что я могу еще сказать? Что зависит от воли одинокой женщины?

— Верно, верно!

— Умница! — поддакнули старики.

— Ай, айналайын-ай, — одобрила одна из старух.

— Оу, аулчане! — подал голос бригадир Жаймурза. — Мы же не горевать сегодня собрались, а радоваться возвращению нашего джигита. Главное, что он живой вернулся. Все остальное жизнь сама уладит.

— Правильно! Дұрыс!

— Умно, здраво сказано, — загудели вокруг одобрительно.

Но скованность не проходила. Разговор не клеился. Все только смотрели на Жуматая, на Хадишу, на Кайроллу, подмечая каждый их взгляд, каждое движение, ловя каждое их слово.

Жуматай долго мялся, откашливался, ерзал, избегая смотреть на бывшую жену и брата.

— Карагым Жуматай, расскажи бы нам, как тебе жилось все эти годы, — прошамкал один из стариков, беззубым ртом уминая мягкий баурсак. — Как это получилось, что пришла от тебя черная бумага?

— Ия, ия... расскажи. Мы же пришли тебя послушать...

Жуматай, смущенный общим вниманием к себе, еще больше сник, покашливая, нехотя ронял слова. Говорил он отрывисто, бессвязно, трудно подбирал слова.

— Что рассказывать-то?.. Кому положено — все рассказал. Не один раз... Да-а... Так... Солай болды ғой. Ну, а черную бумагу где-нибудь в штабе и отписали. Кто теперь знает... что и как. Ия, солай... А жизнь... какая жизнь в плену?.. Собачья... Разве не видно по мне, как жилось?.. Что говорить-то?..

— И-и-и... бедный, бедный...

— Помытарили, значит... Бишара!

— Ну, ничего... Все позади. В родном ауле быстро оклемаешься.

— Ия, ия... Родной край поставит тебя на ноги. Все мытарства забудутся, как дурной сон.

— Не забудутся! — вскинулся Жуматай. — Ничто не забудется. Не дадут забыться. Не позволят. И не все позади. На нашу долю горестей хватит.

— Не отчаивайся! Главное, врага победили.

— Так, так... — вяло закивали вокруг головами.

Кайролла не проронил ни слова. Хадиша тоже будто окаменела. Слезы катились по ее напряженному лицу.

И тут неожиданно встрепенулся Жуматай, откашлялся, выпрямился, строго оглядел присутствовавших, даже на мгновение задержал взгляд на Хадише и Кайролле.

— Вот что, родичи-аулчане. Не обессудьте меня. Раз уж меня похоронили и оплакали, не надо было мне возвращаться. Но... я так соскучился... так надеялся... Нет, никого не осуждаю. Ни тебя, Хадиша, ни брата своего, Кайреке, не виню. Живите и радуйтесь. Никому помехой не стану. Никому зла не желаю... Только, только... — Голос ему изменил, губы задрожали, лицо еще больше сморщилось, исказилось. — Только...

— Успокойся, айналайын.

— Говори. Облегчи душу...

— Только... — Жуматай, наконец, сладил с собой, но опять согнулся, сжался. — Пусть Асима, кровинушка моя, копытце мое, знает своего бедолагу-отца, пусть сохранит мою фамилию. Другого желания у меня нет...

Вздох прокатился по тесной комнате бригадира. Всем было понятно, к кому обращался несчастный возвращенец.

Опять обрушилась тягостная тишина. Было слышно, как тихо урчал-свистел самовар. Чай стыл в кесушках.

И тут разрыдалась вдруг Хадиша. Она захлебнулась слезами, зажала платком рот, вскрикнула глухо, точно подбитая, поднялась и, шатаясь, бросилась к выходу. Поскребывая пятерней бритый череп, подергивая кончики обвисших усов, забеспокоился заготовитель Кайролла, тоже встал, большой, грузный, растерянный, поклонился брату, бригадиру Жаймурзе, всем и тоже молча вышел.

А Жуматай на другой день вселился в свою заброшенную хибару.

XIII

В осиротевшем, пустынном доме Жаймурзы объявилась нежданно-негаданно гостья — ни дать, ни взять заморская птаха, каких часто показывают по телевизору.

В белоснежных, в обтяжку брючках, сквозь которые четко обозначились крохотные трусики, в черных, на каблучке, туфельках, в немыслимо аляповатой блузке, голорукая, тугогрудая, в темных очках, сильно раскрашенная, в воздушной шляпке с розовыми лентами, гостья шмякнула у порога огромную полосатую сумку, туго набитую невесть чем, спросила не на совсем беглом казахском языке:

— Жаймурза Бимендин ақсақалдың үйі ме екен?

Жаймурза ополаскивал под медным рукомойником руки, собираясь после утреннего чая пройтись по аулу, узнать последние новости. На гостью он уставился, как на диво, держа на весу руки над тазиком.

— Ия, ия... Его дом, — первой пришла в себя Кумис, протиравшая за низеньким столиком кесушки.

— Тогда правильно, — уже по-русски обронила гостья и спохватилась. — Здравствуйте!

— Здоровья-благополучия тебе, дочка, — отозвалась Кумис. — Проходи. Не стой у порога.

— Я на минутку, — сказала гостья. — Тороплюсь. На такси заскочила. Из Кумкента.

— Из Кумкента? — уточнил Жаймурза.

— Да... Приехала в отпуск. Привет от вашей Шолпанки. И вот гостинцы от нее.

— Ты знаешь Шолпан?! — побледнев от волнения, спросила Кумис. — Что-нибудь случилось?

— Да нет же! Что вы, господи! — успокоила гостья. — Все о'кей. Просто оказия. По пути, так сказать. Просила передать.

— А что сама не приехала? — неприязненно спросил Жаймурза. — Не так и далеко из Алматы.

Гостья стояла в проеме входной двери, и свет, льющийся снаружи, точно просвечивал ее, подчеркивая все ее женские прелести — круглые бедра, упругие ягодицы, четкий выпуклый треугольник меж ног, голые, гладкие руки, пышные груди под свободной, в немыслимой расцветке блузке, такой короткой, что виднелся пупок и ярко-

красная татуировка — стрелочка от пупа куда-то вниз. «Апырай, могла бы немного прикрыться, — подумалось Жаймурзе. — Как можно при божьем свете так обнажать себя?! Срам!»

— Некогда, апашка, некогда. И не в Алматы ваша Шолпанка. В Турции.

— Не дейді? В Турции? Что она там потеряла?

Гостья ухмыльнулась.

— Работа наша там, аташка.

— Дочка, — ласково молвила Кумис, чувствуя, что гостья явно раздражала ее старика. — Ты проходи. Присядь. Объясни нам все толком. Как зовут-то тебя?

— Салима. Но мне некогда рассказывать. Спешу. Подарок передала, вас увидела и ладно.

И все же гостья прошла, пальчиком провела по табуреточке, сдула пыль и присела. Брючки ее так натянулись на крутых чреслах, что Жаймурза испугался: сейчас лопнут.

Кумис придвинула ей кесушку с чаем.

— Ой, нет! — всполошилась гостья. — И так жарко. Не буду.

— Может, водички? Просяной похлебки?

— Что вы, что вы?! Какая еще похлебка? Смешно!

— Но... надо же прикоснуться к пище. Ты же казашка.

— Ну, налейте глоток кипяченой воды.

— Из самовара?

— Давайте из самовара. Один глоточек. Горло смочить.

С улицы донесся гудок автомобиля.

— Вот нетерпеливый! — поморщилась Салима.

— Так ты — знакомая Шолпан? — опять строго спросил Жаймурза.

— Да, мы, можно сказать, подруги.

— И давно в Турции?

— Уже порядком. Года два или три...

— А что, тесно вам стало в Алматы?

Салима скинула очки и пристально, в упор уставилась на Жаймурзу.

— Ой, да вы, аташка, прямо как следователь, ей-богу! Я вам салем от дочки доставила, а вы еще, блин, ехидничаете.

— Да, нет... Я просто спрашиваю, — стушевался Жаймурза, невольно покосившись на красную стрелку от пупа гостьи.

— Алматы сейчас, аташка, сами знаете, что баба-брошенка. Не столица — провинция. Скучно. Кругом нищеброды. Какая тут работа?

— Хм-м... вон как!

— Да, так, милые аташка и апашка.

— И что вы, доченька, делаете в Турции? Торгуете?

— Х-ха! Скажете тоже! Юморист! Не торгуем, а танцуем.

— Как это? — опешил Жаймурза.

— Как? Как?! — передернулась Салима. — Как надо, так и танцуем.

— На сцене?

— Х-ха!.. Как придется. Кому как вздумается, как удобно, — хохотнула гостья.

— А разве... разве у Шолпан... есть такие способности?

— Вот дает, аташка! — Гостья извлекла из крохотной серебристой сумочки на тонюсеньком ремешке пачку, ловким щелчком выбила из нее белохвостую сигарету, зажала губами, щелкнула зажигалкой, затянулась. — Какие у дочери способности, полагается лучше знать отцу, не так ли? Жизнь заставит — попляшешь! Даже слон — ха-ха! — в цирке танцует.

— Апырай, вот как!

Старики застыли в изумлении.

— И за это платят?

— Еще как! Лучше, чем в Алматы. И вообще, турки очень любят... танцы с нами. — Гостья опять по-глупому хохотнула, откинула голову с очень короткой, мальчишеской прической, вытянула губища и выпустила тонкой струйкой сизый дымок. — Ну, ладно. Помчалась. А то шеф, блин, нервничает.

С улицы донесся резкий сигнал клаксона.

— Слышите? В сумке письмо. И подарки. Все расписано — кому что. А что мне Шолпанке передать?

— Привет передай. Скажи, что у нас все есен-аман... в здравии-благополучии. И вот еще... — Кумис засуетилась, начала в целлофановый пакет складывать со стола баурсаки, комочки курта и иримчика. — Передай ей... соскучилась, небось, по домашней пище.

— Что вы? Что вы? — вскочила гостья и развела руками. — Куда я это? Зачем?.. Смешно!

Кумис застыла, держа в вытянутой руке пакет с гостинцами.

— Скажи ей... скажи ей... — вдруг разволновался, задыхаясь, Жаймурза. — Передай ей... нашей танцовщице-плясунье, все, мол, у нас хорошо, радуются, дескать, старики своим чадам. Не нарадуются. Скажи... скажи, что старший ее брат, как в воду канул, упрятавшись со своей русской марджой в Ресее. Ия, ия... нет ему дела до родителей. А младший ее брат... скажи, передай, тоже удрапал из аула... в Алматы околачивается со снохой... Да, да... так вот... А сестра ее, скажи, передай, нашла крутого корейца и за рубежом мотается. Так и скажи: все детки, мол, молодцы. Свято чтут родителей и обычаи предков. Скажи: родители кукуют вдвоем и детей своих во сне видят. Да, да... так и передай... — Жаймурза совсем вышел из себя, возвысил голос, размахивал руками.

— Успокойся, Жаке, — урезонила мужа Кумис. — Гостью не пугай. Не гневи Создателя.

— Ой, да вы совсем нервный, аташка! Фуй! — поморщилась гостья.

— Да, да... Так и скажи. Передай своей подруге-танцовщице. Скажи: осчастливила своими приветами, обрадовала своими подарками. Пусть себе дальше пляшет!

Жаймурза в досаде махнул рукой, нахлобучил на голову войлочную шляпу, бросился к выходу.

— Ойбай-ау, старик, что с тобой? Что за муха тебя укусила! — растерялась-расстроилась Кумис.

— Ладно, апашка! Не волнуйся.

Гостья потянулась к старухе, на мгновенье прижалась к ней, чмокнула в щеку и выпорхнула вон. Тут же застрекотал-заурчал мотор такси. Кумис, вздохнув, долго смотрела на дверь.

У порога горбилась большая полосатая сумка с заморскими гостинцами дочки Шолпан.

XIV

Недолго удалось пожить Жуматаю на свободе в своей одинокой хибаре.

Радость встречи с родным аулом улетучилась уже на другой день. Жуматай заметил, что люди откровенно избегают его. Особенно шарахались от него те, что были в ауле на виду: председатель колхоза, председатель аулсовета,

партсекретарь, бухгалтер, фельдшер, агроном, директор школы. Даже бригадир Жаймурза, так радушно принявший его в первый день возвращения, иногда делал вид, будто и не знает его. И местные немцы, бесправные бедолаги, сторонились его и, бывало, пугались, когда он заговаривал с ними по-немецки. Сами они на людях старались говорить исключительно по-русски. И только где-нибудь в поле наедине немки, случалось, шпрехали на своей муттершпрахе. «Может, зря я сюда приехал? — горько думал про себя Жуматай. — Как бельмо у всех на глазу. А куда податься?»

Податься было некуда. Ни паспорта, ни воли, ни работы, ни копья за душой. Уже на третий день пребывания в родном ауле примчался из райУМВД строгий комендант, вызвал в аулсовет, поставил на учет неблагонадежных и строго-настрого предупредил: из аула ни-ни.

«Есть», — покорно ответил Жуматай, вытянувшись в струнку перед комендантом.

Жуматай сочувствовал немцам, грекам, курдам, корейцам, чеченцам, балкарцам, кумыкам в ауле, таким же бесправным, как и он, но понял, что из всех изгоев он, пожалуй, самый изгой.

Надо было как-то жить. Он обратился было к баскарме.

— Может, определите сторожем на току?

Баскарма только глаза выпучил.

— Ты что? Разве можно доверить социалистическое имущество... э-э... пленному?! Мне же голову снимут. Сам подумай.

Жуматай подался к директору школы.

— Возьмите истопником.

— Истопником?! В школьном учреждении?! — ужаснулся директор. — Где воспитывают строителей коммунизма?! Вы с ума сошли!

Жуматай поплелся в аулсовет.

— Может, доверите мне пасти частный скот? За самую скромную плату.

Председатель аулсовета аж руками замахал, будто перед ним предстала нечистая сила.

— Ты что, дорогой?! Как можно? Это ты в Германии мог заниматься чем угодно, а здесь — о-о-о!

Жуматай понял, что на родной земле ему ничего не светит. Даже там, на чужбине, в лагерях, он не чувствовал

себя таким одиноким и несчастным. Там его поддерживала надежда. Здесь надежды не было никакой.

Он был вне закона.

Он был не нужен никому.

В ауле знали одно: пленный — значит предатель. Предатель родины. А к предателям снисхождения нет и не может быть нигде и никогда.

Стали распространять о нем всякие небылицы. Говорили, что он якобы находился на дружеской ноге с самим Гитлером, запросто захаживал к нему и учтиво интересовался его здоровьем: «Ассалаумагалейкум, Адеке! Малжан аман ба? В здравии-благополучии ли Ева-дженгей?» И Адеке, то есть Адольф, значит, откликаясь на его приветствие, хлопал его по плечу: «Маладес, Жуматаюшка! Хорошо служишь! Хвалю! Доверяю ухаживать за моим саврасым иноходцем и собачкой». И Жуматай, мол, вытягивался в струнку, щелкал каблуками, вскидывал высоко правую руку и во все горло орал: «Хайль!» А когда злодея Гитлера прикокнули, приплелся Жуматай в родной аул.

Об этом увлеченно рассказывали мальчишки на пустыре, где целыми днями гоняли войлочный мяч, и Жуматай, услышав про то, совсем пригорюнился. Байки эти, конечно, исходили от взрослых. Он понимал: отмыться ему от позора и сплетен никогда уже не удастся.

Будь она проклята жизнь отверженного! Некоторое время Жуматай ходил по домам, за чашку айрана и мучную болтушку, бывало, подправлял кому-то огородную изгородь, месил глину, у кого-то заделывал прорехи в потолке, но, глядя на голодных детей, смотревших ему в рот, когда изможденные женщины скудными запасами расплачивались за его услугу, он вскоре отказался от такого батрачества, предпочитая сидеть дома, не показываясь никому на глаза.

Общался он теперь, главным образом, с Полиной и ее сыном Эдмундом. За коровой, оставшейся от Хадиши, попрежнему ухаживала Полина, и половину молока она аккуратно приносила Жуматаю. Однажды ночью бригадир Жаймурза украдкой привез ему полмешка ячменя и полный коржун кукурузных початков. Предупредил: «держи язык за зубами».

И зажил Жуматай в своей убогой хибаре отшельником. Варил себе похлебку, заквашивал айран, по утрам бродил

по окрестностям, собирал какие-то травы, готовил разные настои. Потом изловчился латать-чинить всякую обувку для аулчан, ладить из кожи какую-никакую утварь, вытачивать коромысла, мутовки, карманные прялки-юлы, править упряжь, плести камчи. Женщины радовались его поделкам, похваливали:

— О, у Жуматая золотые руки! Мастер!

— Научился у немцев.

— Нужда заставит.

У Полины при встрече он расспрашивал о том, о сем, смущая ее своей непривычной немецкой речью, диковинными оборотами и незнакомыми словечками, не решаясь, однако, спросить о главном — о Хадише, о Асиме. Да и Полина как-то неохотно шла на этот разговор, стесняясь бередить душу бедного мужчины.

— Да мы же теперь не видимся, — замечала Полина. — А раньше она о вас часто говорила.

— Да-а? — оживлялся лицом Жуматай.

— Да.

— И что говорила?

— Хорошо говорила.

— Ах, зооо? — вскидывал брови Жуматай, польщенный. — Das ist schoen.

— Хадиша хорошая, — убеждала Полина.

— Ja, ja... Habe nichts dagegen, — соглашался Жуматай.

— Только несчастная.

— Das stimmt auch, — отзывался Жуматай. — Все мы несчастные... Alles zum Teufel!

О Хадише он думал постоянно. Вспоминал их совместную довоенную жизнь. Как ладно-складно все начиналось! Как сладко любилось! Как радужно мечталось! Он вспоминал ее смех, толстые, тугие косы, ямочки на щечках, когда она смеялась, стыдливые ласки, запах молодого женского тела. Счастье казалось таким прочным. А когда родилась Асима, он, как говорится, едва макушкой неба не доставал. «А следующий будет сын! Да, да, сын!» — убежденно говорил он, лаская жену.

«Это как Бог захочет», — отвечала Хадиша.

«И Бог хочет, и я хочу!»

Она только смеялась, отзываясь на его ласку.

«И вообще я хочу много детей».

«Тесно станет в нашей хибаре».

«Дом построю. Не веришь? Руки-то зачем?»

«Верю, верю».

...Куда все подевалось? И любовь, и мечты, и слова, и жизнь? Его похоронили. Жена ушла к другому. Дочь осталась без отца.

«Аллес шайзе! Хундстрек! — захлебываясь кашлем, бормотал Жуматай. — Все дерьмо! Дерьмо собачье!»

— Скоро Хадиша родит, — сообщила Полина.

— Кто сказал? — бледнея, спросил Жуматай.

— Бабы сказывают... Говорят, Кайролла от радости сам не свой ходит.

— Вон как?!.. Значит, значит... будет у меня племянник от моей жены... Komisch!..

Эта весть и вовсе подкосила подшибленного Жуматая. Он отныне редко выходил из дому.

Часами сидел на низенькой табуретке в углу, заваленном всяким хламом, и рукодельничал. И тихо напевал одну и ту же печальную песню про беркута Караторгай, который, с трудом взлетев, не мог опуститься на землю, пока не обессилел и не упал камнем.

Эдмунд любил сидеть на корточках возле одинокого дяди, слушать его несвязную речь, монотонное грустное пение, следить за его сноровистыми пальцами, ловко орудовавшими шилом, цыганской иглой, суровыми нитками, старательно мявшими обрезки кожи, сучившими воловьи жилы. Особенно восхищало мальчика, как Жуматай вколачивал крохотные медные гвоздики в каблуки молоточком. Наметит шилом дырку, вставит, вынув изо рта гвоздик, точно ударит разок по головке и тотчас принимается за второй. И особенно любопытно было наблюдать, как из бруска дерева под руками Жуматая выходили удивительные ложки, черпаки, мутовки, скалки. Когда изделие было готовым, Жуматай поручал Эдмунду тщательно обтирать его наждачной бумагой, чтобы было гладко и чисто.

— Қара-тор-ға-а-ай... — старательно выпевал Жуматай, обращаясь к невиданному, оплакиваемому в песне беркуту.

— Ұштың зорға-ай... — печалился, сострадая любимой птице, певец.

И глаза Жуматая становились влажными.

Потом, прекратив пение и вздохнув, Жуматай долго глядел на Эдмунда.

— Ия, бала... mein Knabe... какие новости... was gibts Neues?

Такое было у него обыкновение разговаривать с Эдмундом, мешая казахские и немецкие слова.

Эдмунд пожимал плечами.

— Also... итак, коке твоего звали...

— Карл... Карл Ворм, — отвечал Эдмунд.

— Так... Значит, Карл, говоришь? Но не великий, leider. Хорошее, красивое имя. Созвучно «королю». А вот фамилия — не очень. Ворм... Во-о-ом, — протяжно произносил Жуматай, скрадывая, приглушая «р». — Червяков, значит. А?

— Не знаю...

— А деда как звали?

— Фридрих.

— Хм-м... Фри-дрих... Фри-ид-рих... Фриц, also.

— Нет, не Фриц. Фриц — это плохо. Фридрих.

— Почему плохо? Фридрих — тот же Фриц. Кто скажет, что Фриц Энгельс — плохо. Друг Карла Маркса. Не так разве?

— Не знаю... — Эдмунд действительно как-то не задумывался об этом. Папу его иногда называли «Карлуш», но можно ли Карла Маркса называть Карлушей Маркс, а Фридриха Энгельса — Фрицем Энгельсом. Получается, в самом деле, komisch.

— Ну, а прадед? — настаивал Жуматай.

— Не знаю.

— Э, mein Junge... так не пойдет. Надо знать. Спроси у мамы.

— Ладно...

— Қара-тор-ға-а-ай... — опять начинал свою печальную песню Жуматай. — Қараторғай, милый, светик мой пестрокрылый! Ұштың зорға-ай! Страшно тебе опуститься. Подняться не хватит силы!.. Жерге қонбай...

И так задушевно, проникновенно выпевал Жуматай, так оплакивал судьбу любимого беркута, что у Эдмунда замирало сердце, и ему до слез становилось жаль и Караторгая, и певца.

С детских лет мы с тобою,
Как близнецы росли.
Как же теперь оставаться
Мне одному, мой друг?
Кара-торга-а-а-ай...

— Слушай, малыш, а на родину вы вернетесь?

— Наверное, вернемся... Если комендант отпустит.

— Ах, комендант... Он никого никогда не отпустит.

— Мама говорит, приедет дядя Гельмут, заберет сначала к себе, потом уедем домой.

— Домой — это куда?

— На Волгу.

— Дядя Гельмут кто?

— Мамин брат.

— Понятно... Длинна, долга дорога до дому. Волгу помнишь?

— Немножко. Мама рассказывает.

— Wolga, Wolga, Mutter Wolga, Wolga, Wolga — Russlandsfluss... — запел Жуматай. — А как Волга по-казахски, знаешь?

— Еділ.

— Молодец!

Тихо в ауле. Перекликаются петухи. Где-то тявкает собака. Тихо в мазанке Жуматая. Мерно отсчитывают время засиженные мухами старые ходики на стене. Ржавая цепочка свисает чуть ли не до пола. Острый нож скользит туда-сюда по бруску дерева. Чик-жжик! Жжик-чик! Тонюсенькие ленты стружек вьются, скручиваются под проворными пальцами Жуматая.

— Что это будет, ага?

— Ложки для тебя и Асимы. С красивыми длинными ручками. На память.

Эдмунд радостно шмыгнул носом.

Жуматай запел вдруг озорную немецкую песню.

«Im Hannover, im Hannover,
Im Hannover an der Maine,
Haben Weiber, haben Weiber,
Haben Weiber dicke Beine...»

И, откашлявшись, подмигивая Эдмунду, Жуматай весело, игриво закончил:

«Und die Arschen apfelrund...»

— Такая вот песня. О чем она — тебе пока не понять, мой дружок. И маме не говори.

— Ладно.

Эдмунд странным образом привязался к Жуматаю. После уроков, даже не заходя домой, шел в одинокую келью странника. Следовал за ним, когда тот отправлялся на

прогулки по окрестностям, собирал вместе с ним кизяк, всякие железки, белеющие в траве кости, травы, сучки, деревяшки — все могло для чего-то пригодиться. Ходил он с Жуматаем и на рыбалку к водохранилищу за грейдером, ведущим в райцентр. Улов бывал невелик, а удовольствия много. Жуматай часами сидел на бережку, глядя на зыбущийся в волнах поплавок, о чем-то думал, тихо пел нескончаемую свою песню про Караторгая. А по пути домой нарезал вязанку ивовых прутиков, из которых потом плел изящные корзинки. А два дня Жуматай пробыл на покосе; у поймы водохранилища накосил сена для коровы, просушил его, потом сложил в аккуратные копенки. Из девяти копенок он потом сложил скирду, укрепил ее слегами, обнес изгородью из жердей.

Однажды, когда Жуматай и Эдмунд шли вдоль грейдера к котловану, им встретился заготовитель Кайролла из колхоза «Коммунар». Он сидел с озабоченным видом на передке и без конца подгонял хлыстом саврасую лошадку. Сзади, на телеге, под шубой лежала Хадиша.

— Что случилось? Куда путь держишь, ага? — спросил вежливо Жуматай.

Кайролла попридержал савраску, слез с передка, учтиво ответил на приветствие брата, которого после первого дня встречи ни разу не видел. Был он явно встревожен, смущен, отводил взгляд.

— Вот с Хадишой что-то худо.

— Что такое? — всполошился Жуматай.

— Не знаю... Вроде как схватки преждевременные... Спешу к врачу.

Хадиша повернула голову, выглянула из-под пуховой шали. Лицо ее было бледное, осунувшееся, в темных пятнах. Жуматай лишь коротко взглянул на нее и кивнул головой. Эдмунд бросился к ней.

— Апа!..

— Ой, айналайын, милый мой, Эдяжан... амансың, ба? — слабым голосом проговорила Хадиша и улыбнулась. Улыбка получилась жалкой, вымученной, виноватой.

— Ойбай, ага, не мешкай, торопись, — пробормотал Жуматай. — Да минует вас беда.

— Пусть сбудется твое пожелание, — откликнулся Кайролла и, грузно взобравшись на передок, тронул саврасую.

Жуматай и Эдмунд долго стояли на обочине грейдера и глядели вслед удаляющейся повозке.

— So, mein Junge... — сказал, очнувшись, Жуматай. — Пошли домой. Не до рыбалки ныне.

Через несколько дней узункулак донес печальную весть: у Хадиши случился выкидыш.

— Бедная Хадиша... Не уберeглась, — сочувствовали ей аульные хатуны.

— Это у нее от расстройства... от переживания...

— Несчастный Кайролла! — вздыхали старики. — Дом — полная чаша. А не везет. И от токал ребенка нет.

— Если не угодно Создателю, хоть лбом расшибись...

Весть эта омрачила и Жуматая.

— Вот как бывает, дружок, — задумчиво говорил он Эдмунду. — Ничего ты не понимаешь... Все поймешь потом.

Эдмунд не возражал, но ему казалось, что он понимает многое.

А вскоре всколыхнуло аул еще одно событие. Как-то на рассвете, когда Жуматай собрался на утреннюю прогулку в степь, подъехали к его хибаре двое и, как обухом по голове, оглушили: им предписано облУМВД немедленно доставить гражданина Жуматая Хамзина, военнопленного, в город Кумкент.

— Понятно, — тихо и покорно произнес Жуматай. — Прямо сейчас?

— Да. Четверть часа на сборы!

Жуматай сник, растерялся. Как во сне, потолкался в своей захламленной келье, начал собирать какие-то вещи в дорожную суму под бдительными, недобрыми взглядами чужаков-азраилов.

Солнце всплыло из-за холма. Аул просыпался. Кто-то гремел цепями у колодца. У мазанки всхрапывал-пофыркивал вороной мерин, запряженный в казенный тарантас.

— Скорее! Время! — поторапливал его один из непрошенных гостей, верзилистый, сухопарый русский.

Недомерок-казах с бритой головой, явно угодничая перед начальником, ухмыляясь, со значением, мол, знай наших, поспешно поддакнул:

— Шнель, шнель!

— Могу оставить записку? — глухо спросил Жуматай.

— Какую записку? Кому? — всполошился русский.

— Мальчику одному. Чтоб за домом присмотрел.

— Никаких записок! — отрубил русский.

— Никаких! — тотчас откликнулся казах.

— Не положено! — подчеркнул русский.

— Никак не положено! — подтвердил казах.

Вышли втроем. С одного бока — верзилистый русский, с другого бока — коротышка-казах, посередине — арестованный Жуматай.

Дверь снаружи подперли колом.

Сзади, на телеге, уселись рядком сухопарый конвой и Жуматай. На передок взгромоздился коротыш, взял в руки вожжи.

Поехали. Вороной мерин перешел на трусцу. Свернули в переулок. Стадо коров потянулось на выпас. На холме стоял пастух, нехотя щелкал бичом, напоминая коровам о своем присутствии. За аулом мелькнула худощавая женская фигурка. Жуматай сразу узнал в ней Полину. С дрыном в руке она гнала перед собой корову-пеструху. Жуматай хотел было окликнуть ее, но не осмелился. Поднял было руку, чтобы помахать ей на прощание, но сухопарый коротко рявкнул:

— Сидеть!

«Да... кому какое дело до меня? — грустно подумал Жуматай. — Был да сплыл. Никто и не заметил. Никто и не всплакнет».

Свернули за околицу. Мерин все чихал-пофыркивал, все неторопливо трусил, несмотря на то, что коротыш-возница нахлестывал его вожжами. До грейдера оставалось уже недалеко.

И вдруг позади послышался звонкий детский крик.

— Аға!.. Аға!.. Жұматай-аға!

Это было так неожиданно, что все трое в повозке разом обернулись.

За колеей, явственно темневшей за телегой, несся, спотыкаясь, светлоголовый вихрастый мальчишка с полотняной школьной сумкой в руке. Мальчик бежал изо всех сил, точно летел над иссохшей, покрытой жесткой травой степью и с отчаянным надрывом кричал:

— Аға!.. Жұматай-аға! Ағатай!

Жуматай побледнел, приподнялся в телеге, замахал руками.

— Mein Junge! Ich bin da! Я слышу тебя! Прощай, дружок! Прощай!!

— Аға-а-а! Аға-та-а-ай!

— Кто это?! — рявкнул сухопарый. — Сидеть! Молчать!

Коротыш-возница хлестнул вороного хлыстом. Мерин недовольно дернул хвостом, в возмущении роняя кругляши, прижал уши, мотнул головой, но перешел на рысь. Мальчик бежал из последних сил. Но расстояние между ними все увеличивалось.

Жуматай, приподнявшись, все смотрел на него. По бледным, запавшим щекам его струились слезы.

— Аға-та-а-ай!.. Аға! — вопил мальчишка, оглашая степь своим отчаянно-пронзительным голосом. На крик его обернулся пастух, недоуменно взиравший с вершины холма на удалявшуюся повозку с незнакомыми людьми.

— Эдмунд! Милый! Про-про-прощай!

— Ай-ай-ай! — отозвалось эхо под небом.

— Leb wohl!

— О-о-о!..

Мальчик с размаху упал в траву. Белым пятном виднелась издали его светлая головка.

Жуматай, как подкошенный, сел, согнулся, свесил голову. Плечи его тряслись.

Свернули на большак.

Телега покатилась легче. Под колесами шуршал-потрескивал гравий.

Солнце вскарабкалось на холм.

Ехали молча.

Мальчик долго лежал в траве, и все вокруг казалось ему чужим и враждебным: и степь, и солнце, и холмы, и темневший позади аул, и небо.

Сколько он пролежал, дав волю слезам, он не знал. Оглянулся, когда солнце начало припекать нещадно и заломило в висках.

Ему померещился печальный, одинокий, отравленный тоской и горем голос Жуматая.

Қара-тор-ғай...

Ұштың зорға-ай...

Бедный, одинокий беркут по кличке Караторгай — черный скворец. Подбили тебя, пообломали крылья, вырвали хвостовые перья... Подшибли... Всего лишили.

Караторгай, милый,

Светик мой пестрокрылый!

Страшно тебе опуститься —

Подняться не хватит силы!..

Мальчик побрел домой, волоча за собой холщовую самодельную школьную сумку.

Он не знал, в чем провинился добрый дядя Жуматай.

Он не понимал, почему в жизни так много горя.

Он не догадывался о том, что онкеля Жуматая он не увидит, не встретит больше никогда, никогда...

XV

— Апырай, — пригорюнилась за чаем Кумис. — Скоро год внуку, а мы его ни разу не видели.

— Такие у нас детки, байбише, — ядовито хмыкнул Жаймурза. — Родителей не больно радуют, не жалуют.

— Брось, старый. Не клевещи на детей. Бьются бедные, как рыба об лед.

— Ну, допустим, у Кенже времени нет. А сноха-то могла бы навестить нас, внука показать.

— Не получается, значит. Она ведь и ребенка растит, и мужа подменяет, торгует, сторожит. Пишет же в письме. Кенже и писать-то некогда.

— Что он, министр?! — фыркнул Жаймурза. — Шибко занятой?!

— Не ершись, старый. Не суди детей строго. Им, бедным, и так достается.

После неожиданного приезда дивы Салимы Жаймурза по любому поводу фыркал, раздражался, обижался, всячески подчеркивая свое недовольство детьми.

— И откуда они все черствые, бессердечные такие взялись? Растили, растили, поили, кормили, лучший кусок им в рот пихали, а они оперились, разлетелись кто куда. Родители хоть пропади пропадом.

— Перестань! — урезонивала мужа Кумис. — В чем они виноваты? Время такое. Всем тяжко.

— А у тебя какое было время? Не тяжко? В твое время жаворонок гнездовье, что ли, вил на спине ягненка?

— Э, что говорить? По-другому все было. И люди другие были, потребности не те...

— Вот, вот, потребности не те. Им нынче все подавай готовенькое. И все им мало, мало... Какая нужда погнала Шолпан в Турцию пляски плясать? Кто заставил старшего нашего малаем служить у русской марджи?

— Брось! Если бы ты оставил им порядочное наследство, может, и не было бы так! У самого ни ржавой копейки за душой, а детей обвиняешь.

— Тьфу! С тобой разговаривать — только душу травить... Не знаешь, как я всю жизнь колхозную лямку тянул? Ишачил до семидесяти лет?

— Верно, ишачил, — не унималась Кумис. — А толку-то?

Такие разговоры вспыхивали между стариками в последнее время часто. Жаймурза ворчал, гневался, сетовал на нерадивых чад, покинувших беспомощных родителей у заброшенного кочевья, а Кумис, как могла, защищала их, оправдывала, ссылаясь на трудное время, на то, что не одни они такие, везде так, дети не хотят больше прозябать в нищете и довольствоваться скудной долей, как их бишара-родители, а норовят жить по-людски, красиво и богато. Разве не из-за этого уехали все пришельцы? Разве не из-за этого покинули родные места наши черноглазые соплеменники? Вон и радио долдонит с утра до вечера: свобода, независимость, реформа, рынок. Не хотят люди жить, как прежде. Не хотят прозябать, как их деды-прадеды. Вот и шарахаются туда-сюда, ищут свою удачу, мечутся, надеются, что птица счастья сядет однажды им на голову, занимаются такими делами-ремеслами, которые предкам и не снились. Так в чем их винить-упрекать?!

Так рассуждала старая Кумис, находя всему, что происходило вокруг, свои объяснения и оправдания.

Жаймурза едко хмыкал, фыркал, брюзжал, но в глубине души сознавал, что байбише его права.

Утром, за чаем, он объявил:

— Все, байбише. Собирай меня в путь. Проведаю Кенже. Обнюхаю внука. Успокою душу. Посмотрю на их житье-бытье.

— Давно пора, — рассияла лицом Кумис. — Правильно, старина. А то перед людьми неудобно. Валуха продай, ярочку зарежь, целиком опали и отвези деткам. Пусть полакомятся домашним.

— И валуха продавать не надо. Вчера в аулсовете выдали, наконец, пенсию сразу за три месяца.

— Что ты говоришь?!

— Представь! За три месяца выдали, за три, сказали, потом. Куча денег! Разбогатели!

— Ойбай, тогда поезжай. Не медли.

— Вот завтра и поеду. Автобусом. Тридцать два часа — и там. Все! Решено!

Кумис разволновалась, захлопотала.

Жаймурза отправился в загон резать ярку.

И на следующее утро, приодевшись, отправился в путь.

Из письма снохи Жаймурза знал, что у Кенже свой дукен. Правда, дукен принадлежал какому-то важному городскому начальнику, который сдавал свои дукены в аренду. Кенже намеревался этот дукен со временем у этого бастыка выкупить. Дукен расположился на очень бойком, многолюдном месте в центре города, и торговля, как писала сноха, шла успешно. «На еду, одежку, құдайға шүкір, хватает».

Что за дукен — Жаймурза не представлял. Дукеном в аулах называли магазины, а они были просторны, внушительны, хотя и явно пустоваты. И чем только в них не торговали — от соли-спичек до велосипедов-самокатов. А крохотные торговые точки, будки на базарах и на окраине райцентра называли в просторечии «комками-дунгиршегами» или «лапке» — лавками. В них торговали разной мелочью. А у Кенже был дукен. И Жаймурза в душе даже радовался ловкостью и предприимчивостью своего сына, который, приехав в самый большой город страны, вскорости обзавелся не какой-то там задрипанной лавкой, а дукеном. Если человек имеет свой дукен, то, разумеется, он устроился совсем неплохо.

Стояла поздняя осень. Вокруг раскинулась усталая бурая степь. Стада, отары попадались редко. Зато машины по асфальтной дороге носились взад-вперед туча тучей. Куда-то спешили громадные грузовики с арбузами, дынями, помидорами, виноградом, капустой, картошкой. Вдоль дороги, по узкой тропе, трусили ишаки, лошадки, запряженные в кокандские арбы, брички, тоже груженые всякой всячиной. В большом, сверкающем стеклами, ярко выкрашенном автобусе поначалу было просторно и уютно, но водитель часто останавливался, подбирал стоявших на обочине людей с мешками, тюками, ящиками и корзинами, и постепенно в салоне стало тесно, душно и шумно, крикливо и бестолково. Многие стояли на ногах, держались за поручни. Проход забили и заставили так, что не пройти, не повернуться. Открыли верхние люки, и в автобусе гуделсвистел тугой, холодный ветер, пахло пылью, бензином,

выхлопными газами, и Жаймурза забеспокоился: «Как бы не простудиться, не задохнуться».

Там, в ауле, чудилось, что до Алматы рукой подать. И автобус катился споро. А все равно дороге не было конца-краю. Ехали весь день, и Жаймурза раз десять задремывал и просыпался, а за окном все тянулись пустые поля, степи, высоченные тополя вдоль дороги, мелькали поселения, вскручивались вихри, клубилась пыль, неслись нескончаемым потоком машины, и в глазах начинало рябить. Ехали всю ночь, пожилого водителя сменил молодой напарник; тот, чтобы не заснуть, врубил во всю мощь радиоприемник, иногда сам подпевал прокуренным хриплым голосом, из автобуса одни выходили, другие входили, договаривались, где, когда и почем, мошка и бабочки разбивались, облепив смотровое стекло, в боковые окна залетала-запрыгивала глянцевая, пучеглазая, наглая, прыгучая саранча.

«До чего же громадная наша страна! — невольно подумалось Жаймурзе. — А это ведь только один край. Это только юг. А дальше — Сары-Арка, без конца и края. И как наши предки сумели отстоять такие просторы — уму непостижимо».

Жаймурзе вспомнилось, как, еще учась в школе, Кенже однажды с изумлением сообщил: «А знаешь, коке, какая территория у ГДР? Учитель сказал, что в длину это примерно расстояние от Ташкента до Алматы, а в ширину — примерно от Алматы до Бишкека. Представляешь?!» «Всего лишь?! Так, выходит, всю ГДР можно прикрыть одним казахским чапаном?!» Кенже рассмеялся. «А Бельгия и того меньше». «Так, Бельгию можно прикрыть одним малахаем-треухом?» Кенже хохотал. «Запросто, коке! А Монако, Ватикан и вовсе карлики». «Так, получается, их можно прикрыть одной тюбетейкой или ладошкой?» Кенже ликовал: «Так получается, коке!»

И вспоминая тот давний разговор с сыном-школьником, Жаймурза сейчас впервые как-то явственно, зримо представил, до чего же огромен, необъятен Казахстан, в котором могла бы разместиться половина Европы.

На утро следующего дня всплыли, точно из тумана, на рассвете величавые горы со снежными пиками, сливавшимися с бирюзовым небом. Пассажиры затихли, перешли на шепот, пораженные громадой скал, причудливым на-

громождением каменных гряд. Горы восхищали и подавляли. Было боязно нарушить тишину этих исполинов. Они знали, помнили тайны, которых никто из людей не знал и не помнил. Застыв в безмолвии, они внимали Владыке Неба — Тэнгри.

Дорога долго петляла по склонам гор, по перевалам, потом вырвалась из теснин в долину.

До Алматы добрались ближе к обеду. Моросило. Тучи нависли над городом. Автостанция оказалась громадным крытым базаром. Казалось, здесь собирались предприимчивые, горластые, хваткие люди со всех южных городов нескольких стран, чтобы спешно продать или купить товар и тотчас разъехаться по долинам и по взгорьям окрестности.

Жаймурза, толкаясь, пробился к таксисту.

— Довези, айналайын, на Кабанбай-батыра и Уалиханова. К дукену моего сына.

— Ой, у сына дукен в центре! — блеснул золотыми зубами разбитной таксист. — Не слабак, значит, аксакал! Но там ведь много дукенов.

— Не знаю, мой джигит. Но адрес указали такой.

— Садись! — Таксист ловко цвиркнул меж зубов. — Коржун положим в багажник?

— Нет, нет, с собой, — испугался Жаймурза.

— Небось, барашка везешь сыну?

— Угадал. Что еще повезу детям из аула?

— Конечно, конечно. Сын крутой?

— Какой... крутой? — не понял Жаймурза.

— Ну, богатый, деловой?

— Не знаю, — засомневался Жаймурза. — Два года, как не видел.

— О, значит, вас ждет большой той.

Ехали долго, останавливаясь на каждом перекрестке. Плотные потоки иномарок — одна другой краше — ошеломили Жаймурзу.

— Слушай, джигит, сколько ты с меня сдерешь?

— Ха-а! — воскликнул таксист. — Сын духанщик, а отец копейки считает! Не бойся: пять-шесть буханок хлеба.

— Это сколько на тенге?

— Ну, сто пятьдесят-двести. Бензин-то нынче дороже яда.

— Астафиралла! — вырвалось у старика.

Такси, наконец, выскочило из плотного потока машин, свернуло мимо огромного нарядного здания налево.

— Как живется в ауле, старина? — спросил таксист.

— Да, кто как... шүкір.

— У казахов все шүкір. Казах и в аду говорит: «Слава Аллаху, хорошо живем».

— Да, такой мы народ. Терпеливый.

— Не терпеливый, а покорный. Жизнь в аулах, сказывают, хренова, қария. Так?.. Я недавно съездил в Жезказган. Так то, что я видел, — разгромленный Грозный. Кошмар!

— Нет, у нас... э-э... нормально.

Таксист ухмыльнулся.

— Нормально! А что такое нормально, аксакал, знаешь?

Жаймурза задумался.

— Ну, вот, доехали. Вот Кабанбай-батыра. Бывшая Калинина. Впереди — Уалиханова. Бывшая Красина. А где дукен?

Стали искать. Чертыхаясь, таксист вошел в угловой продуктовый магазин.

— Работает у вас Кенже Бимендин?

Нет.

Зашли в магазин детских игрушек. Заглянули в парикмахерскую, в «Пчелку», в часовую мастерскую, в магазинчик рядом с Музеем книги, в магазин канцтоваров, в Общество охраны памятников культуры.

Нет, нет, нет.

— Что будем делать? — спросил таксист.

— Не знаю, — растерянно пробормотал Жаймурза. — Сноха написала: на углу Кабанбая батыра и Шокана Уалиханова.

— Ну, вот этот угол!

Таксист еще раз огляделся и увидел синий стандартный комок, приютившийся в тени тополей у обочины дороги рядом с двенадцатиэтажным жилым домом.

— Слушай, кария... а не этот ли дукен твоего сына?

— Разве это дукен? — недоуменно возразил Жаймурза.

Таксист подошел к крохотному окошку, постучал пальцем по стеклу. Окошечко отворилось, оттуда показалось лицо молодой, разлохмаченной, в халатике женщины.

— Кенже Бимендин здесь? — спросил таксист.

— А что? — насторожилась женщина, подняв на руку завернутого мальца.

— Отец его ищет.

— Как отец?!

Женщина высунула голову, увидела старика с коржуном возле такси и вскрикнула:

— Ата-а!

Тотчас выскочила из комка, хлопнув железной дверью и также держа на руке мальца в шерстяной шапочке и курточке.

— Ата-а!

— Ой, Айжан, айналайын, это ты? — обрадовался Жаймурза.

— Ну, вот, аксакал. Встретились, — облегченно сказал таксист. — Давай рассчитывайся.

Старик полез за пазуху, вытащил деньги, завернутые в платок, отсчитал сто пятьдесят тенге.

— Еще пятьдесят подкинь, — хмуро заметил таксист.

— За что?

— Э, сколько времени я с тобой потерял, пока нашел твой дукен?! — возмутился таксист. — Сколько бензина сжег! Не жадничай!

— Ну... как же? Ты же казах... Мог бы...

— Э, аксакал, оставь! Это тебе не аул. Город! Рынок! Здесь твой «казах-мазах» не пройдет.

— Ну, на! — в сердцах сказал старик. — Если ты на эти пятьдесят разбогатеешь.

— И ты не обеднеешь, старина.

Таксист хлопнул дверцей и рванул с места.

— Пойдемте, ата, в дом, — пригласила Айжан. — Промокнете. Холодно.

По-прежнему моросило. Тополя дрожали под ветром, роняли листья. Мимо, впритык к комку, прогрохотал троллейбус.

— Заходите, заходите, ата. Не смущайтесь. У нас, конечно, тесно.

В комке было сыро, стыло. И негде повернуться. В углу белел холодильник. Впереди, во всю стену, на полках был разложен немудреный товар: водка, вино, минвода, кока-кола, сигареты, жвачки, печенье, конфеты, разные коробки, бумажные стаканчики, лимонад и прочая мелочь. У задней глухой стенки, на расстоянии протянутой руки,

находился топчан с подушками, одеялами, простынями, пеленками вперемешку. У железной дверцы на табуретке докрасна раскалилась электрическая плитка. Тут же стоял тазик с рукомойником. А у порога на старой подстилке дремал, скрючившись, огромный облезлый брыластый кобель. Был он стар, дряхл, тощ. Ребра выпирали, брюхо запало, хвост свисал камчой.

Комок, сваренный из больших листов жести, стоял на земле, над арыком, пол был застелен картоном и грубой рогожей. На холодильнике стоял радиоприемник, тут же лежал пакет с хлебом, рядом пристроилась замызганная кастрюля с недоеденной пищей. Над топчаном были прикреплены большие плотные плакаты с полуголыми грудастыми красотками и календарь с портретом главы страны.

Старик застыл у входа, не зная, куда приткнуть себя. Коржун с разделанной тушей опаленной ярки он опустил возле тазика, и кобель, почуяв запах свежатины, проснулся, принюхался, уткнулся мордой в коржун.

— Тайт! — прикрикнул старик на кобеля и приподнял коржун, соображая, куда бы его определить.

Айжан взяла поклажу из рук свекра и затолкала между ящиками под топчаном.

— Сюда, сюда, ата, садитесь, — все суетилась Айжан, освобождая место на топчане.

— Амансыздар ма? — Жаймурза, усевшись, посмотрел на сноху, на внука. — А где Кенже?

— На барахолку с утра подался. Товар принимать.

— Е-е... ладно. Приедет?

— Конечно. К обеду, может, и покажется.

Над кастрюлей на плите струился пар. В комке было сыро и душно одновременно. По железной крыше дробно стучал дождь. Стекла раздвижного окошка затуманились, запотели. У самого потолка на веревке сушились ползунки, распашонки.

По стеклу снаружи постучали. Айжан отворила окошко. Под козырьком комка сбилась плотная стайка девчушек в разноцветных курточках, башлычках и с громоздкими ранцами за спиной. Щебеча, похихикивая, они купили несколько жвачек, одну пачку сигарет, бутылку кока-колы и свернули в скверик в глубине двора.

— Все аман-сау в ауле? — спросила Айжан, задвинув окошко.

— Шукир... Знакомые часто о вас спрашивают.

Айжан улыбнулась, кинулась к кипящей кастрюле, сняла крышку. Капля кипятка, набухнув, скатилась с крышки и угодила на бок кобеля. Он вскочил на длинные, подкашивающиеся ноги, мутными глазами укоризненно посмотрел на хозяйку и хриплым басом рявкнул, выражая свое возмущение. Потом, видно, понял, что получилось невзначай, вытянул смиренно морду, принюхиваясь к вареву, и снова улегся, сжался, складывая свое большое, костистое тело.

— Что же пса в помещении держишь, милая? — недовольно спросил Жаймурза.

— А куда его? Во дворе дождь. Холодно. А он и так вечно простуженный, больной.

— И зачем он вам?

— Как же? Наш сторож. Ночью ка-ак рявкнет, ка-ак высунет морду в окошко, любой мазурик шарахнется.

В окошко опять постучали.

Размалеванная женщина под зонтиком попросила огромную, аляповатую коробку заморских конфет, долго разглядывала срок годности. Наконец отправила коробку в свою бездонную сумку и попросила бутылку сухого импортного вина. И опять придирчиво рассматривала бутылку, встряхивала ее, долго щупала серебристой бумагой обернутую пробку. Наконец тоже сунула в сумку, расплатилась, ушла.

Снаружи повеяло дождем, мокрядью. По пузырящимся лужам на асфальте, разбрызгивая грязь, носились сплошным потоком машины.

— И так весь день? — спросил Жаймурза.

— Ну да, ата. Весь день. И ночью тоже.

— Как ночью? — поразился Жаймурза.

— И ночью торгуем. За полночь — самая торговля.

— А домой когда?

— Куда домой? — удивилась Айжан. И, видя недоумение, даже испуг в глазах свекра, сразу обо всем догадалась. И ответила тихо, смиренно. — Это и есть, ата, наш дом.

— Не дейді?! — обескураженно выдавил из себя Жаймурза. — Е-е... солай де... Вон оно как!..

Айжан смутилась. Растерялся и старик. Возникла тягостная пауза. Захныкал вдруг малыш. Ручками потянулся к коробке с печеньем. Айжан макнула печеньице в кружку с молоком и подала мальцу. Тот начал жадно сосать, чмокать губами.

— Внука как назвали?

— Искандэром. По-казахски Ескендір. Но ваш сын записал Искандэром.

— А фамилия? Кенже? Или Бимендин?

Айжан сконфузилась, памятуя, что примерной снохе не положено произносить имя свекра и вообще старших родственников по линии мужа.

— Фамилия его — ваше имя, ата.

— Солай де! — закивал польщенный старик.

Вдруг кобель поднял голову, насторчил уши, прислушался. Возле комка затормозила машина.

— Вот и Кенже! — сообщила Айжан.

Кенже, рослый, мосластый, в полосатой турецкой куртке, в башлыке, в китайских кедах, рывком распахнул дверь, вобрался в комок и застыл, как вкопанный, с изумлением уставился на отца.

— Ой!.. Уй!.. Как?! — пролепетал бессвязно. — Откуда?

— Что? Не узнал? — спросила Айжан. — Не ждал?

— Ас... ас... салаумагалейкум, коке!

— Салем алейкум, балам!

Отец и сын протиснулись друг к другу, обнялись.

После слов приветствия и коротких расспросов разговор иссяк, утас. Все были смущены.

— Это и есть твой дукен, значит?

— Да, коке, пока так.

— А потом?

— Потом... потом... думаю выкарабкаться, встать на ноги, купить жилье. Мне бы накопить тысяч пять-шесть баксов.

— Баксы — это что? Тенге? — спросил Жаймурза, прикидывая в уме, сколько же для этого понадобится овец.

— Баксы, коке, это доллар! — жестко сказал Кенже. — Без доллара ты нынче не человек.

— Апырай, а!.. Я доллар пока и в глаза не видел. Пять тысяч долларов на тенге сколько будет?

— Семьсот пятьдесят тысяч, — подсказала тотчас Айжан.

— Не дейді?! — испугался Жаймурза. — Разве такие деньги бывают?!

— Это не деньги, коке! — нахмурился Кенже. — Это слезы.

— Вон оно как! Солай де! — раздавленно пробормотал старик.

Помолчали. Жаймурза почесал голову, соображал.

— Это, что, получается целая отара овец?!

— Ой, коке, скажете тоже! Что такое отара овец в наше время? Пшик! Вот по радио сообщили: один деятель другому народному благодетелю дал на лапу четыреста тысяч баксов. А вы, коке, про отару!.. Нынче отцы народа верблюда с шерстью заглатывают и не поперхнутся.

Жаймурза совсем приуныл.

Кобель поскреб снаружи дверь. Кенже запустил его. Кобель, раскачиваясь на длинных, скрюченных ногах, постоял у входа, принюхался и вдруг отряхнулся, разбрызгивая вокруг фонтаном дождевые капли. Все в комке будто дождем обдало.

— Эй, собачье отродье! — прикрикнул на кобеля Кенже. — Ложись, суболыш!

Кобель послушно лег, подобрал под себя ноги, хвост, свернулся калачиком, уткнулся мордой в пах.

Айжан уложила мальца между подушками у изголовья топчана, сунула ему в руки погремушку, захлопотала возле кастрюльки на плите.

— Айжан, я тороплюсь, — сообщил Кенже. — Меня в машине ждут. Еду на оптовку. Дай что-нибудь пожевать.

Айжан достала из-за холодильника круглую деревянную плаху, наподобие раскладного столика, втиснула ее между кушеткой и лавками с товаром, сама встала бочком возле электрической плиты и рукомойника и разлила по мискам вермишелевый суп.

Старик, сидя на топчане, неловко согнувшись, черпал варево из миски, подолгу дул, стараясь не пролить, на ложку. Рука его дрожала. Пар клубился под потолком. Кенже ел торопливо, ловко, со звуком заглатывая длинную тонкую вермишель, хлюпал носом. Старик все мешал-помешивал ложкой серое, жидкое варево в миске, что-то пытался выловить со дна.

— Это что за еда, дочка?

— Көже ғой, ата. Вермишель в бульоне.

— А-а-а... Без мяса?

— Мясо, ата, вечером сварю.

— Мясо, коке, вредно. Да ты по мясу, думаю, план свой за жизнь свою с лихвой выполнил.

— Может, и выполнил, — согласился Жаймурза. — Но кто сказал, что мясо вредно?

— Да, вот яйцеголовые ученые твердят. Говорят, надо больше овощей есть.

— Дураки! Пусть сами траву жрут! Неужели наши предки были глупее этих яйцеголовых?!

— Не знаю, коке. Спорить не могу.

Также, в спешке, попили чай с турецким печеньем.

— Ну, коке, располагайся. Отдохни. Хочешь — походи, осмотрись. Со снохой своей побеседуй. С внуком забавляйся. А я съезжу на оптовку. Видно, поздно приеду. Завтра покалякаем.

— Жарайды, балам, — кивнул Жаймурза. — Ладно. Дело — прежде всего.

Кенже уехал. Дождь все накрапывал. Арык под комком нескончаемо бормотал. Тополя качались, со стуком роняя мокрые, набухшие листья. Внук уснул, лежа между подушками. Айжан быстро убрала посуду, налила остаток вермишелевого супа в плошку, придвинула ногой кобелю. Тот принюхался, укоризненно посмотрел мутным взором на хозяйку, как бы спрашивая: «И это все?!», и Айжан, спохватившись, бросила в плошку кусок хлеба. Кобель с удрученным видом нехотя принялся за трапезу, время от времени взглядывая недоуменно на гостя.

«Бедный, бедный... Подневольный батрак», — подумал старик.

«Так вот и живу, старина, — посетовал кобель. — И пожаловаться некому».

«И как только ты, пес, дошел до жизни такой?» — спросил старик.

«Не живу — доживаю. Околеваю. Сам видишь. Да что делать? Такова доля собачья», — ответил пес.

«Ия, ия... И твоим двуногим хозяевам живется не лучше».

— Дочка, а йоптобка — это что? — спросил старик. — Город, что ли?

Айжан почему-то смутилась.

— Что, ата?

— Йоптовка — это что, спрашиваю. Ну, куда Кенже поехал.

— А, оптовка, ата. Это большой базар, где товар продают оптом, большими партиями. Там товар обретают подешевле, развозят по точкам, по комкам и продают подороже.

— А-а-а!.. Так это же спекуляция!

— Нет, ата. Это называется бизнес.

— Солай де! Вон как. Значит, «купи-продай» — это бизнес?

— Да, ата, наш бизнес такой... Тиынка к тиынке — получается тенге. Сто сорок семь тенгешек накопил — один доллар в кармане.

— Солай де. Вон оно как...

Дождик все потюкивал по железному потолку. Тополя с тяжелыми шлепками все роняли и роняли листья. Время от времени кто-то стучал в окошечко, и Айжан что-то продавала, бросая деньги в картонную коробку на холодильнике.

Старику стало грустно. Невеселые мысли теснились в усталой голове. Апырмай, зачем я приехал? Только детей смутил. Несладко им в своем дукене. И стоило им ради этого оставить аул, тесниться в этой железной коробке посреди этого барахла, вместе с хворым кобелем?! Ради чего? Сколько лишений придется им претерпеть, пока сколотят деньгу на мало-мальски пригодное жилье. Такой джигит, в самой силе. Ему бы большими делами ворочить, а не по йоптобкам шастать, дрянную китайскую и турецкую дешевку закупать, чтобы недостойным торгашеством заниматься. Ай, глупо, глупо! Ай, как все несуразно... Разве в ауле жилось бы им хуже? Ну, трудно, понятно. Зато простор.

— Дочка, скажи, а вот это все... — Жаймурза повел вокруг рукой. — Ваше?

— Что вы, ата! Откуда?.. Мы же, сами знаете, приехали сюда без ничего. Это Шолпан помогла. Нашла знакомого, у которого несколько таких комков. Уговорила дать в аренду. Сама нам пятьсот долларов заняла перед отъездом в Турцию.

— Выходит, и это не ваше? — совсем растерялся Жаймурза.

— Пока нет. Лет через пять, может, выкупим.

— А до того, значит, так и будете жить?

— А что делать, ата?! По-другому не получается.

— Э... солай де. Вон оно как!..

Жаймурза почувствовал, как он устал с дороги от первых впечатлений. Свидание с детьми и вообще все он представлял себе совсем иначе. Совсем с толку сбил его

дукен. Ой, кудай-ай, надо же было так опростоволоситься! Что он себе вообразил? Мог бы ведь и догадаться, понять, что ничего хорошего его детей в городе не ждет, и за год-два ничего достичь невозможно, если нет у тебя ничего путного за душой. Надо, видно, сознаться, что он, аульный житель Жаймурза, угробивший жизнь на бригадирстве в колхозе и совхозе, вошел в новую волну жизни совершенно неподготовленный, с пустыми руками и дырявыми карманами. Беспомощный, не нажив ничего, и вот теперь так же барахтаются его дети, каждый, как может, как умеет, на свой салтык, бьются отчаянно за свое место под солнцем, мечтают вырваться из нищеты. А он, сидя в своем старом саманном доме в захолустье, довольствуясь малым и, уповая Бог весть на что, еще ворчит на своих детей, недовольный тем, что разлетелись кто куда в поисках слепой удачи, которая редко кому выпадает. Выходит, всем уготовано одно: надеяться на себя, на свои силы и сноровку, на изворотливость и случай и обустроить свою жизнь по своему разумению и умению, и никто в сущности никому не нужен. Он, Жаймурза, всегда гордился тем, что воспитал своих детей порядочными, честными, справедливыми, а это, выходит, совсем и не нужно в обвалившейся на их головы новой жизни. Их, по всему, надо было воспитать рвачами, хапугами, дельцами, наглыми и бессовестными. Иначе ничего им не обломится. Будут барахтаться в трясине нищеты или собьются вовсе с праведного пути.

Да-а... слишком все уповали на бастыков, больших и малых, а они, бастыки, сами жалкие, беспомощные, сами хотят красиво жить. Вчерашние босяки, оборванцы-засранцы, они, дорвавшись до власти, понятно, прежде всего, заботятся о своей шкуре, о своем кармане, о своих родичах-сородичах, а об остальных нищебродах, неудачниках, голытьбе их голова болеть не может. Скажут: мы вам, голодранцам, бишаринцам, сорлынцам, дали свободу, предоставили возможность, вот и суетись, рви когти, изворачивайся, как можешь, крутись, хватай, хапай, что плохо лежит, и устраивай свою судьбу, как можешь. Добьешься чего-то — радуйся; не добьешься — пеняй на себя. Это, айналайын, рынок!..

— Ия, солай! Только так! — с горечью и вслух сказал старик, глядя на сноху, разговаривавшую с кем-то через окошко. Он только сейчас заметил, что Айжан раздо-

брела, округлилась, и на лице ее — при всей неурядице быта — не видно следов усталости, недовольства или обреченности. «Уж не беременна ли она опять? — мелькнула у старика догадка. — Больно животик бугрится... Апырай, неужели и второго они сообразили в этой будке между торговлей? Впереди зима... как они в холоде-то обойдутся?!»

Старику стало не по себе.

— Ата, вы бы прилегли. Отдохните, пока внук спит.

— Рахмет, айналайын... Я, пожалуй, прогуляюсь. Дождик-то перестал?

— Перестал, ата. Но сыро.

Он выбрался из будки, с трудом переступив через кобеля, опасаясь отдавить ему хвост или ноги.

Вышел на свет божий, споткнулся о батарею, вмурованную у входа, ступил на железный лист, прогнувшийся под ним и издавший резкий лязг, шатаясь, отпрянул в сторону и еле удержался, вцепившись в чугунную ограду вокруг двенадцатиэтажного дома.

— Ойпырмай, сұмдық қой бұл!.. Это же сущий кошмар! — вырвалось у него.

У ограды стоял щуплый старик в раздувшейся синей куртке, в ладных, отутюженных брючках, с газетами в руке. Он насмешливо покосился на аульного казаха в кирзовых сапогах, замурзанном плаще и войлочной шляпе, с трудом выбравшегося из комка и еле удержавшегося на ногах. Жаймурза смутился, раздумывал: поздороваться с этим городским пожилым казахом в синей куртке или нет. И опять поневоле пробормотал:

— Какой ужас! Бұл сұмдық қой!

— Что случилось, кария? — участливо спросил казах в синей куртке. — Вам плохо?

— Нет, нет, что вы! Нормально!

К старику в синей раздувшейся куртке подошел, судя по всему, тоже из этого дома светлолицый, длинноносый, явно не казах, тоже в годах мужчина с толстенной, суковатой палкой, и они заговорили по-казахски, обменялись газетами и свернули за угол. Пожилой, в куртке, видно, был тугоух. Спутник, с палкой, громко прокричал ему в ухо:

— Из аула, видно, приехал старик. Возможно, отец тех, кто обитает в нашем комке.

— Ия, ия... солай болар. Видно, так, — ответил в синей куртке.

Жаймурза потоптался вокруг, соображая, где бы ему справить малую нужду. Подходящего места не видно было. Вокруг теснились высотные дома, сверкали витрины магазинов, сновали взад-вперед прохожие, беспрестанно шуршали шины машин, проплывали, тяжело колыхаясь, троллейбусы, невдалеке громыхал трамвай. Жаймурза почувствовал себя, как в каменной западне.

Он прошел через арку, походил по крохотному ухоженному скверику, завернул за дом, увидел гаражи, ряд мусорных контейнеров, высмотрел подходящий для его намерения закуток и, оглянувшись, затаился. Потом, выбравшись из-за контейнеров, заметил, как стайка сорванцов с изумлением уставилась на него, словно на пришельца с другой планеты. Потом поднял было взор и вовсе смутился: из приоткрытых окон служебного здания за Музеем книги глазели на него несколько женщин. Спеша подальше от места своего позора, Жаймурза прошел мимо хлебного магазина, мимо пожарки, сделал круг и вышел к большому нарядному скверу возле громадного, широко раскинувшегося желтого здания с широким подъездом. Здесь он встретил старичка в дутой синей куртке и его спутника с суковатой палкой. Оба хромали на правую ногу и увлеченно беседовали. Длинноносый, светлолицый громко говорил по-казахски:

— Все это сомнительно и подозрительно.

— Солай болар, — соглашался тугоухий старичок.

— От того, что меняют акимов, как пешек, ничего не получится.

— Солай, солай, — отзывался старичок в синей куртке.

Жаймурза походил-походил, поглазел-поглазел и побрел назад. Многоэтажные, добротные дома и величественные здания стояли впритык, так тесно, что между ними и кошка вряд ли могла протиснуться. На углу находилась трехэтажная школа. Во дворе толпилась ватага мальчишек и, сквернословя по-русски, курила. Все были казахи, аккуратные, чистые, опрятно и дорого одетые, все говорили по-русски. Чуть в стороне сбились в веселую стайку девчонки, совсем еще соплюхи, и тоже курили. Все были казашки, черноволосые, черноглазые, голоногие, приятно смуглые и тоже наперебой щебетали по-русски. По дороге вдоль заброшенного фонтана бежали наперегонки подростки в спортивной форме. Бежали неумело,

подзадоривая друг друга, галдели, свистели. Под тополем стояла их учительница-апай, маленькая, сухая, в обвислом спортивном трико, со школьным журналом под мышкой и секундомером в руке.

— Давай, давай! Марш! — покрикивала она.

Группа на старте сорвалась с места и ринулась по дороге, точно стригунки к водопою.

— Ата! Аташка! Дорогу! Сшибем! — весело орали сорванцы.

— Да он правила уличного движения не знает!

— Аульный бабай!

— Мамбет!

Жаймурза отпрянул в сторону, чтобы юные охальники не сшибли его.

Тучи развеялись. Горизонт приоткрылся. Вдали темнели горы. Прохожих становилось все больше. Вечерело.

Старик походил вокруг синего комка, все разглядывал, досадливо теребил бороденку, косился на свои обтерханные до белизны кирзовые сапоги, с недоумением смотрел на свое отражение в витринах. Силуэт сгорбленного старичка в нелепой войлочной шляпе и кургузом плаще, в помятых широких штанах привел его в уныние. «Точно огородное пугало. И зачем я только приехал сюда? Дурень! Только детей позорю».

Из комка струился сочный мясной дух. Видно, Айжан варила баранину из аула. Запах был такой густой, дразнящий, что прохожие поневоле останавливались и принюхивались. Старик вобрался в будку. Пес подслеповато долго вглядывался в него, потом равнодушно длинно зевнул, чуть дернув хвостом. Жаймурза снял плащ, повесил над рукомойником, сел на топчан. Внук, лежа на спине между подушками, сучил ручками и ножками, гукал, пускал пузыри, удовольненно глядел в потолок.

— Айналайын, — екнуло сердце Жаймурзы то ли от жалости, то ли от умиления. Айжан на полочке у окошка раскатывала тесто.

— Ну, как, ата?

— Нешауа, кызым. Малость походил — кости размял.

Появился Кенже.

— Собаку прогуляла? — спросил с порога.

— Некогда было, — отмахнулась Айжан.

Кенже вывел на поводке кобеля.

Старик ждал. Зевал, тер глаза, неумело забавлял внука. Говорил то и дело по привычке.

— Ия, солай де. Так оно, значит...

Сумерки сгущались. В домах по обе стороны улицы зажглись огни. Двутлазым чудовищем пролетал мимо, грохоча и раскачивая провода над комком, троллейбус. На стоянке напротив толпился народ. На углу улицы с диким грохотом обрушилась музыка. Снаружи доносились шуршание шин, топот ног, обрывки разговоров.

Мясо опаленной ярки исходило жиром и паром, возвышалось на подносе; белели пропитанные душистым бульоном-сорпой сочни. Розовели по краям разрезанные на дольки помидоры. Зеленел поверху лучок.

Жаймурза с удовольствием смотрел, как его дети уминали бесбармак. Видно, такого лакомства в этой железной будке давно уже не доводилось отведать.

— Э, барекельде! — удовлетворенно произнес старик.

— Қалай, көке, может, тяпнем огненной водицы чуток? А? В честь твоего приезда?

— Нет, балам, я давно уже в рот не беру.

— А грех! — настаивал Кенже. — Такой закусон!

— Ты пей, если душа желает, — разрешил Жаймурза.

— Давай, — подмигнул Кенже жене.

Ели долго, всласть, обмениваясь короткими фразами. Потом еще дольше пили чай с конфетами-подушечками и печеньем в форме разных зверушек.

За окошечком стало темно. Появились первые страждущие, покупали водку, вино. Старик озабоченно подумал: «Апырай, как же ночью спать будем? Неужели вчетвером на одном топчане?» Эта мысль не давала ему покоя.

— Не беспокойтесь, коке, — точно догадавшись о его думе, сказал Кенже. — Все будет о'кей!

После бесбармака и водочки он заметно повеселел, жесткие складки на переносице разгладились, зрачки поблескивали, забегали, как мышата, на радостях он даже похлопал разок-другой женушку по мягкому месту.

— О'кей, о'кей все будет, кокей! — озорно срифмовал Кенже. — Мне предстоит ночь куковать на оптовке. Ждем партию товара из Китая. Прохлопать нельзя. Айжан займется ночной торговлей. А ты спи себе с внуком на кровати. Места хватит.

Сон сморил старика, и он лег рано. Кенже уехал. Айжан все чего-то хлопотала, ополаскивала посуду, стирала в

тавке, роняя мыльные хлопья на терпеливого пса, что-то переставляла на полке, заменяла ценники, протирала бутылки, по-другому раскладывала товар.

Спал Жаймурза недолго. Проснулся от грохота, железная будка вздрогнула, бутылки задзинькали, что-то упало с холодильника, пес вскочил и тупо заозирался вокруг.

— Астафирала, что случилось?

— Ничего, ата. Штанга троллейбуса слетела и задела крышу.

За стенкой слышалась ругань, лязг, скрежет. Бешено сигналя, пронеслись машины. Потом все стихло. Но уснуть старик не смог. С угла улицы, где расположился ночной клуб «Адмирал Нельсон», во всю мощь доносились дикая музыка, пьяный гогот. Визгливый женский голос с хрипотцой оглушал всю окрестность.

«Ой, как хочу,

Ой, как хочу,

Хочу-у, хочу-у-у!..»

«Что она, бедняга, так надрывается, будто ее режут. Что же она хочет? — с досадой подумал Жаймурза. — Неужели нет ни одного джигита, который мог бы ее заткнуть?!»

Но девица продолжала выть, будто заклинило ее:

Ой, как хочу,

Хочу-у, хочу-у-у!..

Фары машин без конца освещали будку, словно прожектором. Айжан, склонившись, сидела у окошка. Подошла веселая компания, постучала в окошко.

— Хозяйка, выручай!

— Сколько? — спрашивала Айжан.

Потом мелькнула лохматая голова.

— Который час?

— Полпервого.

— О, еще детское время! Дай пузырь!

Потом замаячил у окошка какой-то хмырь в шляпе и с бородой, что-то все высматривал. Наконец солидно сказал:

— Шампанское, коньяк и самую большую коробку конфет.

Потом промелькнули две девицы, потолкались, пошептались, тихо что-то попросили у Айжан. Та сказала: «Есть, есть, сейчас» и достала из-под прилавка какую-то коробку.

Жаймурза отвернулся лицом к стенке, стараясь не задеть внука.

Тут же в ночном клубе «Адмирал Нельсон» запустили новую пластинку, и еще более горластая девица отчаянно завопила, точно заклинала кого-то:

«Придумай что-нибудь!

Ну, придумай что-нибудь!»

«Вот нахалка! — подумалось старику. — Неужели ее джигит такой растяпа-пентюх, что и придумать ничего не может?! Заставил бедную орать посреди ночи!»

Потом принялась по-дурному гоготать и взвизгивать стайка юнцов, расположившаяся на скамейках в глубине двора двенадцатиэтажного дома.

Старик задремывал, ненадолго забывался и вновь просыпался.

В доме напротив явно затягивалась гулянка. Совсем уж охрипшие, хорошо накачавшиеся азаматы невпопад горланили:

«Ей, ей, ей, қыздар,

Ей, қыздар, қу қыздар,

Қайран қыздар!»

Их старались перекричать тоже вразнобой — кто в лес, кто по дрова — подвыпившие бабы:

«Жаным» деп маған үн қатқан,

Жүрекпен сүйіп ұнатқан.

Бақытым менің

Таппаспын теңін,

Махаббат гүл ат-қа-а-ан...»

«Вот собаки! Никак не угомонятся! Все им махаббат подавай! — возмутился Жаймурза. — И когда они спят?!»

Со страшным воем пронеслись, содрогая землю, пожарные машины. Потом, включив сирену, промчались гаишники. Кто-то из очень больших бастыков спешил в сопровождении эскорта на аэропорт.

В окошко Айжан все чаще стучали запоздалые гуляки, которым для полного заряда не хватило чуть-чуть.

Проснулся внук. Айжан подхватила его, успокоила, переодела, напоила сладким остывшим чаем, снова укачала.

Вдруг завозился пес, глухо взлаял, застонал утробно, мордой потыкался в железную дверь. Айжан выпустила его наружу.

Ночь длилась нескончаемым кошмаром. Ближе к рассвету подкатила «Скорая». Заспанный врач в колпаке и халате постучал в окошко.

— Кабанбай-батыра восемьдесят восемь здесь?

— Здесь, здесь, — ответила Айжан. — Подъезд открыт.

Через полчаса уехала «Скорая». Обрушилась тишина. И Жаймурза задремал уже в который раз. Но тут прогромыхала «поливалка», тугой струей обдавая железную будку, сотрясая ее стены. Потом «поливалка» удалилась, но вскоре еще раз проехала с грохотом, визгом, шуршанием воды. Вслед за ней по соседней улице прогромыхал первый трамвай. В это время в ауле Жаймурза обычно вставал. Он знал, что теперь уж не уснет, но и вставать не было сил. Голова трещала, кости ломило. В каких только условиях не приходилось ему проводить ночи за долгую жизнь: и на поле, на стане, на сеновале, и в юртешках, в косах-шалашах косарей, и в пустыне, среди заготовщиков-рубщиков кустарника-баялыча, на кошме, на траве, на потнике, положив голову на седло, но в железной будке, в центре большого города, в дукене спать приходилось впервые. «Хуже не бывает, наверное, и в аду» — подумалось старику.

Айжан, уронив голову на руки, сидя спала у прилавка. Слабый свет брезжил в окошко. Сбоку было особенно заметно, что сноха в положении. Пахло прелыми листьями, мокрым бельем, псиной и гнилью.

«Нет, надо, пожалуй, скорее добраться до аула. Не по мне городская жизнь. Да и детям не буду обузой», — решил про себя Жаймурза.

Он провалялся еще часок, потом встал, тихо оделся и, стараясь не разбудить сноху, вышел.

Бродил он по городу долго, прошелся вчерашним маршрутом, потом спустился вниз, посидел часа два у бронзового бюста Кунаева, оттуда добрался в парк, постоял у Вечного огня, походил вокруг Кафедрального собора, удивился множеству нищих, потом очутился на Зеленом базаре, о котором ему доводилось слышать много раз. Там он ополоснул руки, лицо у фонтанчика, купил лепешку, выпил у старухи-казашки чашу вполне приличного кумыса. День выдался теплый, солнечный. Старик малость повеселел. Многое, что он видел, ему понравилось Его поражало, как только люди смогли возводить такую красоту, сколько трудов стоило это величие. А удивляло, что столько народа без дела слонялось по улицам. «Апырай, неужели все не работают? И как государству прокормить такую ораву? Если

никто не работает, то откуда все это вокруг взялось? Уму непостижимо! Интересно, все это осталось от Советской власти или понастроено в последние годы?»

Солнце перевалило зенит, когда он вернулся к железной будке. Кенже, разметавшись на топчане, спал. Рядом приткнулась Айжан и тоже подремывала. Дверь была приоткрыта, и кобель положил свою тяжелую голову на лапы, высунув свирепую голову наружу.

Айжан встрепенулась, заслышав свекра, кинулась греть чай. Тихо заметила:

— Ойбай, ата, мы вас совсем потеряли. Не заблудились ли?

И приложила палец к губам.

Старик сел на табурет у окошка, вытер платком лицо, потеребил-погладил бородку. Потом, стараясь не звякать чашкой, долго пил кок-чай с лепешкой.

День тянулся нудно, бесконечно.

— Может, доченька, мне сегодня отправиться обратно?

— Что вы, ата! Погостите еще день-другой. Кенже обидится.

И сказала она это так искренне, так горячо, что старик расчувствовался и сразу отказался от своего намерения.

Вечером, сидя у фонтана возле памятника Шокану, он снова встретил вчерашнюю пару: сухонького тугоухого старичка в раздувшейся, непомерно большой синей куртке и большеносого светлолицего пожилого мужчину с палкой. Тот громко по-казахски убежденно доказывал:

— Е-е, не деріңіз бар ма, Бүке?! Әлбетте күштінің арты диірмен тартады ғой...

— Ия, солай. Верно говоришь, — соглашался щупленький старичок.

Когда они проходили мимо, Жаймурза учтиво поздоровался, и оба остановились.

— Из аула, небось, прибыли, почтенный? — спросил длинноносый с палкой.

Разговорились.

Светлолицый, по всему обличью явно не казах, расспрашивал напористо: из каких краев, какого рода-племени, какая нужда пригнала в город, как жизнь в ауле, чем занимаются люди, каково настроение. Все ему было интересно, все ему выкладывай. И при этом сыпал казахскими поговорками и раздумчиво-многозначительно тя-

нул «Е-е...», точно аульные старики. «Татарин, что ли? Или из немцев?» — все гадал про себя Жаймурза, но спросить постеснялся.

Пошли вместе.

— Ночевали в комке? — поинтересовался сухопарый. Тесно ведь...

— Да, тесно, — вздохнул Жаймурза.

— Пойдемте ко мне, — предложил сухопарый. — Жена в больнице. Я один. Диваны пустуют. Зачем смущать молодых?..

— Вы... вы... — Жаймурза не поверил. — Серьезно?

— Ну, как же! — убежденно ответил сухопарый, припадая на правую ногу. — Или мы не казахи! Пойдемте. Меня зовут Беркутбай.

— Айдарханов, — уточнил его напарник. — Врач. Ученый. Эндокринолог.

— А я Жаймурза. Фамилия — Бимендин.

— Ну, и хорошо, Жаке. Пошли. Предупредите только детей, чтобы не беспокоились.

Зашли в кабину лифта. Поднялись на одиннадцатый этаж.

От просторной передней тянулся вглубь длинный коридор. По обе стороны белели двери. Зеркала, тумбочки, встроенные шкафы, холодильник, половички, картины на стенах... Старик опешил. Потоптался у входа, не смея пройти в сапогах.

— Располагайтесь, не стесняйтесь, — сказал Беркутбай. — Кстати, сколько вам лет?

— Четвертый год восьмого десятка.

— На войне были?

— Бог миловал.

— А я был.

— От начала до конца. Мне пошел девятый десяток. Я старше, выходит.

— Выходит, так, — смутился Жаймурза. Он почему-то полагал, что ученый старец — его ровесник, а может, даже моложе. Щуплый, верткий, неугомонный, немного суетливый, он заметался по квартире, что-то на ходу переставлял, поправлял, завел настенные часы, полил цветы в горшочках, гремел на кухне, пускал воду в ванной, с кем-то говорил по телефону, листал журналы, ни минуты не сидел.

— Можете отдохнуть на балконе. Посмотреть на город с вышины.

Жаймурза осторожно вышел на балкон и как глянул вниз с одиннадцатого этажа, в испуге отшатнулся, вцепился в косяк двери. Он на мгновение увидел внизу синий комок сына, и почудилась будка величиной со спичечный коробок. Жаймурза встал на порожек, ухватился насмерть за косяк, еще раз посмотрел вниз, и ему стало дурно. Казалось, сейчас он рухнет, провалится в бездну вместе с висящим над пропастью балконом.

— Что, Жаке? — усмехнулся хозяин.

— Как вы живете на такой высоте? Страшно ведь. Будто божьей земли мало.

— Ничего, привыкли.

— А когда землетрясение?

— Землетрясение бывает внизу, на земле, — усмехнулся Беркутбай. — А здесь, на высоте, его не чувствуешь.

Жаймурза теперь не решился даже в окно выглянуть. И по комнате ходил осторожно, по-кошачьи, словно по шатким доскам.

Снизу донесся вопль:

— Ка-а-ар-тош-ка-а! Лук! Капуста! Морковь!

Вслед за ним в крик ударилась горластая баба:

— Ммо-о-о-ло-кооо! Молоко берем. Сметана! Творог!

— Что такое? — встрепенулся Жаймурза.

— Торгаши! Все, что надо, прямо к порогу доставляют. Бери, сколько влезет.

— Вон оно как!

— Да, лишь бы деньги были. Еще недавно в очередях бились за все, давились, а теперь только и предлагают, покупай, покупай, бери — не хочу.

— Получается, сейчас стало лучше? — уточнил Жаймурза.

— В общем, думаю, лучше, легче, проще, — серьезно сказал хозяин. — Мы ведь все дурное забыли. И все ворчим. Все что-то не так. Все вынь да положь!

— Вон оно как! — задумался Жаймурза. — Кому-то лучше, кому-то хуже. В чем-то легче, в чем-то сложнее.

— Ну, естественно, — согласился Беркутбай. — Реформа. Все по-новому пошло. Пока все уладится, нужны годы.

— Словом, нам до этого не дожить?

— Конечно. Мы давно уже возвращаемся с базара.

— Ия, солай... солай... Так-то оно так!

Потом старики долго чаевничали на кухне. Потом перешли в зал, смотрели по телевизору «Хабар». Потом по-

сидели в кабинете, забитом до потолка книгами, и Жаймурза грыз яблоки, а Беркутбай просматривал газеты, обзванивал сыновей, снох, внуков, расспрашивая про их здоровье и настроение, про житье-бытье.

— Все дети в городе? — поинтересовался Жаймурза.

Беркутбай расцвел лицом.

— Все. Рядом. Все самостоятельны. И сыновья, и снохи ученые. А внучка в Лондоне. И вторая за рубежом учится.

— Хорошо!

— Слава Богу, все при деле.

— А живете одни?

— Остались с байбише вдвоем. Вдвоем в четырех комнатах.

— Солай де! Вон оно как! А мои дети разлетелись кто куда.

— И так бывает. Лишь бы живы-здоровы были.

Молчали. Жаймурза предался своим думам.

Да-а, у каждого своя судьба. Своя доля. Один живет — не тужит. У другого все сикось-накось. Одним новая жизнь на руку, другому — все побоку. У одних — хоромы, полная чаша. Другие мытарятся в железной будке. У одних внуки в заморских школах учатся, у другого внук растет в одной конуре вместе с собакой. А почему так? Кто виноват? Кому жаловаться? На кого пенять? На судьбу? На себя? На Бога? Где справедливость? Разве я виноват, что всю жизнь ишачил, гнул спину в колхозе, в ауле и остался ни с чем, все в той же отцовской мазанке? А чем провинились мои дети, которые бьются, как рыба об лед? И почему аулы хиреют? И властям нет до них дела? И все бегут из аулов, норовя хоть как-то пристроиться в городах? Если аулы пропадут, то куда народу деться? Неужели его в городах по этажам распихают? И неужели все проживут, торгуя барахлом? И неужели свобода в том, что каждый вынужден выживать, как может? Неужели независимость в том, что никто ни за что не отвечает? Неужели справедливость в том, что одни жируют-пируют, а другие прозябают, у мусорных контейнеров ошиваются? Ай, что-то не то. Что-то не так! Искривились пути-дорожки. И так долго продолжаться не может...

Жаймурзе хотелось поделиться своими сомнениями с Буке, как-никак ученый, уверенный и благополучный, хотя, видно, тоже изрядно потрепанный жизнью, но, в

общем-то, удачливый, беззаботный на старости лет, однако никак не подворачивался удобный момент. Хозяин шуршал газетами, временами слушал по крохотному радиоприемнику заморские «голоса», все кому-то названивал, и ему беспрерывно звонили, и он, нацепив на ухо слуховой аппарат, подолгу громко разговаривал.

— Ну, Жаке, давайте спать, — объявил вдруг хозяин. — Я вам постелю в зале на диване. Сам устроюсь в кабинете. Утром надо будет съездить на дачу.

— У вас и дача есть?

— Есть. Да работать некому. Детям — лень, недосуг. Внуки и не показываются. Арканом не затащишь. Один я, выходит, и ковыряюсь. А продать — жалко.

— Солай де! Вон оно как!

Выпили по миске айрана и разошлись по комнатам.

Жаймурза, раздевшись, долго сидел на диване, потом пересел в одно кресло, в другое, осматривал убранство зала, диковинные безделушки на шкафах, комоде, вздыхал, чесал грудь и думал о детях в железной будке внизу у обочины дороги, под тополями у тротуара. «Неужели Кенже будет когда-нибудь жить в таком доме?»

С этими мыслями Жаймурза и уснул. Спал тревожно. Просыпаясь, смотрел на мерцающий огонек телевизора — красную подмигивающую кнопку, косился на приоткрытую балконную дверь. И было ему отчего-то грустно, будто затерялся на необитаемом острове и не знал, как отсюда выбраться.

На следующий день он сел в автобус и отправился домой. Провожали Кенже, Айжан и внук Ескендыр. Внук сучил ручонками, гукал. Айжан отчего-то расплакалась. А Кенже все бодрился и повторял:

— Нешауа, коке! Все будет о'кей!

XVI

Хадиша долго не могла оправиться после преждевременных неудачных родов. В просторном доме заготовителя стало уныло и тоскливо. Хмурилась, гневно поджимала губы старшая жена Кайроллы. Молчал сам заготовитель. Возвращаясь из аулов или райцентра, насупившись и нахохлившись, один сидел за бесбармаком, выпивал, налив в кесе чекушку водки, и заваливался спать. Хадиша, как во

сне, целыми днями слонялась по двору и дому, не находила себе места, и все валилось из рук, и все вокруг было чуждо.

И все чаще снилась ей опустевшая мазанка в колхозе имени Кирова. И все чаще точила, изводила ее назойливая мысль о том, что зря она вышла за брата Жуматая, видно, то было неугодно Всевышнему.

Но сам Жуматай после того, как его забрали, ей не снился. Ни разу. И она решила: обиделся навсегда. И нет ей прощенья. Сознание вины росло, укреплялось в ней с каждым днем.

Она старалась не показываться людям на глаза. Избегала встречи с байбише. Стала задумчивой, робкой и оглядчивой. Разговаривала только с дочкой Асимой. Опускала голову перед Кайроллой, стала его бояться. И когда он приставал к ней, требуя супружеских ласк, она чувствовала, как тяжелое удушье подкатывало к горлу, как набухало сердце от неприязни к постылому хозяину (мужем она так и не смогла его называть) и гадливости к себе самой.

«Жизнь загублена», — думала она про себя.

Однажды прибежал в «Коммунар» Эдмунд. Мальчик вытянулся, окреп, загорел. Он, оказывается, соскучился по Асиме. Принес ей головку домашнего сыра-кезе, который искусно варила Полина из обрата, пампушки-крендели, витиеватые и румяные, помазанные яичным желтком и сверток: «Подарок от твоего коке». В свертке оказались две выточенные из можжевельника изящные ложки. На одной крохотными буквами было выжжено «Асима», на другой по-немецки «Edmund Worm»

«А меня забыл», — мелькнуло у Хадиши.

Асима не расставалась с ложкой, всем показывала: «Мой коке сделал для меня».

Должно быть, Асима тоже почувствовала, что неладное творилось с матерью. Она все чаще ласкалась к ней, расчесывала ей волосы, обнимала, целовала и как-то, решившись, прошептала ей на ухо:

— Апа... Апажан... давай уедем отсюда. Вернемся в наш дом... а, апажан.

— Как? — опешила Хадиша.

— Просто. Заживем вдвоем. Как раньше. И я буду тебя еще сильнее любить.

Хадиша прослезилась.

— Не плачь, апатай... Ну, подумай. Зачем нам все это? Разве вдвоем нам будет плохо?

И так серьезно, по-взрослому она это сказала, что Хадиша совсем расчувствовалась, крепко прижала дочь к себе и тихо заметила:

— Какая ты у меня уже большая. И умница.

Еще полгода промаялась Хадиша в сомнениях и раздумьях. И однажды, когда после вечерней трапезы с неизменной чекушкой, Кайролла плюхнулся на кровать, Хадиша негромко сказала ему:

— Надо бы поговорить...

— Поговорить?! — насторожился, хмурясь, Кайролла. — О чем?

— Я больше не могу... — заявила, с трудом унимая дрожь в голосе, Хадиша.

— Чего не можешь? — сдвинул брови Кайролла.

— Жить так больше не могу.

— А как можешь? — ухмыльнулся он. — Давай попробуем по-другому.

— Прости меня... — поспешила она высказаться и боясь, что он просто перестанет ее слушать, скажет, отмахиваясь: «Отстань!» — Прости, пожалуйста. Но видишь, как все оборачивается... Кто бы подумал? Значит, не судьба. Твоей вины в этой нескладице нет. Все беды-напасти от меня. И я решила: «Уйду!»

— Вон как?! Ты решила... А я что?

— Так лучше. И тебе, и мне. Не жизнь это все равно. Не сердись.

— Хм-м... Жуматая ждешь?

— Никого не жду. И не нужна я ему.

— Одна куковать собираешься?

— Одна... С дочкой.

— А я?

— Ты мужчина видный. Девок-молодух в аулах нынче много. Любую выберешь. И постель обновишь, и ребенка заимеешь. А от меня, чувствую, толка уж нет.

— Все сказала? — у Кайроллы взбугрились желваки, глаза налились кровью, брови сошлись в переносице.

— Все, — мертвея, прошептала Хадиша.

— Ну, ступай тогда. Отваливай. От греха подальше. Будет так, как я решу.

Однако долго думать заготовителю не пришлось.

Однажды, когда заготовитель был в отъезде, Хадиша сложила свои пожитки в узел и вместе с дочкой со школь-

ным ранцем за спиной ушла из дому. Она считала, что совесть ее перед старшим деверем, недолго бывшим, но так и не ставшим богоданным мужем, чиста, она все ему выложила, высказала, как на духу, решение принято, все обдумано, назад ходу нет, и Кайролла не вправе быть на нее в обиде.

Собравшись в путь, она на прощание заглянула в половину байбише, доложила, что уходит.

— Насовсем? — спросила байбише.

— Насовсем и навсегда.

— Что так? Не поладили? Повздорили?

— Нет. Богу было неугодно.

— Е-е-е... ну, скатертью дорога. Дура-баба от счастья своего бежит.

— Скажите, чтобы зря не беспокоился. Обратно не вернусь.

— Захочет — камчой пригонит! На ишака задом наперед посадит! — пригрозила байбише.

— Бесполезно.

Всю дорогу шла Хадиша легко, будто скинула с плеч огромную тяжесть. Ноги сами несли ее. И знакомая тропинка, словно ковровая дорожка, расстелилась перед беглянкой. Вдали темнели увалы. В пожухлой, поблекшей траве весело шмыгали ящерицы, проплывали, точно во сне, пестрокрылые бабочки, стрекозы. И все радовало Хадишу. А рядом семенила тоже радостно возбужденная Асима.

Еще задолго до вечера добрались до родного аула.

Мазанка была заперта на замок, а дверь была еще подперта увесистым дрыном. Хадиша сбросила с плеч узел, села и только теперь почувствовала усталость.

— Ну, вот мы и дома. Дома! Наконец-то мы снова дома! — весело щебетала Асима.

— Сбегай к Полине-апа. Возьми ключ, — попросила Хадиша.

Асима мигом понеслась вприпрыжку к знакомой хибаре.

Мазанка осела и после хором Кайроллы показалась совсем невзрачной. Вокруг буйно разрослись лопухи, чернобыльник. Крыша неровно заросла полынком и чахлыми кустиками ковыля. Пустырь перед мазанкой был истоптан в пыль. Видно, здесь резвились детвора и козы.

Хадиша притулилась спиной к скособоченной, деревянной двери и понуро соображала, с чего начинать новую жизнь.

— Апа! Апа-а! — услышала она знакомый голос. По пустырю, вздымая пыль-пухляк, бежали к ней, держась за руки, Эдмунд и Асима.

— Ой, айналаиндар-ай! — умилилась Хадиша. За ними семенила с холщовой сумкой и помятым, побитым бидончиком в руках Полина.

Жизнь вернулась в убогую хибару.

Хадиша вновь запряглась в нескончаемую колхозную работу. И о том, что ушла от старшего деверя Кайроллы, никогда не жалела.

Мелькали дни, недели. Тянулись годы.

От Жуматая не было ни слуха, ни духа.

Одни говорили:

— Бедный, бедный... видно, угас на чужбине, в краю, где ездят на собаках...

Другие предполагали:

— Нашел, небось, себе какую-нибудь вдову-марджу в далекой Сибири. Что еще ему, бедолаге, оставалось?

Кто знает...

XVII

Автобус остановился на краю села.

— Приехали! Туюк су! — объявил водитель.

Туюк су! Туюк су! — радостно ворохнулось сердце.

Эдмунд вышел, оглянулся. Все казалось незнакомым. И люди, и очертания домов, и земля, и даже запахи. Он почувствовал, как жарко стало ему в груди, как участилось дыхание и увлажнились глаза, но никто не обращал внимания, никому не было до него дела. Мимо сновали мальчишки на велосипедах. Старуха в длинном камзоле пасла облезлую, тощую корову на чахлом пустыре. Ветер вскручивал клубы пыли, гонял, забавляясь, кусты перекати-поля, трепал обрывки бумаг.

Пассажиры-путники с сумками и баулами мгновенно разбрелись по петлистым тропинкам.

Эдмунд шагисто направлялся в ту часть аула, где стоял его двухэтажный особняк, построенный когда-то собственными руками.

Он шел, сопровождаемый любопытными бездомными собаками, обрадовавшимися пришельцу, и пристально оглядывался вокруг.

Как же все изменилось за десять лет! Арыки вдоль дороги пересохли, забились хламом. Кучи мусора встречались на каждом шагу. Тополя во многих местах оказались срубленными. Там-сям торчали обезображенные, трухлявые пни. Сплошь и рядом встречались заброшенные старые дома с выбитыми стеклами, вырванными рамами и косяками, сорванными крышами. Глиняные дувалы обвалились, громоздились грудами. Огороды опустели. Улочки обезлюдели.

Тотальное запустение ощущалось во всем.

«Или, может, — подумалось Эдмунду, — ему так кажется после ухоженной, опрятной, помешанной на «ордунге» Германии? Может, глаз его привык уже к другим видам, иным краскам? Или, может, это совсем не тот аул, который ему так часто снился и грезился в воспоминаниях?»

Конечно, это не аул. Давно уже не аул. Его только по стародавней привычке именуют аулом. Он превратился в большое село уже в начале шестидесятых. А когда село стало центральной усадьбой укрупненного совхоза, оно так быстро начало расстраиваться и облагораживаться, что поговаривали, будто его скоро переименуют поселком городского типа. Но в сознании жителей село так и осталось аулом.

Аул круто изменил свое обличье в начале шестидесятых, когда вдруг местные немцы принялись, точно соревнуясь между собой, строить новые, просторные дома на двух уровнях. Это был строительный бум. Начал, помнится, бригадир Шнайдер. Отгрохал за два-три года домину из восьми комнат с подземным гаражом, с баней, сауной, многочисленными кладовками и подсобками. Потом всех удивил зоотехник Франк. Тот сначала разбил фруктовый сад, потом завел огород на полгектара с автоматическим поливом, собственной скважиной, из которой качал воду, нажимая рычажок в летней кухне. Двухэтажный дом с колоннами и парадной лестницей вообще свел всех с ума. А на оранжерею и крытые парники аулчане ходили глазеть, как в музей. И пошло-поехало. Немцев охватил зуд созидания. Дома один другого краше, вычурнее и богаче

вырастали в южной части аула, у подножья холмов, как грибы после дождя. Дом с мезонином, дом с мансардой, дом с железными воротами, дом за каменной оградой, дом за пирамидальными тополями, дом с бассейном, дом с сыроварней, ветряной мельницей, дом с беседками, дом с чайханой... Боже, каких только строений не появлялось в некогда тихом, убогом, сплошь из плоскокрыших мазанок казахском ауле за короткий срок! Это часть аула превратилась в райский уголок, утопающий в зелени, с клумбами, виноградниками, диковинными пристройками.

Немцы, от старцев до малых детей, копошились от зари до зари. Все держали скот, птицу, обзавелись мотоциклами, машинами, на базар вывозили домашнюю колбасу, сыр, яйца, овощи, фрукты, из всего делали деньги, и все средства бросали на строительство. Образцы построек находили в цветных германских журналах, которые передавали из рук в руки. И строили всем миром, приглашая на «хашар», на сабантуй, на субботники и воскресники не только единокровных сородичей, но и аулчан иной веры и иного языка. Строили дружно, весело, с азартом. И этот уголок аула называли по-разному: «немецкая слобода», «Берлин», «Бонн».

Именно тогда, вернувшись из армии и устроившись шофером-дальнобойщиком (чтобы больше заработать и иметь возможность подвозить необходимый стройматериал), обзаведшись семьей, накопив кое-какие деньги, принялся за стройку и Эдмунд Ворм. В какой-то книге ему приглянулся импозантный особняк, построенный немецким архитектором восемнадцатого века. Особенно его поразила высокая покатая черепичная крыша с флюгером-петушком. Этот старинный особняк на картинке свел Эдмунда с ума. Он только и грезил им. Он снился ему. В этом особняке все будет необыкновенно. И овальные окна, и дубовые двери с медными ручками, и паркетный пол, и парадные лестницы, и витые перила, и железные ворота с фонарями, с плафонами, а за чугунной оградой — цветник, клумбы, дорожки, выложенные плитками, беседки, сад, виноградник... Боже, все это будет нечто небывалое в этом краю. О да, денег уйдет на это прорва... и материалы достать будет непросто... и строительство протянется на добрый десяток лет, а то и больше, но он, Эдмунд Ворм, расшибется в лепешку, а цели своей достигнет, непре-

мечно достигнет, чтобы доставить удовольствие жене и себе, бедной матери, прожившей в нужде и нехватках во имя единственного сына, назло своей нескладной судьбе, всем унижениям и лишениям, он докажет, докажет, на что способен сам, на что способен его поруганный, посрамленный, распыленный, разбросанный злой державной волей народ.

Ни о чем другом отныне Эдмунд Ворм думать не мог.

Он съездил в Кумкент к архитектору-соплеменнику, привез ему в дар пару индюков, поросенка и бочонок домашнего вина, поделился своей мечтой, уговорил начертить на бумаге проект-план вожделенной усадьбы, все рассчитать и распланировать по-научному, как положено.

— Меншь, меншь... мил-человек, ты хоть представляешь, во что тебе это обойдется?

Архитектор посмотрел на него длинно поверх очков, потеребил рыжую бородку.

— Представляю, — ответил Эдмунд. — Но сдюжу. Может, это главный смысл моей жизни? Мое предназначение... Мы с женой Валентиной договорились: ни перед чем не остановимся. Будем ежегодно выкармливать на продажу пять-шесть кабанов, сдавать по тонне винограду, заведем уток, гусей, индюков, курей, сколько только возможно, работать станем, как черти... не год, не два, если понадобится — всю жизнь. Но сделаем, сотворим чудо-терем на радость себе, детям и всем аулчанам. Пусть все видят, как может и должен жить человек!

И, боясь, что не убедил архитектора, поспешно добавил:

— Можно, в конце концов, взять ссуду. Дадут! Да и совхоз чем-то поможет.

— Хорошо, — согласился архитектор. — Гут. Абгемахт! Прикинем, спроектируем. Но если бросишь на полпути — будет обидно.

— Не брошу! — горячо заверил Эдмунд.

Не десять — тринадцать лет жизни угробил Эдмунд на осуществление давней мечты. Тринадцать лет повседневного каторжного труда. Дом и усадьба превзошли все ожидания. Двухэтажный особняк с мансардой, с подвальными помещениями, с веселой летней кухней-пристройкой, с огромным цементированным погребом, с коровником, свинарником, курятником, со скважиной, с виноградни-

ком и Бог знает с какими только причиндалами был предметом охания и ахания во всех окрестных аулах. Дом выделялся даже в немецкой слободе. И таких, кто завидовал Эдмунду и его жене и белой, и черной завистью, было немало. А когда первым в этом краю Эдмунд водрузил на крыше огромную спутниковую антенну и поставил в дом аж три телевизора и кроме мотоцикла с коляской завел еще «Волгу» с прицепом, в ауле стали поговаривать:

— Это уже чересчур! Совсем ошалел Ворм!

Он и сам замечал: пожалуй, перестарался. Пожалуй, пора остановиться. Ну, доказал, всем доказал, что не лыком шит, что смог вырваться из тусклой, убогой жизни, из нищеты, крепко встал на ноги, но а дальше что... что же дальше-то...

Он дошел до середины пятого десятка. Детки подросли. Старший сын уже и армию отслужил, о женитьбе подумывал, все чаще приводил в свою комнату на втором этаже отчего дома одну смазливую татарочку. И самая младшая дочка, школьница, уже невестилась, на парней заглядывалась, часами прихорашивалась у зеркала. Поблекла Валентина, но по-прежнему покоя не знала, от зари до зари возилась по огромному хозяйству, выезжала часто на базар, набивая комоды и шкафы ворохами шмоток: «сыновьям на свадьбу», «дочкам на приданное». И теперь Валентина все чаще задумывалась о том счастливом времени, когда сыновья приведут снох, когда заведутся внуки, и они, Вормы, заживут большой семьей на огромной усадьбе, как они потом развернутся, как заживут без хлопот и забот невиданной, райской жизнью.

— Брось, мама! — басил старший сын. — Угомонись! Сколько можно ишачить? Сами себя закабалили батраками.

И дочка-кокетка, младшая, любимица, носик сморщила:

— Папа и мама — батраки. А мы все — батраки при батраках.

— Как это?! — изумилась, оскорбилась Валентина. — Для вас же стараемся.

— Ну и зря! Человек должен жить, а не ишачить в погоне за... за дерьмом.

— Вот-те раз! — развела руками Валентина. — Выходит, мы с отцом зря стараемся?! Выходит, все это — дерьмо?!

Эдмунд тоже вдруг почувствовал себя на распутье. То,

к чему он так яростно стремился долгие годы, ради чего извел лучшую часть своей жизни, что было единственной страстью и целью, потеряло вдруг смысл и значение. В середине восьмидесятых в нем проснулась столь долго дремавшая немецкая струна, чему способствовал всеобщий интерес к немецкому вопросу. Мать, изработавшаяся, хворая, выписывала «Нойес Лебен» и «Фройндшафт», по почте доставала все книжки российских немецких писателей, ловила немецкие передачи из-за бугра, одно время даже ходила в баптистский молельный дом, старалась внушать и внукам, что они немцы, и все чаще разговаривала с ними по-немецки, хотя внуки отвечали ей чаще и охотнее по-русски.

А где-то что-то происходило. Говорили о некоем национальном движении. Все чаще приходилось слышать, что тот или иной немец выбрался-таки на родину предков, все чаще по рукам ходили глянцевые цветные фотографии, запечатлевшие необыкновенно райскую и свободную жизнь соплеменников, сподобившихся как-то преодолеть все препятствия, все преграды, и вырваться в исторический «хайматланд». Доходили слухи об активистах, деятелях немецкого движения, собиравшихся в Москве, пробивавшихся в самые высокие инстанции, неистово ратовавших за восстановление автономии немцев на Волге, историческую справедливость, полную реабилитацию, отмену всех позорных сталинских указов, открытие немецких школ, возрождение культуры, обретение социального равенства и политической самостоятельности.

Отовсюду потоками шли тревожные слухи: кого-то арестовали, где-то провели обыск, кого-то приструнили, припугнули, что-то запретили, кому-то подставили ножку, справедливости нет нигде, по-прежнему не пущают, ущемляют, ограничивают, сдерживают, преследуют за язык, за веру, за национальную идентичность и самосознание.

Начался разброд во всех слоях немецкого населения.

Потом загремели, забушевали конференции, съезды на местах и в центрах, немцы все громче заявляли о себе, открыто заговаривали о своих былых обидах, унижениях и страданиях, постоянно тормошили власть, перестали быть тихими и покорными, излишне законопослушными и смиренными, заявляли о том, что хотят не только работать, но и жить по-человечески.

Жизнь советских немцев (потом стали говорить: российских) вышла за пределы своих домов, усадеб, огородов, подворий, колхозных ферм и совхозных мастерских, немцев стала интересовать не только работа и заработки, не только улаженный и ухоженный быт, но и то, о чем раньше не задумывались или, точнее, не позволяли задумываться. Всем вдруг стало очевидно, что жизнь не ограничивается одними импозантными домами, огородами, садами, хозяйством, бытом, сытостью и обеспеченностью, все это мишура, забава, обман, утешение, суррогат чего-то более важного, значительного, существенного, ради чего человек и живет на свете и что на самом деле и делает человека человеком. Не все четко и ясно понимали и сознавали, что это? И что выше житейских благ, к чему так рьяно стремились немцы, как называются эти ценности, к которым подспудно стремится каждый человек на земле, но чувствовали, ощущали, еще смутно, зыбко, что дальше так жить нельзя, что-то нужно менять, что они не просто рабочее быдло, но народ — раздробленный, разорванный, запрещенный, ни за что ни про что униженный, везде и всюду ограниченный, неспособный забыть все ограничения, оскорбления, глумления, надругательства, испытанные ими во время депортации, изгойства, ссылки, трудармии, комендантского режима, откровенного геноцида, продолжавшегося не одно десятилетие.

Вот эта волна тревоги и недовольства, этот ропот покорных и послушных, этот национальный порыв выживших и уцелевших после всех испытаний и мытарств захлестнули, властно охватили и Эдмунда Ворма.

Он побывал на разных немецких сборищах, ездил в Кумкент, Алма-Ату, Москву, встретился со многими соплеменниками у посольства ФРГ, заходил в редакции немецких газет, обзавелся новыми знакомыми, незаметно для самого себя очутился в каких-то инициативных группах, комиссиях, оргкомитетах, дважды был делегатом Всесоюзного съезда российских немцев, на многое у него впервые открылись глаза, и он даже удивился, как он мог всю жизнь оставаться в стороне от всего, что подспудно зрело в нем, всегда было с ним, накапливалось годами, как он, столько лет живя в ауле, не задумывался о том, что творилось с его народом.

Новые заботы и тревоги захлестнули его. И то, чем он занимался до сих пор, показалось ему мелким и ничтож-

ным, второстепенным. Глупец, поддался каким-то мира-жам, ублажал свое тщеславие, захотел кому-то доказать, что он способен, строил крохотный островок благополучия, оазис сытости в океане хаоса и бестолковости. Извел столько силы, времени, старания и средств на мишуру, на самообман. Сам себя загнал в золотую клетку неволи.

— Что-то, Эдик, проснулся в тебе немец? — укоризненно заметила как-то Валентина. — Уж больно активно взялся за решение немецкого вопроса. Все хозяйство забросил.

— А что хозяйство? Радость от него не больно велика.

— Так, может, надумал в Германию переехать?

Вопрос был так неожидан, что он затаил дыхание.

Об отъезде в Германию он иногда вскользь про себя подумывал. На съездах российских немцев, нередко шумных, скандальных, крикливых, он заметил, что половина делегатов не столько в зале сидит, не столько о восстановлении автономии на Волге печется, не столько о будущем в России заботится, сколько околачивается у германского посольства, заполняя «Антраги» и хлопоча о выезде на «Фатерланд». Эдмунд убедился, что доморощенные «фюреры» просто искусно булгачат наивных и доверчивых соплеменников, сбивают их с толку, бросая с трибуны патриотические лозунги, а сами под шумок, втихаря навостряют лыжи, чтобы при первой же возможности благополучно сигануть за кордон. Выходит, они говорили одно, а делали совсем другое.

И еще понял тогда Эдмунд Ворм, что российские немцы – не единый этнос, они все разные — швабы, гессенцы, меннониты, немцы поволжские, украинские, крымские, кавказские, Боже, какие только их разновидности не заселили бескрайние пределы России, и объединить этот разношерстный люд немыслимо, невозможно. Ну, хорошо, восстановят автономию на Волге, в прежних границах или в ужатом виде... допустим, но кто туда переселится, кто рискнет начать с нуля на запущенной, ставшей чужой земле? Одни волжане, одни старики, у которых сохранилась память о том крае и которых не покидает ностальгия. Других это просто не греет. Некоторые прямо говорят: чем обихаживать изрядно загаженный край на Волге, не лучше ли сразу податься в Германию и там, в благополучной чудо-стране, основательно обустроиться, влиться в немецкие ментальность, язык, культуру и быт и тем самым раз

и навсегда решить «немецкий» вопрос. Другое дело, если въезд в Германию невозможен, если сама Германия откажется от своих заблудившихся потомков и если Россия заартачится, не выпустит из страны многомиллионных прилежных рабочих рук и законопослушных граждан. Тогда... тогда... другое дело... сгодится, пожалуй, и Волга как возрожденная справедливость и центр национального, культурного опыта.

К этой идее склонялись многие. Так склонен был рассуждать и Эдмунд Ворм, лишенный своей малой родины еще полвека назад и имевший о ней лишь смутное представление, и то, главным образом, по рассказам матери и пожилых земляков-соплеменников.

— А ты бы переехала в Германию? — осторожно спросил Эдмунд. — Я-то хоть немцем числюсь, а ты-то русская.

— Еще как! Хоть завтра! — ответила Валентина.

— Вон как? — удивился Эдмунд. — А дети?

— Они тем более. Не пропадать же в этой дыре!

— Это разве дыра?! — повел вокруг руками Эдмунд, показывая на огромное подворье.

— Конечно, дыра! Глушь! — резко сказала Валентина. — Надо о будущем детей подумать. А здесь какое у них будущее? Сам видишь, что творится. И с каждым годом все хуже.

Но Эдмунд не спешил с окончательным решением.

А вокруг уезжали все больше и больше. Еще раньше укатили дружно чечены и ингуши. Позже сорвались с насиженных мест греки, крымские татары. Заметно поблекла и «немецкая слобода». Немцы уезжали, за бесценок продавая добротные дома, ухоженное хозяйство, все нажитое каторжным трудом за многие десятилетия. «Берлин», «Бонн» все больше смахивал на разбомбленный Грозный. В некоторые немецкие коттеджи заселились монгольские оралманы. Некоторые усадьбы растащили, раскурочили кому не лень. Огороды заросли бурьяном. Сады захирели. Все труднее стало доставать солярку для отопления, все чаще отключали газ, свет. Негде стало разжиться кормами для скота, птиц. Пошли нелады с поливом. Началась неразбериха на каждом шагу. Потом уплотнили школы, русскую слили с казахской, сократили детсады, медпункт оставался только в райцентре, многие учреждения и вовсе закрылись, другие пришли в запустение.

Немцы заспешили сесть в последний состав. Поговаривали, что Германия вот-вот закроет границу, усложнит переезд далеким этническим собратьям, которых таковыми и не считали.

Тут рухнул Советский Союз. Российские немцы, лишенные малой родины, уповали на Родину большую, охотно пели: «Мой адрес — Советский Союз». Теперь и этого Союза не стало.

В это же время, посетив Саратовскую область, явно разгоряченный и возбужденный русский новоявленный царь Борис, делая страшную рожу, искривив рот и многозначительно сузив рысьи глаза, объявил, что немецкой автономии «не бу-у-у-дет!», а Россия-де может предоставить им полигон «Капустин Яр», в устройстве которого пусть, мол, им поможет Германия, и вот когда «эти немцы» соберутся здесь в подавляющем большинстве, вот тогда, «в далеком будущем», «когда-нибудь» можно будет подумать об автономии...

Немцы поняли: все, конец. Конец их более двухвековой истории в России. Страна, которая стала их родиной и которую они в течение столетий обихаживали, обустраивали, облагораживали, которой служили преданно и верно, в них больше не нуждается.

Тогда-то российские немцы и прозрели.

Получалось: здесь не нужны, там невозможны.

Выбора не оставалось.

Надежда иссякла.

Терпение кончилось.

Начался исход. Массовый отток.

В семье Вормов против отъезда оказалась одна Полина.

Она хворала долгие годы и медленно утасала. Все чаще задумчиво говорила: «Na, ja... die Zeit ist da». Она усердно посещала в последнее время молельный дом местных баптистов, благодарила Всевышнего: и прожила немало, и тягот изведала сполна, сына, единственную память Карлуша, сберегла, вырастила, снохой и внуками обзавелась, на старости лет пожила в уюте и достатке. Пора и честь знать. О переезде в Германию она и слушать ничего не хотела. «Что я там потеряла? Не понимаю, что за историческая родина, еще неизвестно, откуда приехали предки в Россию. Ней, ней... Вот на Волгу я бы поехала. Но, говорят, и там ничего от прошлых немецких сел не осталось. Все разрушено, все

пришло в запустение, а от некоторых деревень и следа не осталось. За полвека не только люди, но и земля изменилась...»

Да, это было так.

Эдмунд в конце восьмидесятых совершил путешествие от Энгельса до Камышина на «Волге», прихватил двух сыновей. И не увидели они ничего из того, о чем так восторженно вспоминала, бывало, Mutti u Oma Pauline. Не было в том краю ничего привлекательного, все былое, немецкое, оказалось вытравленным, ни один поселок не уцелел, а уцелевшие обрели новое русское название и чужое обличье. Новые поселенцы понятия не имели ни о российских немцах, ни об автономии и — главное — не хотели о том ничего знать. А некоторых раздражал сам разговор на эту тему: «Какие еще немцы? Оставьте, пожалуйста! Может, и были, да сплыли! А земля эта исконно русская».

«Какая автономия?! Это Ленин придумал для каких-то тактических целей. А Сталин разогнал. И правильно сделал. Значит, было за что!»

«Какая еще автономия?! Лучше СПИД, чем немецкая автономия! А объявят автономию, здесь будет второй Карабах. Пойдем все в партизаны».

Такие приходилось слышать разговоры от местного населения, и эта-то нетерпимость, неприкрытая враждебность, боязнь, страх перед возвращением изгнанных когда-то отсюда людей больше всего удручали Эдмунда.

«И зачем нашим горе-фюрерам так неймется возвращаться в эти запущенные, гиблые места? Разве ради принципа? Ради восстановления исторической справедливости? Ради идеи? Ведь и немцы Сибири, Казахстана, да и везде сейчас живут материально намного лучше, чем жили когда-то их отцы и деды. Чтобы, вернувшись на малую родину, привести ее в мало-мальский порядок, нужны десятки лет. Так стоит ли огород городить? Можно ли восстановить то, что разрушено сознательно до основания? Где гарантия, что немцы, восстановив свою автономию на Волге, возродятся, заимеют свою национальную самостоятельность, школы, институты и все остальное? Это еще как сказать! Ведь кавказского шваба, крымского меннонита, белорусского «белемезера», сибирского гессенца такая перспектива совсем не прельщает. Да и местное население куда девать? Разве можно что-нибудь путное построить при недоброжелательном отношении к тебе?

Так думалось тогда Эдмунду. И он склонялся к этой мысли все более и более: если уж надо непременно куда-то уехать, то не на Волгу и не в бывший Кенигсберг, куда нацелились иные, неволжане, а сразу в Германию, ради будущего детей, ради внедрения в германскую почву внуков.

А внуки Омы Паулины, полукровки, и вовсе открыто возмущались: что хорошего находит их бабушка на Волге, в этом загаженном, отравленном краю. Да в любом казахском ауле сейчас люди лучше живут. Нет, нет, папа, о переезде на Волгу и разговора нет. Это не наша родина. Если уж на то пошло, то наша родина — Казахстан. Мы здесь родились.

Старой Паулине было досадно и горько это слышать от своих своенравных внуков, но она не спорила. Она их понимала.

«Как хотите, — говорила она устало. — Моя песенка спета. Чую. Похороните меня рядом с могилой Карлуша и делайте, как и что хотите».

Без матери уезжать Эдмунд не мог.

Лишь похоронив Паулину Ворм и помянув годовщину, на которой побыла половина аула, поручив на попечение Асимы могилу, Вормы в начале 91 года тронулись в неведомую Германию. К этому времени из немцев-старожилов мало кто остался в бывшем совхозе имени Кирова, накануне переименованном в Туюк су. Вормы продали немногое из того, что нажили терпеливым праведным трудом: машину, мотоцикл, часть скота, кое-какое оборудование.

С продажей дома Эдмунд все оттягивал, говорил, что достойного покупателя он не найдет, а городскому дачнику продать не желает, за бесценок отдавать жалко. А за несколько дней до отъезда в Германию, пригласив на прощальный той Асиму с ее мужем, учителем Рахметбаем, соседей, бывшего бригадира Жаймурзу, Кумис, Зайду, кое-кого из нового аульного начальства, торжественно объявил во время застолья:

— А дом свой, самое ценное, что у меня есть, на что я положил лучшие годы своей жизни, я с собой не заберу, а оставлю... оставлю... — тут он сделал паузу, чувствуя, как все за обильным дастарханом насторожились, затихли, — моей дорогой, единственной сестренке... в память о наших матерях Полине и Хадише... в память обо мне, о нашем детстве... Асиме Жуматаевне.

На минуту гости как бы опешили. Потом, очнувшись, одобрительно поддержали со всех сторон.

— Вот это сюрприз!

— Жаса, азамат!

— Это, я понимаю, подарок!

Асима не поверила своим ушам. Слезы навернулись на ее глаза. Замигал-заморгал растроганно и ее муж Рахметбай.

— Ты что, Эдя?! — послышался в обвальной тишине голос Асимы. — Как можно? Что твоя жена и дети скажут?!

— Все обдуманно и решено, — твердо заявил Эдмунд. — И жена, и дети возражать не будут. Должен же я своей сестренке что-то оставить на память? А в Германии, Бог даст, построим новый дом.

И опять загудели за дастарханом.

— Здраво, умно рассудил!

— Маладес!

— Так поступает истинный джигит! Азамат!

— У Асимы с Рахметбаем детей и внуков целый косяк. Вот поживут вольготно.

— Как же так? Как же так? — бормотал растерянный Рахметбай.

— Нешауа! — веско сказал дородный аким района. — Если Ворм надумает вернуться, дом будет в его распоряжение.

— Конечно, какой разговор?! — закивал головой Рахметбай.

Многодетная семья Рахметбая и Асимы вскорости поселилась в просторный двухэтажный особняк уехавших в Германию Вормов.

Об этом событии долго говорили в Туюк су и окрестных аулах.

А семья Вормов из Германии так и не вернулась. Нежданно-негаданно наведался в аул десять лет спустя один Эдмунд Ворм.

XVIII

Дом свой Эдмунд не узнал. Он застыл у приоткрытой калитки и потрясенно оглядывался вокруг.

«Либер Готт!» — подумалось невольно...

XIX

После полудня Рахметбай приволок прямо к порогу дома беленькую ярочку.

— Оу, қайын аға... давай бату-благословение, — объявил торжественно. — Окровавлю нож в твою честь.

— Ты что, ты что? — всполошился гость. — С ума сошел?! Оставь эти штучки! Как можно?

— Нет уж, изволь! Гость командует над плохим хозяином. Я хоть и плохой хозяин, но не в такой степени.

Эдмунд смутился. Он помнил про этот обычай: гостю положено помалкивать, а не лезть, куда не надо, со своими советами-назиданиями. Хозяин — барин, ему все и решать.

— Да я съем-то всего кусочек, — пробормотал гость.

— Это твое дело, — заметил строго Рахметбай. — Ты не съешь, мы слопаем. Слава Аллаху, нас много!

— Серьезно... прошу тебя. Ну, зарежь петуха. Или гуся. Если уж так надо.

Рахметбай насупился, придавил коленом смирную ярку.

— Хочешь, чтобы надо мной весь аул потешался?! И так авторитет убывает с каждым днем. Завтра же пустоболты разнесут по всей окрестности: приехал, дескать, к учителю Рахметбаю гость из Германии, а он, скупердяй, зарезал в его честь петуха! Миленькое дело!

— Апырай... не знаю как и быть... — вконец смутился гость. — Жалко... Такой барашек миленький.

— Давай, благослови. Сөзді қой.

— Да я не помню, как это делается.

— Вспомнишь... Какие слова подскажет сердце, то и говори.

— Э... Во имя счастья-благоденствия этого дома, во имя его обитателей, во благо хозяев, их детей и потомков, для успокоения духов предков... — серьезно перечислял Эдмунд, — благословляю порешить честную животинку. Прими, Создатель, жертву.

— Аминь! — заключил Рахметбай и ловко полоснул ярочку по горлу. — Бисмилля!

Эдмунд зажмурился, отвернулся.

Вечером во дворе учителя Рахметбая стало шумно и колготно. Под виноградником расстелили кошму, раскинули дастархан, вокруг для гостей покидали подушки.

Дразнящий запах молодой баранины вился над черным казаном поодаль от суфы-лежанки. В огромной деревянной чаше румянисто поблескивали пышные баурсаки. По всей скатерке были искусно рассыпаны рафинад, конфеты, серые комочки курта, в двух-трех глубоких тарелках золотилось топленое масло.

— Чего-то не хватает, — заметил Рахметбай, оглядев дастархан — моя благоверная всегда что-то забывает.

Эдмунд понял, улыбнулся.

— Не надо.

— Опять распоряжаешься?! — вскинулся шутливо Рахметбай. — Ты со своим германским уставом в наш казахский монастырь не лезь.

— Сейчас, сейчас, — засуетилась Асима и через минуту вернулась с бутылью водки.

Гостей собралось немного. Хозяева решили пригласить лишь тех, кто помнил Эдмунда с детства, кто знавал и Хадишу, и Жуматая, и Полину и сохранил в душе-памяти отблеск далеких отпылавших военных лет. Таких осталось в ауле совсем мало.

— Ой, Алла-ай, и наш Эда стариком уж стал, — заметила хромоножка Зайда, щуплая, как ребенок.

— Ну как же... годы идут, — поддержал Жаймурза. — Небось, Эда уже ата стал?

— Ну, конечно, — откликнулся Эдмунд. — Трое внуков.

— Э, барекельды!.. Ай, заман-ай...

— А я помню, как наш Эдажан кудрявеньким, точно сытый барашек, был.

— Все бегал за Полиной и Хадишой.

— Да-а... сосунком двух матерей рос. Хадиша любила его, как родного сына.

— А как Жуматай к нему привязался! Ойпырмай, неразлучными были.

— Бедный Жуматай! Как забрали, так и с концом.

Помолчали, повздыхали.

— Ал, халайык, может, разок тяпнем, как говорится, за встречу, — предложил Рахметбай.

Но желающих пригубить огненной водицы не оказалось, кроме сына хозяев, который, видно, давно дожидался этого момента.

— Оу, неладно получается, — посетовал гостеприимный хозяин. — Хотя бы пригубить за гостя бы надо.

Но выпили лишь Рахметбай, Эдмунд и хозяйский сынок, который для вида чуть поломавшись, разом опрокинул в себя содержимое рюмки, после чего лишь малость успокоился.

— Эда, ты бы порассказал нам, как тебе там, в Германии, живется? Как Балентина, как дети, как сам.

— Да, слава Создателю, неплохо. Обустроились. Пообвыкли. Дети подросли. Двое живут отдельно. Валентина успешно стареет.

— Жақсы, жақсы... Дома на каком языке разговариваете?

— Кому как удобно. Мы с Валентиной — по-русски. Я с детьми — по-русски и по-немецки. Ну, а внуки только по-немецки калякают.

— Значит, совсем немцами стали? Да и ты, Эдмунд, совсем другой стал. Когда-то больше на казаха смахивал, теперь изменился.

— Вы бы о себе лучше порассказали, — попросил Эдмунд — Как вам-то живется?

— Шукир, шукир. Здорова и ладно, — тотчас отозвалась Зайда. — Как говорится, одной ногой еще здесь, другой уже там.

— Живем, как все. Сам знаешь, казах на жизнь никогда не жалуется. Привыкли. Солнце светит, земля на месте, душа еще при теле, ну и ладно.

— Да, казах такой, — усмехнулся Рахметбай. — Казах и в аду на третий день скажет: «Спасибо Создателю, живем неплохо».

— Хреновато живем, — пробубнил хозяйский сын, мотнув кудлатой головой.

— Э, не болып қалды? — урезонила сына Асима.

— Ну, как же?! Жұмыс жоқ. Сандалбай сплошной. Все разъехались.

— Почему нет работы? Занялся бы подворьем. Видишь, как все разваливается. Перед Эдмундом стыдно.

— Это не работа, — огрызнулся непутевый Накен, косясь на полную рюмку перед отцом. — Это ремонт. А зачем он мне? Все равно уеду!

И отец, и мать строго посмотрели на сына. Видно разговор этот был семейный и затяжной, о чем особенно распространяться не полагалось.

— На могилы матерей своих сходил? — спросил Жаймурза.

— Как же! Вместе с Асимой вчера еще. Все ухожено, прибрано. Спасибо!

— Ия, как родные сестры были.

— Коран читал?

— Коран... коран не читал, — замялся Эдмунд. — Но, как мог, помолился.

— Э, барекельде! Жөн, жөн!..

Бесбармак получился на славу. Сочни таяли во рту. Вокруг роились осы. Пел самовар. За дастарханом ладно струилась добрая беседа.

— Ай, хорошо, Эдажан, что нас наведал. Порадовал!

— Ой, почтенные, и я рад. Как к родным попал.

— Айналайын, — прослезилась старая Кумис. — Обойди, аул. Погости месяц-другой. Германия твоя никуда не денется.

Эдмунд улыбнулся.

— Какой месяц?! У меня и виза-то всего на три дня.

— Не дейді? За три дня ты ничего и не увидишь.

— Нельзя, апа. Я ведь — иностранец. И вы — независимое государство. Строго!

— Завтра мы с Эдмундом Карловичем съездим к моему брату. Пусть посмотрит, как современные казахи живут. А то он, глядя на мой запущенный дом, на неприглядное подворье, на сына-шалопая, может черт знает что о нас подумать. Моя забота, сами знаете, — школа. Я там днюю и ночую. До собственного дома руки не доходят. Трудно все стало. Государство наше все больше спихивает все заботы на нас. Понятно, конечно. — Рахметбай загрустил, запечалился. — Ты, Эдик, уже заметил, небось: прежней жизни нет. Все по-другому стало. Жизнь быстро меняется. А люди не успевают приспосабливаться. Отсюда все нелады. Это и называется у нас переходным периодом. И не все знают, что это такое и сколько оно продлится.

— Все еще уладится, — задумчиво произнес Жаймурза.

— Да-а... Беда в том, что казаху сразу все подавай, — заметил Рахметбай. — Вот съездим к Ахану, пусть Эдмунд сам посмотрит.

— Еще я собираюсь проведать старого Фризена.

— Обязательно! Франц Оттович прихворнул. Ноги не слушаются. Я его приглашал, да не могу, говорит.

— Загляну к почтенному аксакалу, — твердо сказал Эдмунд.

Чай пили не спеша, уже в сумерках. Гости расходиться не хотели. Говорили о том, о сем непринужденно. За холмами показалась луна. Неподалеку пробовал голос сверчок. В углу огорода налаживали свой хор лягушки. Веяло прохладой. На душе Эдмунда было хорошо, умиротворенно.

XX

— Ну, на чем поедем? — спросил наутро Рахметбай. — На драндулете-дарылдаке?

Эдмунд догадался: драндулетом-трещалкой хозяин называл старый мотоцикл с коляской.

Поездка на мотоцикле не прельщала. Бурой дорожной пыли-пухляка наглотаешься по уши. После этого не отмоешься, хоть три дня бултыхайся в канале или водохранилище.

— А другие варианты есть?

— Вариантов, как в сказке. Есть один путь: длинный, но короткий. Есть другой путь: короткий, да длинный.

— Хм-м... А конкретней.

— Конкретнее варианты такие. На своих двоих. Но тут я пас. Пеший казах — не казах. На попутной машине. Замечу: не очень надежно. Верхом на ишаках. Живописно, но внутренности отобьет. На лошади, запряженной в телегу.

— О! Это возможно?

— Возможно. Есть один чудак в ауле, у которого раздобудем гужевой транспорт.

— Сто лет не ездил на телеге, — загорелся Эдмунд. — Смотришь вокруг. Вспоминаешь. Думаешь. Хорошо!

— Ну, тогда решено!

Выехали сразу после завтрака.

Лохматый, старый мерин, пофыркивая, шел смиренной трусцой, лопатил копытами по пухляку, помахивал жидким хвостом в репьях. Старая, потемневшая от времени телега поскрипывала, вихляла иссохшими, давно не смазанными колесами. Вокруг простиралась бурая, едва прикрытая чахлыми травами степь. Вдали бугрились молчаливые холмы. Что только не видела эта степь за тьму-темь

веков! Какие только потрясения и людские судьбы не таят в себе эти холмы! Убогий вид окрестности настроил Эдмунда на грустный лад. Взгляд его за последние годы привык к другому ландшафту, к другим краскам. В Германии дождит по десять раз на дню, все утопает в зелени, тучная земля пахнет сытостью и плодородием, все ухожено, облагорожено неустанными заботами и трудом. А здесь древняя, истолченная в прах тысячами и тысячами поколений степь, изнуренная, усталая, заброшенная. И если бы в пожухлой чахлой траве, колючих редких кустарниках не сипели кузнечики, не тыркали сверчки, не шмыгали ящерицы, не пробегал изредка озабоченный тушканчик, не застывал у обочин троп любопытный суслик, можно подумать, что степь мертва, что вокруг, насколько хватает глаз, нет признаков жизни. Но — странное дело! — глаз отдыхал от созерцания этого пустынного, беспредельного пространства, горький запах полынка ширил грудь, и этот безобразный, унылый вид навевал легкие, печальные думы, будто ты прикасался к чему-то вечному, несуетному. В Германии Эдмунд таких ощущений не знал. Он особенно в первую пору с трудом привыкал к тому, что окружало его — к лесочкам, крохотным полям, виноградникам вдоль рек, скалистым берегам и древним мрачным крепостям и замкам — средоточию дивных сказок, легенд и преданий. Все это было прекрасно, великолепно, красиво. Но везде и всюду отвлекало. Назойливо напоминало о человеческих трагедиях, смутных страстях, усилиях, воле, труде, о рукотворности окружающего бытия. А тут пахло первозданностью, вольностью, умиротворенностью. Здесь человек ощущал, что он лишь песчинка, пылинка в огромном мироздании, нечто временное в смене эпох, веков и тысячелетий, что он изначально обречен, случайный гость на этой земле, поистине род приходит, род уходит, а земля остается вовек, солнце вечно светит, купол неба простирается, как и сотни тысяч лет назад, но сознание твоей обреченности и никчемности не угнетает, не подавляет, не страшит, не пугает, а, наоборот, навевает покорность, смирение и веру в бесконечность, беспредельность всего сущего.

Помимо воли он до рези в глазах всматривался в узкую, длинную лощину, начинавшуюся от старой дороги. Сердце вздрогнуло, сладко сжалось. Здесь, в далекой его юности, буйно рос боялыч — жесткий, малорослый, колючий ку-

старник. Его в аулах рубили на топку. «Ну, какой же ты неумеха... остолоп бесчувственный!» — донесся ему издалека памятный, с хриплой укоризной, голос Лейли. «Ну, что ты! Не так, не так... Не торопись!» — укорял и возбуждал откровенный горячий женский шепот. Здесь он впервые познал вожделенную и потаенную близость с женщиной, незабываемый трепет нетерпеливой юной страсти.

«Съездили бы за боялычем. Топить нечем, — ворчала старая Зухра. — Боялыч уже нарублен и сложен. Его только грузить и привезти». «Можно съездить, — равнодушно ответила Лейля. — Если... если Эдя мне поможет...»

Его обдало жаром. Даже уши вспыхнули.

Лейля давно притягивала его властно и неумолимо. Он знал ее давно, и была-то она старше его всего на три года, но вот увидел ее впервые однажды весенним дождливым вечером, когда она, отделив от отары пяток овец, погнала их домой. Босая, голоногая, в легком ситцевом платьице, мокро и плотно обтягивавшем ее молодое, тугое тело, с распущенными волосами, дразняще хохочущая, полная тайны и соблазна — такой она предстала перед его ошалевшим взором.

Лейля была дочкой одинокого крымского татарина, колхозного пастуха. Странным образом, всем на удивление, пошла эта светлолицая красотка за непутевого, шалопутного, буянистого сынка местной старухи-гадальщицы Зухры. А через полгода удальца-драчуна Сейфуллу отлучили от юной жены и забрали в солдаты. И никакими справками и ходатайствами отстоять его не удалось. Стала Лейла жалмеркой. Что только о ней не говорили в ауле! «Шайтаново отродье!» «Сейфулла так и не загасил ее греховный жар», «В ней поселился бес блуда», «Не одного джигита погубит» — подобное приходилось слышать и Эдмунду.

С того весеннего дождливого вечера он лишился покоя. Стоило ему закрыть глаза, как ему мерещилась она во всей притягательной красе — ладное, юное тело, обтянутое, как бы облепленное мокрым платьицем, которое не скрывало, а будто обнажало, подчеркивало все ее неотразимые, соблазнительные прелести: тугие, круглые груди, тонкую талию, гладкий, упругий живот, крутые бедра. В ушах звенел манящий смех, от которого слабая дрожь подкатывала к ногам и замирало сердце. Каштановые волосы развевались за плечами при беге.

Не было сил стряхнуть с себя это колдовское наваждение.

Ехали молча, сидя рядом на трясучей кокандской арбе, запряженной ишаком.

Вечерело. Струился душный, вязкий воздух. Ишачок перебирал копытцами — цок-цок, лоп-лоп. Огромные колеса монотонно поскрипывали. От близости Лейли, все теснее прижимавшейся к нему боком, Эдмунд и вовсе ошалел, онемел.

«Ну, расскажи что-нибудь, — тормошила его Лейля, постреливая на него бесовскими глазищами. — Или спой... Фу, какой ты истукан бесчувственный! Колода! Не джигит, что ли? Не отодвигайся — свалишься невзначай. Тоже мне помощник! Птенец желтоклювый!» Эдмунд еще больше смущался, улыбался блаженно, что-то бессвязно лепетал. Ему становилось то жарко, то холодно. В груди стало тесно, дыхание сбивалось, некуда было девать руки.

Немного отлегло, когда приехали в лощину. Начали грузить срубленный боялыч на арбу. Лейля снизу подавала колючие, разлапистые, пружинистые кусты боялыча, а он наверху укладывал их плотнее, утаптывал, стягивал волосяным арканом.

«Шевелись, шевелись, джигит! Смотри не уколись, не ушибись! — подбадривала, подразнивала его Лейля и некстати похихикивала.

Сумерки сгущались. Всплыла луна. С увалов потянуло прохладой. Ишак дремал.

«Отдохнем немного, — предложила Лейля. И легла на расстеленный брезентовый плащ, закинула за голову исцарапанные колючками руки, бугрясь грудями. — Сядь рядом. Отдышись»

Он послушно сел, борясь с истомой, с желанием прижаться к разгоряченной женщине, уткнуться, зарыться носом в ложбинку меж двух вздымавшихся бугров, вдыхать ее упоительный запах.

«Дай-ка руку... — прерывисто задышала она. — Положи сюда, сюда... Слышишь, как бьется сердце?.. Нет, ты чурбан, ты бесчувственный остолоп. Дурень! Ничего не понимаешь. Ни-че-го!»

И зажмурилась, затрепетала ноздрями, отвернула вбок голову.

Он ожил. Тоже зажмурился. Не в силах одолеть озноб, набросился, навалился на нее.

«Вот дурачок... нетерпеливый. Да не так! Подожди, я сама», — шептала она ему в ухо осипшим голосом.

Он ничего не соображал. Будто плюхнулся в омут.

Луна висела над увалом. Ишак вздыхал. Под брезентовым плащом трещал сухой боялыч...

— Что задумался? — спросил Рахметбай.

Он сидел на передке, свесив ноги, и время от времени поддергивал вожжи, не позволяя мерину уснуть.

— Изменился лик земли... Состарилась земля.

— Е-е... все старится, дряхлеет, ветшает. И человек, и природа, и земля. Вообще жизнь скуднеет.

— Жаль. И грустно. Почему-то мне степь запомнилась другой.

— Да она и была другой. Думаешь, я не помню?! Какая осока, какие камыши росли вдоль озер! Как многоводны были реки! Сколько было рыбы, птиц, зверя всякого. А скота! Ого!.. Там, у склона, паслись отары. Темнели чабанские стойбища. Еще выше, ближе к горам, резвились жеребята. Табунились кони. Лоснились бока кобылиц. Юрты стояли на каждом шагу. И люди другие были. Добрые, открытые, общительные. Е-е... что там говорить... все по-другому было.

— Помню, помню... Весной мы целыми днями пропадали в степи. Собирали дикий лук, щавель. Выкапывали сочную куту. Бегали из аула в аул. И добрые апайки угощали нас, сорванцов, кумысом, топленным маслом, баурсаками, айраном, шалапом, куртом. А ведь послевоенное время было. Куда все подевалось?!

— Ия, ия... верно говоришь. Оскудела жизнь. А знаешь, почему... Степь ведь как женщина. Ее нужно любить, лелеять, холить, обихаживать, ласкать. Да и поливать хоть изредка не грех. Верно? Ха-ха! Сам знаешь, если не поливать, то и женщина усохнет. Когда мужчина бросает женщину, что с ней происходит? Она становится раздражительной, злой, некрасивой, сварливой. Чахнет, хиреет. Так и степь. Покинули ее люди. Разъехались в поисках лучшей доли. Изменили ей. Вот и чахнет степь.

— Возможно...

Помолчали. Мерин шел все той же вялой, заученной трусцой. Колеса, вихляя, повизгивали. Степь, затаившись, молчала.

Эдмунд боковым зрением видел себя вихрастым, голоногим мальчишкой в стайке смуглых, темноволосых сверстников той, далекой, поры. И было странно: он жил одновременно как бы в двух измерениях. Получалось, будто он, нынешний зрелый мужчина, на исходе шестого десятка, седой, помятый жизнью, встретился невзначай с собой, когда он был совсем еще малец, мало что соображавший в жизни, но крохотным своим сердцем понимавший, чувствовавший, что в ней много горя и несуразицы.

— Что плохо, так это то, что аулы хиреют, — заговорил опять Рахметбай, как бы очнувшись. — Нет прежних аулов. О них только в песнях поют. Тоскуют об ауле наши акыны, пишут музыку композиторы. А сами в городе торчат, трактором оттуда не вывезешь. И аул мерещится им тот, которого давно в помине нет. А аул, как ни крути, — основа жизни казахов. Нет аула — и казах не казах. Аул погиб — город не спасет. В ауле люди — люди, в городе — обезличенная толпа, сброд. Мечутся, суетятся, толпятся, как бараны в отаре. В городе люди не живут, а разменивают жизнь на тенге.

— Или на доллары, — подсказал Эдмунд.

— Да, на доллары, которые я, учитель, впрочем до сих пор и в глаза не видел. А на доллары жизнь не разменивают, а губят, топят.

Ехали часа два. Вдруг дорожка свернула в сторону бурого жона, а когда взобрались на него, взору открылась дивная картина. Между двумя близнецами-увалами раскинулась ровная поляна, которую огибала горная речка. В середине поляны темнело несколько временных строений, зигзагами, овалами до самой речки тянулась изгородь. В сторонке притягивал глаз колодезный журавль. И посреди бурого пространства весело зеленел оазис.

— Ну, вот... приехали. Это и есть фазенда нашего фермера.

— Хорошо, видно, устроился Ахан! «Среди долины ровныя». Кто бы мог подумать! Незаметный, неприметный колхозный агроном, и на тебе — фермер!

— Я сам от него такой прыти не ожидал. Развернулся вдруг — всем на зависть.

— А мне он таким с малых лет и запомнился. Серьезный был, старательный, основательный, хоть и моложе меня намного.

— Да, Ахану вот-вот пятьдесят. Солидный глава семейства. Трое сыновей, три снохи, трое внуков. Только жена одна. Шутит: мне бы, дескать, и жен три. Вот тогда бы развернулся.

— Ой, вряд ли! — рассмеялся Эдмунд. — С тремя бабами он бы враз свихнулся. И забыл бы, что фермер. Только бы их и ублажал.

— С женой ему повезло. Фельдшерица-акушерка. И всеми домашними делами заправляет играючи. Все умеет! Не то, что твоя сестрица Асима, — поддел Рахметбай мимоходом свою жену. — А вот и сам наш фермер!

Ахан оказался рослым, крепко сколоченным мужчиной с черной окладистой бородой. Без натуги, ловко грузил тяжеленные фляги на приземистую, невесть каких времен полуторку. Он лишь покосился на непрошенных гостей и продолжал заниматься делом. Из-под войлочной киргизской шляпы — аир-калпак на плечи свисали угольные космы с легкой проседью. Выцветшая полосатая рубашка вылезла из брюк, была расстегнута, выказывая крутую, бугристую в густой шерсти потную грудь. В сапогах с короткими голенищами, мускулистый, ладный, он и в самом деле походил на удачливого фермера-техасца, как их показывают в заморских фильмах.

«Колоритный, однако, мужик!» — невольно восхитился Эдмунд.

Помнится, Ахан и в детстве был таким крепышом. Вечно участвовал в богатырских утехах «казахша курес» и еще мальцом прославился в ауле как «балуан-бала». Однако пути-дорожки его с Эдмундом не перекрещивались: сказывалась разница в возрасте. Но Эдмунд знал, что у учителя Рахметбая есть братишка, а у Асимы — младший деверек, которого она по казахскому обычаю называла не по имени, а по прозвищу Арыстан — Лев. Большой, сильный, с глубоким, утробным басом, вечно косматый, он и в самом деле смахивал на льва-арыстана. Был он молчун и добряк. Но в состязаниях менялся на глазах: играл желваками, скрежетал зубами, издавал низкий рык, пугая соперника и надвигаясь на него разгоряченным бурой-верблюдом. Видно, был самолюбив, не боролся — сражал-

ся, выкладываясь до предела. Выступал Ахан и в районных, и в областных соревнованиях, а учась в сельхозтехникуме в Джамбуле, стал кандидатом в мастера по вольной борьбе. А потом вернулся в аул, стал работать в совхозе агрономом, сходу заарканил молоденькую фельдшерицу и зажил обычной, незаметной жизнью. Несколько раз, помнится, он приходил к Эдмунду помогать строить дом, запрягался в самую тяжелую работу, но по привычке держался особняком. Ну, а потом Эдмунд и вовсе потерял его из виду.

И вот — встретились.

Когда гости, спрыгнув с телеги, направились к нему, Ахан забросил в кузов последнюю флягу и, обтирая руки ветошью, вразвалку пошел навстречу. Загудел, как из бочки.

— Ассалаумагалейку-у-ум, Эдеке... Эдя-ага! Рад вас видеть в здравии. Тронут вниманием.

Заграбастал в объятия, стиснул, ткнулся потным лицом в шею, прижался могучей грудью.

Тут же выскочил из коровника такой же, как отец, гривастый крепыш с вилами в руке и учтиво поздоровался с гостями.

— Мой младший... копей, можно сказать, — пробасил Ахан. — Вы, конечно, его не помните. Помощник!

Вслед появились две молодки в длинных узбекских платьях, в веселых платках, охвативших голову на особый кокетливый манер.

— А это мои снохи. Айналайындар покоя не знают.

Молодки зарделись, склонили головки, искоса стрельнули по-детски любопытным взглядом.

— Снохи твои прелесть! Тьфу-тьфу! — похвалил Эдмунд.

— Сыновья мои знают, кого брать в жены, — прогудел Ахан, польщенный.

Гривастый сын сел за руль, рядом с ним впорхнула в кабину одна из молодок. Другая с подойником отправилась к кобылицам, стоявшим на привязи в стороне.

— Давай, давай, не задерживайся, — обратился Ахан к сыну. — Сначала две фляги отвези в детсад, а остальные в магазин. Если останется — продайте на базаре.

— Хорошо, коке.

Полуторка, прогромыхав, проскорготав старыми желез-

ками, выстрелив сизым облачком дыма, тронулась с места.

— Ну, прошу в дом, — пророкотал Ахан. — Вон и байбише моя идет.

Байбише, гладкая, круглолицая баба с лучистыми глазами, приветливо улыбаясь издали, шла из огорода с большой чашей и ведерком, полными редиской, огурцами.

— Успеем, — сказал Эдмунд. — Ты сначала покажи свои владения. Любопытно.

— Что показывать-то? Пока только наметки. Начало. Взял кредит. Теперь раскручиваюсь. Пока больше планов, чем дела.

— Я бы не сказал, — развел вокруг руками Эдмунд.

Еще по дороге сюда, на фазенду, Рахметбай успел многое поведать о брате. Когда власти разрешили заняться собственным хозяйством (в газетах это называлось малым и средним бизнесом) и даже стали поощрять фермеров, Ахан первым в районе решился на риск. Взял из банка солидный кредит, зажегся сам и убедил заманчивыми перспективами сыновей, подключил к делу и снох и обрел четыре гектара земли на 99 лет. Место ему отвели лучше не надо. Равнина между двумя холмами, рядом речка и до аула недалеко. Сразу обзавелся трактором, сенокосилкой, веялкой, сеялкой. Списанную полуторку и мотоцикл с коляской он имел раньше. Была и кое-какая скотина. Прихватил и поголовье брата-учителя, дабы избавить его от лишних хлопот. Работа спорилась, как-то сразу все пошло на лад. Сыновья и снохи оказались расторопными. Через год-два у Ахана в хозяйстве оказалось десять коров, три десятка овец, три кобылицы с жеребятами-сосунками, гуси, куры. Почти гектар отвел под картошку, и этот расчет себя оправдал. Рядом с домом-времянкой (тесно, конечно, но фундамент будущего просторного двухэтажного особняка уже заложен) двадцать соток огорода. А в нем — все, что душе угодно. Вплоть до смородины, малины, крыжовника. Года через три яблоки пойдут.

Вся семья, включая внуков-малолеток, при деле.

Все копошатся по мере сил.

— Я только сейчас увидел смысл жизни, — гудел в бороду Ахан. — Приятно сознавать, на что способен. Вообще, человек — странное существо. Когда у него ничего нет — ему ничего и не надо. А когда что-то появляется, ему

хочется еще больше. Нам с байбише разве много надо? А стараемся ради детей и внуков. Пусть пожинают плоды собственного труда.

Рахметбай походил, поглазел и отправился в дом отдохнуть с дороги, а Эдмунд и Ахан часа три осматривали хозяйство. Эдмунду все было внове, о таких возможностях и размахе ему и не мечталось. Когда-то, пожалуй, и он отважился бы на такое, но в его молодости частная собственность не поощрялась, а осуждалась. Дом строить, если сумеешь раздобыть без большого шахера-махера стройматериал, еще позволялось, но на большее и не рассчитывай. Слова «фермер» и не знали. А кто-нибудь, бывало, заимел сверх положенного, все вокруг косились, говорили: «Да он куркуль! Кулак! Его пора раскулачивать!» Ну а в Германии о таком ему, позднему возвращенцу, русскому немцу, и мечтать не приходится. Слава Создателю, что хоть какую-никакую работенку исхлопотал, хоть и в другом городе, далеко от места жительства, да и дети имеют постоянный заработок, и жена получает социальное пособие. На что еще рассчитывать? Для позднего возвращенца, пожалуй, максимум. Ахану впору позавидовать белой завистью. С таким размахом лет эдак через пять всех сыновей на ноги поставит. И с долгами рассчитается, и сам кое-что на старость накопит.

— Ну а последователи у тебя есть? — поинтересовался Эдмунд.

— Ай, мало, мало, — сокрушался Ахан. — Дело-то рисковое, хлопотное. Да и вкалывать надо, как каторжнику. Кому охота? Вот и прозябают нищебродами, дармоедами, тунеядцами да попрошайками. Такие джигиты, а слоняются по аулам, пьют, травкой балуются. Тошно смотреть. Даже племянника, младшего сынка Рахметбая, хотел было пристегнуть к делу, какой там! — через неделю завопил: «Скучно! Я же не жук, чтобы в навозе копаться! Зачем мне такая независимость?» Ну, и удрапал! Так эти юнцы понимают независимость.

— Да-а... Труд не каждому по нутру. Если в труде не испытывать радости — пиши пропало.

— Конечно, для этого надо родиться немцем.

— Э, нет... И среди немцев ленивцев развелось о-го-го! Всю работу передоверили гастарбайтерам, а сами пиво дуют да жареными колбасками закусывают.

— Хм-м... Эти самие гастарбайтеры и у нас появились. Сами казахи нищими живут, а дома строить, хлопок убирать, канавы рыть, огороды поливать нанимают узбеков. Те бедняги задарма готовы пахать от зари до зари. Сто долларов заработают — целое состояние.

— Выходит, неважны у них дела?

— Не говори! Земли нет, работы нет, народу много. Что делать? Вот и нанимаются батраками к казахам.

— Да-а... дешевая рабочая сила. Мечта капиталистов.

— А вообще, Эдеке, посмотришь вокруг — грустно становится. Сколько возможностей, сколько божьей земли! Простор, благодать! — рокотал Ахан. — А люди все бросают и уезжают. Как это? Ну, немцы, татары, греки — понятно. Зов крови, так сказать. Но нашим-то русским что делать в России? Никто их не гонит. Разве им плохо? Так, нет, и казахи туда же. Всех вдруг в города потянуло. Дворником устроиться не может, взятки давать надо, а все равно город ему подавай. Нелепость! А пишут «атамекен», «атажұрт», «родной край», «земля отцов». Разве не обидно? Работать не хотят, а красиво жить хотят. Думают, раз есть государство, раз обрели независимость, то можно жить безбедно, процветающе продажей нефти, угля, металла. Но разве на этом все продержатся? Вечно этим сыт не будешь. И нефть когда-нибудь кончится. И уголь иссякнет. И залежи убудут. И тогда что? Есть-то надо каждый день. И землю, как говорит Абай, можно доить бесконечно. Только трудись, копошись. Вполне можно прожить и без уфит-суфит, без ахалай-махалай, без воровства. Не так разве?

— Так, так, Ахан, верно рассуждаешь. В корень глядишь.

— Знаю, что верно. А вот убедить никого не могу.

Довольные, Эдмунд и Ахан вернулись в дом. В затемненной прохладной комнате, развалившись на алаше, подоткнув под бок подушку, Рахметбай кейфовал, потягивал из небольшой кесушки кок-чай, время от времени подливая из заварника.

Из соседней кухни струился дразнящий аромат лагмана. Эдмунд потянул носом.

— Что, почуял? — усмехнулся Рахметбай. — Фирменное блюдо нашей Карлыгаш.

Жена Ахана услышала, вплыла в комнату с огромной деревянной миской. Крупные, отливающие нежным жиром, искусно слепленные, душистые манты дымились, исходили паром, невольно притягивали взор и возбуждали аппетит.

— Уах! — облизнулся Рахметбай. — Налетай, братва! Эдмунд деревянным половником положил себе в тарелку две штучки, полил сметаной.

— Вы что?! — гуднул Ахан. — Начать надо с пятишести. А там по потребности.

Нежные, сочные манты, казалось, сами просились в рот.

— Немцы манты делают? — поинтересовалась Карлыгаш, довольная аппетитом мужчин.

— Откуда?! За десять лет впервые ем.

— А что Валентина-дженге не делает?

— Пельмени лепит, а манты — нет.

— Е-е... — гудел Ахан. — Манты — это вещь!

Пока доедали манты, с краешка дастархана учтиво присела сноха, улыбаясь, начала протирать чашки, готовясь к торжественному чаепитию.

— А где сыновья? — поинтересовался Эдмунд.

— Один на сенокосе. Вдоль речки косит. Другой уехал за удобрениями. Ну, а третий со второй снохой вот-вот должен прикатить из райцентра.

— А внуки?

— Внуков привезут скоро из школы-интерната, и вечером нас будет целая футбольная команда.

— Хорошо! — заключил Эдмунд.

— Что хорошо? — уточнил Рахметбай.

— Устроились хорошо. Все разумно, толково. Со смыслом, значением. Нравится мне такая жизнь. Вместе — всегда радость.

— Ия-я... — подал голос Ахан. — На жизнь не жалуемся. А вот хлопот-забот многовато. С утра крутимся, как черти.

— Ну, работа — понятно. А где жмет ботинок? В чем загвоздка?

— Везде жмет ботинок. И загвоздка куда ни кинь. У нас же как? Всюду проблемы. То одного нет, то другого.

Попробуй, все достань. Опять же реализовать продукты сложно. Шерсть, например, куда и кому? Шкуры. Мясо. Молочные продукты в тот же день не продал — сплошной убыток. Хорошо, картошку продаем полностью. Кумыс берут. А остальное? Сам все не съешь. Опять-таки налоги. А там жулье всякое, воры, пакостники, которые так и норовят обобрать бедного фермера. Э, что там говорить! Кто работает, у того и проблема.

— Без забот живут одни тунеядцы и мошенники, — заметил Рахметбай.

— А у нас так и выходит: на одного работника два десятка пустоплясов.

— Новое дело всегда сложно. Потом образуется все. Но... — Эдмунд сделал длинную паузу, оглядел всех за дастарханом. — Но, извините, если некстати, давно крутится этот вопрос на языке.

— А что потом, да? — подсказал Ахан.

— Да, что дальше? Скажем, завертели все, как по маслу, все пойдет. И дом-махину построите. Внуки подрастут. У кого-то пропадет желание копошиться в земле изо дня в день. Что тогда?

По наступившей тишине за дастарханом Эдмунд смекнул, что вопрос этот возникал не впервые и волновал, пожалуй, всех домочадцев, за исключением, вероятно, мальцов-внуков. Ахан наморщил лоб, пятерней поскреб густую бороду.

— Вопрос этот для нас самый важный, — забасил Ахан. — Об этом мы начали думать еще до того, как связали себя кредитом. Жить в кабале, понятно, не сахар. Особенно вольному казаху. Мы с байбише, с сыновьями, снохами решили так: рискнем, попробуем, пока есть силы и здоровье. Понимаем: придет время, когда нескончаемые фермерские заботы надоедят. Захочется другой жизни. Не все ведь приспособлены работать на земле. Верно? Договорились: до тридцати лет каждый из сыновей будет безропотно вкалывать. Что-то на жизнь заимеет. Потом, при желании, отделю. Как хочет. Вольному воля. Станут дети самостоятельными — нам с байбише ничего не надо. Вот так.

— Разумно! Дельная программа! — одобрил Эдмунд.

— Пока тянем лямку дружно. И снохи не ропщут. Старшему сыну уже двадцать шесть. Младшему двадцать. Так что шансы, думаю, есть у всех.

— Теперь пошла такая жизнь, — подхватил брата Рахметбай. — Кто работает, у того и шансы. На государство, конечно, надейся, а сам не плошай. Не всем только это в башку втемяшишь. Многие предпочитают стоять с протянутой рукой. А если работаешь, на себя надеешься, то не надо тебе никакой партии, никакого движения, ни митингов, ни оппозиции. Не до этого будет. Так?

— Так, так. Партии и прочая мишура — забава для бездельников.

— Или для крикунов, интриганов, пустоболтов.

— Вот, вот! Им дай только народ мутить, булгачить.

Возвращались затемно. Раскалившееся докрасна солнце зависло над увалом. Мерин шел бодрой трусцой, потрескивал копытами. Колеса, выписывая в пухляке неровный темный след, взвизгивали. Холмы таинственно молчали. Позади, на равнине между бурыми жонами, темнела фазенда Ахана.

— Да-а-а... — думал про себя Эдмунд, свесив ноги с телеги, — прежнего аула нет. Может, отжил свое. Начинается новая жизнь. Едва ли не с чистого листа. А все новое рождается в муках.

— Иногда и я подумываю: а может, и мне присоединиться к брату? Ведь в школе отбарабанил тридцать пять лет. С каждым годом все труднее. Учителя уходят. Ученики не те. Программы — кавардак. На ремонт средств нет. Учебников не хватает. Всюду неразбериха. Выкручиваешься — сил нет. Словом, и раньше профессия была нехлебная, а теперь еще и малопочтенная. Надоело вечно просить-клянчить у начальства. А с другой стороны, опять-таки: каждый должен рубить древо по себе.

— Верно. У каждого своя тропа, своя судьба.

Остаток дороги провели в молчании. С низовья надвигались сумерки. Над вершинами увалов задумчиво плыли белесые, с розовыми подпалинами облака. Не одни беды и убожество вокруг, думалось Эдмунду, где-то в глубине жизни вызревает и доброе, хорошее. Это дурное сразу бьет в глаза. А доброе не всегда и разглядишь.

XXI

Франц Оттович Фризен был родом из поволжских меннонитов. В бывшей Автономии немцев Поволжья было всего две-три меннонитские деревни. Среди поволжской бедноты меннониты жили несколько обособленно, чурались потомков из Гессена, Пфальца, Эльзаса, Лотарингии, называли их уничижительно «Вольганегер», держались надменно, высокомерно, говорили на малопонятном для большинства жителей нижнегерманском диалекте. Отличались зажиточностью, раз и навсегда заведенным строгим порядком, молчаливостью, подозрительностью, суровостью нравов. Среди меннонитов было не только много отменных земледельцев, хозяйственников, но и священников, учителей, лекарей, образованных. Они-то зачастую утверждали, что они вообще не немцы, а голландцы. Дескать, мы прибыли в Россию задолго до массового притока немцев по личному приглашению русского кайзера под предводительством Симона Менно, у нас, мол, другая вера, другие обычаи и другой язык, а потому нечего нас причислять к немецкой голытьбе.

Но советская власть не стала вдаваться в подробности происхождения. Мало ли кому что взбредет в голову?! Во-первых, советская власть, как самая справедливая, всех своих граждан уравнила в правах, а во-вторых, голландец, австрияк, пруссак, гольштинец, француз, швед и прочие инородцы — все немцы, немые то есть, а проще — немчура, и нечего делиться еще на какие-то сословия.

На зажиточных, замкнутых, своевольных меннонитов новая власть смотрела косо. Они как-то плохо подчинялись новым порядкам. Их никак не удавалось загнать ни в комитеты, ни в артели, ни в товарищества по обработке земли, ни в колхозы. Да и религии были привержены слишком рьяно. И строптивость их раздражала. И классовую борьбу растуганить среди них никак не удавалось. Словом, сплошная морока с этим странным людом.

В годы сплошной коллективизации местная власть расправилась с меннонитскими деревнями, как повар с картошкой. И «кулак», и «подкулачники», и «середняки» нашлись среди меннонитов в подавляющем большинстве, и за их счет планы по раскулачиванию выполнялись с лихвой.

В числе первых отправили в Сибирь и мрачного бородача Отто Фризена со всеми многочисленными домочадцами. Отобрали все подчистую: и скот, и инвентарь, и подворье, и дом. Долговязый Франц чудом уцелел: находился в отлучке, учился в педагогическом техникуме в Марксштадте, числился в активистах. В родной Коппенталь так и не вернулся. О родителях, братьях и сестрах долго ничего не знал. Жил тише воды, ниже травы. Язык держал за зубами. Но учился усердно. Читал запоем. Мечтал стать ученым. Зубрил латынь и французский язык. В летние месяцы участвовал в археологических экспедициях по раскопке сарматских курганов. Собирал фольклор поволжских немцев.

Не по годам замкнутого, любознательного, долговязого юношу приметили, и с помощью добрых людей он поступил на историческое отделение Энгельсского педагогического института. Успешно закончил его за год до войны. Тогда-то и узнал, что родители сгинули в сибирской глухомани. Из многочисленной семьи уцелели лишь брат, женившийся на русской и обернувшийся каким-то образом Евгением Кузнецовым, и сестра, вышедшая замуж за алтайца и ставшая Еленой Чагатаевой.

Франца Фризена оставили после института на кафедре всеобщей истории. Но времена были тревожные, смутные. Лучшие преподаватели бесследно исчезали один за другим; институтом, кафедрой стали руководить вообще неизвестные, сомнительные личности, не имевшие отношения ни к науке, ни к педагогике.

А потом настало 22 июня 1941 года.

Распустили Автономию немцев Поволжья.

Грянул Указ о выселении немцев в Сибирь и Казахстан. Все мгновенно перевернулось вверх дном.

Очутился Франц Фризен в Кумкентской области. Институтский преподаватель истории, спецпереселенец Франц Фризен пришелся в колхозе имени Кирова не совсем ко двору. И хотя нужда в преподавателях в двух школах — казахской средней и русской семилетней — была ощутимой, ни один заврайоно или директор школы не осмелился брать на работу человека, находящегося под надзором спецкомендатуры. Хотя к тому времени Франц Фризен являлся кандидатом в члены ВКП(б).

Был Франц Оттович невероятно высок, под два метра, длиннонос и длиннорук, слегка прихрамывал, припадая на правую ногу: в детстве покалечился, бедровая кость срослась криво, что и избавляло его от воинской повинности. Говорил очень медленно, внятно, едва ли не по слогам, размеренно и тихо, и вскоре из-за роста и необъятных размеров обуви стал аульной достопримечательностью. Дети бегали за ним, но побаивались. Молодки смущались, терялись при встрече с ним. Такого мужчину видеть им не приходилось. В шутку говорили: «Из одного немца Фризена можно выкроить трех-четырех наших джигитов». И еще удивлялись, что при таком росте он так мало ест: довольствовался одной лепешкой и банкой молока. И пил почему-то исключительно солодковый чай. А по утрам делал зарядку на потеху аулчанам и обливался холодной, прямо из колодца, водой.

Работал Франц Фризен поначалу на сенокосе, и ни одна зачуханная лошадка, тем более заморенный вол не осмелились при нем выказывать свой норов. Лошадь приседала покорно на задние ноги, когда этот великан своей ручищей хватал ее за холку, а волы замирали, поджимали напряженно хвосты, когда он запрягал их в ярмо. На вилы пришелец принимал целую копешку сена и запросто закидывал ее на самую вершину скирды.

Зимой баскарма назначил спецпереселенца Фризена бухгалтером колхоза, резонно считая, что кандидату в члены ВКП(б), историку с высшим образованием такой пост доверять, пожалуй, непредосудительно.

Три года проработал Фризен бухгалтером и так дельно и аккуратно разложил все бумаги по полочкам и папочкам, что любой самый занудливый инспектор ахал и крякал от удовольствия. Желающих заполучить такого достойного бухгалтера было много в окрестности, даже в район хотели перевести, и соблазнов было немало. Фризен сочинил в помощь своим коллегам памятку по бухгалтерскому учету, расписав внятно и доступно все премудрости этой профессии. Аккуратно посещал Франц Оттович и все партийные собрания, хотя учтиво помалкивал, так и оставаясь кандидатом в члены ВКП(б) и довольствуясь совещательным голосом, но прилежно платя полагающиеся взносы. Жил Фризен одиноко в заброшенной, полуразрушенной мазанке, которую он за год-другой превратил в игрушку, само-

лично обмазав, побелив и обсадив кустарниками. Раз пять вызывали его в военкомат, однажды увезли даже в Кумкент, чтобы отправить в трудовую армию, но каждый раз из-за увечья правой ноги и хромоты отпускали домой.

На исходе войны бдительные власти проявили к нему благосклонность и допустили к преподаванию в школе. Сначала Фризен преподавал пение, учил казахских детей двухголосью и многоголосью, что в аулах было внове (все норовили петь в унисон), под аккомпанемент аккордеона, потом давал уроки по истории и географии в русской семилетке, после вел немецкий и русский языки в казахской средней школе. В преподавательское дело Франц Оттович вкладывал душу, ученики его любили, а начальство хвалило на районных и областных сессиях и конференциях. Проработал он в школе до семидесяти пяти лет, став Заслуженным учителем республики.

Женился он поздно, под сорок, когда уже отстроил себе двухкомнатный домик с просторной верандой и крохотной мансардой, где он расположил свою библиотеку. Главным достоянием его жилья были книги, которые он выписывал отовсюду. Разделила его одиночество миниатюрная молоденькая фельдшерица и акушерка Эльвира Неб. И местные зубоскалы шутили, что гигант Фризен прячет свою женушку в кармане необъятных брюк или за пазухой. Вскорости молодая чета обзавелась любимицей-дочкой Эльзой.

Росла, росла девочка в неге и холе, стала красоткой всем на зависть, в свой срок выскочила за рубаху-парня, чубатого Андрея Кайзера и укатила в Германию, обещав со временем забрать родителей в немецкий рай.

Но Франц Фризен почему-то туда не спешил.

Несколько раз съездил к дочери, и один, и с женой, изъездил с зятем (ставшим Хайнрихом) весь Баден-Вюртемберг и Рейн-Вестфалию, и по Рейну поплавал на катере, и разные достопримечательности осмотрел, известные по истории и легендам, и по Бонну, Берлину, Франкфурту походил, и с земляками встречался, и в редакции русско-немецких газет заглянул. Словом, получил о Германии вполне приличное представление. Восторгов было много.

Но уже через неделю он начинал тосковать по казахстанскому простору, по знакомым окрестностям, по сте-

ии, по холмам, по аулу, по своему привычному, не совсем ухоженному и упорядоченному быту. Дочь и зять насмехались над ним. Говорили: «Старый орел привык к своей клетке. Ну, что тебя тянет в свой Туюк су? Неужели хотя бы на склоне лет не хочешь жить по-человечески?» Что он мог сказать, старый Франц Фризен, своим деткам? Он чувствовал: понять его они не могут. Ценности жизни представляются им по-разному. Он отшучивался: «В Германии хорошо, а дома все же лучше. В Германии хорошо быть в гостях, зная, что в любое время можешь вернуться домой. В Германии и блеска, и порядка много, но я не вижу радостных лиц. Все озабоченные, постные, тусклые, скучные, одинокие, сами по себе. Не живут, а роль какую-то исполняют. И вообще, если приглядеться, если вникнуть, то... то... мало что немецкого осталось в Германии. Страна превратилась в уютное стойбище разных племен и народов. И немцы среди них как бы подшибленные, как бы вечно виноватые. Ходишь по Франкфурту или по Берлину и немецкой речи не слышишь. Нет, нет... что-то не так, милые киндер, что-то все скособочилось...»

Он сам недоумевал. Может, жизнь и годы вытравили в нем его немецкую суть? Кто знает. Но чувствовал он себя уютно, в своей тарелке только в Туюк су, где все было близким и дорогим: и люди, и нравы, и природа, и просторы, и весь этот безлюдный, непритязательный уклад жизни. В полном согласии с мужем находилась и Эльвира Неб, хотя и больше тосковала по дочери. Ее удручало, что внуки вырастали без бабушкиной опеки и пригляда и даже как бы чурались своей казахстанской старомодной ома. И говорили бабушка и внуки на разных языках, хотя и общались по-немецки.

Старый меннонит Франц Фризен давно объявил, что умрет в Туюк су, здесь же его и захоронят на старом кладбище у склона бурого холма, и на могилу его приволокут огромный, отполированный временем, ветрами и дождями крутобокий валун, на котором масляной краской выведут фамилию покойного и две даты, и пусть на холмике могилы растут цветы, и ему «там» будет тихо, спокойно и умиротворенно. И об этом желании учителя Франца Оттовича Фризена знали все и в ауле, и в его окрестностях. «Ай, азамат!» — говорили взрослые с одобрением и почтением.

Бывшего земляка, а ныне гостя из Германии пожилая чета Фризенов встретила с подчеркнутой учтивостью и торжественным радушием.

— Herein, herein, mein Junge, mein alter Knabe! — высоким, внятным «педагогическим» голосом поприветствовал Эдмунда рослый, носатый колоритный старец в белой сорочке и оранжевой жилетке. Рядом сияла всем круглым, все еще розовым лицом заметно раздобревшая, но по-прежнему миниатюрная, опрятная, в белом передничке Эльвира Христиановна.

Франц Оттович выглядел живописно. Крупное лицо, чисто выбритое, было изрезано вдоль и поперек глубокими бороздами-морщинами; седые кустистые брови сурово топорщились, срослись в переносице; лоб наполовину оголился, поблескивал желтизной слоновой кости, а с висков и затылка свисала до плеч серебристая, легкая, как пух, и вьющаяся в конце романтическая волосня. Губы были плотно сжаты. А подбородок казался высеченным из камня. И вообще походил Франц Фризен на старого льва.

— Какая шевелюра, однако! — восхищенно вырвалось у Эдмунда.

— А, — махнул рукой старец. — Надоело стричься. Пусть растет как растет. Скоро и бриться перестану. Буду как Порфирий Иванов. Этот чудак утверждал, что вся сила в волосах. Может, и прав был?

— Но он еще и обливался холодной водой.

— Это я и без него делаю всю жизнь. Только на башку лить ледяную воду — глупость. Это могут делать только те, у которых в башке нет мозгов. Коли нет мозгов, то и терять нечего.

Эдмунд покосился на стол и смутился: на столе, покрытом чистой накрахмаленной скатертью, стояли ваза с розами, корзина с яблоками и гладкими грушами (где и как сохранил?), кувшин с виноградным вином, большой слоистый торт, наполовину отрезанный, разная стряпнина, чашки, бокалы. Боже! Неужели к его визиту подготовились? Неужто Рахметбай успел предупредить?

— Что за торжество? — повел взглядом Эдмунд на стол.

— Хм-м... — усмехнулся Франц Оттович. — Вашему покорному слуге, между прочим, стукнуло сегодня, страшно молвить, восемьдесят восемь!

Эльвира Христиановна сияла, бочком прижалась к мужу, достигая аккуратной головкой едва до его груди.

— Wie?! Was! Ach, sooo! — воскликнул Эдмунд.

— Так-то, батенька! Честь имею!

И повел ручищей на отдельный столик у окна. Здесь стояли еще одна корзина с цветами, дорогой кумысный набор, фарфоровый самовар, рядом стопкой возвышались нарядные папки, кожаная сумка, на спинке стула висел расшитый позументами бордовый чапан с бориком.

— Вот, видишь, сколько натащили с утра.

— Кто?

— Как кто? Аким, начальство, школьное руководство, бывшие ученики. Представь себе, помнят.

Эдмунд выдал экспромт:

— Achtung! Achtung! Liebe Leute,

Acht und achzig ist er heute!

— Браво! — обрадовался Франц Оттович, тряхнув серебристой невесомой шевелюрой. — Schön! Schön! Ловко!

— Эльзочка тоже поздравила, — доложила Эльвира Христиановна, раскрыв яркую глянцевую открытку. Из нее вдруг полилась знакомая немецкая песенка. — Вот!

Потом, когда открытку сложили, музыка оборвалась.

— В таком случае примите и от меня скромный презент.

Эдмунд достал из сумки две плотненькие книги в темном переплете, передал имениннику.

— Твои?! — изумленно воскликнул Франц Оттович и громко прочел. — Эдмунд Ворм. «Перекрестки и перемещения». Повесть и рассказы... Вот-те раз! Писателем стал?

— Ну, какой писатель?! Просто нашкрябал свои впечатления.

— На русском?

— Увы, на русском мне сподручнее. По-немецки получается скованно, натужно.

— И издал?

— В Бишкеке. В Германии сложнее. Был в Бишкеке на семинаре, оттуда и заехал родные пенаты проведать.

— Вон как! — Франц Оттович, не скрывая удивления, попеременно полистал книжки. — И о чем пишешь?

— Почитаете на досуге. Там для Вас многое знакомо. И себя узнаете, кстати.

— Любопытно. Благодарю! Сюрприз!

В открытое окно поддувал легкий степной воздух, настоенный на полыни. Колыхались, вздувались занавески.

Столовая казалась стерильной. Диваны, кресла, стулья — все были зачехлены. Порядок и тишину нарушала лишь оса, учуявшая торт. Эльвира Христиановна замахнулась было на нее салфеткой, но муж остановил ее. «Не трогай. Она тоже радуется».

Попили кофе, попробовали домашнее виноградное вино, отведали румяных пончиков.

Потом, продолжая беседу, поднялись на мансарду.

— Моя келья. Приют отдохновенья. — Франц Оттович широко повел рукой.

Три стены были в стеллажах до самого потолка, а стеллажи набиты книгами и журналами. Одну стенку занимали издания российских писателей от «Hand in Hand» до последних номеров «Феникса».

— Зря жалуются наши Schriftsteller. Вон сколько поиздавали, — заметил Эдмунд.

— Да, кое что есть, — согласился Франц Оттович. — Теперь в этом ряду и ты стоять будешь.

И здесь было уютно. И ничего лишнего: диванчик, два кресла, стол с укрытой чехлом письменной машинкой, торшер. Над письменным столом висели портреты Гете, Шиллера, Гегеля, Гейне.

— Мои духовники и собеседники, — сказал хозяин. — Садись и рассказывай о своем житье-бытье. Мне это интересно.

— Что рассказывать? Живу не лучше и не хуже других. Все мытарства, смею думать, позади. Быт налажен. Работа есть.

— А душа? На месте?

Эдмунд замялся.

— Душа?.. Душа, может, и на месте, но изрядно потрепана. Всяко бывает. Впрочем, вы это, Франц Оттович, и сами знаете. Не хуже меня.

— Кое-что знаю, — согласился Фризен. — И почувствовал, и увидел. Никогда не думал, что адаптация или, как говорят, интеграция пройдет так тяжко, а то и драматично. К тому же в понимании тамошних властей интеграция — это тотальная ассимиляция. А это дело затяжное. Я, знаешь, Эдмунд, милый, всегда исходил из того, что российский немец — очень своеобразное образование. Он — дитя двух культур. Он не совсем русский и не совсем немец. Можно вытравить из него все русское, или казахское, или

киргизское и так далее, но это не значит, что он обернется немцем. Им он станет еще не скоро. В третьем, четвертом, может, поколении. Русскую или российскую ментальность надобно в нем сберечь, хорошую, понятно, сторону, а немецкую терпеливо и настойчиво культивировать. Тогда он станет полноценным, интересным человеком. Российский немец сам по себе своеобразен, его не надо насильно онемечивать и уродовать его душу.

— Согласен. Но там думают иначе. Там хотят, чтобы поздний возвращенец как можно скорее отрекся от всех своих российских корней и влился в общую массу. Там даже возбраняется говорить по-русски. Иные работодатели даже налагают штрафы за то, что поздние возвращенцы говорят между собой по-русски. И вообще, там нас даже после десяти-двадцатилетнего постоянного жительства немцами не признают, называют «русскими», «казахами», «киргизами». Контакты с местным населением налаживаются со скрипом. Им турки, эфиопы, итальянцы, югославы, румынские цыгане ближе нас, российских немцев.

— Знаю, знаю... — Франц Оттович сдвинул, зашевелил своими кустистыми, клочковатыми бровями. — Это-то меня и настораживает больше всего. Честно говоря, странная страна. Много несуразностей. И при внешней учтивости, деликатности, улыбчивости и вежливости там даже последний пивнюк заражен непонятной спесью, высокомерием, амбицией. Иной ходит гусак гусаком, а копнешь его — дурак дураком. А от спеси и важности того и гляди лопнет.

— Меня это поначалу поражало и раздражало. А потом понял: все от невежества, ограниченности. Они ведь, кроме своего, ничего не знают и знать не желают. Возомнили себя пупом земли. Сначала я еще спорил, доказывал что-то, потом решил: бесполезно. Но их высокомерие по отношению к своим дальним собратьям, даже, я бы сказал, плохо скрываемое презрение удручает и унижает.

— Да-а... но согласись, в немалой степени в том виноваты сами наши немцы. Ведут себя забитыми, недостойными, трусливыми, робкими, жалкими. Будто попрошайки несчастные. А кто попрошаек любит? Нашим только давай одно, давай другое. Сколько можно? За какие заслуги? — Франц Оттович сверкнул глазами, даже встал, руками замахал. — Все время плачут, стонут, канючат, свои былые

беды и несчастья выставляют. Ну, было, было... Но разве только у российских немцев? Знать ведь надо не только свою, но и историю Германии. Помнить, как разбитая, униженная, поверженная, растерзанная после нацистской вакханалии, она сумела за короткое время подняться из небытия и достичь нынешних высот. Следует помнить, что двенадцать миллионов изгнанных и беженцев пережили жутчайшую трагедию и обрели в Германии родину. Представляешь, двенадцать миллионов! Почти весь Казахстан! Трудная судьба была не только у нас. И холокост, между прочим, был не только у евреев. Получая и прося помощь у Германии, нужно ставить перед собой нравственный, честный вопрос: а имею ли я право просить? На каком основании? Ради красивых глаз? Неужели лишь за то, что обладаю немецкой фамилией? Которые, кстати, в трудные времена некоторые запросто меняли на русские, а теперь спешно меняют на немецкие? Если я не стремлюсь быть немцем, не культивирую в себе немца, не стремлюсь к немецкому языку, культуре, прилежности, трудолюбию, нравственности, упорству, иначе говоря, к немецкой ментальности, если я бишара, бестолочь, неумеха и растеряха, то почему Германия должна мне помогать и возиться со мной? Если я для нее ничегошеньки не сделал? А?! Надо быть трезвым и порядочным. А мы, ей-ей, мельчаем, деградируем, становимся попрошайками. Или ты не согласен, дорогой писатель?

— Не смею с вами спорить, милостивый государь, — сказал Эдмунд, задетый «писателем» и запальчивостью, категоричностью собеседника. — Мотивы некоторых ваших суждений вы найдете и в моих книжках.

— Хорошо. Непременно прочту. Не знаю, согласишься ли со мной, но мне кажется, я ведь раз шесть побывал в Германии, что там исподволь завязывается, зарождается много нехорошего, тревожного. Вот и газеты толкуют... — Франц Оттович взял со стола газету, развернул, нашел помеченное фломастером. — Вот. «Разгром фашизма не был разгромом его идейной основы». Или: «Угроза разгула правого экстремизма в современной Германии налицо».

— Думаю, преувеличивают. «Бритоголовые» никаких шансов не имеют.

— Ой, ли?! Дай Бог! А я думаю иначе. Мне кажется, власти на многое просто закрывают глаза. Делают вид, что ни-

чего не происходит. Загнали болезнь вовнутрь. Лицемерят. Двурушничают. Оберегают сытую жизнь и покой. А уродец зреет, набирает силу, показывает зубки. И виноваты в этом сами немцы, сами политики. Хотят показаться всему миру добрыми, хорошими, раскрыли калитку настежь, превратили Германию в проходной двор, заискивают Бог весть перед кем. А добром это не кончится. Не хочу каркать, но боюсь, боюсь...

— Не думаю. Ропщут пришельцы. А немцы, коренные, дуют пиво и закусывают поджаренными колбасками. Им слишком дорог покой.

— Может быть... — Франц Оттович успокоился, снова сел, вытянул на полмансарды костлявые ноги. — Настораживает меня и постоянное культивирование комплекса вины. Не понимаю! Сколько можно? Вот придумали: «Знак греха». Что за чушь?! И еще гордятся публично: мол, ребята возложили на себя грех дедов. Ездят, дескать, в летние лагеря в Израиль, Россию, помогают, берутся за самую черную работу, замаливают грехи дедов.

— Да, есть такое. Что-то искусственное, надуманное. Да и относятся к этому по-разному. По этой логике надо, чтобы монголы-татары замаливали свой грех перед Россией, Россия — перед Казанью, Кавказом и Сибирью, Турция — перед армянами и так далее без конца.

Снизу донесся напевный голос Эльвиры Христиановны.

— Männer... Мужчины! Затянулся ваш разговор. Пора, пожалуй, подкрепиться.

— Идем! Сейчас! — отозвался Франц Оттович.

— Чем вы сейчас занимаетесь, Франц Оттович? — поинтересовался Эдмунд.

— Тем, чем занимаюсь уже сорок лет. Вот! — Он достал с полки пять увесистых папок и грохнул их на стол. Изволь: «История российских немцев». Или: «Очерки по истории российских немцев», если поскромнее. Сорок лет корплю. Горы литературы перелопатил. Из всех библиотек страны выписываю. Исписал и собственноручно отстучал на машинке тысячу двести страниц.

— Ого! И где думаете печатать?

— О том пока всерьез и не думаю. Надо сначала завершить. Несколько глав дал в «Феникс», несколько — отправил в Москву в Союз немецкой культуры. Пока молчат.

— Капитальный труд! — восхитился Эдмунд — Сорок лет! Два солидных тома!

Франц Оттович растрогался, обнял Эдмунда за плечи.

— Пойдем, молодой человек. Чую запах оладей с пылу, с жару.

Стол был накрыт на веранде. В углу жужжал вентилятор. В середине стола в чаше дымились, сочились раскаленные оладьи, политые сметаной. И возвышался все тот же зеленый кувшинчик с виноградным вином.

— По бокалу! — сказал хозяин. — На посошок!

— В Бад-Эмсе не бываешь? — спросила Эльвира Христиановна.

— Это где?

— По пути из Франкфурта в Бонн. По правую сторону. В долине, — уточнил Франц Оттович.

— Там наша Эльзочка живет, — добавила Эльвира Христиановна.

— Дивное, между прочим, место. Курорт! Чисто, зелено. Все вылизано. Замки, кирха, парк, клумбы, беседки, дорожки, пруды. Сказка!

— И что там ваши делают?

— Ой, с работой там худо. Эльза едва устроилась альс Путценфрау в гостинице. А Андрюша, наш зоотехник, в ночное время развозит почту по квартирам. Ничего, не жалуются. Внук в школе, учится вместе с другими переселенцами — с турками, эфиопами, а внучка в детском садике.

— Будешь ненароком в тех краях, зайди, о нас расскажи, — попросила Эльвира Христиановна. — А осенью она обещала нас навестить.

— Ей проще. Молодая. А я уже доживу свой век здесь. Казахи обо мне позаботятся. Убедился: в дружбе они верны.

У калитки возле палисадника Франц Оттович крепко пожал руку гостя, долго тряс ее, хлопал густыми бровями.

— Обрадовал старика. Спасибо! А если всерьез надумал заняться писательством, приезжай сюда почаще. Твои темы здесь. И происходит здесь много любопытного. А германская тематика не для тебя. Там все изъезженно, обсосано, описано. Там не столько литературой занимаются, сколько трюкачеством.

На прощание обнялись, расцеловались.

Эльвира Христиановна расчувствовалась, всплакнула. Дойдя до поворота, Эдмунд оглянулся. Франц Оттович все еще стоял у калитки, большой, сутулый. Длинные, невесомые, как пух, волосы развевались на ветру. Он гордо, непокорно глядел вдаль, а рядом, прижавшись к супругу, стояла маленькая, седая, в белом переднике Эльвира Христиановна и помахивала по-детски ручкой.

У Эдмунда защемило сердце.

Крохотный немецкий островок на краю аула Туюк су.

В ушах звучал уверенный голос: «Казахи обо мне позаботятся. Убедился: в дружбе они верны».

XXII

— И это все? — озадаченно спросил сытый, гладенький таможенник с усиками. — Больше ничего?

— Ничего, — ответил Эдмунд.

Таможенник, хмурясь, уткнулся в бумаги: паспорт, виза, декларация. И еще раз все просмотрел: декларация, виза, паспорт. Придраться было не к чему. Чем-то явно раздражал таможенника иностранец. Может, тем, что держался демонстративно независимо и даже улыбался.

— А в этом пакете что?

— Лепешки, аульный гостинец. И сувенир.

— Сувенир?! — сразу оживился таможенник и облизнулся. — Покажите!

Таможенник глянул на ножны с тиснением, филигранью, пластинами на коже, с кисточкой. Вытащил нож с костяной ручкой, орнаментами, филигранью, сердоликом. Посмотрел, повертел, пощупал, полюбовался, потрогал пальцем лезвие.

— Холодное оружие?! — Глазки таможенника замаслились, сузились. Усики зашевелились. Во рту блеснул золотой зуб.

— Никак нет. Декоративный нож. Имитация. Им и петуха не зарежешь.

— А я говорю: холодное оружие! — насупился таможенник и затвердел лицом.

— Ошибаетесь, — спокойно возразил Эдмунд. — Декоративный.

— Будете спорить? — У таможенника обострились скулы.

— И спорить нечего. Слепому видно.

— Да-а?! — У таможенника глаза стали еще уже.

— Да.

Таможенник погнул туда-сюда лезвие. Посмотрел на табло. Регистрация на Франкфурт продолжалась.

— Что будем делать? — спросил таможенник.

— В смысле?

— Холодное оружие перевозке не подлежит.

— Это не холодное оружие, а декоративный нож.

— Холодное! — холодно отрезал таможенник.

— Не холодное! — упорствовал Эдмунд.

— Не надо спорить. И упорствовать не советую.

— Я не спорю и не упорствую. Я говорю, что есть.

Подошел незаметно еще один таможенник. Холеный, ухоженный, подтянутый. Неприязненно-строго ощупал взглядом Эдмунда, глухо проронил:

— В чем дело?

— Да вот... нож, — кивнул первый таможенник.

— Нельзя... Не положено, — тотчас решил второй и для убедительности покачал головой.

— Почему?

— Потому что холодное оружие.

Первый опять покосился на табло. Началась посадка. Эдмунд слегка занервничал. Еще и от рейса отстанет из-за этого сувенира-безделушки.

— Даже если это декоративный нож, как вы настаиваете, или сувенир, все равно нужна справка на провоз, — строго изрек первый таможенник.

— Откуда справка? От кого?

— Из магазина, где вы его обрели.

— Правильно! — поддержал второй и важно надул щеки.

Эдмунд выдержал паузу. Табло подмигивало: идет посадка.

— Справка нужна?

— Да. Справка.

— Вот справка! — Эдмунд торжественно выложил бумажку со штемпелем, с печатью и указанием цены. Сувенир, декоративный нож, провоз не возбраняется.

Оба таможенника опешили. Попеременно осмотрели бумажку. Нахмурились.

— Бәрібір. Болмайды де. Қасарысып бақ! (Все равно. Упирайся.)

— Ия. Өзінің де жүйкесі құрып тұр. Ақылы кірер. (Да он уже заметно нервничает)

Эдмунд повел кадыком.

— Қанша? (Сколько?)

— Что?! — первый таможенник растерянно заморгал. Второй поспешно отошел.

— Қанша берейін? (Сколько просишь?)

Таможенник сник. Эдмунд достал бумажник, нарочито покосился на таможенника. Тот заерзал, зыркнул по сторонам. Белокурая деваха, тоже в форме, у следующей стойки с откровенной насмешкой наблюдала за сценой. Эдмунд долго копался в бумажнике, наконец достал десять марок, подержал на вытянутой руке, точно приманку.

— Жете ме? Әлде қоса түсейін бе?

И швырнул десять марок на стойку. Как собаке — кость. Таможенник зашевелил усами, раздул ноздри, зло посмотрел на усмехающуюся белокурую деваху, небрежно оттолкнул нож, молниеносно сунул деньги за пазуху.

— Идите и впредь не попадайтесь!

— Не дедіңіз?

— Идите, говорю. Опоздаете!

— Неге мемлекет тілінде сөйлемейсіз? Қазақ емессіз бе? (Почему не говорите на государственном языке? Или не казах?)

— Да иди ты! — взорвался таможенник.

— Аман бол, жігітім. Продолжай в том же духе. Разбогатеешь!

«На посадку! На посадку!» — отчаянно взывало табло.

На самолет Эдмунд успел в числе последних пассажиров, и когда откинулся на сидение, облегченно перевел дыхание.

Мысли метались.

Итак, прощай Туюк су! Или до свидания? Кто знает, выпадет ли еще такой случай? Доведется ли когда-нибудь еще посетить этот край... Посетить, посетить... «Вновь я посетил тот уголок земли». Тот уголок земли, где я провел изгнанником... Что ему этот край, этот уголок земли? Место изгнания? Место ссылки? Временное пристанище?

Край родной? Малая родина? Место, где навеки покоятся родители?

Ни то, ни другое, ни третье.

Или, наоборот, и то, и другое и третье. И кто он этому краю, этому уголку земли? Пришелец? Божий гость? Случайный прохожий? Гражданин? Сын? Или субъект, которого следует напоследок ограбить?

Трудно сказать.

И где его родина, уроженца России, жителя Казахстана, гражданина Германии — Эдмунда Ворма?

Россия его изгнала, выселила, отторгла, разом перечеркнув судьбу предков, оставив навсегда зарубку в сердце.

Казахстан приютил на долгие десятилетия, взрастил, вспоил, принял в свои объятия. Здесь он познал и себя, и людей, и жизнь, и печаль, и радость, обрел достоинство и веру.

И Германия его приняла, впустила, милостиво, с состраданием, как далекого потомка немецкого предка, отправившегося в лихолетье в Руссланд на поиски счастья.

Потомок вернулся — круг замкнулся.

Но ему, Эдмунду Ворму, Германия родиной не стала. Она стала ему местом постоянного жительства. И только.

Родиной она станет его внукам. Возможно.

Так, кто же он, спецпереселенец, потом — поздний возвращенец Эдмунд Ворм?

Человек без родины?

Скиталец с нескладной судьбой?

Где тот уголок земли, где утешится и утишится его душа?

Нет ответа...

2 мая — 5 августа, 2001 года
Алматы.

НА ОТМЕЛИ

I

Проснулся он от нестерпимой головной боли. Мелко, учащенно билось сердце, жгло в груди, во рту было сухо. Постанывая, он повернулся к жене, прижавшейся к стенке, но разбудить ее не осмелился. Что-то дуется в последнее время жена. А что ей еще надо? Сыта, одета, обута, дети здоровы, дом — полная чаша, муж — рядом, под боком. Может, затяжелела опять. Так то вроде не беда...

Он застонал погромче, надеясь разжалобить жену, но тщетно. Тогда он встал, нашарил под кроватью отопки и еле удержался на ногах. Все плыло перед глазами. Ойбо-ой... худо, совсем худо. Он вспомнил вчерашний вечер у завгара, шумное, бестолковое застолье, не совсем удачный для него преферанс, вспомнил, как уже к утру, как водится, на «кебис-киер» — «на посошок», значит, радушный хозяин налил им — ему, бухгалтеру и двум приезжим — еще по стакану. Фу-у... вот этот стакан и оказался как раз лишним. Последний почти всегда лишний... Он тоскливо покосился на жену и, вздохнув, поплелся на кухню.

Теща, в платье до пят, в неизменном плющевом камзоле, хлопотала у печки. Пахло мокрым углем, дымом и сырыми березовыми чурками. На краешке плиты сидел и нахально подмигивал кот.

— Шеше... Душа горит, ой, горит... Нет ли чего-нибудь кисленького, а?..

Старуха надула щеки, выпятила губы, яростно подула на огонь.

— Кисленького?.. Да ты и без того кисленький.

— Э... разве в этом доме посочувствуют?! --Он с досады махнул рукой и прошаркал снова в спальню.

Алтын, услышав его шаги, свернулась калачиком и рывком натянула на голову одеяло. «У-у, злюка! Отгородилась, попробуй тронь ее хоть пальцем. Испепелит своими глазищами...»

Вошла теща с чашкой в руке.

— На, попей. Кислый курт в сорпе развела. Может, полегчает...

Дрожащими пальцами схватил он чашку.

— Ой, спасибо, шеше. Кроме вас, кто еще меня пожалеет? Ух, душа!..

— Алтын-ай, подоила бы корову, — окликнула старуха дочь. — Спину не могу разогнуть сегодня.

— Сейчас, апа, — донеслось из-под одеяла.

Алтын вскочила через минуту, набросила халат на худенькие смуглые плечи и, не глядя на мужа, вызывающе прямая, неприступная, вышла. Он звучно втягивал горячую, густую и кислую от курта сурпу и, вытирая рукавом испарину со лба, после каждого глотка довольно покрякивал. «Уф, душа моя... Ай, чудо сорпа! Мертвого оживит. Знали, знали предки, что есть и что пить». Так он думал, прислушиваясь к настойчивому утробному мычанию Зойки из хлева, куда спешила, гремя подойником, жена. «Да-а... надо, пожалуй, и мне в сарай — сенца подкинуть, почистить. Занедужила некстати старуха».

Он вышел в коридор, облачился в заскорузлый полушубок, сунул ноги в валенки, нахлобучил треух-малахай и направился в хлев. Завидев хозяина, радостно зафыркала в углу кобыла, высунули из-за перегородки тупые морды овцы, нетерпеливо заскулил Майлыаяк на цепи, облизнулась Зойка, роняя пенистую слюну. О-хо-хо... заботы, заботы. Он взял вилы и полез по лестнице на крышу сарая.

Через полчаса, управившись с хозяйством и заметно повеселев, он вернулся на кухню. Алтын в своем строгом «педагогическом» костюме с белым кружевным воротничком что-то торопливо дожевывала у печки и ежеминутно поглядывала на часы. Теща невозмутимо потягивала крепкий, густой, как деготь, чай с душистой гвоздикой. Дети еще спали.

— А у тебя уроки есть?

— Ойбай-ау, шеше, когда у меня их не бывает! Целых пять. Притом подряд!

Алтын, громко стуча каблуками, побежала в интернат, а он опять захандрил, подумав, что хочешь не хочешь, а надо и ему отправляться в школу. Тещин чай не имел сегодня никакого вкуса.

II

В этот аул Ельтай Хакимов приехал лет тринадцать назад сразу же после окончания института с дипломом преподавателя английского языка. Приезд его стал событием, ибо был он здесь человеком свежим и необычным. Когда он в ладном, отглаженном костюме, в начищенных до блеска ботинках, в фетровой шляпе и коротком, нараспашку, макинтоше, с кожаным портфелем в руке чуть вприпрыжку несся, бывало, в школу, на него заглядывались и дети, и взрослые. Английский язык, которого в аульной школе никогда всерьез не принимали, стал вдруг едва ли не главным предметом. Не только на уроках, но и на переменах все разом — в лад, не в лад — закартавили, жуя язык, на английский манер. Было что-то непривычно-привлекательное даже в том, что нового учителя называли не «агаем» или «мугалимом», как это было принято в ауле, а по имени и отчеству: Ельтай Каримович.

Новый учитель не требовал заучивать правил, не заставлял зубрить слова и переводить тексты, а, главным образом, говорил сам и заставлял говорить других. Он, как оказалось, был приверженцем устного метода обучения языкам. Говорил он преимущественно по-английски, старательно избегая русских и казахских оборотов речи, и хотя поначалу это казалось смешно, наивно, даже несерьезно, однако ученики очень скоро к этому привыкли, и — самое поразительное — почти все понимали или догадывались, о чем говорит учитель. Вскоре Ельтай Каримович организовал кружок английского языка, куда ринулись все поголовно. И уроки не были похожи на те, к которым притерпелись с первого класса. Не было орг-момента, опроса, объяснения, повторения и закрепления, длительного господствовавшей в педагогике традиционной «пятичленки», а было как-то все вместе, и к концу урока новый учитель еще выкраивал время на удивительные рассказы о

казахских кюях, об их причудливой истории, об операх, о городе, о норме поведения в быту, на банкетах и дипломатических раутах. О подобных вещах в школе дотоле не говаривали.

Старшеклассники не устояли перед обаянием нового учителя, приходили в школу отутюженными, в классах запахло ваксой и тройным одеколоном, а староста 10-«Б» заявился однажды даже в галстуке, но событие это было настолько потрясающим, что уже после второго урока доморощенный франт запихнул его в карман, чтобы не нанести серьезного урона учебному процессу.

— Ну и ну! — качал головой директор. — Что со школой творится?

Успех молодого учителя не всем, однако, пришелся по нутру. Желчный, ворчливый математик Жангали кривил губы. Дескать, видали таких прытких. Больно резвый попался стригунок. Далеко не поскачет. Но директор был доволен: с некоторых пор районное руководство благосклонно относится ко всякого рода новшествам, и молодой педагог был для аульной школы несомненной находкой.

Воспряла духом и молоденькая «руссистка» Варвара Петровна. Косясь на математика, она при каждом удобном случае замечала, что наконец-то в лице галантного, изысканного преподавателя английского языка в их школу пришел интересный человек и — что не менее важно —настоящий джентльмен. Математик Жангали усмехался, попыхивая обгоревшей трубкой.

Новый дух незаметно проник даже в устойчивый быт учительской. Педагоги, оставив почтительные «ака» и «еке», стали называть друг друга по имени-отчеству. Приятели перешли на строгое «вы». Старый биолог вдруг перестал закладывать за губу насыбай[1]. На педсоветах Ельтай Каримович выступал каждый раз с новыми предложениями: то пространно говорил о культуре быта, то предлагал организовать среди преподавателей художественную самодеятельность, то создать кабинет эстетики, а зимой, в самые холода, в метель, предложил ходить в школе не в валенках и сапогах с раструбами и войлочными чулками, а в ботинках и костюмах. Тут же Жангали не стерпел, взорвался:

[1] Особо изготовленный табак.

— Как?! У нас, да в ботиночках?! Зимой?! Ну, уж извините. Здесь вам не Алма-Ата.

— Это уж слишком, коллега, — подал голос и биолог. — За долгие годы неустанного и — позволю себе заметить — успешного труда в этой школе я что-то не замечал, чтобы наши валенки и добрые дедовские сапоги негативно влияли как на учебный, так и на воспитательный процесс...

— Неоправданное реформаторство, — изрек историк.

— Нет, это что же получается, товарищи?! — Бас математика заметно дрожал от негодования. — У нас десятилетиями сложившийся коллектив. Все педагоги со стажем, степенные люди. Преподавание у нас всегда на уровне, что, по-моему, главное. И вдруг... объявляется в нашем ауле молодой человек, приятный, так сказать, во всех отношениях, но не имеющий ни жизненного, ни педагогического опыта, и начинает вводить, насаждать, понимаете, всякие внешние нововведения, которые рушат привычный ритм работы, отвлекая от главного — от учебы... А может, наши валенки и сапоги ущемляют эстетические чувства Ельтая Каримовича лишь потому, что у него-то самого, кроме лакированных ботиночек, ничего нет... Хе-хе!

И Жангали демонстративно выставил свои добротные, с кожаными задниками валенки.

— В принципе никто, разумеется, не возражает против культуры быта, но надо же считаться и с аульными условиями и традициями, — наставительно добавил биолог.

Поднялся директор:

— Я полагаю, что Ельтай Каримович прав. Ходить по школе в сапогах, валенках, шубах, малахае — не делает учителю чести. И аульные условия и традиции тут ни при чем. Если иные приходят на занятия сразу же после чистки хлева, то это вовсе не традиция.

— О-хо-хо! — вздохнул Жангали. — Совсем невмоготу стало жить...

Впрочем, «обувная реформа», как назвал новую кампанию историк, прошла довольно безболезненно. Один Жангали сопротивлялся некоторое время, вызывающе вышагивая по школе в огромных, двухпудовых катанках и утверждая, что они ничуть не влияют на качество его уроков, однако со временем, оказавшись в гордом одиночестве, он почувствовал себя, должно быть, не совсем уютно

и вскоре, сопровождаемый ухмылками коллег и учеников, начал ходить по классам в непостижимо громадных кедах на толстой, как шины памятного «студебеккера», — подошве.

Да-а... что там говорить, много новшеств принес с собой в школу молодой преподаватель английского языка!

Правда, скоро стали замечать, что Ельтай Каримович более горазд на выдумки и предложения, чем на их претворение в жизнь. Он был мягок и уступчив, к тому же сообразил, что не стоит перечить аксакалам, иногда проще и удобней им потакать. В ауле его приняли, полюбили, приглашали, как водится, на все пиршества, и он не отказывался, никого не чурался, в гостях ел и пил мало (и Жангали добродушно пошучивал, что, дескать, у молодого учителя кишка тонка), зато пел и много и громко, и притом не какие-нибудь там «а-ляу-ляй», которые горланят все кому не лень, а непременно арии из «Кыз-Жибек» и «Ер-Таргын». Был он холост, жил на квартире у колхозного кузнеца, с утра до вечера пропадал в школе, ибо часов было много: он являлся единственным «иностранцем» на всю среднюю школу.

Приметы будущей метаморфозы проявлялись в молодом учителе все явственней, и — увы! — старый скептик Жангали оказался прав: пороху хватило не надолго.

Уже на второй год Хакимов заскучал, потускнел, все чаще жаловался на быт, на среду, на тусклые аульные будни, в которых бесследно растворяются благородные порывы. Изменился Хакимов, изменилась и походка, лишившись былой легкости и стремительности; не развевались, как прежде, фалды макинтоша, пообвисли края фетровой шляпы. «Уеду, уеду, — твердил он, — в город, а может, и за границу, устроюсь переводчиком, может, даже поступлю на дипломатическую службу». Он чувствовал на себе осуждающий взгляд Варвары Петровны, разочаровавшейся в его джентльменстве, и видел, что у учащихся на его уроках все реже загорались глаза. Петь на вечеринках он стал меньше и тише, зато ел и пил больше, пристрастился к преферансу, становившемуся весьма модным развлечением в аулах, и после изнурительных ночных бдений приходил в школу наутро усталым и раздражительным. «Оу, оу, милок, — ухмылялся Жангали, — куда подевались

пои... э, простите, ваши, Ельтай Каримович, передовые педагогические воззрения?» Изредка молодой учитель все то стряхивал с себя скуку, давал блестящие показательные открытые уроки, выступая на кустовых совещаниях, ставил спектакли к торжественным дням, выезжал с самодеятельностью в район. Но желанной славы не было, и восхищение им быстро проходило, а иные даже ухмылялись, дескать, что ему, молодому да холостому, еще делать, как ни забавлять честной народ, как ни тешить себя разными придумками, и тогда чудилось, что его не понимают, не ценят, что никому не нужны его стремления, что никто по-настоящему его не поддерживает. Опускались руки, и холостяцкий быт удручал все заметнее. Кружок он вел уже кое-как, по обязанности. На него не хватало ни сил, ни времени. Потянулись однообразные дни от звонка до звонка, от урока к уроку, от одной четверти к другой. Поскучнел и отучнел Ельтай Каримович, все охотнее уступал часы свои словесникам и математикам для консультаций и контрольных работ, все реже говорил по-английски и с тоской всем рассказывал, что был глуп, ой как глуп, что мог, — честное слово, мог! — уйти на дипломатическую работу, была такая возможность, но ничего, ничего, еще, может, повезет, еще уйдет, непременно даже уйдет, вот только доработает этот год, и все, все, все, поминай как звали. Но проходил год, и другой, и еще год, а он все продолжал ходить в школу, как на опостылевшую службу, и оживлялся лишь на вечеринках, когда видел тусклый отблеск винных бутылок и чувствовал душистый запах жирной баранины. На педсоветах он забивался в угол за кадкой с фикусом, ничего уже не предлагал, а если и предлагал, то, главным образом, соблюдать регламент и не забывать о перерыве. «Ну, встряхнитесь, — шептала ему Варвара Петровна. — Возьмите же себя в руки. Вы же способный человек!» Он вздыхал, печально закатывал глаза, пытался шутить: «Эх, милая Варвара Петровна... Укатали сивку крутые горки...»

На четвертый год работы в ауле Хакимов женился, просто неожиданно привез — по совету аксакалов — молоденькую учительницу начальной школы из соседнего колхоза, построил с помощью аулчан дом, завел хозяйство и о дипломатической работе больше не заикался. Теперь он зажил как все и был вполне доволен...

III

В учительской, как всегда перед уроками, было оживленно. Завуч, изогнувшись вопросительным знаком над своим столом, придирчиво просматривал чьи-то планы; Варвара Петровна по обыкновению проверяла тетради и, косясь на часы, приговаривала: «Ой, не успею! Не успею!..»; Жангали у окна мрачно попыхивал трубкой; человек пять шумно обсуждали у шахматной доски какой-то эндшпиль; пионервожатая, дежурная сегодня в первую смену, изучала расписание и прикидывала, все ли журналы и учителя на месте; а Айсулу Канышевна, громкоголосая говорунья, загнав биолога в угол, в который уже раз рассказывала про своего бывшего ученика-любимчика Сапара Ныгметова:

— Вот и директор, и Жангали, и Самат говорят мне: «Ты, Айсулу, больше хвастаешься своим Сапаром. А он просто зубрила, ни бельмеса не знает!» Мой ученик, мой воспитанник — да ничего не знает! Мой Сапар — зубрила! «Пойдемте, — говорю, — на экзамен. Мой Сапар вам покажет. Возьмет любой билет и соловьем зальется. Да, да, да! Только рты разинете». Не верят математики. Ну, затащила я их на экзамен и первым вызвала Сапара. Он чуть оробел, берет билет и садится готовиться. «Сапар! — говорю. — Отвечай сразу!»

Жангали у окна хмыкнул. Биолог, воспользовавшись паузой, попытался было выбраться из угла, чтобы выразить свое мнение по поводу эндшпиля, но Айсулу Канышевна схватила его на всякий случай за обшлаг. Эту историю знали в школе все, даже технички и сторож, но гордость учительницы была слишком велика, чтобы не говорить о своем выдающемся ученике снова и снова.

— Э, нет!.. Так мат в два хода, — шумели у доски.

— Боже, не успею... — шептала Варвара Петровна и морщилась, исправляя ошибки в тетрадках.

— Так вот, — громко продолжала Айсулу Канышевна, — мой Сапарчик читает вопрос и начинает говорить. О-о! Это надо было слышать! Он говорит и говорит, чертит, рисует, доказывает, формулами так и сыплет. Смотрю: притихли мои оппоненты. Даже Жангали-ага не ухмыляется. «Сапар, — говорю, — докажи еще одним способом». И Сапар опять начинает. Он говорил целый час...

- Какой там час? — буркнул Жангали. — Минуты три что-то мямлил.

- Мямлил?! — Айсулу Канышевна побелела и, оставив биолога, ринулась к математику: — Три минуты?! Да как вы смеете, Жангали-ага!.. Он, Сапарчик мой, говорил вдохновенно целый час... ну, пусть полчаса. Вон у Самата спросите!

— Мат, говорю я вам! — сказал у доски Самат.

— Господи, ошибок-то, ошибок, — простонала Варвара Петровна.

— Вам просто завидно! У вас никогда не было таких учеников!

— Ну почему же? Он ведь, милая Айсулу Канышевна, у меня два года проучился, между прочим. Так что...

— А фундамент кто заложил? То-то же! Вы на готовое пришли. Сапар мой еще в восьмом классе знал всю школьную программу. Вот!

Айсулу Канышевна возмущенно отвернулась и направилась к ящику с мелом.

— А почему вы... э-э-э... Айсулу Канышевна, вдруг ученика своего вспомнили? — поинтересовался завуч, на мгновение оторвавшись от планов.

— Как? Вы разве не знаете?

— Что?

— Он диссертацию ведь защитил в Казани и сегодня приедет к отцу. Да!

— Хм-м... Тогда, первым долгом, следует поздравить вас...

Все бросились к Айсулу Канышевне пожать руку, и... она вся вспыхнула от гордости и счастья.

Прозвенел звонок, и завуч первым взял журнал, карту и указку и отправился в класс. Вслед за ним с огромной кипой тетрадей вышла Варвара Петровна.

«О аллах, кажется, пронесло, — облегченно вздохнул Ельтай Каримович. Все это время он простоял за печкой с независимым, безразличным видом на лице и незаметно следил за завучем. — Ух, пронесло! Сегодня уж этот хиляк плана не потребует».

— Был звонок, — напомнила дежурная.

Ельтай Каримович вышел из своего укрытия и раза два озабоченно прошелся по учительской. Жангали, щурясь,

глянул на него с высоты своего громадного роста и выпустил разом целое облачко сизого дыма.

— Что такой смурной?

— Да голова трещит... сегодня, Жаке, ничего... это... не предвидится, что ли?

— Как же? Вон списки лежат.

Математик кивнул на стол и, схватив со шкафа деревянный циркуль, вышел.

Приглашали двое: главный агроном на день рождения дочери-десятиклассницы, кандидатки на медаль, и секретарь аулсовета по случаю благополучного разрешения супруги очередным ребенком. В ауле, приглашая учителей, составляли обычно список, и каждый учитель ставил против своей фамилии подпись в знак согласия участвовать в пиршестве. Списки потом передавались школьному бухгалтеру, и тот с очередной получки честно высчитывал — в зависимости от важности отмечаемого события — от пяти до десяти рублей за каждое приглашение. Сбор — то ли как подарок, то ли как единовременное пособие — вручали потом хозяину пира. Так как приглашений накапливалось довольно много, то в день зарплаты раздавались возмущения, слышались протесты, но таков был аульный обычай, бог весть когда и кем выдуманный, и никто не осмеливался решительно восстать против него, ибо это могло расцениваться как заурядное скупердяйство.

— Агай, время-то идет. А у вас в девятом «Б» урок, — предупредила дежурная.

— Ай... знаю, — отмахнулся Ельтай Каримович.

Он взял первый список, на верхнюю часть его даже не взглянул, там, ясное дело, идет начальство, директор, завучи, главные предметники; он поискал себя ниже, ниже, еще ниже и оскорбился, увидев свою фамилию двадцать шестой. Ниже указывались только завхоз и школьный сторож. Во втором списке он оказался на пять ступенек выше, и это его сразу успокоило. Он расписался — в первом списке нарочито коряво, размашисто, с подчеркнутым возмущением, во втором — аккуратней, с достоинством, — посмотрел, на какое число приглашают, и опять расстроился: сегодняшний вечер оказался незанятым. Он сел, закурил, и наблюдавшая за ним дежурная сверкнула на него глазами, демонстративно швырнула на стол журнал и выбежала

из учительской. Ельтай Каримович курил и соображал, к кому сегодня податься. Дежурная вернулась через три минуты.

— Да идите же, наконец, в класс! Ваши там на головах ходят.

— А тебе-то что?

— Я подам на вас рапорт!

— Ой-ой-ой... Тебе замуж надо, а не на интеллигентных людей голос повышать. «Рапорт»!..

Он схватил журнал и медленной перевалочкой пошел по коридору. «Идет!.. Идет!» — донеслось из класса. Балдеж был в самом разгаре. Пыль стояла, как на колхозном току во время страды. Представители прекрасной и сильной половин рода человеческого из девятого «Б», к взаимному удовольствию, устроили в углу за печкой-голландкой потешную баталию. Разгоряченные, растрепанные, все с досадой глянули на учителя и покорно расселись по партам.

— Эй, староста! Ныгметов! Брат твой, что ли, диссертацию защитил?

— Ну-у! — тряхнул головой Ныгметов-младший.

— Э... выходит, у вас большой той?.. Сам-то он когда приедет?

— Уже приехал. Ночью.

— Что ты говоришь?! — Ельтай Каримович встрепенулся. — Слушайте, чилдрен[1]. Неужели вы думаете, что я могу работать в такой пыли, а? Приведите себя в порядок. Я сейчас...

Оставив журнал на столе, Ельтай Каримович вышел и постучал в дверь девятого «А».

— Физкультпривет!

— Салем! — хмуро отозвался Бейсен в спортивном трико. — Что случилось?

— У тебя сегодня сколько уроков?

— В первой смене три.

— Подряд?

— С окном.

— Слышал: Сапар приехал. Ну, этот... ученый-то наш. Ныгметов. Надо бы сходить.

— Когда?

---

[1] Дети (англ.).

— Давай после пятого урока. Сходим, поздравим. А то повалят потом всем аулом. Не посидишь, не поговоришь. Может, перепадет кое-что. Не с пустым же коржуном, надо полагать, новоиспеченный кандитат приехал.

— Ладно.

А девятый «Б» в это время, столпившись вокруг стола, изучал классный журнал. И опять некстати вспугнул учащихся Ельтай Каримович.

— Эх, и дисциплинка же у вас! Распустил вас, я вижу, классный руководитель. Ладно, давайте-ка поработаем в темпе. Откройте учебник, все, все, все, и примитесь за упражнение.

— Какое?

— Как «какое»? В последний раз какое писали?

— Сто двадцать седьмое.

— Ну, так, значит, приступайте к сто двадцать восьмому.

— А что делать?

— Переписывать текст и подчеркнуть подлежащее одной чертой, сказуемое — двумя.

— Всё подлежащее да сказуемое... Надоело, — проворчал староста.

— Эй, Ныгметов! — наставительно сказал Ельтай Каримович. — Больно ты умный стал. Пойми, дорогой, подлежащее и сказуемое — не только главные члены предложения, но и главное в жизни. Запомни раз и навсегда! Понял?

Зашелестели тетради, заскрипели перья... На большой перемене Ельтая Каримовича подозвал к своему столу завуч:

— Покажите... э-э-э... пожалуйста, ваш план...

Ельтай Каримович скривился, поискал глазами дежурную. Неужели выдала, пожаловалась?.. Или этот доходяга, бедный червь методики сам что-то пронюхал?

— Воспитательный? — с надеждой спросил Ельтай Каримович. — Или календарный?

— Поурочный, — очень внятно уточнил завуч.

— Знаете... — Ельтай Каримович затравленно оглянулся по сторонам, как бы ища поддержки. — Знаете, Кареке, я... это самое... без плана сегодня...

— Как?! — Завуч удивленно вскинул бровь.

— Нет... я хотел сказать... не вовсе без плана. План хе... конечно, есть. Только я его не писал. Конец четверти... повторение... знаете...

— Но... повторение разве не урок? Я, кажется, однажды уже предупреждал вас...

— Да, Кареке, совершенно верно, предупреждали. Но войдите же в положение. Я без малого пятнадцать лет преподаю. Пятнадцать! Вся программа у меня вот в этой башке. Как гвоздь сидит! Ночью разбудите — как на блюдечке преподнесу. Ну, скажите, зачем мне урочный план? Зачем?!..

— Оставьте. Вон Жангали... э-э-э... Арынович почти сорок лет преподает, еще и... э-э-э... вас на свете не было, к тому же... э-э-э... отличник просвещения, а без урочного плана и в класс не войдет.

— Ойбай-ау, Кареке, у него ведь задачки, формулы, чертежи, а у меня что... «гуд монинг, чилдрен, — гуд бай», и все.

— Тридцать часов в неделю, и все — «гуд бай»?

— Так все классы ведь по одной программе занимаются.

— Словом, к уроку вы сегодня... э-э-э... не готовы, и надеюсь... э-э-э...

— Понял, Кареке. Все понял... Если вам, Кареке, так нужны мои планы, что ж...

— Не мне — вам они нужны! — отрезал завуч. Обиженный Ельтай Каримович отошел к окну, где,попыхивая трубкой, стоял Жангали.

— Вы слышали, Жаке, слышали? — зашептал он. — Как этот зануда, этот хиляк-формалист меня отжучил, а? Поурочный план требует, а?!

Математик насмешливо глянул сверху вниз:

— Хочешь, научу, чтобы у тебя всегда был план?

— Ой, алла, как это? Конечно, хочу.

— Ну, так слушай... — Математик начал колотить трубкой о подоконник, вздымая пепел. — Напиши... Конечно, когда голова не болит...

— Ойпырмай, можно же без намеков, Жаке!

— Напиши, значит, подробный план, а число не ставь. Соображаешь? И ходи себе гусак гусаком, будто жена твоя сыном разродилась. Ни завуч, ни директор в твоих «чилдрен-милдрен» ничего не смыслят. Верно? Начнут

проверять план — пожалуйста. Ставь нужное число и сунь им под нос. Они подпишут, еще и похвалят. И арба не поломается, и бык не подохнет.

— Ну, Жаке, вы гений! Как я это раньше не знал?

— Чего не знал? Что я гений?

— Нет. Что вы гений, знаю давно. А скажите... вы тоже так?

— Это тебя, брат, не касается. Тягалась жаба с быком и лопнула. Я дал совет, а ты поступай как хочешь.

— Спасибо, Жаке. Надоумили.

В это время раздался звонок, и Ельтай Каримович, покосившись на завуча, схватил журнал и поспешно вышел из учительской.

IV

Старый Ныгмет помахивал метлой неторопливо, то дело останавливался, крякал, поглаживал бородку и благодарил всевышнего за все блага, которые тот ему ниспослал. Старик был счастлив: ночью приехал сын, старший из оставшихся в живых, приехал из города братьев татар, где — как толковал вчера непутевый Бекен — он защитил какой-то ученый труд. От кого защитил и что за труд — старый Ныгмет не знал, да и не интересовался. Сын здоров, бодр, живет в самой Алма-Ате, и с работой, видно, все ладится — что же еще? Сыном старик гордился. Сапара любили в ауле: он приезжал почти каждый год, то один, то с женой и сынишкой, обходил, как водится, всех почтенных людей, да и к нему с салемом валили все аулчане от шестидесятилетнего старца до шестилетнего мальца. Старый Ныгмет гордо и степенно принимал поздравления, не забывал помянуть создателя, а потом сам резал овцу и приглашал первым долгом стариков, а после — друзей, приятелей, сверстников сына. Вот и сегодня, поговорив за утренним чаем с сыном, расспросив о здоровье внука и снохи, он отправился во двор, чтобы немного прибрать к приходу поздравителей.

Первыми пришли учителя Ельтай и Бейсен.

— Ассалаумагалейку-у-ум! — еще издали в один голос затянули они. — С радостью вас, аксакал!

— Э, проходите, детки мои... Дома Сапаржан, дома...

Поздравив и старуху Балшекер с приездом сына, гости разулись, разделись в прихожей и прошли в просторную гостевую.

Сапар читал на диване. Стол в середине был завален журналами, толстенными тетрадями, изящными записными книжками, наборами карандашей и ручек; на комоде, этажерке стопками лежали разноцветные пачки сигарет с нерусскими названиями; на спинке стула висели костюм, пиджак, свитер, будто связанный из веревок; у кровати стояли чемодан и пузатый, в блестящих медных бляшках саквояж. Гостевая уже успела пропитаться табачным духом.

Сапар вскочил, бросился к приятелям, обнял их. Посыпались возгласы, шутки, остроты.

Сапар окончил школу как раз в том году, когда приехал в аул Ельтай Хакимов. Решив год поработать, Сапар устроился лаборантом в школе, где недавний выпускник и молодой учитель быстро сблизились, подружились и, несмотря на заметную разницу в возрасте, перешли на «ты». Потом пути-дороги их разошлись, дружба, естественно, поблекла, но приятельские отношения сохранились.

— А ну-ка, рассказывай, гулам-ученый.

Живо, с легкой усмешкой поведал Сапар столичные новости, институтские дела, рассказал о защите диссертации.

— Словом, у меня все прекрасно. А вы-то как тут поживаете? — Сапар щелчком выстрелил из блестящей обертки длинную белохвостую сигарету.

— Да так... потихоньку, — улыбнулся Бейсен. Ельтай поморщился.

— Ой, Сапар-ау, мы разве живем? Прозябаем! Сам знаешь, какой удел у сельской интеллигенции. Одни заботы. Сено доставай. Дрова доставай. Детей корми. Бабу одевай. Согум добывай. Вот оно, наше житье... А зимой и вовсе как волки. Утром встал, скотину накормил, в школу пошел. Уроки отбарабанил, домой пришел, опять скотину накорми, — спать завалился. Ну, иногда, бывает, бесбармачим, преферансом балуемся.

— Это уж регулярно, — усмехнулся Бейсен.

— Сгущаешь краски небось, — заметил Сапар. — А сколько у тебя детей, Ельтай?

— Пятый, думаю, в проекте.

— Ого! Эдак скоро отцом-героем станешь.

— На зависть иным городским.

— Ну, само собой. У нас ведь не тот бесбармак!

— А что делать? — развел руками Ельтай. — Сам посуди: театров нет, кафе-ресторанов нет. В клубе от холода и скуки околеешь.

— Кто мешает? Натопи и веселись.

— Ойбой! Тебе говорить легко... А у нас некому культурой заниматься. Некому и некогда. Совхозное начальство? Оно в своих планах и обязательствах по уши погрязло.

— Ну, нагнал тучи черные. Слыхал я этот а-ляу-ляй... Веселья, думаю, и в школе хватает.

— Сказал! Пай-пай-пай... Там одни формалисты. Раньше, еще при тебе, помнишь?., хоть один завуч нервы трепал, а нынче их развелось целая стая. И каждый тормошит тебя. План подавай, кружком руководи, лекции читай, политзанятия посещай, а там еще этика-метика-эстетика, семинары, совещания... Ой-бой-бой!..

— Вижу, не в духе ты, Ельтай... Мы там об ауле вздыхаем, сны видим, песни поем, а ты...

— Хм-м... песни петь — хорошо. А сам, небось, из аула — фьють! В академию подался... Тебе из-под коровы не убирать, глину не месить, не торчать всю жизнь с утра до вечера в опостылевшей школе... Здесь тоже запоешь, да по-другому.

— Ну, заладил. Ипохондрик ты!.. Апа! — крикнул Сапар матери. — Принеси нам что-нибудь.

— Сейчас, айналайн, — тут же отозвалась Балшекер. — Я чай готовлю.

— Не надо чаю, апа. Нам закуску какую-нибудь... — Сапар порылся в чемодане, достал бутылку рома со множеством наклеек. — Сейчас, Ельтай, попробую развеять твою хмурь.

— Похвальное намерение! — Ельтай оценивающе ощупал взглядом пузатую бутыль. — Ты прав, Сапар. В тоске я пребываю. Душу раскрыть, понимаешь, некому. Вот ты меня знаешь. Я ведь не то что наш хиляк-завуч, зануда грешный. Если я возьмусь за дело, о-го-го! Все переверну.

— Ну, так я помню. Было время — ты всю школу всколыхнул. Жаль: недолго это продолжалось.

- Вот, вот! Потому что понял я: ни к чему! Кто тебя поймет? Кто оценит? Из кожи лезь — сам же дураком оказешься. Ай, что там...

Балшекер принесла большую тарелку с холодной бараниной и шужуком, тускло отливавшим янтарным жиром, и миску пышных, с нежным румянцем баурсаков. Сапар откупорил бутылку и разлил светло-коричневую жидкость по стаканам осторожно, по стенке, и стало сразу так тихо-тихо, что слышалось звонкое, чистое: бульк... бульк... бульк...

Выпили, прислушались, почмокали. Сапар закурил, повернулся к Бейсену:

— А ты все такой же? Молчишь и молчишь. У тебя-то как?

— Хорошо...

Бейсен воспитывался в интернате и еще в школе слыл тихоней и молчуном. Десятилетку он окончил двумя годами позже Сапара и удивил сверстников тем, что, будучи хилым, болезненным, робким, поступил вдруг в институт физкультуры. В аул он вернулся через пять лет, окрепшим, стройным, подтянутым, но по-прежнему молчаливым и тихим. Он был первым квалифицированным преподавателем физкультуры в аульной школе. До него физкультуру преподавали все, кому не хватало часов, и Жангали, бывало, шутил: «В этом ауле, кроме меня, все физкультурники».

— Знаешь, — оживился Бейсен. — Ребята увлеклись спортом. Прямо поражаюсь. Пять перворазрядников. По волейболу второй год первое место в районе. Есть бегуны, прыгуны. Даже гимнастки, представляешь! Вот только зала нет.

— Смотри-ка! А школу достроят — и зал у тебя будет.

— Тогда заживем... А я... — Бейсен опять смутился. — Я рад за тебя... очень.

— Спасибо. Значит, и разрядники есть?

— Вместе с шахматистами тридцать восемь человек.

— Ай да молчун! Видел, Ельтай?

— Да молодой он, просто еще скачет, как разгоряченный стригунок в байге.

Заговорили о трудностях учительской профессии, особенно в селе, в аулах, о том, как сильно учитель должен любить свое дело, быть мужественным, стойким, бескорыстным, терпеливым и честным, иначе засосет, непременно

засосет бытовая муть. Сапар раскраснелся, высмеивал неопатию — яркие лохмотья обывателя, методоманию, неуемное экспериментаторство в современной педагогике, повальное увлечение формой при отсутствии глубинной, первоначальной сути. Сапар еще до института работал в школе, три года учительствовал и до аспирантуры, и школьная тема ему была близка и дорога. Бейсен жадно слушал, поддакивал, восклицал: «Ай, верно! Правильно! Точно!» — и все норовил приводить примеры из своей практики. Ельтай в одиночку смаковал ром, дожевал последний баурсак.

— Все, что ты изрек сейчас, Сапар, в принципе правильно. И про мужество, и про терпение, и про это — как это? — бескорыстие — все верно. Только ты это другим рассказывай... Мы-то знаем всю эту... хурду-мурду.

Сапар на мгновение растерялся.

— Вздор! — сказал он жестко. — Если есть цель и желание, всегда можно себя проявить. Примеры рядом: вон Жаке, Жангали Арынович. Да мы все ему обязаны, все! А Варвара Петровна? Почему-то ее порывы аульный быт не тушит. Да бери хотя бы вот Бейсена...

— Ай, хватит, не агитируй... — Ельтай принялся листать журнал.

Сапар скользнул по приятелю взглядом и усмехнулся:

— Знаешь, кого я сейчас вспомнил? Старика Хасена, кузнеца. Он всегда говорил: «Хуже нет, когда потеряешь ось». Это было его присловьем. «Из него толка не выйдет: он без оси». «Наш бригадир потерял ось». Помнишь?.. А прав был покойный. Видно, у каждого должна быть своя ось. Так вот, мне чудится, что ты, Ельтай, потерял ее. А может, сломалась она у тебя. А потому тебе все опостылело. Живешь — будто на отмели барахтаешься. И даже не барахтаешься, а просто лежишь.

— Оу, оу! А не кажется ли тебе, что оскорбляешь? Разве гостя, да еще старшего по годам, так встречают?

— Извини, конечно... Я так, по-дружески...

— Ничего себе «по-дружески»! Лишку-то на себя не бери. Ты, конечно, высоко поднялся, но это не значит, что все остальные на отмели.

— Ну, прости. Просто к слову пришлось...

— Ладно, замнем. Достаточно, что наш завуч-зануда из меня, как из кошмы, пыль выколачивает.

Беседа погасла, и Бейсен, поерзав, вспомнил про какие-то спешные дела, и тогда гости встали, поблагодарили за угощение и ушли.

V

Дома Ельтай, сын Карима, облачился в просторный вельветовый домашний костюм, сшитый аульной портнихой, и плюхнулся было на диван, чтобы вздремнуть, но тут черным призраком выросла на пороге теща и напомнила, что у нее болит поясница, а скотина еще не поена. Проклиная судьбу, тещину поясницу, а заодно и интернат, в котором день-деньской пропадала жена, он встал, напялил полушубок, ноги сунул в валенки и, прихватив ведро, отправился в сарай.

Сначала он выпустил овец — они тотчас рысцой зацокали к колодцу, — потом Зойку с бычком-забиякой, а кобылу-любимицу повел на поводу. Ею, статной, ухоженной, тугобрюхой, Ельтай гордился больше всего. Когда одно время уж больно строго начали сокращать личное поголовье и многим аулчанам пришлось поневоле расстаться с кобылицами, Ельтай Каримович проявил бурную деятельность, строчил десятки заявлений в район, в область, редакции и министерства, писал, что у него большая семья, что любимая жена страдает туберкулезом, что без кумыса могут заболеть и дети, и он, что теща стара и больна и к тому же двое ее сыновей погибли смертью храбрых на войне за родину. На время он отвел кобылу к родственникам на отгонном участке, и в конце концов, после долгих мытарств и упорства, достойных истинного джигита, он все-таки отстоял родную животину, уговорил председателя аулсовета записать ее на тещу, будто живет она отдельной семьей, и торжественно пригнал пегую назад. К тому времени в ауле начали забывать вкус настоящего кумыса, все более довольствуясь дальним его родичем на совхозной молочарне, который весьма напоминал заурядный прокисший айран, разбавленный водицей, и Ельтай, развалившись на диване в учительской, не подавлял благородную отрыжку, а обстоятельно рассказывал, что теща его делает не кумыс, а райский напиток, зажигающий огонь в жилах. Прогуливаться по аулу с кобылой на поводу было для Ельтая высшим удовольствием.

Тропинка к колодцу вела мимо школы. Ельтай Каримович знал, что в учительской сейчас кто-нибудь стоит у окна и смотрит на него, на его тучных, одна к одной, овец, на корову, на бычка, на кобылу и тот, кто смотрит, непременно подумает: «Живет Ельтай! Не тужит Ельтай! Мясо ест и кумыс пьет Ельтай! И часов у него хоть отбавляй. Ох, и жук Ельтай!» Э, да пусть от зависти у всех нутро сгорит! От этой мысли стало Ельтаю хорошо-хорошо, и он громко прикрикнул на отбившегося в сторону козла:

— Чек! Чек, эй! Че-ек!..

Козел мотнул головой и послушно пошел по тропинке.

Над колодцем курился пар. Овцы плотно обступили обледеневшую колоду; Зойка степенно стала позади, дожидаясь своей очереди; вокруг игриво взбрыкивал бычок. Первое ведро воды Ельтай поднес кобыле, и она, пофыркивая и вздрагивая ноздрями, отпила половину, потом вскинула морду, пожевала мокрыми губами. Ельтай с нежностью глядел на нее, и пегая, отдохнув, снизошла до мольбы хозяина, втянула еще глоток-другой и отошла, чтоб всласть поваляться на чистом снегу. Овцы быстро напились из колоды и, поеживаясь, потрусили домой. Корова пила долго, почти не отрываясь, и, когда Ельтай наливал ей второе ведро, со стороны школы прибежала школьная техничка.

— Ельтай Каримович, завуч зовет.

— Соскучился, что ли?

— Не знаю. Пусть, говорит, обязательно зайдет.

— Ладно.

Что еще ему понадобилось? Стенная газета? Новогодний вечер? План работы на время каникул? У-у-у!..

Подпрыгивая, побежал назад бычок. С достоинством, клацая копытами, побрела корова.

Привязав кобылу у крыльца (любуйтесь, завидуйте!), Ельтай прямо в полушубке, в валенках, лисьем малахае ввалился в учительскую. Завуч, по обыкновению, склонился над своими бумагами, всецело погрузившись в дебри педагогики. Жангали, посасывая трубку, чертил что-то на ватмане, должно быть, изобретал каверзные задачки к олимпиаде. Увидев Ельтая, сощурился, пробасил:

— Что же кобылу сюда не завел?

— Боялся, что испугается вас и скинет, — огрызнулся Ельтай и направился к завучу: — Звали меня?

Завуч выпрямился, оглядел с ног до головы Ельтая.

Вот что... — заговорил он наконец. — Вам надлежит [illegible] каникулы... э-э-э... выехать в город на... э-э-э... [illegible] усовершенствования. На этот раз... э-э-э... обязательно.

Ельтай Каримович вытер малахаем вспотевший лоб.

Вы что? Некого больше посылать? Я что, единственный неусовершенствованный?! У меня диплом! У меня высшее образование! Я пятнадцать лет преподаю!

Усовершенствование никому не повредит. И вы... [illegible] не исключение. Предупреждаю: приказ районо!

Не поеду!.. У меня...

У вас диплом, у вас высшее образование, у вас...

Да, да! И еще у меня, между прочим, семья, дети... [illegible]

Знаем! — Завуч сжал губы. — Через два дня сдайте [illegible] четвертной отчет.

Ельтай Каримович повернулся и рванулся к двери, размахивая лисьим малахаем. Жангали вслед ему громко [illegible]кнул.

Кобыла с укоризной выставила на хозяина фиолетовый [illegible] и пошла за ним. Тут подвернулся ученик, и Ельтай Каримович передал ему повод, приказав отвести кобылу в сарай, накрыть попоной, подкинуть сенца, а сам направился в интернат. Алтын репетировала в пионерской комнате. Приоткрыв дверь, он поманил ее пальцем, но жена вышла не сразу, а когда вышла, обожгла взглядом.

— Когда домой-то заявишься? Или ты уже сюда переселилась?

— Поздно.

— Почему?!

— Видишь: репетирую. Праздник на носу, а ничего не получается.

— А тебе что, больше других надо? Тут несчастье, а она забавляется, репе... рети... репетирует!

— Какое несчастье?

— На усовершенствование посылают. Вот какое! На пятнадцать дней!

— Давно пора!

Она круто повернулась на каблучках, закрыла перед его носом дверь. Он опешил на миг, задохнулся от возмущения и, весь красный, ворвался в пионерскую. Ребята с недоумением уставились на него.

— Ельтай Каримович, — убийственно вежливо и спокойно проговорила Алтын, — не мешайте, пожалуйста, нам работать и закройте за собой дверь.

Он и вовсе обомлел, оторопел, но, к счастью, вдруг успел подумать, что, пожалуй, смешно, нелепо вот так, как истукан, в просторных вельветовых штанах, в полушубке и малахае, стоять перед учениками, перед женой, которая может еще и не так отбрить, осрамить, и потому самое лучшее — пересилить себя и, пока не поздно, ретироваться. «Ну, баба, подожди! Я тебе устрою репетицию! Посмотрим, кто еще закроет дверь!» — думал он, спеша домой.

Угасал короткий зимний день. Тусклые лучи точно пеленой подернутого солнца скользили по верхушкам деревьев. Из-за колка вынырнула стайка лыжников. Бейсен увидел его, издали помахал лыжной палкой.

Дома Ельтай сбросил полушубок, разогнал резвившихся в прихожей детей, швырнул в угол валенки, перепугав кота, и отправился на диван.

«Что за черный день сегодня? Что за жизнь? Почему все меня травят? В школе этот зануда преследует, Жангали вечно зубы скалит, и тот ученый, кандидат, подумаешь, про ось долдонит, а тут еще и собственная баба рожу воротит! Ей-то что надо? Верно говорят: когда враг хватает за ворот, собака цапает за подол...»

Он ворочался, ворочался на диване, вспоминая все обиды, все несправедливости, обрушившиеся на него, и незаметно забылся в дреме.

И приснилось ему, будто лежит он в вельветовом просторном костюме на отмели, и так ему хорошо, тепло и уютно, а на берегу бегают, суетятся какие-то людишки, и среди них, восседая за письменным столом, завуч протягивает ему поломанную тележную ось и грозно требует поурочный план...

1987 г.

МАРИНА, ПУПСИК И Я

Дочери Иринушке

Еще вечером зашел сосед, дедушка Ергали, и предупредил, что завтра наш черед пасти овец. Таков был порядок в ауле: овец пасли по очереди. На семейном совете Маришкин деда сказал, что с утра пораньше, до работы, пасти овец может он, а потом передает отару отпускникам. Мы с Мариной переглянусь, потому что мы и были этими самыми отпускниками.

Утром, когда Маришкин деда вернулся с выпаса, мы облачились в спортивные трико, нахлобучили наши шляпы-сомбреро, надели черные очки и, размахивая хворостинками, отправились к овцам. Я нес большую хозяйственную сумку, набитую разной снедью, а Марина — веселой расцветки зонт с белой костяной ручкой. Впереди нас деловито потрухивал Пупсик.

Отара — овцы и козы вперемешку — паслась на склоне оврага за колодцем. Трава росла здесь густая и сочная. Овцы пощипывали ее с удовольствием. Первым заметил нас большой долгомордый козел с темными полосками на щеках. Он дерзко задрал свою морду с острой жидковатой бороденкой и с любопытством уставился на нас выпуклыми зелеными глазами.

— Ишь, чумазый какой! — заметила Марина. — Наверное, и не умывался сегодня.

Пупсик, виляя хвостиком, подбежал к козлу, попытался было лизнуть его бородку, но Чумазый только тряхнул головой и продолжал на нас смотреть. «Тебя-то я знаю, — казалось, говорил он Пупсику, — а эти вот кто такие?»

Потешно взбрыкивая, подскочили к Чумазому козлята, застыли как вкопанные на мгновение, вылупили озорные глазенки. Насторожились и их матери. А вскоре уже и вся отара бесцеремонно, в упор разглядывала нас.

— Что это они, папа? — спросила Марина, невольно прижимаясь ко мне.

— Знакомятся с нами. Должно быть, таких пастухов, как мы с тобой, им видеть не приходилось.

Мы сняли черные очки, потом — сомбреро, и только тогда овцы снова принялись щипать траву. Подобрел и взгляд Чумазого. Косясь одним глазом на хворостину в моей руке, он даже хотел было подойти к нам, но вдруг передумал и отвернулся.

Мы устраиваемся на бугорке: отсюда лучше видна отара.

Некоторое время мы молча любуемся окрестностью. Как здесь тихо и уютно! Я очень люблю эти места: и наш маленький аул, и густой тугай вдоль берегов Ишима, и эти скромные березовые колки вокруг аула, и этот духмяный настой разнотравья, от которого так легко и просторно становится в груди. Все здесь мне любо: здесь я рос, водил мальчишечью ватагу, здесь впервые узнал, что в жизни есть и радость и горе. В последние годы я приезжаю сюда каждое лето вместе с Мариной, и мне очень хочется чтобы и она полюбила этот край. Я знаю: тот, кто с детства познал тихую мудрость лесов и беспредельную щедрость степей, и потом, когда вырастет, будет любить природу. Наверное, только тогда радостно жить на свете, когда у тебя есть родной аул, родная степь, укромный уголочек где-нибудь под тихим тальником на берегу речки.

Марина долго смотрит по сторонам, потом достает из сумки тетрадь и карандаши и начинает рисовать. На листе появляется продолговатый черный овал, над ним — две закорючки, снизу — нечто похожее на мочалку. От середины овала тянется длинная жирная линия, к ней прикрепляются снизу четыре палочки: две — спереди, две — сзади. «Что это может быть?» — думаю я, искоса наблюдая за Маришкиным творчеством. Но тут в середине овала появляются два красных кругляша, и я сразу же узнаю в этом чудовище нашего чумазого козла. Марина улыбается, хихикает довольно, показывая рисунок.

— Похож?

— Похож. Но почему глаза красные?

— А какие же?

— Ну, сероватые, зеленоватые, что ли...

— Нет, нет. Не спорь, пожалуйста. Красные у него глаза, — категорически заявляет Марина.

Я оглядываюсь, ищу козла, чтобы убедиться, какие же у него в самом деле глаза, но Чумазый отошел в сторону, взобрался на добела начищенный ветрами и солнцем валун и зорко стережет отару. Сколько в нем важности и властной спеси!

Теперь Марина рисует зеленую травку, а на ней — множество черных букашек. Их много-много, может быть, даже больше, чем овец в нашей отаре. Пупсик внимательно смотрит в тетрадь, следит за движением карандаша в руке Марины, но тайны живописи ему недоступны. Он начинает забавляться собственным хвостом. Откуда-то налетает оса, угрожающе гудит-зудит, кружится над Пупсиком. Щенок отчаянно вертит мордой, старается изловить незваную гостью, но куда там! Оса мгновенно исчезает, и Пупсик, задрав морду, смотрит ей вслед, начинает от досады лапой чесать ухо. Но оса вдруг опять выпархивает откуда-то сбоку, жужжит дразняще, вьется у самых Пупсиных глаз, и Пупсик уже волчком кружится под нею, щелкает зубами, визгливо скулит от злости.

Близится полдень. Неистово палит солнце. Тень от наших сомбреро становится совсем маленькой. Овцы пасутся все на том же месте, и только неугомонные козы то и дело норовят податься в сторону тенистого тугая.

— Чэк! Чэк! Эй! — резко кричу я, и козы послушно возвращаются в отару.

Жарко. Пупсик развалился рядом со мной, высунул длинный розовый язык, с кончика которого капает слюна, тяжело водит боками. Оса наконец оставила его в покое. Все вокруг постепенно голубеет, а небо становится все выше и все бледнее. Там, где ослепительно светит солнце, небо раскалено до белизны. Все погружается в голубоватую дымку. Смываются очертания предметов вокруг, странно-причудливо меняется все, то отдаляясь, то приближаясь, и дрожит горизонт, окутанный знойным маревом. Кажется, аул остался где-то далеко позади, и уже не слышно никаких звуков, кроме одной утомительно-однообразной звонкой песни, льющейся откуда-то с вышины. Тихо-тихо. Словно все замолкло, сомлело под жгучим солнцем. Даже в ушах звенит от такой тишины. Одни муравьи шебуршат в траве, суетятся, спешат по своим

нескончаемым делам. Марина уже не рисует. Тетрадь и карандаши отложила в сторону, и лежит теперь на животе под зонтом, подперев кулачками подбородок, смотрит задумчиво вдаль, туда, где в открытой ковыльной степи за оврагом плывут причудливые тени. Маринке чудится, что там, далеко-далеко, на волнах безбрежного моря плывут какие-то странные существа — не то верблюды, не то слоны. Они то исчезают, погружаясь в воду, то выныривают, появляются вновь. Они плывут сюда, к отаре, плывут-скользят стремительно, но никак не могут доплыть.

А там, за ними, бесконечно, до самого неба, тянутся голубоватые горы.

— Что это, папа? — словно откуда-то издали доносится голос Марины.

— Где?

— Вот там... шевелится.

— Это мираж.

— А что такое мираж?

— Мираж — это... это марево. Ну, как бы тебе сказать, призрак. Это только кажется, а на самом деле ничего нет. Понимаешь? Такое бывает в жаркий солнечный день.

Я думаю о том, как бы попроще и понятней объяснить Марине, что такое мираж. Она тоже больше ни о чем не спрашивает. То ли поняла, то ли решила, что я все равно не смогу объяснить толком.

К нам уже несколько раз вплотную подходил Чумазый, подолгу в упор смотрел на нас, а потом, мотая от досады головой, снова удалялся. Видно, хотелось Чумазому что-то сказать нам, а мы никак не могли его понять.

Я снова погружаюсь в чтение, а Марина все любуется затейливой игрой степного марева.

— Папа, а волки не придут?

— Нет, — отвечаю я рассеянно.

— А если придут?

— Не придут.

— А если все-таки придут? — не унимается Марина, и глаза ее расширяются от страха.

— Ну, если придут, наш Пупсик с любым волком справится.

Пупсик в ответ одобрительно машет хвостом.

Пупсик? Один?! — недоверчиво спрашивает Марина.

Почему один? Надо будет — Чумазый поможет.

Марина сразу же успокаивается. Что волк страшный и злой, она знает из сказок. А увидела впервые волка на сцене детского театра. Волк развязной походкой ходил по сцене, курил громадную трубку и, срывая с головы ярко-красный берет, почему-то хрипел: «Чао-чао, бамбино!» Хоть и страшен был тот волк, но Марина знала, что это и не волк вовсе, а папин друг, дядя Вена. Настоящего, живого волка Марина увидела прошлым летом в зоопарке. Шелудивый, худющий и совсем-совсем не страшный, он метался, поджав тощий хвост, из угла в угол клетки и лишь изредка невидяще поглядывая на толпу маленькими слезящимися глазами. Он был такой одинокий и несчастный, что Марина чуть не заплакала тогда от жалости. Сейчас она живо представила его и решила, что с таким волком Пупсик, пожалуй, справится и без помощи Чумазого.

Между тем козам окончательно надоело пастись на одном месте. Они начинают разбредаться. Низко свесив головы, пошли за ними и овцы. Мои окрики перестали действовать на них.

— Видно, пора поить отару, — говорю я Марине. Пока мы складывали наши вещи, отара рассыпалась.

Чумазый, гордо выставив свою бороденку, повел половину отары к оврагу. Несколько овец с ягнятами-сосунками подались в аул. Еще одна группа раскольников поспешила к кустам возле старицы. Мы с Мариной растерялись. Вот позор-то будет, если овцы в полдень притащатся в аул. А как быть, если эти проказницы-гуляки забредут в кусты? Их оттуда никакими силами потом не выгонишь. А что пришло в упрямую голову чумазого козла? Может, он решил податься к роднику в овраг?

Первым опомнился Пупсик. Он мигом догнал Чумазого, стал перед ним и начал лаять. Чумазый остановился, грозно мотнул головой, даже двинулся на Пупсика. Но Пупсик оказался не робкого десятка. Он залился звонким, сердитым лаем и решительно преградил Чумазому путь. Козел постоял в недоумении, подумал, как быть дальше, и нехотя повернул назад.

— Ну и Пупсик! Ай да молодец! — воскликнула Марина.

Мы сразу же приободрились. Марина, размахивая хворостиной, побежала за теми овцами, которые решили на обед завернуть в аул. Я кинулся к кустам, но немного опоздал: несколько коз успели юркнуть в кусты. Пока я гнался за ними, исчезли в кустах и остальные. Ох, и началась тут суматоха! На помощь мне бросился Пупсик. Он метался в кустах, яростно лаял, стараясь выгнать на открытую поляну разгулявшихся коз, но все тщетно. Наш добрый, услужливый Пупсик больше мешал, чем помогал. Напуганные его лаем овцы шарахались из стороны в сторону, козы же разбежались.

Тут подоспела и Марина. Втроем мы быстро управились с овцами: пригнали их к Чумазому, и теперь они с вышины холма с любопытством наблюдали за нашей возней. С расшалившимися козами не было никакого сладу. Ветки кустов и колючки исцарапали, иссекли наши руки и лица, мы спотыкались о кочки, проклиная непослушных коз, над нами роем кружились встревоженные осы, липкий пот заливал глаза. Пупсик прямо-таки осатанел от злости. Больше часу мы рыскали в зарослях, и когда уже выбились из сил, козы наконец сжалились над нами. Они вдруг сами выбрались из кустов, подошли к овцам, спокойно дожидавшимся их на бугре, и мы погнали всю отару к водопою. Пупсик победно вилял хвостом и улыбался нам во весь свой собачий рот, а нам с Мариной было не до улыбок. Мы понуро плелись позади, волоча обломанные хворостины.

Пологий берег старицы был весь истыкан овечьими и коровьими копытами. Толкаясь и мешая друг другу, ринулись овцы к воде и пили долго, с наслаждением. Пупсик побежал к противоположному берегу, густо заросшему кугой и осокой, и бухнулся в воду.

Напившись, овцы цепочкой потянулись к камням недалеко от старицы и улеглись отдыхать. Чумазый забрался на самую верхушку громадного валуна и замер, словно изваяние.

— Наверное, у них тихий час, — сказала Марина.

Мы расположились под боярышником, одиноко росшим возле камней. Теперь можно и пообедать.

Чего только не наложила Маришкина бабушка в нашу сумку! Тут и хлеб, и зеленый лучок, и яички, и масло и холодная баранина, и пухлые, мягкие пончики. Мы раскладываем все это богатство на полотенце и принимаемся за трапезу. Едим неторопливо, со смаком и удивляемся, до чего же все это вкусно. Пупсик тоже получает свою порцию: кусочек мяса и ломтик хлеба. Ест сдержанно, с достоинством, как и полагается настоящему труженику. А потом мы пьем кумыс, холодный, пахучий, прямо из термоса.

— А когда коз доят, кумыс или молоко получается? — спрашивает Марина.

— Молоко, — улыбаюсь я.

— А кумыс, когда лошадок доят?

— Потом из этого молока делают кумыс.

Больше ни о чем Марина не спрашивает. После обеда и прохладного кумыса ее клонит ко сну. Она стелет на травку газету и укладывается спать в негустой тени боярышника.

— Я немножко вздремну. Как кончится тихий час у овечек, разбуди. Ладно?

— Ладно. Спи.

...Спит Марина. Дремлет Пупсик, отдыхает отара. Кажется, все вокруг погрузилось в послеобеденный сон. Даже солнце будто бы застыло на самой-самой вышине, сомлев от жары и духоты. На валуне неподвижно стоит Чумазый. Какой у него надменный, величественный вид!

Первыми просыпаются козлята. Они начинают резвиться, скакать, прыгать с камня на камень. Со своего пьедестала спускается Чумазый. Тяжело поднимаются овцы. И опять принимаются щипать траву.

Приближается вечер. Солнце, измученное жарой, обессиленно повисло над Ишимом. Свежестью потянуло из оврага. Пора еще раз поить отару.

С водопоя возвращаемся не спеша. На этот раз все обошлось без приключений. Еще часок пасем отару на лужайке за колодцем. При вечерней прохладе овцы не в силах оторваться от нежной травы. Даже козлята-забияки и те как-то притихают. Чумазый все чаще смотрит в сторону аула, ждет, когда хозяева придут и разберут его подопечных.

А вот и малышня выкатывается нам навстречу: тут и пешие, и на велосипедах, и на стригунках. От всех домов спешат хозяйки, ковыляют старики. Надо успеть вовремя. А то разбредутся овцы, беги, ищи потом по всему аулу. Криком, гвалтом, свистом, блеянием оглашает аул.

Тугощекая молодка, на бегу поправляя сползающий платок, радостно кивает и улыбается Марине.

— Маладес, пастух-кизимка! Балшой расти.

И, спотыкаясь, спеша, загоняет овец во двор. За оградой, у двери дома, самодовольно дымит самовар. На его крутом боку играет багряный луч заходящего солнца.

Ну вот, остались мы одни и идем по аулу домой. Впереди быстро-быстро перебирают ножками Борька, Люца и Фу (это овечки Маришкиного деда), за ними потрухивает Пупсик, а за Пупсиком, усталые и довольные, идем мы с Мариной. Возле дома, как всегда в свободное время, возится у своего дряхлого и капризного мотоцикла Маришкин дед. Видно, он хотел нас встретить, но не смог завести свой драндулет.

— А, отпускники, — улыбается дед. Маринка бросается к нему.

...Солнце скрылось за Ишимом. Над аулом нависли вечерние сумерки. Кружится немного голова, и гудят, покалывают ноги.

Через час, перед тем как отправиться на сеновал, я заглядываю в спальню. Маринка лежит на своей кроватке, поджав коленки и подложив ручку под щеку. Она уже спит и чему-то улыбается во сне. Наверное, ей снится степь. Вдали дрожит, колышется знойным маревом бескрайнее степное море. На волнах покачивается козел Чумазый и машет ей головой...

1973 г.

БЫЛА ВЕСНА...

— На экскурсию! На экскурсию! — радостно загалдели мои третьеклассники и захлопали крышками парт.

На дворе стояла долгожданная весна, и с приходом ее мои малыши стали неузнаваемо рассеянными. На переменах все высыпали на улицу, затевали какие-то игры на солнцепеке, резвились, словно телята на лугу, или просто устраивались на завалинке, жались к стенке школы, где было тепло, солнечно и тихо. Звонки на урок им явно не нравились, и, потягиваясь, неохотно шли они в по-весеннему прохладный, сыроватый, надоевший за долгую зиму класс. На уроках слушали меня вполуха, сонно смотрели в окно, с завистью наблюдали за каждым воробышком, беззаботно порхавшим по веткам. И даже отличник Дулат, сидевший за первой партой, мужественно смотрел на доску, а взгляд его был отрешенным и далеким-далеким. И отвечать уроки все стали врастяжку, вяло, невпопад. Весна настойчиво, властно звала их на улицу, в степь, к шумным детским играм. И сегодня после второго урока я, как всегда, собрал тетради по арифметике и письму и, как бы между прочим, сказал:

— А теперь, ребята, собирайтесь на экскурсию.

Они будто опешили, недоверчиво взглянули на меня, а потом вдруг хором завопили:

— Ур-ра-а!.. На экскурсию!

— Только тише. Сумки оставьте в партах и выходите на спортплощадку. Я сейчас.

В учительской я аккуратно водворил классный журнал на место в настенный шкафчик, разделенный по классам на множество отделений, и предупредил Есляма, что иду со своим классом на экскурсию. Еслям, то есть Еслям Акбарович, завуч школы, оторвался на мгновение от своих вечно срочных бумаг, подозрительно уставился на меня и строго спросил:

— А экскурсия у вас по плану?

Я знал, что он это скажет, и улыбнулся.

Странный человек этот Еслям. Мы с ним одногодки, в школе вместе учились, в одном классе, в детстве вместе собак по аулу гоняли, но с тех пор как он стал завучем, Еслям со мной на «вы». Вообще-то вне школы он такой же, как всегда, старый друг, приятель-однокашник, а вот в учительской становится неприступно далеким, разговаривает со мной только строго-вежливо, а планы от меня требует чаще, чем у других. Я никак не могу привыкнуть к этому холодному, чужому «вы», и мне даже как-то неловко за моего Есляма.

— Не беспокойся. Все по плану, Еслям... Акбарович.

Он долго смотрит на меня и почему-то вздыхает. Наверное, ему просто завидно. Я иду на экскурсию, на вольный степной воздух, а ему сидеть в прокуренной учительской за осточертевшими планами.

Между тем ребята вольным строем бредут уже в сторону котлована за аулом, к лесу. Сами, без меня, выбрали курс. Ну что ж, я не возражаю.

По дороге я забегаю домой, быстро переодеваюсь, сую в рюкзак две буханки хлеба, соль в спичечном коробке и несколько луковиц. Я знаю, с каким аппетитом съедят мои малыши хлеб с солью там, на поле, на солнечной поляне, на бодрящем весеннем воздухе.

Ребята ушли уже далеко, и мне приходится прибавить шагу, чтобы нагнать их. Я люблю с детьми бродить по окрестностям аула, да и они любят эти походы, хотя все эти места, кажется мне, исходили не раз.

Солнце висело высоко над лесом и щедро одаривало землю весенней негой. В воздухе стояла сладкая дремь. По небу рассеянно плыли белые, легкие тучки. Но от земли и со стороны оврага тянуло сыростью и утробным холодком. На пашне — то здесь, то там — небольшими островками еще лежал почерневший снег, а из-под него, по обочине дороги, торчали былки прошлогодней травы. Межа была залита мутной водицей.

Я прислушиваюсь к гвалту ребят, смотрю под ноги и вдруг чувствую, как больно сжимает сердце, как что-то стронулось там, глубоко в душе, и жестким комком подкатило к горлу. Ко мне вдруг приходит мое детство, такое далекое-далекое и совсем-совсем близкое, недавнее, босоногое и голодное. И тогда ведь все так же было: и эти

перелески, эти березовые колки, ожившие под весенним солнышком после долгой зимней спячки, и эти лужицы на дороге, и эта черно-грязная пашня, по которой и тогда, как и сейчас, деловито расхаживали ворчуньи-вороны, сороки-балаболки и надменные, самодовольные скворцы. Горячая волна обожгла грудь, когда я вдруг увидел на обочине дороги несколько блеклых, мокрых, втоптанных в грязь колосьев. Я невольно нагнулся, быстро собрал в пучок только-только оттаявшие колоски с ломкими стебельками, помял их в ладони, потом слегка подул, чтоб улетела мякина, и долго смотрел на сморщенные от холода, бледные зерна...

— Что вы нашли, агай? — подбежал ко мне Дулат.

Я молча показал горсть зернышек на ладони и улыбнулся ему. Он посмотрел на зерна, потом на меня, недоуменно повел плечом и побежал дальше. Я нашел еще несколько колосков, отмыл с них грязь в луже, вместе с подснежниками вставил их в карман куртки и поспешил за ребятами. А рядом со мною неотступно, хлюпая грязью, бежало раскисшей тропинкой мое детство...

В те годы в аулах весну ждали с особым нетерпением. Казалось, что не будет конца-краю мертвой, лютой, голодной зиме. Но на радость детям, весна — долгожданная, желанная — все же приходила неожиданно, как-то сразу. И все ярче светило солнце, все звонче гремела полая вода в овраге за аулом. Весенний ветер мгновенно слизывал с косогора снег, и наш мальчишечий пустырь быстро высыхал, подогреваемый солнцем, наполнялся радостным гамом и гвалтом. Робко зеленела на нем трава, и то здесь, то там стыдливо высунули свои головки подснежники. И, закатав штанины, до самозабвения гоняли мы на пустыре мячи, скатанные из овечьей шерсти, твердые, тяжелые, как камень. Но после бесконечной, буранной зимы, после унылых высиживаний у печки в холодном доме, мы быстро уставали на хмельном весеннем воздухе, кружилась голова и пусто урчало в животе. Но пусто было и дома. Сундуки и ларь в передней — память предвоенного изобилия — давно уже были тщательно обшарены. Не осталось ни курта, ни иримчика. А хлеба давно уже не видели. Изо дня в день неделями, месяцами хлебали один айран, синий, кислый, водянистый, и так он всем опостылел, что тошнило от одного вида старой кадки за печкой.

Весна приносила не только тепло, но и надежду, утешение, что скоро появится в низинах дикий лук, потом — щавель, потом — куга, а там и до лета, до ягод, недалеко.

Как только с пашни сходил снег и чуть-чуть подсыхала дорога, мы, мальчишки, собирались шумной ватагой и отправлялись на добычу — собирать оставшиеся с осени колоски на пашне. Из девчонок за колосьями ходила с нами одна Нурбала, смышленая, ловкая, хлопотливая, как галка. Ей было лет девять, но все хозяйство по дому вела она — и корову доила, и самовар ставила, и дрова колола, и с братишкой, четырехлетним Жарасом, возилась. Мать ее целыми днями пропадала на ферме. До пашни в четырехпяти километрах от аула мы добирались быстро, почти бегом, и там разбредались, словно козы на лугу. Каждый старался как можно больше набрать колосьев и брел-брел все дальше и дальше, ничего не слыша и не замечая вокруг. Нудная была эта работа. Прыгаешь по пахоте, выбираешь место посуше, увидишь мокрый, жалкий, вымерзший колосок, суешь его в торбу и опять прыгаешь, жадно глазами вокруг себя шаришь. А колосьев на поле бывало не густо. Добротно убирали в те годы урожай, хоть и далеко было тогдашней технике до нынешней.

Вскоре наши ноги безнадежно промокали, и мы уже не выбирали сухих мест, не прыгали по кочкам, а шли напрямик по жирной, чавкающей грязи. Рядом с нами работали, сыто каркали вороны. От холода нас колотило, как в лихорадке, пальцы синели и немели, словно в судороге. А мы все шли и шли, подбирали каждый колосок, совали его в сумку и злились оттого, что сума никак не наполнялась. Уставали очень быстро, малыши начинали хныкать. Маленький Жарас, почти не видный под старым отцовским малахаем, жалобно скулил:

— Нурбала, пойдем домой. Нурбала, домой хочу...

Нурбала, не слушая окоченевшего братишку, сорокой прыгала по пашне и проворно собирала колоски. Отставать от нее нам было стыдно, и мы, стиснув зубы, покорно искали колосья и украдкой поглядывали на лесок недалеко от дороги, где была теплынь и сушь. Сумка на шее Нурбалы заметно округлялась и бултыхалась весомо, и мы тайком ощупывали наши жиденькие мешочки и завидовали ей. Вот работяга! До чего все легко и ловко получается у нее.

— До-о-мой хо-о-очу, — монотонно канючил Жарас, а Нурбала словно и не слышала его.

— Слушай, имей же наконец совесть, — не выдерживал Толям. — Видишь, совсем мальчонка закоченел.

— Да, да. Хватит. Простудишь его, — дружно поддерживали мы его.

Нурбала насмешливо улыбалась.

— Ну, ладно. Все вы, вижу, озябли, воробышки.

— Да нам-то что? Нам все равно, — неуверенно говорили мы.

— Ладно. Пошли на полянку. Погреемся.

Мы все разом мчались к лесочку, на солнечную полянку. Там было удивительно тепло, сухо и вкусно пахло нагретыми прелыми листьями. Добежав, мы тут же разувались и, подстелив мешочки с колосьями под головы, ложились навзничь. Приятно было так лежать, чувствуя, как постепенно входит в нос благодатное, дремотное тепло, приятно было смотреть на небо и думать о том, как доберемся до дому, совсем уж отогреемся у печи, выпьем по миске айрана, а вечером матери наши поджарят наши зерна или — кто знает — даже испекут лепешку. Ах, до чего все это хорошо!

Дома мы бережно раскладывали колосья на печке. Сушились они долго, а когда подсыхали, становились совсем жухлыми, невзрачными. Потом сухие колосья растирали в ладонях и, подстелив тряпицу, пропускали зерна чуть-чуть заметной, тоненькой струйкой и легонько дули на нее, чтоб отсеялась полова. Зернышки — чахлые, сморщенные, бледные — неслышно, невесомо падали на тряпку, и от сумки колосьев получалось всего-навсего две-три горсточки зерна. Их потом поджаривали в казанчике на сливочном масле. Царское было это кушанье. Возьмешь щепоть коричневых, подрумяненных, пахнущих прогорклым маслом зернышек, положишь аккуратненько, чтоб не рассыпать, в рот, похрустишь, чайком горячим запьешь — жизни лучшей не надо. А иногда, если пшеницы набиралась миска или больше, бывало, мололи на ручной мельнице, а из муки пекли тонюсенькие лепешки. Это уж вообще райская еда получалась. Фельдшер каждый год говорил и лекции в школе читал, что пшеницу, перезимовавшую под снегом, есть нельзя, что в ней, якобы, накапливается какой-то яд, и если ее есть, можно тяжело заболеть живо-

том. Однако, кто имел — ел, и никто не болел, а если и болел, то кто знает отчего. Может, от промерзлой пшеницы, а может, от прокисшего айрана или какой-нибудь похлебки-бурдомаги, а скорее всего — просто с голодухи.

Мы отдыхали, греясь на солнцепеке в затишье березового колка, и молча смотрели на небо. Из-за горизонта воровски подкрадывались легкие, пушистые тучки, постепенно они превращались в растрепанные, словно изодранная в клочья фуфайка, облака, а за ними, как из засады, недобро выглядывали уже черные тучи. Вскоре, словно чувствуя, что скрываться теперь уже бесполезно, тучи надвигались сплошняком, подгоняемые прискакавшим с севера разбойничьим ветром.

— Ребята, домой, — говорила Нурбала.

Мы быстро обувались, закидывали за плечи наши дряблые мешочки и топали домой.

Домой возвращались тесной кучкой. Маленький Жарас старательно семенил позади, хлюпал носом, пыхтел, и Нурбала время от времени, низко сгибаясь, несла его на спине. Но Жарас и сам чувствовал, что тяжело сестре его нести, и уже через минуту просил:

— Теперь я сам, я сам.

Говорили каждый раз об одном и том же. Вот кончится война, разобьют фашистов и вернутся наши отцы домой и привезут всякую всячину: ремень с медной пряжкой, губную гармонику, зажигалку, а то и ботинки на толстой-толстой — век не износить — подошве. Многие из нас уже и не говорили о возвращении отцов. Дома на дне пустых сундуков лежали «черные бумаги» — похоронки, но о конце войны мечтали все и все были уверены, что после нее все сразу же будет хорошо. И хлеба вдоволь, и в школе тепло, и карандашей и тетрадей — сколько хочешь. Жарас хотел стать красным командиром.

— Пуйрад! Пуйрад! — кричал он. — Бей фашистов! Тах-тах-тра-рах!

«Пуйрад» означало у него, должно быть, «вперед!»

— Так фашистов, пока ты подрастешь, не будет, — говорили мы.

Еслям воевать не хотел. Он видел себя директором школы. На нем будет точь-в-точь, как у нашего директора, френч с четырьмя карманами, галифе и хромовые сапоги.

Выстроит учеников на линейку и, выпятив грудь, будет перед ними держать речь.

— Ребята! — скажет он. — Учитесь отлично! Каждая ваша пятерка — это пуля в сердце врага.

А нерадивых Еслям вызовет к себе в кабинет.

— Учти, дорогой! — строго заметит он. — Будешь плохо учиться — всю жизнь в колхозе останешься. Быкам хвосты крутить будешь!

Еслям почти достиг своей цели. Проработав лет пять учителем, он стал завучем, а вскоре, я думаю, и директором станет. Только о пятерке-пуле он говорить уже не будет, да и лентяев колхозом сейчас не испугаешь. Другие времена настали.

— Ну а ты? — спрашивала меня Нурбала.

— Я? Я это... писателем буду.

— Кем, кем?!

— Ну... писателем.

Все удивленно переглядываются: у нас в ауле о таком никто и не мечтал.

— Ты? Писателем?! — кривил губы Еслям. — Если ты станешь писателем, я отрежу себе нос. Ол-лахи!

К счастью Есляма, писателем я так и не стал, и потому нос его остался в целости и сохранности.

Нурбала, поблескивая глазенками, живо поглядывала на нас. А потом вдруг заявляла:

— А я никем не буду.

— Как это... никем? — удивлялись мы.

— А вот так. Никем — и все. В колхозе останусь, маме помогать буду.

— Конечно! Куда тебе! — по-взрослому замечал Еслям. — Тебя замуж выдадут.

Мы уже прошли два перевала, там, под косогором, был аул.

И вдруг за спиной раздался отчаянный вопль Жараса.

— Ойбай! Садвокас!

Со стороны оврага прямо на нас несся на кургузой гнедухе, размахивая камчой и неистово ругаясь, бригадир Садвокас. Словно напуганные котом воробьи, шарахнулись мы врассыпную. Кто-то прямо по лужам драпал в аул, кто-то круто заворачивал в лесок, третьи с испуга помчались по пашне, утопая по колено в грязи. А позади насти-

гал нас разъяренный бригадир и, выпучивая вечно воспаленные глаза, вопил на всю округу:

— А-а-а... мать вашу! —эхом вторил лес. — Хлеб воруете! Там, — бригадир энергичным жестом указывал камчой на запад, — там отцы и братья ваши кровь проливают, недоедают, недосыпают, а вы хлеб воруете, а?

Ох, и боялись мы бригадира Садвокаса! Женщины и даже старики седобородые трепетали перед ним. Был Садвокас свиреп, редко говорил по-человечески, кричал хриплым низким басом. Глаза его при этом наливались кровью, брови лезли на лоб, усы жестко топорщились. Он не щадил никого, ни людей, ни скот, с раннего утра до поздней ночи мотался на кургузой гнедухе по бригадам, по полям, по ферме, по аулу, по стану и без умолку хрипел: «Давай!», «Давай!», «Давай!». И так мудрено заковыристо ругался, что даже гнедуха под ним стыдливо прижимала уши. Вернулся он с фронта на костылях, неделю чикилял по аулу, а потом оседлал гнедуху и пошел бригадирствовать. И рьяно, круто принялся за дело. Еще до восхода солнца выгонял всех в поле. Старух посадил за прялки, заставлял вязать носки и перчатки для фронта. Осенью никому не позволял вынести с тока хотя бы горсть зерна. Весной он гонялся за ребятишками, отбирал их жалкую добычу — промерзшие колосья и отвозил в колхозный амбар. По любому поводу он кричал: «Там, на западе, ваши братья и отцы...», а кончал речь одним и тем же призывом: «Давай, давай, давай! Все для фронта!» В ауле говорили, что у него порченая кровь. Так, наверное, оно и было. Слыша за спиной надсадный сап гнедухи и свист камчи, мы бросали свои злосчастные мешочки и улепетывали прочь, не чуя ног. Садвокас, ловко нагибаясь, на всем скаку подхватывал мешочки и совал их в огромный полосатый кружун на седле. Никому не удавалось уйти от разгневанного бригадира. Один за другим лишались мы своей добычи. Одна Нурбала никуда не побежала. Растрепанная, взлохмаченная, стала она посередине дороги, прижала мешочек к животу, обняла крепко братишку и с дикой решимостью и ненавистью уставилась на бригадира. Садвокас круто осадил гнедуху прямо перед ней, замахнулся было камчой, но встретившись с ее глазами, неожиданно оробел, опустил руку.

– У, злюка! Вся в мать, — прохрипел он и повернул гнедуху к колхозному амбару.

Притихшие, обиженные до слез, мы долго смотрели ему вслед, потом, выбравшись снова на дорогу, уныло брели в аул.

– Ничего, ничего! — сурово говорил Еслям. — Все равно когда-нибудь Садвокасу морду набью.

– Куда тебе! — хмыкала Нурбала.

– Не побью?! — оскорблялся Еслям. — Еще как!

– Я тебе п... п... помогу, — все еще всхлипывая, обещал Жарас.

Мы придумывали для Садвокаса самую страшную месть и в мечтах видели, как грозный бригадир стоит перед нами на коленях, по обкуренным усам его текут слезы, он размазывает их грязными руками по лицу и сквозь рыдания говорит:

– Больше не буду, ребята! Ол-лахи, больше не буду.

Внизу под косогором открывался аул, из некоторых труб вился тоненькой струйкой дымок. Мы расходились по домам, договорившись, что завтра соберемся вновь за колосьями и пойдем оврагом, чтоб не увидел нас Садвокас.

Между тем мои ученики свернули с дороги, обогнули котлован и направились к пожарной вышке, стоявшей в открытом поле. Поле было густо усеяно подснежниками, девчонки хором заойкали, заахали и принялись рвать цветы. Мальчики сразу же полезли на вышку и оттуда любовались безбрежным простором степи и лесов. Потом мы направились к ближайшему колку, устроили в затишье привал. Я расстелил газету, вытащил из рюкзака хлеб, соль, луковицы и начался царский пир на вольном весеннем воздухе. Быстро покончив с трапезой, ребята развалились на сухих прошлогодних листьях, а девчонки принялись перебирать букетики подснежников.

– Агай, расскажите что-нибудь, — попросил Дулат.

– Ну, расскажите, а? — блеснули глазенками девчонки.

Я гляжу на них и будто впервые замечаю: до чего же они все опрятные, чистые, ухоженные. Тщательно отутюженные костюмчики, фартучки, воротнички, изящные пальтишки, плащи. Лица гладкие, розовые. Глаза блестят.

Рассказать им о своем детстве? Об ауле? Рассказать, как весною собирали колосья? Поймут ли? Будут ли слушать? Или начнут зевать с первых же слов?

— Ну, расскажите, агай...

И я им рассказываю о той далекой весне, об Есляме, Нурбале, Жарасе, о колосьях и бригадире Садвокасе. Я рассказываю и приятно удивляюсь, что они слушают очень внимательно, живо, таращат глазенки. У меня исчезают все сомнения, и я рассказываю о своих сверстниках, об их бабушках, которые в те годы безропотно тянули колхозную лямку, вынесли все тяготы войны, нужду и лишения, отдали этому колхозу, этому аулу все свои силы и здоровье. Странно: они будто впервые слышат об этом.

— Агай, а Еслям — это наш Еслям Акбарович?

— Да. Это он.

— А Нурбала — это Нурбала-апай, агроном?

— Верно. Угадали.

— Вот здорово!

Все восхищены этой догадкой, а Дулат даже приподнимается от удивления.

— А Жарас где?

— Жарас окончил танковое училище и теперь офицер Советской Армии!

— Вот так да-а-а! Надо же!..

По дороге домой ребята уходят далеко вперед, и я вижу, что они почему-то бредут по пашне. Возле школы они меня окружают уже с портфельчиками в руках и вдруг хором скандируют:

— Спа-си-бо! До сви-да-ни-я!

И все разом протягивают мне маленькие пучки подснежников и колосьев. Весенних, блеклых, оттаявших недавно колосков.

— Спасибо, ребята! Спасибо, спасибо!

Я сложил все пучки вместе, получился небольшой снопик. Я отнес его в учительскую. Подснежники поставил в банку с водой, а снопик весенних колосьев положил на окно у столика завуча. Увидят его завтра мои коллеги, возьмут в руки, потрогают и непременно задумаются, вспомнят свои детские годы, те годы, которых мои ровесники не забудут уже никогда...

На другой день утром, когда я вошел в учительскую, Еслям задумчиво перебирал колоски. Заметив меня, он тихо спросил:

— Ты принес?

Я кивнул.

— А Садвокаса, бригадира, помнишь?

— Еще бы!

— Ох, гонял он нас, бывало, а?! — Еслям улыбнулся.

— Помнится, — заметил я, — ты еще грозился морду ему набить.

— Да, да, да, — вовсе оживился Еслям. — Верно. Очень хотел. Да-а-а... Милые детские глупости...

Еслям задумался. Учителя собрались вокруг его стола, осторожно разглядывали и даже почему-то нюхали хрупкие стебельки, грустно улыбались чему-то далекому и так внутренно близкому. Кто в те годы не собирал колосьев, не гонял быков, не пахал на тощих коровах, не маялся за сохой?..

— А знаешь, — опять начал Еслям, забыв, что в учительской он разговаривает со мной на «вы». — Если подумать, Садвокас не был виноват. Воевал, был ранен, контужен. Вкалывал в колхозе, не щадя себя. И здесь, в тылу, воевал, как на передовой. Слишком прямолинейно понимал: «Все для фронта!» И, конечно, перегибал. Даже детям доставалось. А попробуй расскажи сейчас своим ученикам про это. И слушать не будут. А послушают — не поверят. А?..

Мы молчали, погрузившись в раздумье. Молоденький преподаватель физкультуры, тоже осмотрев колоски, взглянул на нас и осторожно положил пучок на подоконник.

Еслям спохватился, покосился на часы и посуровел.

— А вообще-то был звонок. На урок, товарищи! По классам!

Потом пристально посмотрел на меня и спросил:

— Надеюсь, сегодня у вас по плану нет экскурсий?

— Надейся, надейся, Еслям Акбарович, — сказал я, выходя из учительской.

Я шел в класс и думал о том, что задам сейчас своим ученикам сочинение о вчерашней экскурсии. Интересно, вспомнят ли они про колоски?..

1973 г.

ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК

В пестрой, шумной толпе туристов она казалась белой вороной.

У старого, невзрачного здания бюро путешествий в ожидании специального автобуса толкался, галдел взбудораженный предстоящей дальней дорогой отпускной люд: женщины в легких сарафанчиках и кокетливых шляпках, мужчины в нарочито небрежном одеянии, будто собрались на рыбалку. Тротуар был заставлен разномастными сумками, саквояжами, рюкзаками, чемоданчиками. Многих провожали, и провожающие в обычной городской одежде и с озабоченными лицами отличались от тех счастливцев, которые, облачившись в легкомысленные курортные одежки, как-то разом стряхнули с себя все житейские заботы и тревоги.

Марья Егоровна, держа в руках тощую хозяйственную сумку и сетку, стояла на отшибе под карагачем и, наблюдая за предстоящими спутниками, с тоской думала о том, что, видно, зря решилась на этот сомнительный вояж, напрасно послушалась Галку и лопоухого предместкома, соблазнившего ее нежданной путевкой. Всю жизнь, считай, прожила безвыездно в городе, знала свой дом и свою привычную работу в детском саду и, конечно, нечего было за год до пенсии отправляться куда-то за тридевять земель, к морю, о котором и не мечтала. Собиралась Марья Егоровна в отпуск, думала, как всегда в это время, домик побелить, варенья наварить, к сыну в район съездить, а вышло, как она говорила соседкам, совсем не по плану. Зашла было в местком, чтобы обходной подписали, а Василий Кузьмич, председатель,разулыбался вдруг, усадил ее в кресло, житьем-бытьем поинтересовался, потом торжественно, будто на собрании, изрек:

— Ну что, уважаемая Марья Егоровна, в законный трудовой отпуск, значит, собираетесь? Это хорошо. Самый сезон! И мы, помня ваши заслуги, ваш, так сказать, беско-

ратный труд, выхлопотали для вас путевку... — Он сделал паузу, поднял указательный палец: — На Черное море.

Марья Егоровна и не сразу сообразила, хорошо это или плохо, в тот же день бросилась к дочери, работавшей медсестрой в поликлинике, и та с ходу развеяла все сомнения.

Да ты что, мама?! Обязательно поезжай. Хоть на белый свет посмотришь. Да последней дурой надо быть, чтобы за тридцать пять рубликов к Черному морю не съездить.

«Сдалось мне это Черное море!» — досадливо думала теперь Марья Егоровна. Ей было неудобно и жарко в толстой шерстяной юбке и красной вязаной кофте, а тут и туфли, еще почти совсем новые, явно жали, видно, в жару начинали отекать ноги. Галка провожать не пришла: ей как раз выпало дежурить сутки. А вокруг все были оживлены. Высокая, смазливая молодайка в легком платьице-сарафанчике, войлочной шляпе и пляжных шлепанцах на босу ногу восторженно рассказывала, как это шикарно купаться ночью при луне, и что там, куда они едут, пляж паршивенький, поэтому лучше на катере с утра пораньше отправляться туда-то и туда-то, и женщины жадно слушали, ахали, спрашивали завистливо:

— А вы, значит, там уже бывали?

— Господи! Да уж сколько раз! Весь крымский берег облазила.

«Вертихвостка, должно быть», — решила Марья Егоровна и посмотрела на парочку, стоявшую чуть поодаль. Он, рослый, смуглый, весь в белом, весь отутюженный, картинно прислонился к дереву и, снисходительно улыбаясь, тихо говорил что-то маленькой, нескладной, рыжей молодой женщине с заметно округленным животом. Она молчала, опустив голову, и все комкала платочек в руке. Марья Егоровна вздохнула.

Ближе к тротуару, широко расставив ноги, стояли двое тучных багроволицых мужчин.

— Нет, не могут у нас организовать все, как надо, — брезгливо цедил один.

— Стой теперь, как дурак, пока подадут автобус, — хрипло вторил другой. — Лучше б я на такси до аэропорта доехал.

Худой, вертлявый парень, помахивая балеткой, во весь рот улыбнулся Марье Егоровне.

— Что, мамаша, просолим, прожарим косточки старые, а?!

Мария Егоровна поджала губы, подумала: «Бродяга, видать».

Из-за угла вынырнул автобус-коробочка.

— Полундра-а! — завопил парень с балеткой и первым кинулся к нему. За ним, хватая сумки, саквояжи, как на приступ, ринулись остальные.

— Безобразие! — пробурчал один из толстяков. — Даже автобуса нормального не могут подать.

— А по рублю содрали, — откликнулся второй. — Свинство!

В самолете, когда уже поднялись в воздух, Марья Егоровна совсем затосковала. Держа на коленях сумку, она отрешенно смотрела на светящуюся табличку над входом в кабину экипажа и думала о том, что совсем и не надо было брать отпуска, взяла бы лучше деньгами, пригодились бы как раз на ремонт веранды, а отдохнуть и потом бы успела. Вот пойдет на пенсию — отдыхай до одури. С переднего сиденья, ухмыляясь, повернулся тот парень-балагур, выкатил белесые глаза, показал в иллюминатор.

— Смотрите, мамаша. Крыло-то вроде болтается. Не дотянет, пожалуй, до Симферополя. Нет, не дотянет...

Вокруг заулыбались.

— Болтун ты! — в сердцах сказала Мария Егоровна.

Парень не обиделся, подмигнул молоденькой стюардессе, взял с протянутого подноса горсть конфет, поинтересовался:

— А коньячок будет?

«Черт меня понес, — ругала себя Марья Егоровна. — Сидела бы дома. Навела бы во дворе порядок. Галке малость подсобила. Запурхалась бедная. Сама из больницы не вылазит. Васька, зять, все в рейсах мотается. Пацаны как беспризорные, ей-богу. Да и к Толику съездить не мешало бы. Второй год не виделись». И она стала привычно думать о дочери и сыне, которых одна вырастила, на ноги подняла, об опустевшем доме и садике на линии, о том, что хорошо, если Галка выберет время наварить варенья, а то пропадут и черешня, и вишня, и малина.

Мария Егоровна осторожно оглянулась. Впереди, сбоку, грузно откинувшись на спинку кресел и выставив могучие животы, дремали неразлучные толстяки. Парень-балагур перекочевал на заднее сиденье, устроился между двумя девицами и по тому, как они беспрестанно прыскали, должно быть, лихо заливал. Тот холеный брюнет, белозубо улыбаясь, рассказывал что-то соседке — смазливой блондинке. Манерно отставив руку с зажатой меж двух пальцев длиннющей сигаретой, она пускала тоненькой струйкой дым и томно слушала.

Полет продолжался долго. Кто-то воскликнул: «Смотрите, горы!» — и все прильнули к иллюминаторам. Действительно, слева тянулись горы, и над ними величественно вздымался двуглавый исполин, покрытый плотным снегом.

- Эльбрус! — воскликнула блондинка.

- Да, Сонечка, — подтвердил ее галантный сосед. — Мы летим над Минводами.

Марья Егоровна, приподнявшись, тоже потянулась было к окошку, но сзади раздался насмешливый голос:

— Мамаша, не смотрите! Крыло уже еле-еле держится...

В салоне засмеялись. Разом, как по команде, проснулись толстяки.

— Интересно, собираются нас сегодня кормить? — буркнул один.

— Безобразие! — откликнулся второй.

Прилетели поздно, и в аэропорту было истинное столпотворение. Чуть ли не ежеминутно садились и взлетали самолеты, и все вокруг ревело, рокотало, все толкались, суетились, охрипшая вконец девица-диктор, сбиваясь, выкрикивала рейсы, и Марья Егоровна больше всего боялась, что затеряется в этой невиданной круговерти, отстанет от своих, и тогда уже никогда не выбраться ей отсюда. А тут еще выяснилось, что за ними не приехали, что так поздно уже нет смысла добираться до пункта назначения и, значит, нужно прокоротать как-нибудь ночь здесь, в скверике, на скамеечках, если, конечно, удастся найти свободные. От долгой дороги, шума, гула, толкотни Марье Егоровне стало не по себе, и она опустилась на корточки возле телефона-автомата, готовая от отчаяния разреветься. «Тебе бы, баламуту, такой отпуск! — зло подумала она о

председателе месткома. — Благодетель нашелся. О господи, и чего я, старая дура, послушалась».

«Свои» мигом обставили ее сумками и саквояжами и разбежались кто куда, время от времени появляясь и исчезая вновь.

Всю ночь Марья Егоровна не сомкнула глаз, и утром, когда наконец после длинной очереди они протиснулись-таки в троллейбус и несколько часов добирались с пересадкой до маленького городка, расположившегося у самого моря вроде бы на ступеньках, она лишь тупо безразлично взирала на ошеломляюще красивые горы, деревья, сопки, рощи, долины, на синее безбрежное море, то и дело появлявшееся и вновь исчезавшее за скалами.

Живописный городок кишмя кишел отдыхающими и туристами. Марья Егоровна совсем растерялась от такого многолюдья. По гладким, до блеска отполированным подошвами ступенькам вверх-вниз, вниз-вверх нескончаемо шел разношерстный люд, и от фантастически-причудливых красок их одежд рябило в глазах, кружилась голова. Утром, еще до того как восторженно радостный голос певца Рафаэля, взмывая над морем, возвещал о рождении нового дня, вслед за которым хриплый спросонья баритон диктора объявлял температуру воздуха и воды, на пляже уже не бывало свободного места. И Марья Егоровна, глядя на это скопище голых телес — красивых и, безобразных, тугих и дряблых, тронутых загаром и неприятно бледных, скромных и откровенно бесстыжих, — так и не решилась раздеться, хотя тоже была в купальнике, а только посидела на валуне у самой кромки, подставляя ноги с шипом набегающей мутноватой, пенистой волне.

Через несколько дней, немного привыкнув к суете курортного города в разгар сезона, она, по разрешению спасательной службы, спускалась по стремянке к рыбачьему причалу и там, сидя на нагретых и приятно пахнущих досках, подолгу любовалась разноцветно переливающимся под солнцем морем, окутанными дымкой зелеными горами, причудливыми скалами, на которых важно восседали горластые чайки, руинами древних крепостей, ослепительно белыми домами и стройными, ввысь устремившимися кипарисами. «Как на открытке», — думала про себя Марья

Егоровна, все больше поражаясь плотно обступившим ее спокойствием и чувствуя, как постепенно оттаивает, уходит еще недавняя досада и странно отдаляются, размываясь, все оставшие ее тревоги, заботы, думы о делах, о доме, словно все, что было до сих пор, было лишь давнишним сном, несущественно, незначительно, преходяще.

Ей нравилось утром, когда на причале бывало еще прохладно и свежо, смотреть, как рыбаки возятся у своих лодок, привычно, с ленцой, разыгрывают друг друга, посмеиваются, а потом все так же неторопливо обливают причал водой, чтоб лодки легче и мягче сходили, спускают их на воду, ловко прыгая в них, заводят моторы и удаляются в море. Часа через два-три они возвращаются назад, и, когда лодки приближаются к берегу, с прибрежных скал бросаются к ним, пронзительно крича, чайки — белые и серые, рыбаки швыряют им мелюзгу, и чайки на лету хватают ее, жадно проглатывают и снова кружатся низко-низко над лодками, зычно галдят, пока кто-нибудь из рыбаков не разведет руками, крича: «Нету! Нету!» Тогда чайки послушно летят назад, к скалам.

Днем Марья Егоровна гуляла по городку, заглядывала в разные магазинчики, ларечки, поднималась по бесконечным ступенькам до Дома быта, потом так же медленно, с остановками спускалась к «пятачку» — так называлась небольшая площадка перед автобусной станцией, зажатая со всех сторон зданиями, и каждый раз встречала там у цистерны с надписью «вино» двоих толстяков, «пузанчиков», как их про себя окрестила, которые, обливаясь потом, пили из больших пивных кружек кислое крымское винцо. Она нарочно проходила мимо них, приветливо здоровалась. На набережной она покупала мороженое, устраивалась на скамеечке, смотрела на причаливающие и отчаливающие катера.

Вечерами Марья Егоровна не знала, куда себя девать. Две жилички, наскоро поужинав, уходили «прошвырнуться» по набережной, а за Софьей Анатольевной, красавицей-блондинкой, неизменно приходил еще больше потемневший брюнет, которого звали Ренатом, и они, оба такие нарядные, интересные, отправлялись в молодежное кафе «Коктейль».

Марья Егоровна переодевалась в свою шерстяную юбку и вязаную кофточку, снова проделывала знакомый путь до летнего кинотеатра, по слогам читала неизменную табличку над окошечком кассы: «Билеты на восемь сорок закончены», которая почему-то у всех вызывала смех, и мимо «Торгового дома», вечерами обрушивавшего на отдыхающих неистовую музыку (на четвертом этаже его располагался ресторан), медленно, чтобы не оступиться на крутых, обшарпанных ступеньках, возвращалась домой.

Садилась на раскладной стульчик у перил и смотрела на бурлящий внизу город. Густая разнаряженная толпа сплошным потоком двигалась по набережной. С моря несло прохладой. С гор надвигались черные тени. Духотой веяло от каждого переулка: камни источали дневной зной. Плотный гул плыл над городом, который готовился к своей ночной жизни, чтобы угомониться под утро, забыться в недолгом сне, а перед восходом солнца снова предаться напряженному отдыху.

Через день, по расписанию, их водили на экскурсии. Марья Егоровна старалась не пропускать их, хотя страшно уставала и болели потом ноги. Крымские красоты ошеломляли ее. Звучные названия красивых до неправдоподобия местностей — Ливадия, Мисхор, Алупка, все эти роскошные дворцы, сады, парки, скульптуры изумляли, восторгали, сливались в памяти, и Марья Егоровна никак не могла запомнить, где она видела прелестную Рахиль, а где — белый царский дворец или Али-бабу, подстерегающего из-за скал красавицу Арзу. И гордо думала при этом, что вот приедет домой, расскажет соседкам, где была и что видела, и те ведь даже могут не поверить.

Экскурсии проходили стремительно. Гиды беспокойно поглядывали на часы, поторапливали туристов: «Товарищи, в темпе, в темпе! Мы задерживаем другие группы». И, постояв минутку возле какой-нибудь достопримечательности, выслушав заученные объяснения гида, спешили дальше. Марья Егоровна еле поспевала. Она стеснялась своей неуклюжести, нерасторопности и старомодной, не по сезону одежды. Она чувствовала на себе укоризненные взгляды, слышала иногда неприязненные реплики за спиной, когда, бывало, задержиралась, присаживалась на мгновенье на скамейку, чтобы дать отдых натруженным

ногам, или невзначай отставала от группы. И, действительно, многого она не понимала, часто совершенно не представляла, о чем говорят, и порой ее совсем не трогало то, чем восхищались остальные. Вопросов она старалась не задавать, особенно после того, как однажды, сочувствуя в душе усталой, немолодой уже женщине-гиду, спросила: «А какую вы получаете зарплату?» Всем почему-то стало неловко, а Софья Анатольевна досадливо поморщилась:

— Ну, я так и знала, что последует этот вопрос.

— Святая простота! — усмехнулся ее спутник.

Марья Егоровна смутилась, виновато взглянула на Софью Анатольевну. Перед этой молодой, уверенной в себе женщиной она испытывала непонятную робость. «Счастливая, — думала о ней. — Красивая, богатая. Каждый день наряды меняет. Где бы ни появилась, мужчины глаза на нее пялят. Этот чернявый как прилип. А ведь вроде замужняя, кольцо обручальное носит». И страшно удивилась, когда однажды узнала, что все вовсе не так.

В тот день долго и утомительно водили их группу по Никитскому ботаническому саду. Сам сад, деревья, цветы, разные кустарники со всех стран мира были сказочно красивы, и женщины ахали, вздыхали: «Вот где бы жить! Вот где бы отдыхать!» Но с гидом на этот раз не повезло: женщина рассказывала скучно, однообразно. «Это дерево родиной имеет Южную Америку, — вещала она монотонным голосом и, вяло взмахнув рукой, добавляла: — Практического значения не имеет». Иногда, останавливаясь возле благородного, ветвистого красавца, сообщала восторженным туристам: «Мужская шишка роняется в год раз. Женская же шишка раскрывается раз в три года».

— Ну, уж это никуда не годится! — заметил тут парень-балагур, всюду ходивший в шортах. Вокруг двусмысленно заулыбались, девушки захихикали:

— Ну и скажешь же, Женька!

Марья Егоровна заметила, что Софья Анатольевна была сегодня необычно задумчива, рассеянна, держалась сторонкой. И ухажер ее неизменный нехотя плелся позади, и лицо его было некрасивым, а глаза колючие, злые. «Не поладили голубки», — решила она.

Возвращались усталые на юрком катере со странным названием «Мухалатка». Всю дорогу сопровождала их

шумная стая чаек, ловивших на лету хлебный мякиш, который кидали за борт пассажиры.

Как всегда, долго сидела Марья Егоровна в тот вечер на своем месте у перил, вслушивалась в привычные уже вечерние звуки, и на душе ее было удивительно благостно, умиротворенно, словно спадала с сердца неведомая тяжесть. Пожалуй,, впервые за всю жизнь было ей так легко, беззаботно, впервые она столько бездельничала и просиживала вечера просто так, отдыхая и раздумывая. Она будто только сегодня впервые расслышала, о чем пел певец, впервые вникала в слова этой песни, хотя пели ее и до этого каждый вечер по нескольку раз, и слова той песни были бесхитростные, очень понятные. «Что-то случилось, — пел певец ликующе и одновременно как бы робея перед тем новым, неизведанным «что-то», — ранней весною, что-то случилось со мной и с тобою...» И слушая эту песню, она уносилась в мыслях далеко, видела себя еще совсем юной, еще в той маленькой заволжской деревне, откуда была родом, и поражалась тому, что вспоминалось такое, о чем она давно уже и не думала. В наступившей внезапно тишине Марья Егоровна услышала, как рядом горько всхлипывала женщина. Вошла в дом. Софья Анатольевна лежала ничком на топчане и, обняв подушку, безутешно плакала. Марья Егоровна подсела к ней, растерянно спросила:

— Что с вами, Соня?

И та расплакалась пуще, прижалась вдруг к ней, заговорила отрывисто, глотая слезы.

— Худо мне, Марья Егоровна, худо... Вот езжу все, езжу... счастье ищу... А где оно, счастье?.. Вон народу сколько понаехало! А я одна... одна... — Она потянулась к тумбочке, достала из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась. — Был ведь у меня один, тихий такой, ласковый. Неинтересным мне казался. Теленок, думала, не мужчина. Обидела его. Так уж получилось... А он, теленок-то, гордый оказался. Ушел — и все тут. Теперь знаю: судьбой моей он был. Единственной. А я, дура слепая, мимо прошла... — Еще раз затянувшись, швырнула недокуренную сигарету в открытую дверь балкона.

Марья Егоровна неумело утешала ее, говорила привычные женские слова, что, дескать, не стоит убиваться, ведь молода, красива, все еще впереди, а сама думала: «Уж

больно сладкая ты, видать, баба. Молодая, а сладкая. Женщина должна быть горькой, с перцем. А сладкая — для коровьей забава...»

Уснула поздно, и приснился ей сон. Вокруг, куда ни посмотри, простиралось белое хлопковое поле, а она сидела на туго набитом мешке-канаре в обнимку со Степаном, под его замасленным пиджаком. И так явственно увидела своего мужа, его чуб, его глаза, губы, ощутила его жесткие, в мозолях, руки на плече, услышал его голос: «Ну что, Маша, нашел-таки тебя, а?», что сердце ее гулко, до боли, заколотилось, и проснулась в испуге, не сразу сообразив, где находится. «Господи, с чего бы это?» — сокрушенно подумала Марья Егоровна. Она не помнила, когда в последний раз видела во сне мужа. Да и вспоминала его только раз в году — в День Победы, когда приходили дочь с зятем. Считай, год проревела после того ненастного февральского дня, когда принесли ей «похоронку», свет белый возненавидела, а потом потухла, окаменела, да так и прожила, будто без души, все эти годы. Правда, после выходила замуж, да, видно, просто так, по дурости, потому как радости не было. Год-два пожила, расстались по-хорошему, понимали оба: ни к чему их совместная жизнь. А Степан был ей по сердцу. Семнадцатилетней девчонкой полюбила веселого чубатого шофера. Собирала она тогда в знаменитом совхозе за Ташкентом хлопок. Вот там-то в пестрой девичьей стайке и высмотрел он ее, тяжелой русой косой, как потом рассказывал, пленился. Хорошо жили, согласно. Степан шустрым, добычливым оказался. Любил ее, ласкал. Вскоре переехали в город, домик купили, дочь и сына народили. Да уж больно короткое счастье им выпало.

Марья Егоровна, прикрыв веки, в неведомой истоме замирая сердцем, предалась легким, приятным воспоминаниям о тех таких далеких, счастливых днях. За открытым окном утробно стонало море, волны неистово обрушивались на скалу, и брызги, дробясь, долетали до нее, умирали, таяли, оставляя на мгновенье темные пятнышки на простыне.

Весь тот день она прожила как во сне. Казалось, сон продолжался наяву и тогда, когда вся их группа собралась у развилки за городком, откуда на автобусе их повезли на

последнюю запланированную экскурсию — в Севастополь. Дорога шла круто вверх, извиваясь меж скал, и гид сиплым голосом рассказывала в микрофон, простовато шутила, сообщая, что этот отрезок дороги крымские шоферы называют «Севастопольский вальс», а этот — «Пронеси, господи!» Потом заставляла туристов петь хором и при этом запевала сама, и репертуар ее почему-то состоял сплошь из довоенных песен, которые, впрочем, в салоне пели дружно. У Байдарских ворот под ее командой все трижды прокричали: «Ура!», после чего туристы совсем уж развеселились.

Марья Егоровна задумчиво улыбалась, чувствуя, что что-то странное происходит в душе.

Малахов курган болью пронзил ее. Она вдруг вспомнила, что ее Степан погиб тоже у подножья знаменитого кургана, только не этого, не Малахова, а схожего по названию. Она никак не могла вспомнить название того кургана, где ее Степа, как потом написали, пал смертью храбрых. Марье Егоровне захотелось вдруг побыть одной, постоять здесь, у башни, посмотреть на суровый каменный город, который лежал внизу, открытый, как на ладони. Она незаметно отстала от своих, тихо побрела по «Аллее дружбы», очутилась в другой группе, долго стояла возле одинокого, огороженного, как редкий памятник, миндаля — одного из немногих деревьев, уцелевших здесь в годы войны. Она испытывала радость за это простенькое, невзрачное деревце, выстоявшее под шквалом артиллерийского огня наперекор всем невзгодам, и гордость за людей, которые так заботливо, словно святыню, берегли его.

Почти весь день водили их по городу, по бухтам, пристаням, музеям, и Марья Егоровна слушала пояснения сменявших друг друга гидов, смотрела на разные пушки, галеры, макеты кораблей, мушкеты, часы, медали, саблю и подзорную трубу знаменитого полководца, картины морских баталий и с тоской чувствовала, что не в силах запомнить, разобраться, что все это слишком сложно, непостижимо для нее. И она, стараясь поспевать за все время торопящейся группой, думала об одиноком, сохранившемся миндале за железной оградой с табличкой на стволе, будто орденом на груди ветерана, о муже, о том, что и он,

защищая такую же, как эта, пропитанную кровью священную землю, погиб, погиб совсем еще молодым, оставив ее и двоих детей.

Уже вечерело, когда их привезли к Сапун-горе. Народу толпилось здесь много, однако царила благоговейная, напряженная тишина, и голос гида, пожилого мужчины с протезом вместо ноги, рассказывавшего о штурме Сапун-горы так, будто только что отгрохотало то великое побоище, был слышен далеко. Живой свидетель, участник того штурма называл имена героев, своих соратников, обретших здесь, на этой горе, славу и бессмертие, и Марье Егоровне все чудилось, что сейчас она услышит и фамилию гвардии рядового Холупенко Степана, ее Степы, хотя и знала, что не здесь, а далеко отсюда, совсем в других краях сложил он свою чубатую голову. Сильно припадая на протез, вел гид их группу, рассказывая, вдоль выстроенных полукругом орудий — немецких мортир, гаубиц и наших танков, машин, самолетов, торпедных катеров.

Серьезные, притихшие, стояли дети и подростки, мужчины и женщины, молодые и пожилые у белого обелиска Славы и слушали пронзительно печальную, величаво скорбную мелодию — музыкальную фразу из песни «Сапун-гора». Казалось, эти звуки доносились откуда-то из-под земли, из разгоряченных боем сердец павших героев, и лица мужчин суровели, плотно сжимались губы, и некоторые женщины прослезились, полезли в сумочки за платочками. Вновь и вновь звучали светло-горестные звуки реквиема у вечного огня.

Группа за группой приходили и уходили люди, чтобы постоять у обелиска, посмотреть диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», а Марья Егоровна все стояла на том же месте, у мраморной ступеньки, вглядывалась в торжественно скорбные лица немолодых женщин, угадывая в них таких же, как она, неутешных, с вечной болью в сердцах вдов и матерей.

Марья Егоровна вздохнула и тут только опомнилась, заметила, что отстала от своих, неизвестно, сколько ее ждут, и опять, наверное, придется выслушать упреки и насмешки. Солнце, плавясь в оранжевых лучах, медленно собиралось на покой внизу, под Сапун-горой, и с моря тянуло облегчающей свежестью. Марья Егоровна быстро пошла

по широкой аллее вниз, туда, где автобусы поджидали туристов.

Большой автобус, доставивший их сюда, стоял в сторонке, в тени кустов, и, еще не дойдя до него, Марья Егоровна услышала крики, шум и совсем сникла. Ох и попадет ей сейчас от возмущенных туристов. И то верно, сколько же можно ждать ее!

Сконфуженная, она бочком пролезла в автобус, тихо села на свое место у окна и тут только поняла, что вовсе не из-за нее шум стоит в автобусе. Ренат, бледный и трясущийся, метался по салону, заглядывал под сиденья, потом бросался к шоферу, швырял ему в лицо обидные слова.

— Мелочник! Хам! Трехкопеечная душа!

Седой шофер сдержанно говорил:

— Да не брал, не видел я, тебе говорят. Нужна она, твоя сетка...

Все всполошились. У одной из женщин сумка, оказалось, висела не на том месте, куда она повесила ее, выходя из автобуса, и тогда все вдруг расшумелись, начали лихорадочно проверять свои вещи, но все оказалось на месте, и только Ренат сыпал проклятиями, чуть ли не на коленках обшаривал все углы.

— Сволочи! Жулье!

— Что-нибудь дорогое там было? — сочувственно спрашивали женщины.

— Дорогое! — усмехнулась Софья Анатольевна. — Ракушки, пачка сигарет да два путеводителя.

Лицо ее побледнело, скривилось в презрительной гримасе, и женщины удивленно переглянулись.

— Где сетка, спрашиваю?! — вопил Ренат, надвигаясь к шоферу.

— Бесстыжий, — раздался вдруг негодующий голос, и все обернулись к Марье Егоровне. — Как ты смеешь... здесь... — голос ее сорвался, лицо пошло пятнами... — Здесь, на священном месте, горло драть, на людей кричать?! Из-за сетки какой-то... из-за ракушек ор поднял... как., как торговка базарная!.. Здесь молчать надо... Или шепотом говорить... Бессовестный!

В автобусе сразу стало тихо. Никто, должно быть, не ожидал такой выходки от этой незаметной, тихой туристки. Многие и голоса ее до этого не слышали.

Ай да мамаша! — восторженно сказал кто-то. — Вот так отчехвостила! Молодец!

Женька подошел к кабине водителя, плечом отстранил опешившего Рената, сказал негромко:

— Поехали! Извини нас, дядя...

Автобус взревел, дернулся.

Ехали молча. Шофер, успокаиваясь, рассказывал Женьке, как у его приятеля вдруг забарахлил автобус и он попросил его отвезти группу туристов в город, ну он и отвез, ведь какая разница, все равно стоять надо было, пока его пассажиры осмотрят Сапун-гору. И, видно, кто-то из той группы и прихватил по ошибке злополучную сетку, будь она неладна...

Дорога казалась вначале унылой: серая, выгоревшая земля, кустарники, кустики, облепленные серебристыми ракушками, чахлые, покрытые густой известковой пылью виноградники, тихие, уютные поселки, по которым, возвращаясь с выпаса, важно вышагивали буренки. А потом, уже за Байдарскими воротами, которые на этот раз проехали неожиданно быстро, началась умопомрачительная, опасная, диковатая по красоте горная дорога. Автобус бежал легко, сбавляя скорость лишь на крутых поворотах, и женщины заойкали было, но потом начали петь, вскоре увлеклись и пели уже всю дорогу. Марья Егоровна прильнула к окну, завороженная невиданным дивом ночного Крыма, и смотрела, смотрела на широкую лунную дорожку, отливавшую тусклым золотом, на едва различимую рябь, игравшую в лунном отблеске, на темные ущелья внизу, по правую руку, в которых медленно, но неотвратимо сгущался мрак, на устремившиеся ввысь, к небу, кипарисы, восточные платаны, кедры и множество неведомых ей кустов и деревьев, меж которых весело и таинственно мигали огни — море огней! — разбросанных вдоль побережья бесконечных поселков, городков, санаториев. Слева высились исполины — горы, отвесные, почти вертикальные, зубчатые, мрачно молчаливые, сбоку горы опоясывала узкая дорога, по которой шустро катился, приседая, рыча, переваливаясь, их игрушечный, ничтожно маленький автобус. Справа, прямо рядом, тянулся крутой обрыв, глядя на который, становилось жутковато. Марья Егоровна вспомнила поездку на Малахов курган, в

музей, на Сапун-гору, поразившую ее своей суровой правдивостью, какой-то особой близостью к чему-то очень дорогому, необъяснимому в ее душе. И она почувствовала в груди щемящую боль и пригорюнилась, загрустила, но от этой грусти не тягостно становилось, а легко, просветленно. Ей вновь вспомнился Степан, сердцем она тянулась к нему, и ей казалось, что он сидит сейчас рядом, положив свою тяжелую руку ей на плечо, и оба молчат, счастливые под его заношенным пиджаком, на канаре, как и тогда, в те далекие короткие ночи на хлопковом поле. По лицу покатились теплые слезы, и она не стыдилась, не вытирала их, будто и не замечая. Она и не помнила, когда плакала-то в последний раз, и в самом деле, должно быть, окаменела, зачерствела душой, ни обиды, ни грязное словцо, ничего уже, казалось, ее не задевало. А теперь Марья Егоровна слушала, как женщины в ночи, в затемненном автобусе тягуче, печально выводили «Рябину», а сама думала о муже, и губы ее беззвучно шептали нежные, бабьи, бог весть в какие времена произнесенные слова: «Соколик мой ясноглазый!», «Счастье мое чубатое!»

Она была рада, что выбралась-таки в эту поездку, ведь она могла так и дожить свой век и ничего не знать, кроме своей работы на кухне в детском саду да нехитрых домашних хлопот, не увидеть всей этой прелести, этого моря, этой прекрасной земли. С благодарностью вспомнив предместкома Василия Кузьмича, которого за глаза называла не иначе как лопоухим, решила на оставшиеся талоны купить ему непременно гостинец — бутылку хорошего вина.

А дорога все змеилась, змеилась, рядом все так же слегка вздрагивала широкая лунная дорожка, нависали насупленные, торжественно-таинственные скалы. И вдруг впереди, внизу — вдоль и вширь — запестрели, замигали, зароились огни Ялты. С моря, с какого-то корабля, била вверх тугая лиловая струя света, рассекая, пронизывая мрак ночи. Все прибрежье далеко от моря утонуло в свете, по холмам, склонам, скалам, ущельям на площадках — всюду переливались, сверкали огни.

«Ну вот и кончается мой отпуск. Последний отпуск. Последний... — просто подумала Марья Егоровна, чувствуя, как вновь навертываются слезы. — Господи! Что это творится со мной сегодня?!» Слезы странным образом при-

несли облегчение, словно бы растапливали многолетний лед, намерзший на сердце. Это были слезы восторга, причастности к жизни, к этим людям, живым и мертвым, к этой земле, такой огромной, многотрудной и бесконечно родной.

Дорога обогнула залитый светом город, неутомимый автобус вырвался на магистраль, и вскоре на фоне черно-синего южного неба вырисовался гигантский Аю-даг; который, впрочем, больше смахивал на выброшенного на берег кита, а у его подножья, все ближе и ближе, на пристани, вновь замигали огни. Автобус вдруг покатил, тяжело осев, скрипя тормозами, по серпантину все вниз, ниже, еще ниже, словно по ступенькам. Женщины запели напоследок «Ой ты Галю», про ту, которую «пидманули», и тут автобус, еще раз круто, чуть ли не вокруг оси развернувшись, выскочил на развилку.

Марья Егоровна, Софья Анатольевна и две женщины в сопровождении Женьки шли молча по улочкам затихавшего городка к рыбачьему причалу, к домику у Черного моря.

Марья Егоровна вдруг остановилась.

— Слушай, Соня, пойдем к морю... Посидим.

Софья Анатольевна недоуменно посмотрела на нее.

— Бог с вами, Марья Егоровна! Какое море? Спать надо, спать.

— Ну ненадолго, Сонечка...

— Что это вы, уж не молодость ли вспомнили, а? Вон как глаза блестят.

— Да ну тебя, — смутилась Марья Егоровна и, вздохнув, пошла одна к темневшему внизу пирсу.

Море блаженно дремало.

1973 г.

АУЛ

«Мой зеленый причал.
Мой островок тишины.
Мой аул»
А. Еженова

Это короткое, гулкое казахское слово властно и мощно ворвалось впервые в мое сознание и неожиданно всколыхнуло душу синеоким сентябрьским днем 1941 года. Долго петлявшая между пшеничными полями, ковыльным простором и березовыми колками дорога вдруг взметнулась на бурый косогор, и в низине, недалеко от приречного тугая, темной полоской уходившего за горизонт, как на ладони, открылось истомленному взору невзрачное казахское селение с убогими, разбросанными там-сям плоскокрышими домишками и чахлыми ивовыми пристройками. Неподалеку задумчиво взирало на нас, пришельцев из далекого Едиля, стадо тощих, малорослых коров, чуть поодаль пощипывали траву овцы, пастушонок в немыслимых отрепьях, притенив ладошкой глаза, неподвижно уставился вдаль. Ровный, неутомимый степной ветерок донес неведомые доселе запахи. Редкие лохматые псы в репейниках равнодушно проносились мимо, ленясь даже облаять нас.

Тихо. Пустынно. Просторно. Безлюдно.

Незнакомый, неведомый мир. Огромный, непостижимый.

— Аул, — произнес возница, смуглый скуластый, узкоглазый мужичонка в нелепой войлочной шапчонке на бритой голове.

— Казахишес дорф, — перевел отец.

— Аул, — эхом отозвалось в моей душе первое казахское слово.

Мне скоро исполнится семь лет. Буквы — и русские, и немецкие — мне уже знакомы. И считать умею до ста хоть по-русски, хоть по-немецки. И сначала, и с конца. Все во-

вруг мне интересно. Все впитываю жадно. Правда, мне непонятно, почему мы, дойче, так спешно покинули родной очаг на Волге, оставили обжитые, добротные дома, почему так долго ехали в тесных, смрадных товарных вагонах в сопровождении суровых красноармейцев, почему все, что были с нами, так встревожены, печальны, подавлены, отчего озабочены отец и мать. И почему мы, родные, разлучены: одних отправили в Сибирь, других — в Казахстан?

Это я пойму позже.

О том я буду думать и писать всю жизнь. А пока в моих ушах звучит емкое, короткое слово — аул.

Какой же это «дорф»? Это совсем не дорф. Я хоть и родился в городе на Волге с громким именем Энгельс, но что такое дорф — село, знаю, ибо бывал и в отчем селе Мангайм, живал подолгу у бабушки Марии-Элизабет, у дядюшек Вильгельма и Фридриха, заезжал с сельскими музыкантами в соседний Зихельберг, перед войной мотался по центру кантона Гнаденфлюр. Дома там, на Волге, были сплошь деревянные, как на подбор, с палисадниками; подворья ухоженные, с бесчисленными пристройками, с обязательной летней кухней-бакхаузом. Улицы тянулись строгим рядом. Все опрятно, чисто. В каждом дорфе клуб, духовой оркестр, строгий, налаженный быт. А еще до приезда сюда, на берег Есиля, мы жили две недели, пока отец помогал колхозу косить сено, в русском селе Сергеевка. И там было все совсем по-другому. Поражали огороды и лес подсолнухов. Здесь же — АУЛ.

И знакомство с ним, постижение его — впереди. А до осмысления его дойду лишь многие годы спустя.

ооо

Мы, спецпереселенцы, очутились в первозданно казахской среде. Аул в разное время назывался по-разному: Кабан, Туяк, потом через дефис Кабай-Туяк, потом с образованием колхоза еще как-то, потом имени Ораза Исаева, потом долгие годы им. Ленина, одно время — Теренсай, ныне — им. Ибраева. Менялось и название района — Октябрьский, Сергеевский, Шал-акына.

А рядом с аулом Ленина расположились аулы Коктерек, Мектеп, Орнек, Жарган, Жана-жол, Жана-талап, Каратал, Алка-агаш, Аксу, Жанасу, Энбек. Отец заведовал

фельдшерско-акушерским пунктом, и я вскоре познакомился со всеми этими аулами.

Несколько лет мы были единственной немецкой семьей в ауле. А русских было раз-два и обчелся. Но чужаками, пришельцами мы чувствовали себя лишь в первые недели. Казахи не чурались нас, а наоборот, отнеслись дружелюбно, сочувственно. Как-то само собой наладились добрые человеческие контакты. Жили в ауле в общем-то скудно, бедно. Но у всех были коровы, кое-какой скот и живность, в ларях-сусеках, мешках-коржунах хранились небольшие запасы пшеницы, ячменя, проса, курта, иримчика. У нас же, спецпереселенцев, ничего не было. Отец, недавний санинструктор Рабоче-Крестьянской Красной Армии и заведующий кантонздравом на Волге, обладал офицерскими сапогами, брюками-галифе, шинелью и шапкой-буденовкой. Мать была одета по-городскому: беретка, жакетка, платья, туфельки. Я бегал в кепчонке, брючишках с лямками, обшарпанных ботиночках. Двухлетняя сестренка в бумазейных платьицах и штанишках. А уже осень. Уже задувают предзимние ветры. И ютимся мы в щелястой комнатке при медпункте. Дров нет. Печь дымит. Крыша протекает. Дома — шаром покати.

И что бы мы делали без внимания, заботы, сочувствия и помощи аулчан, казахов, о которых мы ничегошеньки и не знали?!

И вот уже одна соседка приносит кастрюльку молока, другая идет с миской айрана, третья угощает горстью-другой иримчика и курта, баскарма, председатель колхоза, расщедрился несколькими килограммами пшеницы и ячменя, кто-то завез мешочек неочищенного проса, кок-терекский уста-кузнец выточил из камня маленькую ручную мельницу... Словом, аул в беде нас не оставил. Да и мы сами не оплошали: ловили в Ишиме и старицах рыбу, собирали в лесу и тугае боярку, шиповник, черемуху, костянику, смородину, вишню, выкапывали в степи солодковый корень. Зимой отец, случалось, охотился на беляков и куропаток.

Я быстро сошелся со своими чернявыми, скуластыми сверстниками, носился с ними по аулу, начал осваивать казахский язык, сердобольные тетки-апашки в длинных платьях, плюшевых безрукавках, белых жаулыках то и дело

утешали меня аульными яствами, старики гладили меня по голове, говорили: «айналайн», «немыс бала», «першылдың баласы» (сын фельдшера), «біздің Кира» (искаженное «наш Гера»). Никто не называл меня ни единым обидным словом. Никто не подчеркивал мое чужеродство.

Я скоро всем своим умишком понял и мальчишеским сердцем почувствовал, что аул — МОЙ аул, моя опора, моя защита, мой дом, моя отрада, здесь я не пропаду, здесь обо мне позаботятся, в беде не оставят, я член этой общины, этого сообщества, аул в ответе передо мной, а я в ответе перед ним, и если я совершу что-нибудь постыдное, я опозорю не только своих родителей, а свой аул, мне будет стыдно смотреть в глаза дедушкам Абильмажину, Ергали, Омару, Коспану, Жайлаубаю, Нуркану, Кали и Сейтходже и многим-многим другим.

А с годами я пойму, что всему хорошему и доброму в жизни я обязан, помимо родителей, моему аулу: там мои истоки, мои нравственные начала, мой стержень, моя основа, мой критерий, мои ориентиры, моя любовь, гордость и неизбывная печаль.

❁❁❁

Любопытства ради заглянул в разные словари. Как они толкуют понятие «аул»? Пишут: селение. Поселок. Группа юрт кочевников. Или селение на Кавказе и в Средней Азии. И приводят примеры: «В большом ауле, под горою, близ саклей дымных и простых...» (Лермонтов). «Белые и серые домики аула Веселого» (Либединский). Интересно, что говорит древний, дотошный Даль? «Аул — почти у всех азиатских народов наших (татар, башкиров, киргизов, многих кавказцев; у калмыков хатон) — деревня, селение, поселок; оседлое или кочевое сборище жилищ; собрание изб, хат, мазанок, землянок, сакль или шалашей, шатров, балаганов, юрт, кочевых кибиток».

Толковый словарь казахского языка (1974) уделил «аулу» четыре страницы убористого текста, пояснив, что это — по-старому — кочевое сборище кошомных юрт, поставленных в одно место, а по-новому — сборище домов, объединенных коллективным хозяйством. Далее словарь толкует слова «ауыл-аймақ», «ауыл-ауыл», «ауылдас», «ау-

ылнай», «ауыл-қала», «ауыл-село», «ауыл-үй», «ауылша», «ауыл-шылау» и другие разные производные от слова «ауыл», сопровождая их примерами из художественных текстов именитых казахских писателей разных времен.

И в принципе все верно. Возражать трудно.И все же... аул не только сборище домов или юрт. Не только малое или большое селение. Это прежде всего люди, объединенные местом обитания, близкие по духу, ментальности, быту, нравам и укладу, живущие в постоянном и тесном общении, спаянные трудом и тягой, расположенностью друг к другу, единые или близкие нравственно, культурно, общественно, социально, имеющие единые или схожие цели, стремления, миропонимание и духоустройство. Аул — своеобразный мир. Со своей инфраструктурой. Экономической, социальной, психологической, этнокультурной. Это общность со сложной корневой системой. Случайное сборище из разных, как говорится, верховий и низовий, вольно или невольно оказавшихся вместе, — еще не аул. Это может быть поселком, селом, деревней, дорфом — чем угодно. Аул в первоначальном смысле — другое. Это понятие более теплое, душевное, близкое, родное, сердечное. Аул — как родной очаг. Аул — как большая семья. Аул — родной кров на единой земле, под единым небом. Аул — твоя совесть, любовь, забота, гордость, зеленый причал, отрада. Аул — начало Родины.

Так воспринимают аул казахи.

Так воспринимаю аул и я.

❁❁❁

Разумеется, в своем историческом развитии казахский аул претерпел разительные перемены. Нельзя, невозможно сравнивать аулы, скажем, абаевских времен, начала прошлого века, довоенной, или послевоенной поры, или нынешней эпохи. Значение слова «аул» необычайно расширилось, приобрело новые оттенки. Случается, мы по привычке звоним близким, спрашивая: «Такойтович в ауле?», имея в виду, в Алматы ли он или куда-либо выехал. И все понимают, о чем речь. «Я только что побывал в ауле», — сообщает знакомый, хотя «аул» его — крупный поселок городского типа. «В благополучии ли твой аул?» — спра-

шиваем по привычке, намекая не на конкретное поселение, а на всю округу или регион.

А что представлял собой аул в изначальном смысле в жизни кочевого народа? О том исчерпывающе поведал Мухтар Ауэзов в авторских примечаниях к русскому переводу «Путь Абая». Вот его пояснения:

«В кочевом быту казахов аул представлял группу юрт, объединенную по хозяйственному и семейному признаку. Аул имел свои постоянные урочища для кочевки: коктеу — весеннее, жайляу — летнее, кузеу — осеннее и кстау — зимнее, где были выстроены деревянные и глиняные постройки. Урочища эти закреплялись за данным аулом по соглашению между старейшинами родов и были постоянной причиной раздора между отдельными аулами и целыми родами.

Хозяином аула являлся зажиточный человек, глава семьи, бай или старейшина, и аул назывался по его имени. Его Большая юрта ставилась на краю аула, за ней по дуге располагались отау (Молодые юрты) женатых сыновей, затем ближайших родственников, специальные Гостиные юрты для приезжающих и дальше — юрты «соседей», обслуживающих аул. На этом краю аула устраивался котан — открытый загон для овец, жели — привязь для жеребят, ставились юрты для варки сыра и т.д.

Сыновья и ближайшая родня хозяина аула кочевали вместе с ним до тех пор, пока поголовье аульного стада не превосходило установленного количества, когда общий водопой, пастьба и уход за скотом становились уже неудобными (так, например, нельзя держать в отаре более тысячи овец). Тогда члены семьи выделялись из Большого аула отца со своим скотом, юртами и «соседями», образуя новый самостоятельный аул, кочующий и зимующий отдельно, но обычно по соседству.

Все хозяйственные работы в ауле несли «соседи» — бедная родня или батраки, получавшие натуральную плату в виде доли удоя, шерсти, обусловленного количества голов скота на убой: табунщики, пастухи, чабаны, доильщики, повара, водовозы и т.п. Беднейшая часть «соседей» — жатаки — не уходили с аулом в сезонную кочевку, оставаясь на зимовке охранять постройки».

Я выписал столь длинное толкование старого казахского аула, живописно и исчерпывающе поданное классиком казахской литературы, так как подобное сжатое и объемное объяснение читатель не встретит ни в одном словаре, ни в какой энциклопедии.

Таких аулов, понятно, ныне нет. Они остались лишь в памяти древних старцев, а чаще всего известны по фольклору, этнографическим описаниям, кинокартинам на историческую тему, запечатлены в сотнях исторических романов, каковыми так богата казахская литература.

Конечно, в каждом таком ауле складывалась своя аура. Один аул выделялся своими певцами, домбристами, другой — акынами, сказителями, третий — борцами-балуанами, еще один — отменными обжорами, искусными наездниками, лихими барымтачами и т.д. Но в главном — в экономическом укладе, в традициях, нравах, обычаях, людских взаимоотношениях — они были весьма похожи друг на друга.

В том краю, куда мы прибыли в 1941 году, тех старопатриархальных кочевых аулов и в помине не было. И убогих юртешек можно было увидеть разве что на полевом стане. Аул превратился в колхозы. И не было баев. Не было отау. Остались одни жатаки, бедные шаруа-колхозники, обитавшие в убогих, приземистых домишках, покрытых дерном, но почти каждый дом имел летнее обиталище, конусообразное, на юрту похожее жилье, сплетенное из тала, называвшееся шошалой. В шошале главным образом и жили с ранней весны до глубокой осени. Шошала как бы заменяла юрту в оседлом ауле в условиях сурового северного климата.

Однако принцип организации аула сохранился. Только теперь в центре располагалась не большая шести-восьми-двенадцатистворчатая (-канатная) юрта с отау (юртой для молодых) по соседству, а аулсовет, школа, клуб или колхозная контора, а потом, как уж получалось, чаще всего вразброс, строили себе жилье — кто на что горазд — остальные. Однако большинство аулчан находились в дальних или близких родственных отношениях, каждый о каждом знал все, вплоть до седьмого колена. (Говорили: «Э, Такойтович родился, когда у Тайшика корова пала», «А когда Есенжан пошел в школу, у Сейтходжи пожар был», «А у Анаса отец был поштабай, у него было сто овец», «А

Жайлау-бай — орыс, принявший мусульманство»...) Никаких секретов в ауле не было и быть не могло.

Годы спустя, после школы, после института, я побывал в разных аулах разных областей бескрайнего Казахстана. И неизменно поражался тому, что по этнографической, социально-экономической, психологической характеристике казахские аулы оказались очень схожими, близкими: один язык, одни обычаи, нравы, манеры, быт, традиции, человеческие отношения, поверья, запреты, благодарности и благословения. Единство казахского духа поражало. Поражает и поныне. Я понял: в основе казахской жизни, казахской ментальности лежит аул. Все начинается там, в ауле. А аул един. Значит, и народ феноменально един. И то, что — особенно в последнее время — начинают то и дело казахов делить по родам, подродам, племенам, жузам, коленам, ветвям и т.д. — абсолютный нонсенс, глупость, вздор и чепуха. В сущности до недавних времен казах — продукт и творение аула. Истинный казах в подавляющем большинстве аульный казах. Там он вырос, там его корни. И корни эти едины. А потому потуги иных отделяться, выделяться, пускать пыль в глаза, называть одних «мамбетами», других «асфальтными», делиться на «таза» (чистых), «шала» (неполноценных) и «ада» (отчужденных, перерожденных) просто-напросто смешно, опасная забава, которая может нанести единому по своим корням народу непоправимый урон. Необходимо всегда помнить о своих корнях, самобытных, истинных, первозданных, а они — пусть во втором, третьем поколении — уходят в аул, в единую нравственную почву, и этим следует всегда и всюду дорожить. Я так понимаю.

❁❁❁

Задумался: что больше всего воспето в казахской устной и письменной литературе? Степь? О да, о степи написан «монблан» произведений. И все же, похоже, больше всего воспет аул. Вдохновенно, взволнованно, искренне, любовно, проникновенно, задушевно, исповедально. Неведомый поэт посчитал нужным оповестить всю степь: «Мой аул у Кольменколя, возле чистого озера...» Другой вторил: «Мой аул ушел в летовку в пойме Сырымбет». Невеста, пе-

ребираясь в аул суженого, печалилась: «Что меня ожидает в ауле чужом?» Ну, а где обитает возлюбленная? «Твой аул за холмом, за пригорками...» Скорбная песня «Корлан» уточняет: «В далеком степном ауле...»

Действительно, темы для серьезных исследований: «Аул в казахском фольклоре», «Аул в казахском песенном искусстве», «Аул в казахской современной поэзии», «Аул в казахской исторической прозе», «Аул в казахской живописи». И т.д. Богатейший, интереснейший материал! Я вначале намеревался обильно оснастить свое эссе цитатами из произведений современных русскоязычных казахских поэтов (большей частью городских) и полистал книжки — сборнички от Олжаса до Ардак Еженовой, но вскоре отказался от этого намерения, опасаясь, что эссе обернется трактатом не на одну сотню страниц. Ну, а если я еще потревожу неподъемный пласт исторического казахского романа от Ауэзова до Кабдеша Жумадилова, то я свой скромный труд вообще не закончу.

«О, мой аул...» — умиленно воздыхают поэты,

«О, край родной, аул родимый...» — умиленно стонут песенники.

Незыблемую свою любовь, тягу к аулу, неизбывную тоску об ауле на все лады описывают прозаики.

Это стало наваждением. Неизменным мотивом казахской творческой интеллигенции. Об ауле писали, тосковали все, везде и всюду во всех жанрах как о далекой мечте, о желанном островке чистоты, тишины, благоденствия, отраде детства и юности, незамутненном роднике высокой нравственности, приюте отдохновения, вечно зеленом причале, источнике добра, света, уюта, очаге неистребимого народного духа. В рассказах, повестях, романах не одного казахского прозаика сквозило настойчивое противопоставление города и аула: город — порок, исчадие, суета, фальшь, грохот, соблазн, искушение, средоточие расчета, подлости, коварства, неискренних людских отношений, продажности, распущенности, беспредела, суррогата; аул — чистота, настоящее, доподлинное, тишина и покой, корни, дух предков, высокие порывы, истина. В городе — мокрые сосиски, свиная колбаса, прокисший кефир, казеный хлеб, капуста, мучные котлеты, разбухшая лапша, разбавленное пиво. В ауле — исконные натуральные яства: курт,

примчик, цельное молоко, сметана, чай со сливками, баурсаки, казы, карта, жал-жая, шужук, жирный бесбармак, пенистый кумыс, каурдак. Ой-хой, дуние! Сплошная идиллия, изобилие, благодать!..

Я не утрирую. Эти мотивы до назойливости повторялись десятилетиями из произведения в произведение (сам переводил таких не один десяток), превратились в клише, в прочную схему, на этом противопоставлении строились фабула, сюжет, зиждились интрига, конфликт. Критики внедряли в сознание читателя антитезу «корней и цветов». Корни в ауле, цветы, разумеется, в городе.

Инерция была великой и, казалось, неистребимой, непреодолимой. Идеал, смысл жизни мерещились в ауле.

Живя в городе, поэты, прозаики упорно писали об ауле, идеализировали аульную жизнь. Выезжая в короткие или длительные командировки в аулы, рвались в город, который продолжали видеть и изображать в дурном свете.

На это шаблонное представление впервые обратил внимание Олжас Сулейменов на каком-то Пленуме Союза писателей Казахстана, едко высмеяв тех, кто ,неизбывно тоскуя по аулу, напрочь обосновался в городе, проложив верную тропу между Союзом писателей и ближайшим рестораном.

Действительно, времена менялись, и взахлеб воспетый казахский аул скудел, беднел, хирел, угасал на глазах его восторженных выходцев.

И я — один из свидетелей этого скорбного процесса.

❁❁❁

Скромный, уютный, тихий, зеленый аул неподалеку от степной реки Есиль, окруженный березовыми перелесками, озерцами-старицами, непахаными ковыльными полями, бугристыми холмами-жонами, становился мне с каждым годом все ближе, родней, и я уже горделиво говорил: «Мой аул». Я прирос к нему сердцем, я знал каждый дом, каждого жителя, каждый кустик по всей округе, каждую тропинку в овраге Теренсай и в зарослях приречного тугая, каждую каменную глыбу у брода Тас-уткель. Аул стал «моим», и я стал «своим» в этом ауле. Все мои разрозненные детские впечатления о Волге — о детской площадке в

лётной школе города Энгельса, о родительском селе Мангейме, о кантонном центре Гнаденфлюре, откуда нас в начале сентября военного лихолетья выслали по зловещему и клеветническому Указу от 28 августа 1941 года, — поблекли, стерлись, отдаляясь все дальше в невозвратный и — порою чудилось — ирреальный мир, а казахский аул мерещился подлинным началом моей жизни, точкой ее отсчета, стартовой площадкой для большого — мнилось в мечтах — разбега.

Все радовало мою душу: и необъятный простор, и летние ливни с неистовыми грозами, когда казалось, вот-вот обрушится небо на землю, и свирепые зимние бураны, после которых диковинные сугробы заваливали домики по самые печные трубы, и жуткие морозы, когда от деревьев с сухим треском отламывались ветви, и дурманящий запах свежескошенного сена, и зыбкий, слоистый туман, волочащийся по степи, и невесомая дымка над Ишимом в предрассветный час, и буйство льдин в половодье, и кизячный дымок, вьющийся над очагами-треногами перед закатом, и все жители аула, от мала до велика, все добрые «ата», сердобольные «аже» и «апа», надежные «ага», друзья-сверстники сироты-интернатовцы, школьники из всех ближних право— и левобережных аулов, и школа, единственная во всем районе казахская средняя школа с ее чуткими мугалимами, и весь этот простой, неприхотливый быт с искренней заботой друг о друге и постоянным вниманием друг к другу. Можно бесконечно говорить о достоинствах, милых приметах, особенностях родного аула и никогда эту тему не исчерпаешь, все равно все не выскажешь, ибо это и не тема вовсе, а твоя жизнь, твоя любовь и радость, твоя память, все твое родное, близкое, сокровенное, неистребимое. Благодарность моя к ТОМУ аулу беспредельна. ТОТ аул и сформировал мою душу.

Летом 1955 года, окончив первый курс литфака КазПИ им. Абая, я на каникулы отправился в аул. Целый год я не был в ауле! И хотя отец регулярно писал мне письма, сообщал подробно все аульные новости, присылал приветы от аксакалов, я с нетерпением ждал того счастливого мгновения, когда я вновь окажусь в родном ауле. Добирались тогда трудно. Чаще всего — после Петропавловска — на попутном раздрызганном грузовике. И едва проехав

Минутку, я уже поднялся в кузове, держась за кабинку, и с замиранием сердца, с дрожью нетерпения в каждой клетке жадно оглядывался вокруг, всей грудью вдыхая вольный степной ветер, настоянный на разнотравье, все всматривался до рези в глазах в зыбкую даль, надеясь увидеть знакомый лесок, овраг, холм, поворот проселочной дороги, и наконец после долгой тряски на ухабах и колдобинах грузовик вынырнул из низины, юркнул мимо колодца с журавлем, мимо старого погоста, вот мелькнули дома поэта Галыма Малдыбаева, учителя Ахметжана, старика-охотника Абильмажина, а вот и медпункт, вот и родительский дом... Голова сладко кружится, сердце трепещет, в глазах все зыбится от слез. Грузовик, грозя развалиться, остановился на всем бегу у знакомого плетня, и я, ничего не соображая, слезаю с кузова. И вот уже бежит навстречу, радостно галдя, вездесущая малышня, а за нею соседка Кульшара, дядя Есим, отцовский ровесник Беким, с посохом-палкой семенит Ергали-ата, еще какие-то апа и аже в платках, жаулыках, длинных до пят платьях и неизменных кебисах, радостно кричат: «Гера! Біздің Гера келді!», т.е. «Наш Гера приехал!», и я уже попадаю в чьи-то объятья, что-то невпопад бормочу, отвечаю на вопросы, и сердце мое вот-вот разорвется от счастья и любви к моему аулу, к моим аулчанам.

«Здравствуй, аул мой... родной и любимый!»

❁❁❁

Все это было, было... Все это осталось в прошлом. И нет тому возврата. И нет уже того аула.

И тут начинаются печальные строки моего эссе.

Какие-то перемены в аулах северных областей Казахстана явно наметились с середины 50-х годов теперь уже прошлого века. Необузданная стихия под названием «освоение целинных и залежных земель» хлынула на тихие, девственные казахские аулы, как горный мутный селевой поток. Боже! Что тут началось! Толпы неведомых башибузуков, словно несметные мамаевы полчища, обрушились на аул. Совершенно дикое, неуправляемое подобие людей неведомого племени, точно всесокрушающий вихрь, разнесло в пух и в прах все, что сложилось,

строилось десятилетиями, а то и веками. Многолетние запасы «тройного одеколона» в сельпо были иссушены в один день. На другой день исчезли залежи дешевой пудры. Ее пили, разбавив водой. Обезумели куры на подворьях. Пух и перья летели по аулу, будто была метель. Молодки и девки боялись выходить на улицу. Ночью пришельцы устраивали по аулу гонки на тракторах. Лихачи ездили в соседние аулы за водкой на комбайнах. Домашних гусей стреляли вместо диких. Рыбу в Ишиме глушили динамитом. Разведенных отцом карасей в котловане вычерпали бреднями за пару дней. Отца, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, буяны ловили на улице: «Эй, недобитый Фриц! Спирт давай, если жить хочешь!» Почтенных аксакалов аула называли не иначе как кривоногими бабаями. Тихий аул оглушили отборными матюками. Все вокруг было истоптано, искорежено, опоганено. К счастью, продлилась эта вакханалия недолго. Схлынула мутная волна. Но аул был уже не тот. Появились новоселы, которые строили дома, кошары, баню, разбивали огороды, распахали ковыльную степь до самого аула, так что скотину можно было пасти только в тугае вдоль реки да в овраге. Среди пришельцев встречались и нормальные трудяги, но им все было чуждо, земля была им чужая, чужаками остались и местные жители.

Аул менялся на глазах. Расшатались нравственные устои, традиции, огрубели нравы, все, что искони было табуировано, считалось отныне дозволенным. Подлинно казахское размывалось, терялось, уходило. Аул превращался в разношерстное село, в сборище случайных людей. Бразды правления оказались у тех, кто чувствовал себя временщиком, знал, что через год-другой уедет, непременно уедет,а потому пусть все горит синим пламенем. Чужое — не свое.

О да, посевные площади увеличивались из года в год, росли урожаи, поднимались трудовые показатели, строились добротные дома, культурные объекты, жизнь стала динамичней, напористей, степь пробудилась от рокота моторов, прокладывались дороги, обновился мост в райцентр — все так. Но аул уходил за горизонт, таял, исчезал.

И все же, все же... фундамент, заложенный предками казахов, вся психо-физическая структура казахского аула

как воплощение народной нравственности, традиции, культуры, быта, сохранились в той или иной мере до нашего дней.

И вот парадокс: окончательный крах аула произошел с приобретением Казахстана политической независимости. К сожалению и великому сожалению, это так.

Заброшенный, ненужный, забытый, преданный всеми, униженный, ограбленный, обескровленный аул чах быстро и непоправимо. Безработная молодежь, почувствовав надвигавшуюся катастрофу, подалась в город, устраивая, как придется, как получится, свою судьбу. За ней, продав все, потянулись старики. Заколачивались окна-двери, бросались дома, спасались кто как мог от бесперспективности, безнадежья, безработицы, пьянства, воровства, дикости и распущенности, грабежа, произвола, подавленности, заброшенности.

Власть все это видела, знала, но и она оказалась бессильна спасти аул, ибо ее душили другие безотлагательные, повседневные проблемы. Надо было любой ценой отстоять независимость. Надо было строить новое государство. Надо было перед цивилизованным миром держать марку, не ударять лицом в грязь, пускать цветные пузыри. Чем-то надо было жертвовать во имя великой цели. И жертвой пал аул. То, что, в сущности, искони надставляло основу Казахии. То, что питало, поддерживало, обогащало, кормило, облагораживало страну.

Жертвы оказались вообще неисчислимы. Фанфары фанфарами, но все же позволю себе здесь ограничиться одним лишь фактом. Зачем мне распространяться о том, что и так все знают и видят? Вслушайтесь: «За десять лет независимости численность населения республики сократилось с 171 млн до 14 млн 955 тыс. человек. Заметно снизились за этот период и экономические показатели. Например, добыча угля — от 131 до 69.6 млн тонн, железной руды — от 47,1 до 7,8 млн тонн, посевные площади — от 35 182 до 15169 га, зерно — от 28,51 до 5,4 млн тонн, поголовье крупного рогатого скота — от 9,8 до 3,9 млн голов» (См. «Известия» от 12.01.01). Не буду читателю докучать другими цифрами. Они ошеломляющи. Но статистика крайне неохотно говорит о крушении аула. А это не просто экономика, не просто цифры. Это суть, феномен народа, издревле называющий себя казахами.

❁❁❁

Чуткие поэты и писатели первыми заметили приближающуюся агонию аула. Начали бить в колокола тревоги. Однако государственные газеты и журналы предпочитали о том помалкивать. Эка невидаль — аул! Ничего. Не впервой. Выдюжит. Оправится. Такие грандиозные свершения вокруг творятся. А эти горлопаны только и знают, что вопить: аул, аул. Ну и что? Свободу же дали аулчанам! Что еще им надо? Веками боролись за свободу, вот наконец обрели ее, а у этих крикунов один «аляуляй»: аул, аул. Постыдились бы хоть!

Дулат Исабеков опубликовал проникновенно-пронзительнний очерк «Аул уходит в небо». Тынымбай Нурмаганбетов обнародовал на тему «Аул» не одну статью, не один рассказ. Хоть и очень поздно, но сказал-таки свое слово, высказал свою боль об ауле много разъезжающий по Казахстану и много замечающий Абдижамил Нурпеисов. О бедственном положении аула говорили мои коллеги по государственной Комиссии по национальной политике при Президенте Казахстана. О печальном состоянии аула из передачи в передачу вещают «голоса» и «Азаттык». Потокам идут корреспонденции журналистов, письма из глубинок. Мотив один: плохо, ужасно, гибельно. Надо что-то делать. Что-то предпринять. Вмешаться в этот разрушительный процесс. Необходимо сберечь основу народа, опору страны. Так дольше жить нельзя. Замелькали на страницах газет стихи: «Ауыл-аза» («Скорбь аула»), «Кайран, ауыл» («Бедный аул»). Писали: «Плачь, аул, плачь, сиротинушка!» Или: «Воры шастают по аулу. Ночь темна. Не слышен даже лай собак». Или: «Что за время настало? Что стало с аулом родным?!» Академик Кенжегали Сагадиев горько сетует: «Сердце разболелось при виде бедного облика родного аула. Помочь нечем. Руки коротки». («Ана тілі» №24/02). Ему вторит прозаик Баккожа Мукай: «Когда бываю в своем ауле, душой изнываю. Раньше мы тосковали об ауле, рвались к нему. Теперь спешим скорее из него уехать. Невозможно и нечем утешить сбитых с толку усталых земляков! Аул изнурен, скудная жизнь, нищета прочно оседлали аулчан» («Парасат» №6/02). О том же говорит поэт Кастек Баянбаев: «Мой родной аул практически

с лица земли. Там осталось немного домов. Он опу-
» («Книголюб» № 11-12 /02). Кадыр Мырза Али в своей
ме «Не сказать мне обо всем, не пересказать» («Егемен
Казахстан» 17/02/01) поэтически и сатирически, с болью
сердце, едко и открыто указал на все бесчисленные язвы
нашего больного общества. Он пишет: «Иные перемены
нашей жизни напоминают нам легенды о конце света».

Об угасании аула, о его распаде, гибели пишут мне письма из северных и южных областей, рассказывают друзья, знакомые, земляки (мои земляки и североказахстанцы, где я вырос, и джамбульцы, где работал после института), многое я видел и сам в своих поездках (о незавидном положении аула поведали мне все акимы районов, когда я, баллотируясь в депутаты, объездил все районы Павлодарской области; о том же всюду шла речь и в Семипалатинске, где я бывал неоднократно в бытность его областным центром; то же видел и в некоторых регионах Южно-Казахстанской области). Свои впечатления я использовал в романе «Туюк су». А здесь, в данном эссе, я заключу свои всем известные, в общем-то, мысли словами поэта Кадыра: «Не сказать мне обо всем, не пересказать...»

❂❂❂

В начале 60-х годов прошлого века советская власть обрушила на аул очередной удар. Вообще, аул все время находился под градом социальных, экономических, идеологических, этнокультурных ударов. Над аулом проводили эксперименты все кому не лень. Большевистские преобразования следовали одно за другим. И с каждым волевым вмешательством самодурной власти аулу становилось все хуже. Лишь отдельные нововведения (радиофикация, электрификация, медицинское обслуживание, «красные юрты», читальни, библиотеки, школы) обернулись во благо. «Реформатор» Н. Хрущев решил аулу продемонстрировать «кузькину мать». Мало что заставил распахать вековые пастбища, навязал еще земледельцам сеять кукурузу, горох там, где они сроду не росли, лишил казахов скота. Стон и отчаяние прокатились тогда по всей степи. Коров, забредавших невзначай на чахлые кукурузные поля, за-

гоняли бдительные охранники в общественный загон и держали впроголодь по нескольку дней, штрафуя хозяев, заставляя их просить, умаливать Аллаха ради отпустить родную скотинушку. Аулчане были в одночасье поставлены в униженное положение. Были объявлены строгие ограничения: на подворье следовало держать одну корову, или одну кобылу, или трех овцематок, шесть-семь годовалых овечек. Что творилось тогда в аулах — пером не описать. Скот резали напропалую, а мясо сдавать было некуда. Ревели недоенные коровы. Блеяли ошарашенные овцы. Отцы семейств толпились у аулсовета, уговаривая местную власть записать буренку на жену, овечек на детей, при этом на разные фамилии, чтобы придать хотя бы видимость законности своего не очень-то и внушительного состояния. Ой-хой, бывали же дурные времена! Без здравого смысла, без такта и деликатности, без оглядки на традиции, без учета реальности. Своеволие и разгул. А страдал народ, хирел аул. И вся эта вакханалия трактовалась алиллуйщиками — идеологами как еще одна яркая победа родной партии и правительства. Мотивы этой социально-политической бестолковщины и экономического головотяпства нашли тогда отражение в «Одиноком доме» С. Жунусова и «Черном старике» А. Сулейменова. «Реформы» Хрущева нанесли аулу сокрушительный урон, выбили аульный люд из колеи на долгие годы.



Но как же быть с аулом? Да, жизнь не стоит на месте. Урбанизация взяла высокий (стихийный) темп. Но хочешь — не хочешь, а почти половина всего населения страны обитает на земле. Судьба большинства казахов все еще связана с аулом. Казах вообще верен и привержен родной земле, месту предков, месту, где капнула первая капля крови от пуповины. Казах продолжает жить в Приаралье, в пустыне, в заброшенных бесперспективных безводных, безтравных регионах и не спешит покидать отчий край. Казах презирает тех, кто ищет лишь сытое, доходное место, оставляет родную землю. Казах считает то недостойным для человека поступком, это доля бродячей собаки.

И продолжает казах жить в невыносимых условиях и при этом еще благодарит Создателя за все его благодеяния.

Власть долго и упорно отмахивалась от аульных проблем. Старалась их не замечать. Вообще о том не думать. Лишила аула мало-мальских очагов цивилизации. Подорвала экономически. Растоптала физически. Расшатала производственно. Унизила психологически. Даже в годы независимости не представляла, как с аулом быть. В досаде и раздражении смотрела на аул, как Ленин на буржуазию.

Наконец, когда уж все обрушилось в пучину безнадежья, власть спохватилась: апырай, дела в аулах, оказывается, и в самом деле жаман, ой, жаман, дальше некуда. Надо что-то срочно предпринять. Что будет, если вся эта голытьба ринется в города?! Надо поддержать, вкладывать инвестиции. По пути Запада не пойдешь: не те размеры, не те горизонты, не та ментальность. Не та инфраструктура. Всех в город не переселишь. Огромное пространство страны необходимо как-то удержать, осваивать. Иначе хлынут такие орды келимсеков , что независимость зашатается и будущее народа, нации станет проблематичным, все величественные горизонты фантастической программы 2030 рухнут.

ooo

Так родилось последнее по времени Послание Президента страны народу, в котором главное внимание уделено наконец-то! — аулу. Что и говорить, Послание верное, продуманное, правильное. Акценты расставлены точно. И пути намечены разумные. Все так. И, бесспорно, если вложить серьезные (почти немыслимые) средства, что-то еще можно сделать. Ну, дома построить, дороги, культобъекты. Можно воздвигнуть агрогородки, фермы, фирмы, наладить крупные хозяйства, удержать людей на земле, внести лад и склад в порушенное бытие. При многолетней заботе, государственной помощи, внимании и терпении все это может БЫТЬ, скорее, даже БУДЕТ. Но поезд ушел. Время ушло. Людское терпение кончилось. Веры не осталось. Аула не будет. То, что будет, будет чем угодно, только не аулом. Аул в своем изначальном понимании уходит

с арены национальной истории навсегда. Как ушла конно-кочевая цивилизация. Что и говорить, горько. Но ничего не поделаешь. Такова истина. Таков круговорот бытия.

Народ уже ничему не верит.

«Когда ж народ не верит, то не устоять».
Так сказал Конфуций.

Завершаю свой сказ о милом моему сердцу казахском ауле. Мне неловко и стыдно, что завершаю его на горькой, скорбной ноте, что мой природный оптимизм на этот раз дал сбой. Но что поделаешь, я именно так думаю. И самого себя обманывать — выше моих сил.

У аула было начало. Был взлет, был спад. Теперь, видно, настал его конец.

Может, это и естественно... Лишь бы конец не обернулся хаосом.

Хаосом в казахском мироздании.

В миропонимании.

Хаосом извечной гармонии.

А последствия любого хаоса провидеть сложно.

Чаще всего невозможно.

05.07.2002.

РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ

18 августа 2007 года

Сегодня отцу исполнилось бы 98 лет. Ушёл он от нас почти пять лет тому назад. Я его часто вижу во сне, чаще чем маму. Я отца очень ярко, зримо представляю на Волге, еще до войны, в Энгельсе, Манхайме, Гнаденфлюре, потом в ауле, на берегу Ишима, потом — в Ташкенте, во дворе, слышу его голос, его шутки, его игру на скрипке, на мандолине, гитаре, балалайке, кларнете, вижу, как он вечно что-то мастерит, выдумывает, колдует с какими-то железяками, за всё берётся с увлечением, азартом, учит-наставляет внуков, дрессирует Волка, Шарика, Рекса, кошку, петуха, приучает болтливую сороку-трещотку к режиму, которая вовремя прилетает откуда-то за кормёжкой, возится даже с неуклюжей черепахой, которая на его добрый стук костлявыми пальцами выползает из-под дивана, долго, настойчиво переваливается через порог и тащится на обед к своей плошке, где её ждёт вымоченный в молоке хлебный мякиш и нежная травка. Всё живое тянется к отцу. Нахальный афганский скворец, вор и разбойник, и тот смущается перед отцом, зорко следит-наблюдает за ним с виноградника.

Вижу отца молодого, высокого, жилистого, ловкого, очень спортивного, с военной выправкой. Вижу его и на склоне лет, тощего, немного сгорбленного, костлявого, но по-прежнему жилистого, длиннорукого, в застиранной обвислой майке, старой бесформенной шляпе, в заношенных, залатанных штанах (он, находясь во дворе, любил выряжаться во всё ветхое, бедняцкое, по поводу чего мать неизменно потешалась над ним: бедный Лацарус! А сестра Альма с юморком рассказывала мне, как однажды во двор ввалился бомж-попрошайка, но, завидев отца в немыслимом тряпье, испуганно ретировался, поняв, что здесь ничем не поживишься), он часами сидит в утлу просторного

двора за колченогим, со свалки, облупленным, обшарпанным столом, дробит, режет, мельчит всякую-всячину — арбузные и дынные корки, кукурузные початки, картофельные ошкурки, ботву, орешки — готовя корм для прожорливых кур и уток. Он, сидя в необъемном, железном кресле, работает увлечённо, сосредоточенно, но чутко прислушивается к тому, о чём галдят правнуки, шумят внуки, спорят-тараторят дети, не все эти тары-бары ему по душе, однако мудро молчит, думает о своём, надеется, что кто-то обратится к нему за словом, за советом, но потомки его расспросами не донимают, и это его явно огорчает, печалит. Ему кажется, что все его забыли, никому он уже не нужен, и вообще всё как-то не так, не слышно былого веселья, гомона, и инструменты без толку висят на стене, рассыхаются, пылятся, никто их даже в руки не берёт, а все только довольствуются дурацкой какафонией из магнитофона. И у детей непонятные заботы, а внуки и вовсе отдаляются, неизвестно, в какую сторону. Пока была рядом незабвенная Анна Давыдовна, с которой прожил в согласии и любви более шестидесяти лет, в жизни был ещё какой-то смысл и интерес, а теперь что... Теперь рядом с ним только верный Рекс, мудрый и всепонимающий, вздорный петух Петька, самодовольный и безмозглый, дремливая и проказливая кошка Машка, которая обожает с краешка крыши наблюдать за всем, что происходит во дворе, да стайка голубей, беспрестанно воркующих под застрехой...

Не по нутру отцу такая старость. Покорно, смиренно доживать свой век — унизительно. Если бы не пустоглазое одиночество, если бы не ранний уход матери, если бы не разлад в привычном быту (дети и внуки разъехались-разбежались в поисках лучшей доли по странам-государствам), если бы царил порядок и созвучие в мире, в стране, активный по натуре отец запросто дожил бы до ста лет. В шутку, бывало, он говаривал: «Хочешь — не хочешь, а до ста дожить надо».

Одиночество и разлад в душе убивают лучшие мечты и намерения.

Об этом мне и подумалось сегодня в день рождения отца.

Чуткая и деликатная моя сестрёнка Альма, живущая ныне в Германии, позвонила мне, и мы повспоминали бла-

тарно и светло нашего отца. Вспомнили между прочим и о том, что отец был абсолютно равнодушен к богатству, роскоши, мишуре; золотые изделия, дорогая мебель, хрусталь, редкие украшения его совершенно не привлекали, зато он часами мог драить-чистить потемневший от времени медный пятак и смастерить какую-нибудь безделушку. Вообще, как я теперь понимаю, отец был гораздо сообразительнее что-то из заведомо бросового материала. Вот, скажем, найдет проржавленный остов тракторного сидения, приделает, приварит к нему спинку, украсит разными финтифлюшками, гайками прикрутит ножки, потом прикрепит к этому остову подушку, набитую опилками и обшитую мармантином, над этим неподъёмным, несуразным троном он корпит полгода, и странное это колченогое изделие, кажется, до сих пор громоздится в отцовской усадьбе, и никто на этом кресле не рискует восседать.

Или раздобудет отец где-то кузов домбры, пристраивает к нему гриф мандолины, натягивает струны балалайки и тоже месяцами колдует над этим диковинным «инструментом», извлекая из него такие звуки, что Рекс начинает нервно поскуливать, а у Машки дыбится шерсть и хвост ходит ходуном.

Помню отцовское изделие, которое он называл универсальной соковыжималкой: нечто уродливое, с железными и медными деталями, с чугунной подставкой, с прессом, ручкой, винтами, узкой горловиной, из которой сочится бурого вида жуткий яблочный, томатный, морковный, свекольный, виноградный соки, которые никто из домочадцев не решался брать в рот.

Выдумщик был отец безустальный. За всё брался без страха. На насмешки наблюдателей его деяний не реагировал. Он был убеждён, что если и не сможет переделать мир, то усовершенствовать его обязан. И во многом преуспел: лечил людей, принимал роды, вправлял вывихи, сажал деревья и цветы, косил сено, рубил дрова, подшивал валенки, строил сараи, копал и чистил колодца, тушил пожары, спасал утопающих, обрыбливал пруды, сочинял стишки и музыку, лудил, латал, кухарствовал, сеял, собирал лечебные травы, с любовью ухаживал за скотом, руководил струнным оркестром, фотографировал, пропагандировал спорт (гордился значком ГТО первой

ступени, знаками парашютиста и «Ворошиловского стрелка», МОПР и Красного креста и полумесяца), охотился, рыбачил, разыгрывал сверстников, шутил, пел... О, деятельный, активный был во всём. И всё делал с любовью, с охотой, с добрым сердцем. Новатором был по натуре. И за эти качества, за щедрость люди его уважали, любили, льнули к нему.

Читал только по надобности, то, что необходимо было ветерану-партийцу, руководителю начальной партийной ячейки и депутату местного совета. Писанину, медицинскую отчётность, беллетристику и кино не жаловал. Говорил: выдумки, сказка. Интерес его вызывало лишь то, что было жизненно достоверно, реально. Просматривая газеты, хмурился, кривил губы, скорбно замечал: ну да, надо же что-то писать... Любил слушать, когда я ему читал. Нравился ему Твардовский: часами слушал «Василия Тёркина на том свете». Восхищался: всё просто, понятно и правдиво. Равнодушен был к симфонической музыке, опере, балету, абстрактной живописи («мазня!»), всякой словесной зауми, прикидам в одеждах, дорогим нарядам.

Обожал внуков, которые чем-то увлекались, читали, музицировали, рисовали, играли в шашки, декламировали.

Я понимал: самым счастливым временем для него были 1931-1938-ые годы, когда он, бедняцкий сын поволжского немецкого села Манхайм, служил в Рабоче-Крестьянской Красной Армии в лётной школе города Энгельса. То время жило в нём до последнего часа.

Не сходились мы с отцом в одном: я рано рассуждал не в струю, не так, как положено было, как надо, слыл вольнодумцем, не испытывал пиетета к власти, отец же убеждённо считал, что должен быть порядок во всём, что власть нужно если не любить, то уж уважать непременно, лучше язык держать за зубами, сильным не перечить и всегда помнить, что у стен тоже есть уши и высокая мудрость — быть правильным человеком. Меня он любил, но огорчало его то, что я всё же не совсем правильный. Для меня он был не только отцом, но старшим, верным, надёжным другом-опорой.

«Отныне вот твоё занятие»

На двенадцатом году жизни я обезножил. До того в ауле слыл «жел-аяқ» — ветроногим. Не всякий аульный пёс мог угнаться за мною. А тут обрушилась беда. Боль в правом тазовом бедре становилась невыносимой. Однажды после занятий не мог подняться из-за парты, и отец унёс меня из школы на руках. Более десяти минут в одном положении я усидеть не мог. Я без конца менял позу, то опускал, то приподнимал воспалённую ногу, но боль отпускала лишь на мгновения. Я измучился. Невидимый зверь день и ночь с маниакальной настойчивостью грыз мой сустав доводя меня до отчаяния. Вместе со мной исстрадалась мать. Скорбными глазами подолгу глядел на меня отец, бессильный чем-либо мне помочь. Он листал свои медицинские справочники, прихваченные при депортации с Поволжья, и всё больше склонялся к мудреному диагнозу — полиомиелит. Как с такой хворью сражаться, он, военный лекарь, не знал. Районный врач долго щупал своими холодными костлявыми пальцами мой побагровевший от воспаления сустав, недоумевал и на всякий случай заковал меня в гипс по самую грудь. Теперь я даже лишился возможности самостоятельно переворачиваться набок. Лежал на спине, изучая каждую трещинку на низком потолке нашей убогой комнатушки при медпункте и тихо, протяжно поскуливал, утишая, умоляя, уговаривая, убаюкивая адскую боль в тазу. Зверь, угнездившийся в суставе, точил-сверлил-буравил меня, не давая передышки ни себе, ни мне.

Не было никаких сил приноровиться к изнуряющей боли.

О школе я забыл. Детские шалости, игры-забавы, беготня по аулу и окрестностям остались в прошлом. Ничего, кроме боли, уже не существовало.

Слякотная осень вскоре сменилась бесконечной стылой зимой. Я лежал пластом на жёстком топчане у низкого, закопчённого окна, кусал от боли губы, тихо, чтобы не слышала мама, плакал, нудными зимними ночами прислушивался к вою бурана, к шороху снежной круговерти, к лаю аульных шавок, в ясную погоду любовался стылой луной, то и дело ныряющую в свинцовые, кудлатые тучи.

Все надежды и мечты враз меня покинули. Я чувство-

вал, как таинственный зверь настойчиво вгрызался в головку тазобедренного сустава, который опухал, горел не по дням, как боль пыталась вырваться наружу, но ей это никак не удавалось.

И однажды, месяца через два-три, что-то случилось, кожа под гипсом будто повлажнела, отсырела, боль ослабла, приглушилась, и я мог — о, блаженство! — спать часами. А вскоре из-под гипса явно потянулся дурной, гнилой душок. Отец принюхался, разрезал гипс, и тут в двух-трёх местах обнаружились свищи, из которых сочился изжелта-бурый гной. Заезжий областной врач решительно поставил диагноз: туберкулёз костей. И я услышал, как он тихо сказал отцу: «Процесс в лучшем случае можно только остановить. О полном же излечении речи нет».

Я смутно догадался: выходит, обречён отныне жить с болями, с частыми обострениями, а если и буду ходить, то только на костылях.

Осознать это в двенадцатилетнем возрасте — ужасно. Почти что как выслушать смертный приговор. Я совершенно не представлял, как жить дальше. Будущее было не только в тумане, порой чудилось, что его вообще нет.

Было жаль себя. А ещё больше — родителей, которые маялись с сыном-калекой.

Беспомощный, жутко исхудавший, вконец обессиленный, я лежал на топчане, листал старые, замусоленные учебники, умножал четырёхзначные цифры на пятизначные, пытался рисовать, подолгу разбирал шахматные партии из растрёпанного учебника Ласкера, иногда отец выносил меня на свежий воздух, укладывал на пахучее сено, укрывал тулупом, и у меня от слабости кружилась голова, дрожали руки-ноги, озноб колотил изнутри, мама трижды на дню подносила мне парное молоко в синей эмалированной кружке, я его медленно выцеживал, на время вроде как малость ободрялся, но тут обнаруживалось новая напасть: каждый раз из носа шла кровь.

Слабость изнуряла, угнетала, унижала, убивала меня ежедневно, ежечасно, и я грезил-мечтал о летнем тепле, о щедром солнце, когда могу вольготно расположиться в шалашике под акацией в уголке огорода. Но зима и весна длились нескончаемо. А мне ещё предстоял экзамен за четвёртый класс.

Всё чаще чудилось, что меня запихнули в мешок, в котором я вот-вот задохнусь.

Однажды отец приехал из районного центра Марьевки, достал из сумки свёрток, медленно, явно возбуждая моё любопытство, развернул его и протянул мне изрядно потрепанный томик. Я прочитал на обложке: А.С. Пушкин. Сказки. Дрожащими руками я принял этот дар, неизвестно у кого и как раздобытый отцом, полистал книжицу и наткнулся на строчку: «Сватья баба Бабариха». Что-то всколыхнуло во мне, чем-то поразила, захватила, обострила внимание ббббабба Ббба-ббба-ри-ха. Должно быть, отец заметил мою заинтересованность. И он очень серьёзно сказал:

— Отныне книга и станет твоим главным занятием.

Я остро понял-почувствовал: да, да, да, отныне книга, только книга, одна книга — та одна-единственная соломинка, которая удержит меня на плаву жизни. Книга увлечёт и отвлечёт меня от моей тягостной немощи и кислой доли. Этой истиной вмиг озарилась душа в моем хилом тельце, и я с того дня воспрял духом. Позже, став взрослым, я неустанно повторял: человеком меня сделали родители, аул и книга. Вот три источника и три составные части моего духовного бытия.

Зарядка

Отец — человек спортивный. За семь лет службы в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии закалился основательно. Никакой вид спорта ему не чужд. Отмахать пешком десять-пятнадцать километров за день, перетаскивать трёхпудовые мешки, сходу перепрыгнуть ручей-канаву, косить и скирдовать сено, вскопать огород, натаскать из колодца пару бочек воды для полива, вплавь перебраться через Ишим ему, как мне казалось, ничего не стоило. Всё у него ловко получалось. А я рос болезненным, хилым, и отца это, я чувствовал, угнетало. Он не жаловал слабости в человеке. Примерно с пяти лет он приучил меня с утра, после сна, бегать вокруг дома, и не просто, по-щенячьи, как попало, а по-спортивному, с лёгким наклоном, с развёрнутыми плечами, с прижатыми к туловищу локтями, с ритмичным вздохом-выдохом, прыгать через ров, с разгона и

с места, скакать попеременно на одной ноге, подтягиваться на турнике, лазать по канату, обливаться водой, ничего не бояться, попусту не хныкать. А тут беда: единственный сын обезножил, подхватил tbc костей, с трудом передвигался на костылях, дохлый, чахлый, как трава на солончаке возле старицы. Мама укутывала меня, жалела, оберегала от всех напастей, а отец заставлял меня подниматься резво в шесть утра, а спал я в стылой комнатушке-пристройке, потом мне предстояло плескаться у рукомойника, где вода покрывалась за ночь ледяной коркой, делать, преодолевая боль и слабость, посильную зарядку, а главное — полчаса до занятий в школе пилить вместе с отцом дрова.

«Ну, не трогай ты его, — заступалась за меня мама. — Видишь: еле-еле душа в теле. Er ist ja ganz krank».

«Ничего! Надо закаляться», — убеждённо возражал отец.

«Какая жестокость! — жалел я сам себя. — И это называется отцовская любовь...»

В сарайчике-дровяннике, освещённом в ранней сутемени тусклым фонарём, стоял крепко сколоченный, приземистый «козёл» с рогами-зубьями. На него отец аккуратно укладывал берёзовые и осиновые брёвна-стволы, и мы их распиливали на ровные, совершенно одинаковой длины чурки.

Левой рукой я опирался о бревно, прислонив костыли к стенке, правой из всех силёнок тянул зубастую, визгливую пилу, тяжесть тела переносил на здоровую ногу, служившей опорой, а правая, больная, в перевязке, уже укоротившаяся, болталась на весу.

Мне бывало неудобно, больно, сердце трепетало, трепыхалось, кровь приливала к голове, лицо покрывалось испариной, дыхание прерывалось, неумело разведённая пила с натягом вгрызалась в тугую, сучковатую плоть дерева, её то и дело заклинивало, руки дрожали, ныло в груди, а жилистый напарник-наставник мой неустанно поучал-подгонял-подстёгивал меня:

— Не толкай пилу, а на себя тяни, ровно, мягко. Не напрягайся. Шире плечо! Дыши ровно! Не горбись! Вот так! Сильно не наклоняйся! Ровно держи ручку! Видишь, пила вкривь пошла. Ну, вот, так лучше. Хорошо! Так держать! Давай, давай!.

Бороздка становилась всё у́же. Пилу без конца заклинивало, приходилось её вытаскивать и вновь пускать по прежней бороздке. Желтоватые опилки веером брызгали во все стороны. В глазах рябило, в висках стучало, из-под мышки струился парок. Иногда казалось, вот-вот вырвется ручка, пила, взвизгнув, завиляв, выскочит из бороздки, заденет, поранит руку, а я рухну на не разделанные кряжи-чурки.

А отец продолжал поучать:

– Не рви пилу! Ровней! Спокойней! Ты только крепче держи ручку. Пила сама пойдёт. Ну, ну, ещё немножко. Так, так! Ну, ещё одно бревнышко. И на сегодня хватит. Genug!

Я косился на косяк, на сучке которого болтались на цепочке увесистые отцовские карманные часы. Стрелки, казалось, стояли на одном месте. И мне чудилось, что мы пилим эти проклятущие дрова уже вечность. Мочи нет. Язык вот-вот вывалится изо рта, как у нашего Шарика. Уши заложило.

– Всё! – как сквозь ваты доносится голос отца. – Хватит! Отряхнись, позавтракай и в школу. Немного кровь разогнал.

Унимая противную дрожь в теле, наваливаясь на костыли, которые норовят выскочить из-под мышки, я с трудом одолеваю ступеньки крыльца, вбираюсь на кухню, где пахнет берёзовым дымом, ячменным кофе, уваристой картошкой, уминаю булочку с маслом, запиваю парным молоком и, закинув за плечи холщовую сумку с книжками и тетрадками, потукивая костылями, плетусь-тащусь в школу.

Отец колуном разделывает кряжи, и поленья летят во все стороны. Знаю: сейчас он уберёт дрова, уложит поленья аккуратно на просушку, поставит на место «козёл», подметёт тщательно опилки, щепки, потом тоже позавтракает и отправится в медпункт.

Такая вот ежедневная зарядка.

Такова отцовская метода закаливания тела и воспитания характера.

С годами я понял: метода была правильная. Иначе я бы давно сковырнулся, окочурился.

«Эй, недобитый фриц, дай спирт!»

Весной 1954 года в нашем тихом, зелёном ауле объявились, как снег на голову, первоцелинники. Откуда их только набралось! Горластое, нахрапистое, дремучее мужичьё наводило ужас на благонамеренных аульчан. В один день первоцелинники опустошили сельмаг, мигом пропустили через лужёные глотки многолетние залежи тройного одеколона и пудры. Вели себя как разбойники-шакалы: ко всем приставали, одним только свирепым бандитским видом своим перепугали всех, забубенную уборщицу колхозной конторы изнасиловали средь белого дня прямо на телеге аульного баскармы, воровали кур, динамитом глушили рыбу в Ишиме, горланили похабные песни, оглашали растерявшийся аул отборным русским матом. Случалось, в тяжком угаре устраивали гонки на тракторах. В поисках горячительного ездили на комбайне в соседние аулы.

Месяца через три-четыре это разбойное племя исчезло. Оказалось: никакие не первоцелинники, а обыкновенные уголовники, шпана, шантрапа, сволота, выпущенные на волю и получившие солидные подъемные.

Один из них мне особенно запомнился. Расхристанный громила, покрытый бурой щетиной, коротко остриженный, немытый, с налитыми кровью глазами, с железными зубами, огромными кулачищами, он делал частые вылазки в аул, слонялся неприкаянным орангутангом по дворам, пугая стар и млад. Сиплым басом рыкал:

— Эй, марджа, айран-шалап есть, махан есть? Давай!

Приставал к девушкам, молодкам:

— Эй, кызымка, дамбал шеш, лапак дай. Сделаем маломало вася-вася...

И, выразив своё потаённое желание непотребным жестом, довольный собой, утробно хохотал.

Все его боялись, называли «жынды Иван» — «Буйный Иван».

Председатель колхоза так и не подыскал ему подобающей работы в хозяйстве. Обитал буйный Иван в пустующем сарае возле кузницы.

Раза два заявился жынды Иван и в медпункт. Бесцеремонно вваливался к отцу, щерился, обнажив кривые, чёрные железные зубы, люто вращал глазищами, водил огромным, с кулак, кадыком, урчал:

- Эй, недобитый фриц, спирт давай! Шнель, шнель! Не то...

Я как раз зашёл к отцу сменить перевязку на незаживающих свищах. И, признаться, встревожился. Таких страхолюдин видеть в ауле не доводилось. А этот орангутанг был даже выше ростом моего отца и намного массивнее. К тому же, поговаривали, что в голенище у него финка.

— Не то, что? — спокойно спросил отец, расставляя какие-то склянки на длинном узком столе между двумя окнами.

— Увидишь, фриц!

— Вон отсюда! — тихо сказал отец, всё так же стоя к верзиле спиной.

Я омертвел. Почудилось: сейчас схлестнутся. Ведь буйный Иван на всё горазд.

— Не понял?! — зловеще пророкотал пришелец.

— Во-он!!! — незнакомым голосом прокричал отец, и шея его вмиг побагровела.

Я обомлел. По низу живота прокатился холодок. Слабость ударила в ноги. Бинт едва не выпал из моих рук. Ужас-то какой! Разве мыслимо этому громиле возражать? Уж лучше дать ему мензурку спирту и отвязаться.

— Ты-и... что-то вякнул, фриц?! — выпрямился верзила, упираясь стриженной башкой-калганом в потолок. — Ну, ты у меня, фашист недорезанный, поплачешь! Давай, выйди на дорогу, поговорим...

— Иди! Жди! Сейчас приду!

Буйный Иван, топоча сапожищами, вышел, длинно и вычурно выругался:

— Тра-та-та-та-та... четыре с половиной господа душу... мать!

Мне такого ещё слышать не приходилось, хотя и учился «на отлично». В ауле матерились значительно лаконичней.

Из окна медпункта я видел: буйный Иван, горбясь, вышел на просёлочную дорогу, встряхнулся, изготовясь к схватке, сбросил рваную фуфайку на обочину, повернулся в сторону медпункта и похлопал по причинному месту.

Отец покосился на верзилу из окна, мельком как бы примерился, приладился к нему, решительно скинул белый халат, подтянул офицерский кожаный ремень, засучил рукава и стремительно вышел.

Я прильнул к окну. Сердце заколотилось. Что будет, что будет? А вдруг буйный Иван пырнёт отца финкой?

Отец подошёл к верзиле вплотную, рослый, подтянутый, сухой, что-то сказал, орангутанг схватил его клешнями за грудки, надвинулся над ним всей тушей. И тут вдруг отец молниеносно рванул его к себе, крутанул за руку, подставил подножку и верзила — о, боже! — тяжело рухнул на пыльную дорогу.

— А-а-а-а... — послышался его рёв. — Фашист! Фриц!

Несколько аульных хатунов возле колодца, застыв, наблюдали за этой сценой.

Отец взял верзилу за шкирку, встряхнул его, заставил подняться, и, едва тот встал на ноги и распрямил спину, как коленом резко двинул ему в пах, и страхолюдина обмяк, схватился за живот и опять рухнул мешком в пыль.

Я такого не ожидал. Смотрел в окно ни живой, ни мёртвый.

К хатунам возле колодца присоединились кривоногий сосед Беким и ватага малышни и смотрели на побоище, разинув рты. Теперь месяц в ауле будут шушукать о том, как на пыльной дороге в смертельной схватке сошлись урус и немыс.

Между тем верзила очухался, медленно поднялся с земли и, угрожающе растопырив узловатые пальцы, рыча, надвинулся взбесившимся чудищем на отца. Я слышал, что урки могут запросто выколоть глаза противнику. Отец, по-боксёрски прикрыв лицо кулаками, медленно отступал, тело его напружинилось, голова ушла в плечи. Мохнорылый верзила, чуть сутулясь, шаг за шагом надвигался, грозно нависал над ним. Я замер. Чудовищные пальцы-клешни вот-вот замкнутся на тонкой, жилистой шее отца, и тогда ему несдобровать, не вырваться. И тут отец отшатнулся назад, мгновенно оттолкнулся обеими ногами, чуть согнулся и что есть силы головой саданул мохнорылого в грудь. Тот раскинул руки и, как подкошенный, шмякнулся оземь.

Хатуны и кривоногий Беким у колодца ликующе вскинули руки, пацанва победно запрыгала. Сердце моё подскочило к горлу. Во рту пересохло.

Такого разве в ауле увидишь?

Отец некоторое время смотрел на поверженного обидчика, потом нагнулся, посмотрел в заросшее щетиной лицо

его, пощупал привычно пульс и пошёл восвояси, будто ничего не случилось.

А буйный Иван вскоре встал, отряхнулся, заозирался вокруг, будто припоминая, что, собственно, случилось и где он находится, потом, волоча за собой грязную фуфайку, побрёл к колодцу, ополоснул лицо, руки из деревянной колоды и подался в сторону кузни.

- Перевязку сделал? — спросил отец, войдя в медпункт.

- С...сде... сделал, — ответил я деревянными губами. Страх сковал меня.

- Тогда иди. И не бойся. Этот сюда больше не сунется. Получил и за «фрица», и за «спирт». Це-лин-ник!...

Буйный Иван, действительно, из аула убрался. А о его бесславной стычке с аульным «першылом» (фельдшером) ещё долго рассказывали по всей округе.

Выборы

О предстоящих выборах в ауле поговаривали везде и всюду месяца три. Шутки ли: первые послевоенные выборы в Верховный Совет Казахской ССР! Даже в дремучем захолустье все были подняты на ноги. В колхозной конторе освободили самую большую комнату, соорудили две кабины для тайного голосования сколотили ящик-урну, обшив её красным ситцем, в углу поставили стол со старыми подшивками газет, с журналами, блокнотами агитатора и истрёпанным томом Джамбула, натащили несколько колченогих стульев и расшатанных табуреток, стены обклеили плакатами с портретами и биографиями кандидатов в депутаты, аляповатыми графиками прошлогодних трудовых показателей.

И вот настал тот день. Все жители аула заблаговременно оповещены. Голосование начинается ровно в шесть утра, а в семь пара, запряжённая в сани, должна домчать до райцентра протокол и опечатанные бюллетени голосования.

Конечно, предусмотрена и культурная программа. Ею заведует мой общественно активный отец. Уже в четыре утра отец со своей скрипкой, я — с аккордеоном должны быть в конторе и начинать веселить-развлекать медленно собирающихся, заспанных и продрогших аульчан. А через

час энтузиаст-мугалим Калау приведёт группу измождённых и вечно голодных интернатовцев, которые хриплыми спросонья, простуженными голосами споют натощак несколько патриотических песен. Ну, а вся выборная кампания закончится уже примерно в восемь-девять утра.

Таков план, разработанный аульным избиркомом, аулсоветом и первичной партийной организацией.

— Подъём! — растормошил меня отец, и я стал поспешно одеваться.

За окном стынь и мрак. По-разбойничьи свищет-воет ветер. На столике возле печки коптит-мигает лампа-семилинейка. Отец уже оделся, уложил в футляр скрипку, в карман сунул канифоль, завернул в старое покрывало аккордеон. Ходики над дверью показали без двадцати минут четыре.

Мне зябко. Я не выспался. Больная нога привычно ноет. В животе урчит. Тащиться тёмной ночью по пустынному, сплошь в сугробах, аулу да ещё на костылях — никакое не удовольствие. Но надо, надо. Ordnung muß sein. О порядке, дисциплине в работе и поведении отец твердит-внушает по десять раз на дню.

Выходим. Морозный воздух перехватывает дыхание. Окунаемся в стылую, глухую мглу. Снег поскрипывает, повизгивает под ногами. Костыли разъезжаются в стороны. Лишь бы не споткнуться, не упасть. А ветер так и норовит столкнуть тебя в сугроб.

Отец, держа под мышкой футляр со скрипкой, за плечом — аккордеон в узле, правой рукой освещает карманным фонариком-жужжалкой запорошенную, едва различимую тропинку.

Аул как вымер. Ни одной живой души. Ну, вот и добрели до конторы. Из промёрзших окон едва брезжит свет. У крыльца кто-то в заскорузлой шубе и треухе-малахае разгребает снег. Рядом зябнет лошадка в сизом куржаке. Уборщица тётя Ира в немыслимом тряпье, в огромных подшитых валенках пытается разжечь печь. Пахнет мёрзлыми поленьями, сырой берестой, керосином, пылью, нежитью.

В конторе тихо, убого, холодно. Даже две керосиновые лампы-десятилинейки не в состоянии развеять предутреннюю сутемень. Возле обшарпанной печи дремлет, свесив сивую бороду-лопату на грудь, древний Жайлаубай. Три года назад, помнится, он говаривал, что ему пошёл седьмой

под седьмого десятка. Ныне он бубнит, что одолел девять перевалов жизни. Через год наверняка заговорит о стомостном рубеже. Как старейшине аула ему поручено голосовать первым. И чтобы не проспать эту высокую миссию, Жайлаубай-ата притащился в контору ещё в полночь. В тулупе, непомерных сапогах с войлочными чулками, в лисьем, облысевшем тымаке, в кожаных рукавицах он сидел неподвижно, лишь изредка бухал в бороду:

Сколько ещё осталось?

Два часа, ата, — отозвался шустрый секретарь аулсовета, видно, главный распорядитель сегодняшнего мероприятия. — Потерпите. Вздремните чуток.

Дед Жайлаубай что-то промычал, крепче охватил суковатый посох, упёрся подбородком на руки.

Рядом с ним прикорнула озябшим воробышком крохотная Арайлым, ученица десятого класса. Ей исполнилось восемнадцать, голосует впервые, и её обязали голосовать второй, сразу же после старейшины аула. Сказали: так надо, в газетах пропечатают. Потом голосуют коммунисты

мой отец, директор и завуч школы, председатель колхоза, заведующая фермой, бригадир, доярка Шаку, бухгалтер Беким, за ними — рядовые колхозники и все остальные аулчане, имеющие право голоса.

В закутке, возле крыльца, был организован буфет. Отец принёс мне оттуда затвердевший, как камень, пряник, горсть слипшихся карамелек и стакан морса. Все эти сласти были для аульчан в диковинку.

— Ну, разогреемся малость, — сказал отец, когда я допил чуть сладковатый розовый морс.

Он достал из футляра скрипку, настроил её, помял пальцы, наканифолил смычок. Я развернул аккордеон, уселся поудобней, прислонив к стенке костыли, привычно взял несколько аккордов, нащупал соответствующей тональности басы, переключил регистр и заиграл «На сопках Маньчжурии».

Дед Жайлаубай очнулся, почему-то стукнул невпопад посохом. Встрепенулась, зашевелилась и вконец продрогшая миниатюрная Арайлым.

— Уай де! — прокричал дурашливый сморчок-завхоз.

— Давай, давай «Камажай»! — подзадоривал шустрый секретарь аулсовета.

Наконец, подключился и отец. Встал во весь рост, выставил левую ногу, взмахнул смычком, заиграл шаловливую польку, потом — марш, потом — подряд несколько вальсов, потом — попурри из немецких народных песен.

Сразу стало веселее. И народ подтянулся, толпился на крыльце, в коридоре, в проходе, в буфете-закутке. Вмиг потеплело. От печки валил пар.

— Эй, бала, скоро? — спросил дед Жайлаубай в пространство.

— Сейчас, ата. Что нужно говорить, не забыли?

— А-а-а... — пробубнил дед Жайлаубай. — Что кудай в уста вложит, то и скажу.

— Э, нет, ата! Мало ли что вам в голову взбредёт. Сказать надо то, что нужно! А ты, Арайлым, слов своих не забыла?

— Наизусть выучила, — встрепенулась прилежная ученица.

Вскоре нас с отцом сменил хор интернатовцев. Спели о партии, о родине, о счастье. Дружно прогорланили:

— Партия қайда болса,
Партия қайда болса,
Жеңіс сонда,
жеңіс сонда,
жеңіс сооон-да-а-а!..

Я аккомпанировал, что есть мочи.

— Громче, громче! — настаивал мугалим Калау.

— Ти-хо-о! — вдруг заорал шустряк-секретарь. — Начинаются выборы в Верховный Совет советской социалистической республики Казахстан. Первым пришёл голосовать девяностолетний колхозник, кузнец-стахановец Жайлаубай Баймурзин.

Дед Жайлаубай скинул тулуп, сбросил молью изъеденный тымак, кожаные варежки, стукнул разок-другой посохом и пробубнил в окладистую бороду.

— Жолдастар! Товарищи! Я прожил сто лет, многое в жизни повидал, но никогда не был... Ия, ия, не был... э-э... таким счастливым, как сегодня. Я... я... это... выполняю свой этот... как его... гражданский долг, голосую за нашу мудрую партию, за правительство, за этот... этот... как его... ну...

— Блок, — подсказал шустрый секретарь аулсовета.

— Нет, нет, — заупрямился дед Жайлаубай. — Блок потом. Голосую... голосую... э-э... кхм-кхм... вспомнил... за центральный комитет... да, да... и... и... и... за блок коммунистов и беспартийных.

— Уай, маладес, старина!

— Шпарит, как по-писаному! — раздались восторженные голоса.

Дед, довольный, облачился снова в тулуп, нахлобучил на голову обтрёпанный тымак, пятернёй поскрёб-расчесал дремучую бороду.

— В первый раз пришла голосовать комсомолка-ударница, ученица десятого класса Арайлым Ишанкабулова, — объявил шустрый секретарь аулсовета.

Арайлым встрепенулась, вспорхнула перепуганным воробышком, скинула кроликовую шапку, поправила толстую косу, взяла бюллетень, встала возле урны.

— Я испытываю огромное волнение и счастье, впервые голосуя за блок коммунистов и беспартийных, за дальнейшее процветание нашей родины под руководством славного центрального комитета нашей победоносной партии, — на одном дыхании срывающимся голосом выпалила разволновавшаяся ударница-комсомолка.

— Барекельде!

— Жаса, айналайын!

И Арайлым, вся зардевшись, опустила бюллетень в урну.

Голосование прошло дружно. Возле ящичка, обитого красной материей, столпился нетерпеливый люд. Отец почему-то заиграл торжественный туш, я из последних сил рвал меха аккордеона.

В кабины, занавешенные одеялом, никто и не заглянул. Какие ещё могут быть тайны в ауле? Зачем портить казённую бумагу?

Прошло полчаса, а человек двадцать аульчан всё ещё не проголосовали. Кто-то проспал, кто-то всю зиму не выходил из дому, кто-то спозаранок завозился в хлеву, кто-то ещё не сотворил утренний намаз.

— Э, ладно... Народ-то наш. Знаем! — сказал шустряк-секретарь и запихнул стопку бюллетеней в урну. — Всё! Болды!

Трое из счётной комиссии, прихватив урну, удалились в соседнюю комнатку.

Мы с отцом сыграли напоследок «Камажай» и «Прощание славянки».

Вскоре вновь показался шустряк-секретарь и громко объявил:

— Поздравляю! Выборы состоялись. Сто процентов!

Отец ударил смычком по струнам, я прошёлся по басам. Туш получился на славу.

Народ стал расходиться. Отец уложил скрипку в футляр, упаковал в покрывало аккордеон, и мы с чувством исполненного долга побрели домой.

Близился рассвет. Сумеречные тени таяли, медленно уползали в степь. Из печных труб низко стлался-волочился дым. Снег под ногами резко взвизгивал, отзывался эхом в прибрежном тугае. Где-то неохотно тявкали-брехали аульные пустолайки.

Мы с отцом молчали. Занимался новый день. А у каждого дня, как известно, свои заботы.

Отец копнил сено

Июль на исходе. Благодать. Солнце подолгу стоит в зените. Всё живое млеет-наслаждается в его щедрых, ласковых лучах. Задумчиво, с ленцой порхают бабочки. Зевают от блаженства аульные пустолайки в тени. С верховья тянет настоянный на разнотравье ветерок.

Но настоящая благодать у реки. Ишим-Есиль течёт лениво, размеренно, яркими бликами слепя глаза. Густой тугай точно купается, нежится в разогретых потоках воздуха, истекает спелым, пьянящим духом черёмухи, боярки, шиповника, смородины, костяники, хмеля-вьюна. Густо жужжат сытые шмели. В душных зарослях роются осы, что-то вынюхивают, высматривают. В полой листве шуршат-шмыгают мыши. Дышит, набухает огромный муравейник под сушняком-тальником.

На открытой поляне между тугаем и рекой отец накануне накосил литовкой сена, сгрёб граблями в валки, оно подсохло, пожухло за эти дни, и теперь пришла пора укладывать его в копенки. По подсчётам отца нашей кормилице Марте понадобится на долгую зиму девять копен душистого, приречного сена, которые отец потом сложит в аккуратную скирду, укрепит жердями-слегами-

быстрыми, чтобы сено не разметалось, отстоялось, отмежалось, обветрилось перед тем, как в канун снегопада перевезти на колхозной бричке домой на сеновал. Любо-дорого смотреть, как отец работает. Всё у него получается споро, ловко, без натуги. Видно, он сам получает удовольствие от своей работы. Недаром повторяет часто: «Arbeit macht das Leben süss» — работа услаждает жизнь. Литовка тоненько, звонко поёт под его сильными руками — дзинь-дзинь. Замах у отца широкий, размеренный. Высокая, сочная трава, срезанная у самого корня, покорно ложится ряд за рядом, источая сладко-дурманящий дух. Отец аккуратно обходит каждую кочку, стараясь не задеть невзначай муравейник или птичье гнездо. Через каждые пятнадцать-двадцать взмахов он делает остановку, достаёт из кармана шаровар брусок и уверенно точит-подтачивает косу с обеих сторон и снова приступает к косьбе — вжик-вжик-вжик. Заглядишься!

Так он косит часа три, любуясь, восхищаясь и солнцем, и шаловливым ветерком, и терпким запахом увядающей травы, и тишиной, безлюдьем вокруг, и неустальной силой своего молодого, натренированного, закалённого с детства мужского тела.

Потом через день-другой, — сеносбор, переворачивание, переворошение валков. И опять отец всё это проделывает уверенно, мастеровито, будто всю жизнь только сенокосом и занимался. Дело переделать — это одно, важно, чтобы оно было сделано красиво.

А сегодня пришла пора копнить сено. Копенки у отца получаются ровные, крутобокие, на одинаковом расстоянии, одинакового объёма и высоты. Стоят полукругом, крутленькие, пригожие, будто девушки в хороводе. А отец ходит вокруг, любовно оглаживает, выравнивает граблями бока, словно причешивает вилами невпопад торчащие клоки, укладывает плотнее, ворох к вороху, всё острее закручивая верх и втыкая в завершение длинный кол, чтобы воздух пронизал копну до основания.

Надо уметь копнить сено. А укладывать его в скирду — тут нужно особенное мастерство.

Но это будет потом, чуть позднее, может, через две-три недели.

А пока лишь июль на исходе, и природа пребывает в истоме, в неге, и отец копнит сено, а мне, пацану, поручено

сидеть под обрывом, у самой кромки, между двумя раскидистыми тальниками, таскать по мере клёва мальков удочкой, кидать их, осторожно сняв с крючка, в ведро с водой, зарытое наполовину в песок, и зорко следить за жерлицами и время от времени менять живца, ибо на снулого чебака не всякая щука или окунь позарится. Им нужно, чтобы чебачок играл, манил, дразнил, резвился, метался туда-сюда, иначе какой смак в охоте. Всякий хищник предпочитает, чтобы жертва убегала от него, ярила, распаляла.

Полдень. Жарко. Душно даже у реки. По обоим берегам ни одной живой души. Я один-одинёшенек. Клёв прекратился. Жерлицы застыли в безмолвии. Может, и рыбки сомлели от жары? Искупаться бы, окунуться бы разок в прохладу прибрежной глуби. Но отец строго предупредил: нельзя. А если жерлица вдруг размотается — крикни. Не то какая-нибудь шальная щука запросто тебя уволокёт-утащит. За этой зубастой тварью не угонишься.

Таков уговор. А наказ отца — закон.

А вообще-то скучно сидеть у реки в одиночестве. Что там происходит по-над обрывом, я не знаю. Слух едва улавливает шорохи. Издали доносится голос отца:

— Эге-ге-гей!..

— Ja, ja! Ich bin da! — отзываюсь. И снова тихо-тихо. Поплавок едва качается-дрожит, незаметно пробиваясь к берегу, на тёмной под кустом воде. На поплавок приселаприпорхнула стрекоза, трепещет крылышками-хвостиком, лупоглазо смотрится в зеркальную гладь, любуется собой. Накатывается дрёма. Всё вокруг начинает зыбиться. Над моей головой назойливо кружится-кружится бархатный шмель, угрожающе жужжит-зудит:

— Не сс-пи-ии! Не сссс-спи-и-и!

С обрыва, видно, не рассчитав силы, сиганула зелёная кобылка, с треском шлёпнулась на край брезентового плаща подо мной, ошарашено воззрилась на меня и пружинисто рванула прочь.

Вдруг разом, стремительно — шшшыыррр! — размоталась леска жерлицы, и тотчас у берега вода забурунилась, удилище, воткнутое накрепко в супесь и укреплённое у кромки подставкой-развилкой, напряглось, задрожало. Сердце у меня запрыгало-заколотилось, уши заложило, дрожь ударила в поясницу. «Вот она! Вот она!! Вот она!!!»

лихорадочно застучало в голове. Хотел было крикнуть отцу, но от волнения-страха пропал голос.

Под водой кто-то отчаянно рвался на волю, бился могучим хвостом, круто виражировал то влево, то вправо, струной натягивал леску, тут же, на мгновение отступив, замедлялся со страшной силой. Казалось, это невидимое чудище вот-вот вырвет удилище из суглинки, или оборвет леску и умчится восвояси. Я, забыв обо всём на свете, охваченный страхом и азартом, предвкушением удачи, через силу вытащил конец удилища и, упираясь обеими ногами, начал тянуть леску на себя. У самого берега мелькнуло упругое тулови́ще бурой, склизкой щуки, показавшейся мне непомерно огромной, и тут только, с ужасом почувствовав, что меня эта зубастая, длинноголовая тварь непременно утянет в воду, я закричал-заорал дурниной что есть мочи:

— Па-ааа-па-ааа!..

Леска напряглась, дрожала, удилище рвалось из рук, но я вцепился в него насмерть и вопил без передышки.

С обрыва посыпались камешки, глина, песок, и я услышал, как вприпрыжку, опрометью бросился ко мне на помощь отец. И — вовремя! Через миг я бы удилище не удержал или сам шлёпнулся бы с головой в омут.

Отец всем корпусом откидываясь назад, понемногу натягивал леску, и у взбесившейся щуки пространства для манёвра оставалось всё меньше и меньше. Я замер, обессилено опустился на песок, ошарашенно наблюдая за безмолвным побоищем.

Отец не торопился. Временами чуть отпускал леску, потом настойчиво натягивал на себя, наматывая на локоть. Щука, видно, устала, задыхалась. У самой кромки воды мелькнула её зубастая пасть. Но, должно быть, живца она заглотила от жадности глубоко, и железный крючок вцепился в её нутро насмерть, и леска оказалась крепкой, и удилище — гибкой.

Наконец, отец вытащил щуку на узкую полосу берега, и тут она умудрилась-таки перегрызть толстую капроновую леску, высвободиться и, заколотив мощным хвостом, напружинив плавники, заскользила к воде. Но не тут-то было! Отец сел на неё верхом, запустил обе руки под жабры, зажал шенкелями, точно строптивого неука, и понемногу, пядь за пядью оттащил от кромки воды.

— Камень! Камень! — закричал отец.

Мне попался под руки увесистый окатыш. Отец изловчился, схватил его правой рукой и раза два с силой тюкнул им по длинному, скользкому черепу. Щука сразу усмирилась, обмякла.

— Вот это да! — восхитился отец, всё ещё не слезая с щуки и оценивающе оглядывая её. — Зверь — не щука!

Она, действительно, была внушительна: длинная, тёмно-бурая, с зеленцой, пятнистая, с крепкими, тугими плавниками. Отец нанизал её на кукан, подержал на весу.

— Больше метра! Килограммов десять! Твоя удача!

Я чувствовал себя именинником.

Вскоре на жерлицы попались ещё два туготелых, грозно ощетинившихся окуня, и мы с отцом, довольные уловом, засобирались домой.

...До аула было километра три. Отец шёл впереди, держа щуку на кукане за спиной. Я трусил рядком, неся кукан поменьше, с чебаками, пескариками, двумя окунями. Отец слушал меня, всё ещё возбуждённого побоищем с щукой.

Солнце клонилось к западу, с верховья задуло заметнее. Запахло знакомым кизячным дымом.

Навстречу к нам откуда-то вынырнул, выскочил наш коротконогий, кругленький, пушистый Пупсик, завилял хвостиком, приветствуя нас, и, затявкав раза два от избытка радости, засеменил-застрочил к дому, как бы указывая нам дорогу.

У поворота от дома охотника Абильмажина отец забрал у меня кукан и водрузил мне на спину нашу главную добычу. Я вцепился в конец бечёвки, продетую через жабры щуки.

Мама ждала нас у калитки, оповещенная услужливым Пупсом.

— Либер Хайланд! Кто поймал?

— Он! Он! — сказал отец. — Его удача!

Я немного смутился и добавил:

— Папа помог.

— Только чуть-чуть! — поправил отец.

Я был горд. Было только немного досадно оттого, что никто из моих аульных тамыров не видел моего трофея.

Всё! Едем!

Комендант районного УМВД смилостивился наконец и дал моему отцу, спецпереселенцу Карлу Бельгеру, разрешение на выезд в Петропавловск. За трое суток мы с отцом должны были каким-то образом добраться до областного центра, показать меня тамошним врачам-светилам и благополучно вернуться в аул.

Трое суток! На бóльшую свободу районный комендант Волченко разрешения давать не может. Ни-ни! Строго...

О поездке в область родители поговаривали давно. Болезнь моя прогрессирует. Боли не отпускают. Особенно худо становится мне в ненастную погоду. Как только кудлатые тучи заволакивают небо, я лежу пластом, точно одеревенелый. Больная нога явно усыхает, укорачивается. Может, областные эскулапы (отец с придыханием называл звучные имена — Бронштейн, Блюменфельд, Мантейфель) знают, как следует меня лечить. Может, придётся подолгу лечь в тубдиспансер. Мама от такого варианта прослезилась, и я понял, что это плохо. Но если надо...

Словом, едем. Но вот беда: тучи плотно обложили небо, и зарядили нудные осенние дожди. Слякоть. Грязь. Стынь. Хоть из дома не выходи. И просвета не видать. А время-то не ждёт. Надо во что бы ни стало уложиться в трёхсуточный срок. Другого разрешения может и не быть. Комендант Волченко тоже не всесилен. Зимой же в далёкий путь не отправишься. В стужу и метель попробуй преодолеть сугробы на костылях хотя бы до школы.

Секретарь аулсовета, расторопный малый, снизошёл до нас, доставил на бричке, запряжённой зачуханной конягой, через Ишим на грейдерную дорогу.

Голосовали долго, пока порожняя полуторка не сжалилась над нами. Обросший, помятый, расхристанный шофёр, от которого за версту разило потом и бензином, прохрипел:

— Залезай на кузов. Под брезент. Довезу.

— А нельзя ли его... — отец показал на меня, — в кабину?

Шофёр презрительно покосился на меня, тщедушного, бледного, потом — на мои деревянные костыли и сплюнул:

— Нельзя... Самому тесно...

Отец легко переметнул через борт, принял мои костыли, потом без труда втащил меня в кузов. Устроились рядком на грязных мешках, прислонились к кабинке, укрылись мокрым пологом. Машина затряслась, задёргалась, тронулась с места.

Едем.

Дождь моросил, не переставая, мелкой дробью колотил по брезенту. Слева темнел приунывший тугай. Справа тянулась убогая, бурая от дождя, безлюдная степь.

По разбитой грейдерной дороге бежит-тарахтит наша раздрызганная полуторка, подпрыгивает-подскакивает на ухабах. По обочине гуртятся жирные вороны. В город, на элеватор, возят хлеб: есть чем поживиться.

Едем. Едем. Дороги нет конца. До областного центра без малого двести километров. Отец свесил голову на грудь и погрузился в дрёму. У аульного фельдшера хлопот столько, что он вечно не досыпает. И потому наловчился дремать при малейшей возможности. Казахи это называют «құс ұйқы» — птичий сон. Покимарит отец минут десять. И он уже бодр.

Мне не до сна. Я и ночью-то не сплю — маюсь, всё ищу удобную позу для больной ноги. И сейчас на душе кошки скребут. Доеду ли до города? А вдруг из носу, как всегда некстати, кровь пойдёт? Как спущусь с кузова по надобности? Что скажут в диспансере? Вдруг уложат на годполтора? Как буду жить вне дома? Как обойдусь без родного аула? Даже думать о том страшно.

Вдали мелькают затерявшиеся в степи крохотные аулы, пасутся там-сям отары овец. Понуро мокнут под дождём берёзовые колки.

Неприглядная, непроглядная осенняя скука разлилась вокруг. Всё же в нашем ауле уютней, теплей, добрей. И зачем меня увозят в неведомую даль? Бог с ней, с моей ногой, с моими болями. Ведь на чужбине, я это чувствую, мне будет ещё хуже. Раз отец не в состоянии меня вылечить, то какой прок от бронштейнов-блюменфельдов-мантейфелей?

— Есть хочешь? — вдруг, очнувшись, спрашивает отец по-русски

— Найн.

— Захочешь — скажи, — опять по-русски говорит отец.

— Гут.

И давай договоримся: в городе, на людях будем говорить только по-русски.

Воцу? Варум?

Так лучше. В ауле знают, что мы немцы, а в других местах не будем выделяться. Так лучше.

Ах, зоо?! А что, немцы — это плохо?

Нет... не плохо, — медленно говорит отец. — Но...

Вас дох?

Но... лучше по-русски. Удобней.

Я молчу. Соображаю. Странно... Я знаю, что по-русски говорю плохо, гортанно, окающе, с явным казахским акцентом. Ну, может, чуть лучше, чем сверстники-казахи. Мария Петровна, учительница русского языка, не однажды уличала меня в том, что я нарочито искажаю русские слова на казахский лад. Но что делать, если так получается помимо моей воли? Я ведь в ауле русской речи не слышу. Но замечаю, что и родители мои не особенно в ладу с русским языком. Мама вообще говорит неправильно. А у отца непробиваемый немецкий акцент. У него вместо «д» выходит «т», вместо «в» — «ф», вместо «ж» — «ш», а перед гласными «с» непременно превращается в «з». Недавно мой дядя Франц прислал фотографию откуда-то с юга, на которой он был изображён с женой и большущей чашей винограда. А на обороте фотографии стояла корявая надпись: «Финограат ис зобственова зада». Я долго хохотал, а родители недоумевали: что же тут смешного?

Отец говорит: «Тафай!», я говорю: «Дәбай!» Отец говорит: «Запранья», я говорю: «Собряний», а охотнее: «жинальс». И после этого мы будем общаться исключительно по-русски? Что отец — немец, любой догадается с первого слова. И по виду — тем более. А меня за мой казахский выговор могут в лучшем случае принять разве что за татарчонка.

Смешно. Нелепо. Но, должно быть, отцу виднее. Полуторка всё чаще буксует. Дорога только называется грейдерной. Местами она — обыкновенная чернозёмная слегка утрамбованная насыпь. В вязкой кашице с лужами машины застревают, как жуки в навозе, виляют, норовят юзом скатиться в кювет. И когда наша полуторка начинает буксовать, мотор надрываться и чихать, а колёса, прокручиваясь, яростно швыряться ошметками грязи, мы в кузо-

ве замираем, шофёр же возводит свою привычную, грозную «... мать!» в третью степень.

Долго терзал-мучил шофёр издёрганную полуторку, с трудом, с помощью витиеватого мата выбрался из выбоины, сполз с насыпи, угрожая перевернуться, поехал по травяному настилу, трясясь на рытвинах-колдобинах. Нас в кузове бросало из края в край. Чтобы удержать меня и себя, отец раскинул-расставил свои длинные ноги, упирался в борт, но временами чудилось, что я непременно вылечу из кузова со своими костылями. Раза два и отец выругался по-немецки: «Хайлих доннер-веттер сакрамент!»

Вечерело. Буксовали мы всё чаще. Шофёр, откинув дверцу кабины, всё яростнее раскачивал машину взад-вперёд, увязал в чернозём всё глубже, всё безнадёжнее, крыл многоэтажным матом и дорогу, и степь, и начальство, и небо, и дождь, и незадачливых пассажиров в придачу. Отец то и дело спрыгивал в чавкающую хлябь, весь измазюкался, подкладывал под колёса ивняк, клоки сена, придорожный кустарник, откапывал густые шметки грязи, что есть силы толкал машину. Это повторялось всё чаще и чаще. Дождь продолжал мелко-мелко моросить. Лохматые тучи волочились едва ли не по земле, и вскоре стало ясно, что сегодня до города нам не добраться. Оставалось ещё километров шестьдесят с гаком. Так определил вконец разъярённый шофёр.

— Бздец! Хана! — буркнул он, смачно сплюнув. — Будем ночевать. Я в кабине, вы в кузове под пологом. К утру, может, дождь уляжется, подсохнет.

Отец растерянно посмотрел на меня. Такого мы не предвидели. И как быть? Провести ночь под открытым небом в безлюдной степи на грязных мешках под мокрым пологом? И неизвестно, прекратится ли дождь, подсохнет ли дорога, выкарабкается ли машина из трясины. И помощи ждать неоткуда. Тупик. Ловушка. Хуже не придумаешь.

Шофёр плотно закрыл за собой дверце кабины и устроился на двух сидениях на ночлег, укрыв голову фуфайкой.

Стремительно темнело. И тут отец высмотрел одинокий стожок сена недалеко от дороги. Отец помог мне спуститься с кузова, подал костыли, и мы, спотыкаясь, увязая в суглинок, потащились по стерне к стожку. Отец быстро вырыл лаз, и мы залезли-вобрались в сухое, тёплое логово,

расстелили мешки и устроились-залегли рядком. Благодать! Я расправил спину, вытянул больную, одеревеневшую ногу, костылями слегка расширил лаз. Ну, вот! Теперь и дождь нам нипочём. И ничего нам больше не надо.

Отец покопошился в котомке, достал мне пончик-оладушек, почистил круто сваренное яйцо, протянул бутылку с молоком.

Ну-у... рай, счастье, услада, скажу я вам. Вскоре мы оба провалились в сон.

Проснулись от рёва мотора и оглушительного сигнала. Я не сразу сообразил, где мы находимся.

Первым из нашего нагретого логова выскочил отец, отряхнулся, потянулся, за ним, оберегая больную ногу и волоча за собой костыли, выбрался на свет божий я.

Стояла ранняя рань. Дождь прекратился, выдохся, дул сырой ветер, земля точно коркой подернулась, а с вышины взирала безмятежно на пустынный мир полная луна.

Отец желая взбодрить меня, запел строчку из «Болотных солдат»:

— Doch für uns gibt es kein Klagen...

— Ты же хотел только по-русски говорить, — напомнил я.

— Ах, да!.. Но это там, в городе, на людях, а в степи можно и по-немецки.

Шофёр успел вызволить многострадальную полуторку из трясины и поджидал нас на обочине.

— Скорей, скорей! Может, прорвёмся?

Повезло. С горем пополам. С мучениями. Приключениями. К обеду добрались-таки до города, остановились у давнего знакомца, бывшего коктерекца Шалова, почистились, помылись и, наскоро подкрепившись, отправились в гортубдиспансер. Нам несказанно повезло. Сам главный областной фтизиатр, маленький, горбоносый, в очках, человечек с грозной фамилией Мантейфель, внимательно выслушал сбивчивую речь отца, бегло перелистал какие-то бумажки — направление и заключение районных врачей, потом костлявыми, холодными пальцами пощупал-потискал мой тазобедренный сустав, слегка раздвинул ранку свищей, помычал, покрякал, нахмурил лоб, проронил несколько не понятных мне медицинских слов:

— Хо-го-шо... Ясно-о... Одевайся...

Я привычно сделал себе перевязку, натянул брючки, пытался вникнуть в суть разговора. Мантейфель показался мне сведущим и сочувствующим человеком. Особенно забавно он картавил и певуче растягивал гласные. Мне послышалось, что и он говорит по-русски несколько скованно, не так, как надо. Отца он называл непривычным словом «коллега».

— Так вот, коллега. Вы ведь и сами всё понимаете. Тэбэце. Да, да... Тэбэце костей. Идёт воспалительный процесс. И главная проблема — остановить его. Какое тут может быть лечение? Ну, ПАСК... ну, хорошее питание. Стерильные перевязки. Может, толчённая яичная скорлупа. Кальций. Свежий воздух. Конечно, мы можем его взять в стационар... в областной диспансер. Ну, и что? Условия, скажу честно, не ахти. Шесть-семь человек в палате. Есть открытые формы тэбэцэ. Питание — так себе, казённое. Воздух городской, затхлый. Карболкой отдаёт. Да-а... А у вас — аул, тишина, степной воздух, сливки, сметана, масло, куриный бульон, кумыс и прочее. Есть преимущество? Не так ли, коллега? Так что мой совет: возвращайтесь назад, примите все перечисленные мной меры. Организм молодой. Может, через год-два справиться. Никаких других средств пока нет. Пенициллин до нас ещё не дошёл. На подходе, сказывают, стрептомицин. Будем иметь ввиду. Так вот... Согласны, коллега?

Отец долго молчал, раздумывал. Доктор Мантейфель пытливо поблёскивал из-под очков чёрными, навыкате глазами. Отец мельком покосился на меня. Ни за какие коврижки не хотелось мне оставаться в неведомом диспансере. Отец, должно быть, уловил это в моих глазах. Видно, и сам в душе склонялся к такому решению.

Пауза затянулась.

Вдруг отец порывисто вскочил, по-медвежьи приобнял маленького Мантейфеля, крепко потряс ему руку.

— Спасибо! Вы правы. Очень разумный совет.

Большой груз разом свалился с наших плеч. До квартиры Шалова мы добрались пешком, и я не чувствовал больной ноги. Мне почудилось: выздоровлю, непременно выкарабкаюсь, только бы добраться до аула. Даже ночёвка в степи, в стожке сена, под открытым небом, под моросящим дождём мне уже не страшна.

По пути отец заглянул в магазинчики, накупил какие-то гостинцы.

На следующее утро, спозаранок, даже не позавтракав, мы с отцом направились к обрыву «Кызылжар», к развилке дорог в районы, поймали попутную машину и в тот же день благополучно добрались до аула. На этот раз мне досталось место в кабине студебекера, а отец расположился на кузове, где и отоспался всласть.

Я был счастлив оттого, что вернулся в родной аул. А отец больше всего радовался тому, что уложился в трёхсуточный срок, отпущенный ему, спецпереселенцу, добрым районным комендантом.

Котлован

В трёх километрах от нашего аула, в сторону верховья, возле весёлого берёзового колка находился колхозный стан — две избушки, крытые дёрном, одна шошала, плетённая из тала, обтянутая старой кошмой, небольшой сарайчик-загон для скота и навес для скудной техники — оборудование трактористов, плугарей, сеяльщиков, бороновальщиков, косарей, сезонная стоянка для тружеников полей. Рядом со станом темнел большой пруд, обрамлённый камышом, ряской и ивняком. Со стороны крутого бережка вода была глубокая, тёмная. Здесь черпали воду на хозяйственные нужды. Противоположный, южный берег был пологий, ископыченный, глинистый. Там поили лошадей, плескалась малышня. Пруд отец называл котлованом, а аульчане — қарасу. Я тогда уже смекнул, что любой водоём у казахов либо карасу, либо аксу. Так назывались даже соседние аулы.

Котлован весной наполнялся талой водой, ручьями стекавшейся отовсюду, а потом пополняли его обильные дожди. Потому в самое знойное лето пруд не пересыхал, радовал прохладой и тенистой зарослью. Одно плохо — рыб в пруду не водилось. Никаких. Одни лягушки квакали-надрывались перед закатом на всю степь. Отец часто навещал обитателей стана, оказывал медицинскую помощь, любовался простором и естественным водоёмом в открытой степи. Но то, что в этом озерце не было рыбы, отца постоянно удручало.

Он об этом говорил на колхозном собрании, прожужжал уши баскарме и бригадиру: надо, дескать, обрыбливать водоём, это же клад, да, да, благодать. Над затеей отца только посмеивались: е-е... першыл, это божье дело, рыбы, мол, и в Есиле достаточно, только ловить её некому, да и некогда, кто будет с удочкой сидеть часами на бережку, ведь идёт война, рабочих рук и так кругом не хватает.

Что верно, то верно: и работы в колхозе невпроворот, одни бабы-хатуны да подростки лямки тянут, и война с проклятым керманом длится третий год.

А река Есиль-Ишим в том году разлилась в половодье широко, хлынула из берегов, затопила тугай, луга, прибрежные старицы, ёрики, болота. Потом вода отступила, оставив переполненными все впадины в низине. И однажды, уже в июне, я со своими аульными тамырами обнаружил, что мелководье, нагретое солнцем, в бочажном томаре кишмя-кишит рыбьей молодью. Сплошь крохотные, с полпальца, головастики-карасики. Замутив прибрежную воду, мы их черпали кепками, тюбетейками, ладошками. Но что делать с этой мелкотой? Ни сваришь, ни зажаришь, и живьём не проглотишь.

О своей находке я рассказал отцу.

Его мгновенно осенило.

На другой день он выпросил у баскармы телегу, запряжённую изнурённым колхозным мерином. Поставил на телегу кадку, две фляги, привязал их покрепче, и мы отправились к бочагу. Я, шлёпая ногами по мелководью, поднял ил, потревожил стайки мальков, они, задыхаясь, косяками вынырнули на поверхность замутнённой жижи, и отец, соорудив из своей майки подобие сачка, зачерпывал их и сноровисто наполнил всю ёмкость на телеге. Кто знает сколько тысяч мальков-карасиков мы выловили за какой-нибудь часик!

А ещё за час мы, похлёстывая заморенного мерина, добрались до котлована и торжественно выпустили всю молодь в озеро возле колхозного стана.

Отец был доволен.

Баскарма посмеивался: ай, першыл, выдумщик.

Я сгорал от любопытства: и что же будет?

Через год мы с отцом, усевшись под ивой, долго вглядывались в тёмную заводь и убедились: прижились наши ка-

рослики, плавают, резвятся в камышиных зарослях, греются на мелководье, шустро шныряют туда-сюда и выросли с палец. А ещё оказались среди них и пескарики.

«Ну, ещё годик-другой, и приедем с удочками», — сказал отец.

Кончилась война.

Отпраздновали победу.

Но в ауле жили бедно. Нехватки сказывались во всём.

Раз в неделю мы с отцом ездили на стан, и я натаскивал удочкой по ведёрку пузатеньких, с плотной, золотистой чешуёй, весёленьких карасиков сплошь одинаковой величины — с ладонь.

Карасей развелось столько, что, казалось, их черпать — не вычерпать.

Озерцо в ауле назвали именем отца. Никто не осмеливался удить здесь рыбу без его разрешения.

Но вскоре объявились откуда-то рыбаки с бреднями. Отца это расстраивало.

Но беда пришла позже — с первоцелинниками в начале пятидесятых. Этот люд не церемонился ни с кем ни с чем. Рыбу глушили динамитом, на тихом, зелёном берегу разводили костры, варили уху, хлестали водку, горланили на всю степь похабные песни, и вскоре опоганили всю окрестность.

Почему-то после войны снега выпадало всё меньше и меньше. Талые воды уже не заполняли котлован, как прежде. Тальник вырубили, камыш подожгли, весёлое степное озерцо обмелело, походило на большую лужу. Один из домиков обвалился, ивовую шошалу пьяный целинник разнёс трактором.

Студентом, приезжая в аул, я наведывался к озеру. Всё пришло в запустение. Всё вокруг было распахано. Удить сплых мальков уже не хотелось. Да и сидеть у вконец захиревшего котлована было грустно. На стане обитали незнакомые, хмурые люди. Берёзовый колок зачах. Торчали одни пни. Жаворонки уже не заливались звонкой трелью в синеве неба. По обочине истерзанной тракторами дороги гуртилось сытое, крикливое вороньё...

Колодец

Когда-то, ещё до войны, аул на берегу Есиля, куда нас депортировали, назвался Кабай-Туяк. Посередине двух частей аула пролегал овражек с ровной ленточкой осин и берёз. Та часть, в которую нас поселили, называлась Кабай. А, может, и Туяк, теперь уже точно не помню. Пацанва из двух частей аула иногда устраивала побоище. Я представлял родовую ветвь Кабай.Выяснив ребячьи отношения, мы дружно носились по аулу, а годы спустя и вовсе забыли, кто Кабай, а кто — Туяк.

Со временем овражек превратился в едва заметную лощину, а стройный ряд осин и берёз в годы войны вырубили на дрова.

В ауле было три колодца. Один — между сельмагом и школой, на пограничье Кабай-Туяк, с высоким срубом, с лебёдкой. Второй — на отшибе, возле кладбища, со скрипучим «журавлём», с приятной, мягкой водой. Третий находился через дорогу от нашего дома, с воротом, шатким навесом, с тяжёлой, ржавой цепью. Вода с нём была солоноватой, жёсткой. Но ничего... привыкли, пользовались. Уж больно удобное было место. Здесь же поили скот из большой, потресканной деревянной колоды. Одна морока с этим колодцем: аульные хатуны в нём без конца роняли вёдра. Бог знает, почему так получалось. Поговаривали даже, что на дне колодца притаилась нечистая сила, некий джин-шайтан, который от скуки творит втихомолку разные козни.

Аульчане приходили к отцу.

— Ойбай, Белгір, беда. Помоги! Уже семь дворов обронили вёдра.

— Ну, першыл, придумай что-нибудь.

А что придумывать? Во всём ауле «кошка» — кованый крюк-трезубец имелся у моего отца. Но и «кошкой» надо уметь обращаться. Попробуй изловчиться и подцепить вёдра, лежащие вповалку на самом дне. Сноровка нужна.

У отца есть всё: и «кошка», и верёвка, и длинный шест с железным крюком, и — главное — умение. Работает отец артистически. Когда он начинает орудовать «кошкой», осторожно, наощупь, водить ею по дну колодца, на зрелище это сбегаются и дети, и хатуны. Отец долго крутит

конец верёвки, то отпуская, то подтягивая её, прислушивается к глубинному всплеску, колдует. Публика, затаив дыхание, наблюдает за каждым его движением. Я стою в толпе и испытываю гордость за своего отца.

Наконец, отец медленно наматывает верёвку на локоть, подтягивает ведро к краю сруба, стараясь, чтобы не задело выступ и не сорвалось с крючка, подцепляет ведро багром и вытаскивает его на свет божий.

— Моё, моё! — радостно восклицает дородная Балшечер.

— Точно? — строго вопрошает отец.

— Ия, ия... Менікі!

— Бери. И больше не роняй. С тебя магарыч!

— Болады, Белгір, болады!

Отец снова опускает грузную «кошку». И через некоторое время извлекает из сумрачной глуби второе ведро.

— О! — бросается к нему молодуха Кульшара.

— Твоё?

— Моё, моё! Все знают. И даже не помялось.

— И с тебя магарыч!

Публика приходит в возбуждение. Улов удачен. Детвора ликует.

— Ещё! Ещё!

Семь вёдер достал отец. Публика в восторге. Разве не событие в ауле?!

— Ай. Белгір!

— Көп жаса!

— Пусть твоя жена разродится сыном!

Отец продолжает водить арканом туда-сюда. На дне колодца, в самом углу, наверняка что-то ещё есть, но «кошка» никак не может уцепиться.

— Тихо!

Отец медленно, почти не дыша, подтягивает что-то громоздкое. Слышен плеск воды. Наконец, у самого сруба показалось нечто чёрное, бесформенное, сплюснутое.

— Қауға, қауға! — вопит малышня.

Отец низко склонился, дотянулся рукой до кауги — кожаного ведра с сыромятной петлёй вместо ручки.

-Ойбай, это же кауга Сеит-ходжи!

— Да, да она самая! Он её ещё три года назад уронил.

А к кауге сбоку каким-то чудом прицепилось ушком помятое, закоптелое ведёрко-топатай.

— Надо же!

— Вот так находка-олжа!

— Это грязнуля Магриба уронила.

— Всё! — объявил отец. — Концерт окончен. Больше не роняйте.

Долго обсуждали на все лады это событие в ауле.

С годами воды в этом колодце становилось всё меньше и меньше. Да и та оказалась мутной, с неприятным запахом и не в меру солёной.

— Надо чистить колодец, — озабоченно говорил отец.

Но как? И кто будет чистить? Ответа не было. За дело принялся отец. Сплёл верёвочную стремянку, вооружился лопатой, мотыгой, ломом, фонариком, обвязался за офицерский пояс ремнями, спустился в тёмную глубь. Время от времени донёсся его гулкий голос.

— Майна!

— Вира!

Четверо жилистых старшеклассников-интернатовцев за полдня достали из колодца двести вёдер мокрого, вязкого, чёрного, как вакса, грунта. Отец подкопал углубил дно более чем на метр, добрался до песчаного слоя, вывернул пару валунов, наткнулся на жилу-родник и, кряхтя, выбрался-вылез весь мокрый, измазюканный, осунувшийся, на себя не похожий. Вода хлюпала в его обшарпанных кирзовых сапогах, стекала с брезентового плаща, с шапки, завязанной у подбородка тесёмками.

Вокруг загалдели:

— Ой, Алла!

— Астафиралла!

— Апырай, это наш Белгір или водяной?

— Дьявол! Страха не знает!

Колодец ожил. Вновь стал полноводным. Вёдра наполнялись мгновенно. Лебёдка весело поскрипывала; цепь бойко лязгала. Аульчане повалили к очищенному колодцу. Жаль: вода по-прежнему оказалась жёсткой, солеватой.

— Ну, это уже не в моей воле, — отвечал отец.

Несколько лет колодец в ауле называли именем отца.

...В день шестидесятилетия я посетил родной аул, в котором не был четверть века. В отчем — осевшем, почерневшем, деревянном — доме аульчане устроили для меня юбилейный дастархан. Земляки, помнившие отца, щедро

обыскали меня. Я был счастлив, тронут до слёз. Но аул свой не узнал и того колодца не увидел. На том месте соорудили сцену, с которой мне, как почётному гражданину села, было поручено местной властью вручать передовым труженикам осенней страды грамоты и ценные призы.

Оркестр

Мало было у моего отца, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом в радиусе семи аулов, забот и хлопот, надумал он ещё создать школьный струнный оркестр. Должно быть, после моего отъезда в институт он разочаровался в домашнем оркестре. С юных лет отец играл на любительском уровне на мандолине, скрипке, гитаре, балалайке, позже настойчиво приучал играть на этих инструментах и своих детей. От меня ещё был какой-то толк: я прилично играл на мандолине, аккордеоне, мог аккомпанировать на балалайке. Мама в какой-то мере овладела гитарой, освоила несколько аккордов и напевала под перебор струн старинные немецкие песни. Особенно задушевно получались у неё «Du hast Diamanten und Perlen» и «Du, du liegst mir im Herzen». Сестёр моих и маленькую мою дочь отец тоже упорно учил сызмальства держать такт, играть на балалайке и домре-пикколо. Правда, особого усердия и умения они так и не проявили. Отец солировал на скрипке, отбивал ногой заданный ритм, всем корпусом подсказывал переход тональности при аккомпанементе, но необходимого лада и склада в нашем домашнем оркестре не обнаруживалось.

Отца это удручало. Как же так?! Там, на Волге, в немецких сёлах, успешно музицировали почти все от мала до велика — непременно играли либо в струнных, либо в духовых оркестрах. Самые бестолковые могли на худой конец чётко отбивать такт на деревянных ложках, кастаньетах или барабанах. Ритм чувствовали почти все, а уж пели в три голоса запросто. А тут, в Казахстане, медведь вдруг разом всем на ухо наступил. «Не та среда», — горестно констатировал отец. Кто знает...

Отец не мог с этим смириться. Он был убеждён: усердием и прилежанием всего можно добиться. Каждый человек должен на чём-то играть, хотя бы на губной гармошке. Преображался, оттаивал отец душой, когда на огонёк за-

глядывали к нам братья-кузнецы Иоганн и Антон Энгели. Им были подвластны не только кузнечные инструменты, но и музыкальные. Да и репертуар у них был такой же, как у отца — вальсы, польки, марши, немецкие песни.

Впятером мы нередко играли на школьной сцене, и аульчане искренне радовались, поддерживали нас:

— Уай, маладес!

— Дают немысы!

— Эх, если бы ещё на домбре играли!

Энгели вскоре перебрались в другое село. Антон стал знатным комбайнёром, рационализатором, Героем труда. Я уехал на учёбу. Маме стало не до музицирования: подрастали дочки, прибавилось хлопот по дому и медпункту. И отец решил организовать школьный оркестр.

Поразительно: школьное и аульное начальство горячо поддержало намерение отца. Раздобыли даже какие-то деньги, и отец обрёл в районе и области несколько мандолин, пару-тройку скрипок, разных размеров балалаек, барабан, бубенцы, кастаньеты, сам смастерил цимбалу. Отобрал по своему выбору двадцать учащихся шестых-седьмых классов и трижды в неделю по два часа проводил репетиции. Поначалу аульные оркестранты играли кто в лес, кто по дрова. Мугалим Жылгельды усмехался: «Э, Карл-ага, легче обезьян дрессировать в зоопарке». Действительно, каждый норовил солировать. Никто никого не слушал и не слышал. Всего труднее было научить новоиспечённых оркестрантов такту, ритму, слаженности, слуху. Но отец был терпелив, да и ребята старались. Через полгода школьный струнный оркестр прилично исполнял вальсы «Над волнами» и «Дунайские волны», марш «Кузнецы» и польку «Теренсай» отцовского сочинения.

С этим репертуаром отец со своим оркестром выехал в районный центр на смотр художественной самодеятельности и по рассказам-воспоминаниям земляков произвёл фурор. Мугалим-конферансье Жылгельды Муканов, искусный шешен-златоуст, играя голосом, торжественно объявлял:

— Вы-сту-па-ет... струнный оркестр-р-р... Ленинской ка-зах-ской средней школы... под руководством отличника здравоохранения ЭсЭсЭсЭр и... отличника народного просвещения Казахской ЭсЭсЭр... фельдшера-акушера... Карла Фридриховича Бельгера-а!

Зал, рассказывали мне, приходил в волнение, начинал неистово хлопать. Шутка ли?! Струнный оркестр из аульной школы! Где это видано? Ну-у, трио домбристов куда ни шло. А тут оркестр! Интересно. Любопытно.

На сцену, не спеша, вышли гитаристы, балалаечники, скрипачи, мандолинщики, расселись по местам, оглянулись в ожидании чего-то. Сплошь черноволосые, черноглазенькие, трогательно милые. Потом, выдержав паузу, вышла девочка-крохотуля с бубенчиками, колокольчиками, очень серьёзная, сосредоточенная, в белых бантиках, в длинном расшитом платьице и опустилась на маленькую табуретку впереди всех.

Зал всколыхнулся, загудел, захлопал. Потом аплодисменты смолкли и вышел на сцену широкими шагами долговязый, сухопарый, длинноносый руководитель оркестра. Он напряжённо замер перед музыкантами, взмахнул смычком, приладил скрипку к подбородку, произнёс негромко: «три-четыре!», и оркестр — о, чудо! — слаженно вступил в «Дунайские волны». Барабанщик в заднем ряду четко, размеренно отбивал ритм, колокольчики заливались к месту, мандолинщики тонко-дробно тремолировали, гитаристы точно и вовремя задёргали басовые струны, скрипки выпевали мелодию, балалайки дребезгливо вторили.

Такого в районном центре доселе никто не слыхивал, не видывал.

Оркестранты, довольные, переждали шквал аплодисментов, восторженные выкрики, и тут на сцену вышел эффектный конферансье и звучным, раскатистым баритоном объявил:

— Полька! «Теренсай»! Музыка Карла Бельгера-а!

Руководитель, топнув ногой, взмахнул смычком, сыграл задорное вступление, и оркестр грянул вовремя, в такт.

— Оп-па! Оп-па! — подзадоривал в сторонке музыкантов темпераментный конферансье Жылгельды.

Оркестр превзошёл себя. Кто-то из мандолинщиков, войдя в азарт, сбился было с такта, забежал вперёд, но руководитель, заиграв громче и бойчее, грозно сверкнув глазами, осадил торопыгу вовремя. Полька всех возбудила, а барабанщик орудовал колотушками с таким рвением, что, казалось, вот-вот сам пустится в пляс.

— Браво!

— Бис! — взорвался зал.

И раскрасневшийся руководитель вновь взмахнул смычком, крикнул, как на репетиции: «Три-четыре!», и оркестр повторил игривую польку с начала до конца.

...Мудрено ли, что школьный оркестр моего отца занял тогда первое место по району и получил право выступить на областном смотре художественной самодеятельности. Об успехе оркестра писали в районной и областной газетах. Вырезки из них отец прислал мне в Алма-Ату.

Со временем коллектив распался, костяк музыкантов, окончив школу, разъехался, и тот оркестр остался лишь в памяти аульчан и в истории школы.

2009 г.

ОТЦОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Вечерами, после трудового дня и бесконечных житейских хлопот, отец наш по обыкновению устраивался в уголке крохотного зальчика своего дома в Ташкенте и, сидя за круглым столиком, часами что-то сосредоточенно строчил своим корявым, размашистым почерком в потрепанные, пожелтевшие от времени амбарные книги или клеенчатые общие тетради. Мы, его дети и внуки, располагались поудобнее на громадном, горбатом и расшатанном диване перед старым, подслеповатым телевизором, задыхались от азийской летней духоты, переговаривались, комментировали происходящее, а отец, рассеянно косясь на нас, иногда поглядывая на дергающийся, плывущий телеэкран, все писал и писал, хмуря белесые брови.

«Толстой», — хихикала одна из внучек.

«Пимен», — басил старший внук.

О чем же писал наш отец? Видно, о том, как ему хорошо среди детей и внуков, съезжавшихся отовсюду к нему в летнюю пору, о том, как прошел день, что сделано, что произошло в Байсунском тупике, в махалле, в усадьбе, на базаре «Рисовом», сколько стоит птичий корм на Алайском базаре, кто позвонил, от кого из родственников пришло письмо. Да мало ли о чем может писать деятельный, неугомонный, неравнодушный человек, каким был наш отец до глубокой старости (скончался он на 94 году жизни)?

Исписал отец таких тетрадей немало. Одну из них, плотно исписанную скверной шариковой ручкой крупным, спотыкливым почерком с обоих сторон, вместе с отцовским документами, бережно сохраненными с конца 20-х годов прошлого теперь века, прислала мне сестра Альма.

Полистал отцовскую тетрадь — разволновался, будто с живым отцом поговорил. В тетради я нашел поименно

всех наших родственников разных поколений, близких и отдаленных, смешанных кровей, обитающих во всех уголках бывшего Советского Союза и Германии, живых и мертвых. Указаны их даты рождения и смерти, более того, все расписаны по месяцам рождения со сведениями, кто, откуда и кому кем приходится. В тетради встречаются и дневниковые записи, списки партийцев махалли, адреса подписчиков на немецкие газеты, стишки на русском и немецком, факты из истории русских революций и партии большевиков, о немцах России, какие-то воспоминания. Все, о чем писал отец, мне известно или знакомо. И большинство родственников я знаю. А вот отцовские внуки, правнуки и праправнуки обо всем этом не знают, не ведают. И это меня печалит. Смерть еще не конец, — утверждают древние. Верно. Конец — это забвение.

Перескажу несколько фрагментов из этой тетради.

Дедушка Фридрих

Дедушку своего по отцовской линии — Фридриха Генриховича Бельгера — мне видеть не довелось. Он умер в голодном 1921 году, когда моему отцу было всего 12 лет. А родился дедушка 6 июля 1861 года в селе Мангейм Ново-Узеньского уезда Самарской губернии. Он был шестым ребенком бедняка Генриха (Хайнриха) Бельгера. У того было восемь детей, а в хозяйстве — две лошади и одна корова. Чтобы как-то удержаться на плаву, приходилось батрачить. В 1884 году дедушка Фридрих был призван в царскую армию. Он был еще холост. У меня сохранился его «Послужной лист» того времени. И еще военный билет, датированный 1890-м годом. В армии гроссфатер прослужил 6 лет, а в 1892 году женился на Марии-Элизабет Зельцер. Ее-то я помню и даже запечатлен с ней на фотографии.

Жили бедно. Пришлось дедушке и бабушке наняться к богачу-односельчанину Руди. Бабушка получала 5 копеек в день, дедушка — 10 копеек. Через год они были в состоянии купить козу, и, передав ее в общее хозяйство семьи, сами снова нанялись к помещику Раушенбаху

за те же 5—10 копеек в день. Три года спустя молодые приобрели лошадь (о, какое это было событие!), дойную корову променяли на теленка, потом пять коз — на одра, и вскоре на их подворьи оказались две лошади и одна корова. Пошли дети: Хайнрих (1893), Вильгельм (1895), Фридрих (1897), Эмилия (1905), Гермина (1907), Карл (1909), Христьян (1913). Где тонко, там и рвется. В 1899 году одна лошадь пала, и дедушке Фридриху пришлось снова батрачить у Раушенбаха за 95 рублей в год. Это позволило купить ему вторую лошадь и снова заняться своим хозяйством.

Но выбраться из нищеты так и не удалось. В 1921 году на Волге был голодомор. Вымирали целыми деревнями. Ели сусликов, кошек, собак, воробьев и ворон. В отчаянии дедушка зарезал лошадь. Немцы конину не едят. Но что было делать? Семья выжила, а дедушка наотрез отказался есть мясо лошади. И умер с голоду. Было ему 60.

Таковы голые факты сурового бытия моих совсем недалеких по времени предков.

«Умер по дороге домой»

Все отцовы братья, племянники и зятья прошли через трудармию. Многие там и погибли. Мои знакомые — русские, казахи, узбеки — нередко говорят: «И наш отец был в трудармии». Понимаю: и им было несладко. Но это были все же разные трудармии. Немцев держали за колючей проволокой, под конвоем, травили собаками, морили голодом, постоянно угнетали, оскорбляли, унижали, гнали на самую тяжелую работу. Это был в сущности концлагерь с открытой установкой на истребление советских немцев (так тогда говорили) в возрасте от 17 до 49 лет. Знаю людей, которым довелось быть и в фашистском, и в большевистском концлагерях. Они свидетельствуют: советский был более жестокий и свирепый, садистско-изощренный.

Известно: около трети всех российских немцев было перемолото, истреблено при депортации, в трудармии и в ссылке.

Из всех братьев отца уцелел самый младший — Христьян. Но что значит уцелел? Он просто-напросто был списан как безнадежный «доходяга» и отправлен домой к месту ссылки. Он уже ничего не мог: даже убирать в казарме, даже чистить картошку в лагерной кухне. Предельная форма истощения — дистрофия.

Их было трое, списанных немцев-трудармейцев. Истощенные, изнуренные, оборванные, голодные, еле-еле живые. Уже за Новосибирском на каком-то полустанке они, терзаемые голодом, выбрались из вагона в надежде раздобыть в ближайшем поселке хотя бы мерзлую картошку, держались друг за дружку, чтобы только не упасть, трое молодых мужчин долго стояли на пронизывающем, холодном ветру, озираясь вокруг. Вдали виднелась деревня. Решили направиться туда. Мир ведь не без добрых людей. Авось что-нибудь перепадет. Пошли. Но через несколько шагов дядя Христьян рухнул. Только и сказал: «Ich kann nicht mehr». Сил больше не было. Как быть? Посовещались дистрофики и решили: Христьян будет лежать в канаве возле железнодорожной насыпи, а двое, раздобыв что-нибудь поесть, вернутся за ним.

Христьян ничего не ответил.

На исходе дня двое вернулись с несколькими картофелинами и куском жмыха в кармане.

Христьян был мертв. Рядом гуртились вороны.

Обложили его камнями, засыпали листьями, хворостом, жухлой травой.

Шел 1944 год. Христьяну было 31.

Я знавал его еще до войны. Он был очень похож на моего отца: высокий, поджарый, длинноносый, белобрысый. Сохранилась фотография, на которой мы трое запечатлены на траве в летнюю пору за околицей Мангейма.

Христьян в моем романе «Дом скитальца» и Карл Ворм в романе «Туюк су» в немалой степени списаны с него.

«Умер по дороге домой», — лаконично записал отец в своей тетради, указав дату рождения и год смерти младшего брата.

А я по рассказам родителей и двоюродных сестер поведал, как он умер.

Роза

Самой младшей из моих сестер Розе было 29 лет, когда врачи вынесли диагноз: лейкемия. Другой сестре, Альме, работавшей хирургической сестрой в военном госпитале, врач доверительно сказал: «При хорошем лечении и уходе протянет лет шесть».

Мы, родители, сестры, брат, муж, сноха, были в шоке. Как? Почему? С какой стати? Самая молодая, самая, казалось благополучная и здоровая из всех нас. Откуда такое лихо?!

Борьба со смертью продолжалась изо дня в день действительно долгих шесть лет. Было предпринято все: и дорогие лекарства, и усиленное питание, и регулярное переливание крови, и внимание и забота. Утром, просыпаясь, спрашивали друг друга: «Как Роза?» Ложились спать, думали о том же. Роза, угасая, держалась мужественно и благородно. Заботилась о муже и детях. Была внимательна, чутка ко всем. Не сетовала на судьбу. Не паниковала, не закатывала истерик. Только улыбалась тихо и виновато. Да в глазах поселилась печаль

Письма, которые я получал от отца, становились все тревожней. Мать по телефону сообщала: «Es ist alles traurig». Вскоре отец написал: «Роза передает привет, но сама писать уже не может».

И вот настал роковой день — 18 декабря 1985 года. Звонок от Альмы: «Роза проводила детей в школу и тихо умерла».

Я обмер. И уже через несколько часов мы с Раей прибыли в Ташкент.

За несколько дней до кончины Роза спрашивала обо мне: «Когда прилетит Гера?» А я собирался лететь числа 22—23-го декабря ко дню рождения мамы. Не суждено было свидеться напоследок.

Отец в своей тетради подробно описывает тот скорбный день и похороны.

Оказывается, 18-го декабря утром он спешил в райком на дежурство. По пути намеревался зайти к умирающей дочери, благо ее дом находился рядом в нескольких шагах, но встретив возле калитки спокойную и, как всегда,

аккуратно одетую внучку Таню, дочь Розы, поздоровался с ней и вспомнил, что опаздывает на автобус, и решил, что ничего страшного день не сулит, зайдет завтра, после смены. Он приехал в райком, принял дежурство, и тут ему позвонили, сообщив, что скончалась дочь. Отца тотчас привезли назад, и он, поплакав, включился в похоронные хлопоты.

Похоронили Розу ясным солнечным днем 20 декабря 1985 года. Оплакивала Розу вся округа. Ранняя смерть потрясла всех.

А на другой день, в субботу 21-го, пошел дождь со снегом.

Упокоили Розу на ташкентском кладбище Домбрабад. Через девять лет рядом легла мама, а еще через восемь лет — отец. Так они и покоятся рядом на узбекской земле. И рядком под кущей деревьев выстроились три памятника-стояка с выбитыми на граните и мраморе портретами и надписями. Мир их праху!

А остальным членам этой дружной, сплоченной семьи Бельгеров, должно быть, суждено обрести вечный покой в разных землях — в Казахстане, России, Германии. Сказано: «Jeder stirbt fur sich allein» — каждый умирает в одиночку.

Между жизнью и смертью

Так озаглавил свою запись отец от 19 июля 1990 года. Видно, он был чем-то озабочен или расстроен. Почувствовал себя одиноким и ненужным. И в поисках утешения 81-летний старик отправился один на кладбище Домбрабад проведать могилу дочери. А путь неблизкий: надо долго ходить пешком вдоль захламленной Карасу, потом ехать на метро с переходом, потом на автобусе и опять пешком под ташкентским пеклом.

На кладбище тишина. В густых зарослях тополей, карагачей и жимолости белеют надмогильные памятники. Гудят разморенные шмели. Порхают сонные бабочки. Щебечут птички. Отец натаскал из бака воды, обмыл гранитовый стояк с портретом Розы, смел с плиты

почерневшие листья, убрал засохшие цветы, посидел на лавочке у железного столика, предался своим неутешным мыслям и заплакал.

Долго он сидел, долго. Утешал себя: не плачь, деда... Песня твоя спета... скоро и ты переселишься сюда... С молодым жить, тебе лежать здесь... таков извечный закон бытия...

Да, он устал. Не от жизни. Не от слабости или хворостей. От ощущения своей ненужности. Странно: жизнь обходится без него. Он всегда всем и всюду был нужен. А теперь вроде как лишний. Даже внук Артур выходит из его опеки. Нет ничего страшнее одиночества.

Никогда так плохо отец себя не чувствовал. Солнце стояло высоко и нещадно палило. Небо выгорело. А здесь было прохладно. Дул ветерок. Густая тень легла на могилы вокруг. Издали приглушенно доносился гул города. Отец все вспоминал свою долгую жизнь. И ему казалось, что горя в ней было слишком много, а радостей совсем мало. Не было утешения. И домой не хотелось. У всех домочадцев свои заботы-хлопоты, а до него никому нет дела. Никому... Он одинок и ненужен. Отработал свое. Только о смерти и осталось думать. Сидел, сидел, сидел отец один-одинешенек на кладбище, думал свои безотрадные думы.

Вдруг взгляд его упал на портрет дочери, выбитый на коричневом граните. Роза смотрела строго и скорбно. Отец явственно услышал ее голос:

«Папа, иди домой!»

И он вдруг вспомнил, что сегодня ведь день рождения внучки Тани, дочери Розы. Внучке исполнилось 19 лет. Барышня! И, конечно, ее день рождения отметят пышно. Уж бабушка, тетушки, соседи постараются.

Вспомнилось отцу, как в этот день Роза, с утра торжественная, нарядная, покупала дочке цветы и как все радовались, суетились, готовили подарки. О детях своих Роза заботилась всегда особенно. Они были всегда ухожены, чисто одеты, опрятны.

Значит, и сегодня на подворье Байсунской будет оживленно, радостно. А он здесь, на кладбище, в одиночестве предается горьким думам и оплакивает свою жизнь.

«Папа, иди домой!»

Отец поехал домой, купив по пути подарок для Тани. Во дворе во всю мощь звучала музыка. Под виноградником был накрыт праздничный стол. Вдоль ограды чинно сидели гости. Все нарядные, веселые. Взад-вперед шмыгала по двору возбужденная молодежь. С карниза крыши за всем этим наблюдала любопытная Мурка. Из-за калитки внимательно следил за каждым умный Рекс. Отчаянно ворковали голуби. Жизнь!

Отец сходу включился в веселую суету. Первым произнес речь, прочитал по случаю стишок собственного изготовления, преподнес подарок, вспомнил Розу и подробности того дня, когда внучка увидела свет, поблагодарил домочадцев и соседей за живое участие в семейном торжестве и ни слова не сказал о том, что был на кладбище и о том, что он там передумал.

Он радовался жизни. И никто не догадался о том, что с утра творилось в его душе.

А когда лег, снова нахлынула печаль. И слезы невольно навернулись на глаза. Свое смутное душевное состояние отец потом определил в тетради — между жизнью и смертью.

Вальс «Мой старый друг»

Отец иногда сочинял музыку — вальсы, польки, песенки, марши — для скрипки и мандолины. Придумывал аккомпанемент для балалайки, гитары. К музыке своей писал слова — на русском, на немецком — неуклюжие, наивные, не очень-то и грамотные. Заставлял внуков заучивать их. Они посмеивались над нелепыми стишками и быстро их забывали. Чувствовали подспудно, что русский текст звучит с сильным немецким акцентом. Назывались отцовские музыкальные изделия серьезно: совхозная полька «Теренсай», «Вовкин вальс», «Вальс Тани», «Песенка Артура». Авторство отец охранял бдительно: «Слова и музыка Карла Бельгера». Что-то из отцовского репертуара в школьные и студенческие годы я записывал цифровыми нотами. Многое забыл. А мелодию вальса «Ку-ка-ре-ку» я запомнил. Очень простенькая,

но ритмичная. Слова были нелепые (что-то вроде «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Поет петушок на дворе по утру»). По просьбе отца я их отредактировал, но мою редакцию отец не принял. На мелодию удивительно ложились некрасовские стихи:

Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел, был сильный мороз...

Раз-два-три... Раз-два-три... В темпе вальса. Отец, бывало, самозабвенно играл свой вальс на скрипке, отбивал такт левой ногой, резко, точно шпагу, выбрасывал смычок в сторону внуков, приглашал петь, а я в шутку продолжал:

— Смотрю: поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.

Отец недоуменно хлопал белесыми ресницами, непонимающе глядел на меня, дескать, что за слова, откуда, у меня ведь не так, причем тут лошадка, когда вальс о петушке. И, поправляя меня, высоким голосом пел: «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!», а я тут же подхватывал:

— «Здорово, парнишка!» «Ступай себе мимо!»
«Уж больно ты грозен, как я погляжу».

Внуки смеялись. Никто стихов Некрасова не знал, и было чудно слышать известный в семье отцовский вальс на незнакомые слова. Видно, племянникам показалось, что я их придумал на ходу. И надо же — так ладно, так складно.

«Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!», — настаивал отец. Ему казалось, что я непочтительно смеюсь над его сочинением. А я в такт музыки озорно продолжал:

— «Откуда дровишки?» «Из лесу, вестимо.
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.

В конце концов всем становилось весело и от отцовской мелодии, и от моего пения на незнакомые слова, которые запоминались легче, чем отцовский вымученный текст.

И вот в тетради отца я нашел слова к вальсу «Мой старый друг». Этот вальс отец сочинил на склоне лет и отнесся к нему очень серьезно. Когда по моему сценарию в Ташкенте режиссер Галина Огурная сняла документальный фильм «Байсунский тупик», отец исполнил перед камерой фрагмент из этого своего сочинения. Музыку я так и не запомнил, а слова были

– что называется – ни в какие ворота. Не стихи и не проза – неуклюжий набор слов. Но замысел, идея были прекрасны. Отец пытался в форме обращения к своему старому другу – Ивану (Иоганну) Давидовичу Ворму. Вот содержание вальса в прозаическом пересказе.

...«Кто он, Иван Давидович?» – спросил меня мой внук. Послушайте: о нем я вам спою.

...Вспомни, мой друг, как в детстве мы играли. Игрушки из рук друг друга вырывали. О, как давно это было! И было это прекрасно!

...А в 20-ые годы мы с тобой вступили в комсомол. Ты удачником был во всем. Лучше тебя никто не играл в футбол в Мангейме. И это тоже было хорошее время!

...А в 29-м мы вместе с другими организовали колхоз. Мы учили молодежь труду и справедливости. Наш девиз был: «Комсомольцы, вперед!» И тот импульс остался навсегда.

...в 31-м нас с тобой приняли кандидатами в партию и отправили учиться в большие города. Это были наши лучшие годы. Я семь лет служил в РККА!

...В конце 30-х всех немцев отчислили из армии зараз. Зачем? Ответ был простой: «Обойдемся без вас». Многих посадили без следствия и суда. И, как выяснилось, навсегда.

...41-й год – начало войны. Советские немцы больше других пострадали, изгнанные из родных мест на неведомый срок. А оказалось, навсегда.

...Полвека мы с тобой, мой старый друг, прожили на чужбине. Прошли через изгнание, страдание, трудармию. Но на родине, на Волге, нет нам места. И тоже навсегда.

Такой вот вальс.

Скорее, баллада в ритме вальса. Или реквием.

Наивно?

Спорить не стану.

Но вальс отразил гнетущие думы и неизбывную боль отца, о которых он не любил распространяться, дабы не ранить психику детей и внуков.

Отец любил животных

В отцовской тетради я обнаружил песенку про черного кота. Был у нас такой умный, смышленый, озорной забияка-кот Васька. И песенка о нем напомнила мне про отношение отца к животным.

«Отец любил животных, пение птиц, музыку и спорт».

Так пишет моя сестра Альма Бельгер, ныне проживающая в Германии, о нашем отце. И это правда. Хочу это подтвердить конкретными примерами.

К животным отец проявлял особую заботу и ласку. И животные это чувствовали, тянулись к нему. В ауле говорили: «Апырай, Белгер малдың да тілін біледі», т.е. «Надо же, Бельгер и язык животных знает». Я всегда удивлялся этому свойству отца.

Ну, какой, к примеру, спрос от овцы, от барана? Говорят: тупой, как баран. Смотрит, как баран на новые ворота. Глупая овца. У отца овцы были умные, сообразительные. Каждая овца имела свою кличку, свой норов. Пригоняют вечером с выпаса отару. Боже, что творится в ауле! Дети, женщины выбегают навстречу, отделяют от отары своих овец. Крик, шум, гвалт, лай собак. Вселенский тарарам. Пыль столбом. Овцы мечутся, шарахаются, неистово блеют. Где свои, где чужие — не разберешь. Отец подходит к отаре и зовет:

— Лю-Ца-Фу! Лю-Ца-Фу!

И уже из отары выбираются три овцы, послушно тянут морды на знакомый зов, прицокивают к отцу, ластятся к нему, покорно трусят за ним, как на поводу домой. Каждая овца твердо запомнила свою кличку — Лю-Ца-Фу. И откуда только такие клички пришли отцу на ум?

...Пасется в степи за оврагом стадо коров. По пути в Коктерек мы с отцом проезжаем мимо.

— Марта! Марта! — громко кричит отец.

Наша корова вальяжно поднимает морду, изумленно смотрит на отца, как бы недоумевая, откуда, мол ты взялся и приветливо отзывается:

— Му-у-у! Му-ууу!

И даже делает несколько шагов навстречу.

В военные годы отец, обслуживая близлежащие казахские аулы, чаще всего ходил пешком. Позже колхоз выделил ему лошадь — замученную, задерганную,

заезженную, костлявую, облезлую, сплошь в волдырях клячу. К тому же обозленную на людей и весь белый свет. Я ее побаивался. Падал с нее не однажды. Сколько же отец с ней возился! Смазывал ее раны солидолом и зеленкой, расчесывал гриву и хвост, обтирал ее бока, усиленно кормил, водил ее под уздцы. И кляча-замухрышка вскоре преобразилась, округлилась, залоснилась, повеселела, запрядала ушами. В ауле удивлялись: «Бельгер — колдун».

А как любили отца собаки! На моей памяти их было несколько — Шарик, Волк, Малыш, Рекс... Все умные, послушные, услужливые, деликатные. Мне казалось, что они понимали и чувствовали больше и лучше людей. С овчаркой по кличке Волк отец разъезжал по аулам, бригадам, пионерским лагерям. Оказав необходимую медицинскую помощь, отец демонстрировал способности Волка, чем доставлял взрослым и детям особую радость. Волк безошибочно находил спрятанную вещь, ловил на бегу брошенную палку, мяч, нюхом определял, в чьем кармане лежит комочек притягательного курта, делал стойку, ходил на задних лапах, исполнял множество других команд на потеху собравшихся. Радовались и восторгались все: и зеваки, и отец, и сам Волк, чувствовавший себя артистом-любимцем. Сторожем и защитником он был надежным.

В Ташкенте у отца был Рекс. Более верного, преданного, умного и деликатного существа среди четвероногих мне видеть не приходилось. Рекс понимал все и всех. Беспрекословно выполнял каждое желание, поручение, волю отца. Стоило отцу только шевельнуть указательным пальцем в глубь сада, как Рекс мчался опрометью туда, и, вернувшись «докладывал»: все в порядке. Прикладывая палец к губам, отец показывал глазами на калитку. Рекс подбегал к воротам, вставал на задние лапы, внимательно смотрел в щель, замечал все, что происходит в тупике и, прибегая к отцу, успокоительно колотил хвостом о землю. Дескать, никакой тревоги.

Оставаясь на усадьбе один, отец и Рекс подолгу «беседовали». «Ну, что?» — спрашивал отец, и Рекс глазами показывал на ведро, подвешенное к потолку летней пристройки. В ведре хранились сухари. Рекс, получив пару сухарей, благодарно хрустел ими и опять смотрел на ведро. «Еще?» — спрашивал отец. «Не мешало

был», — смущенно подтверждал Рекс, облизываясь и сильно колотя хвостом. «Ладно. Получай еще. Но сначала осмотри сад». Рекс, ловко отшвыривая хлипкую калитку, обегал сад, громко тявкал, разгонял голубей и прожорливых афганских скворцов.

Рекс осознавал все горестные события, происходившие в последние годы в отчем доме. Сначала ушла моя мать. Потом уехали в Германию сестра, племянник, племянница, зять. Двор почти опустел. Три года, после тяжелой болезни, не посещали родную усадьбу я и Рая, и Рекс всем своим чутким и добрым собачьим сердцем понял, что прежняя оживленная, душевная жизнь вокруг безвозвратно угасает. Но оставался отец, согбенный, удрученный горем хозяин Байсунского тупика, и это было единственным утешением. Двор обезлюдел. Все пришло в запустение. Добрый дух покинул усадьбу. Потом ушел и отец, и Рекс понял окончательно: жизнь лишилась смысла. Рекс приуныл, ушел в тоску, одряхлел, ослеп, тыкался по двору, волоча обмякший хвост, неприкаянный, беспомощный, ненужный.

Осознав никчемность своего жалкого бытия, он однажды, воспользовавшись приоткрытой калиткой, ушел из дому, куда глаза глядят. Говорят: хорошие собаки, чувствуя неизбежное, уходят...

...Даже, казалось бы, безмозглые петухи у отца неузнаваемо преображались. «Петя, Петя, Петушок-дружок!» — ласково приговаривал, бывало, отец, и петух гордо вскидывал голову, косил глазом, распускал крылья, начинал выписывать, вычерчивать круги, пританцовывать, «петушиться», хорохориться, доверительно клевать из отцовских ладоней зерно, приглашая к пиршеству свой гарем.

Любовь отца к животным в какой-то мере передалась внуку его — Артуру. Он тоже в детстве вечно возился с собаками, кошкой, голубями, сорокой, вороной, морскими свинками, черепахами и даже ужом. Не знаю, сохранилась ли эта его черта в Германии, где он ныне обитает...

Любил отец цветы. И в ауле в палисаднике он трепетно ухаживал за цветами, и в Ташкенте во дворе, в саду всегда росли у него цветы.

Отец умел радоваться по-детски всему хорошему, доброму, искреннему. Особенно восхищался природой — везде и всюду.

Музыка сопровождала его всю жизнь. Еще в молодости, в Мангейме на Волге, он играл в струнных оркестрах, обожал «духовиков». Со скрипкой не расставался до глубокой старости. Дома у него всегда были балалайки, мандолины, скрипки, гитары, позже появились гармонь-двухрядка, аккордеон, кларнет, сам смастерил барабан, цимбалу, кастаньеты, еще какой-то странный инструмент-габрид.

Свою любовь к музыке отец усиленно прививал и своим детям, внукам, но безуспешно, что его огорчало. Один я — и то до института — охотно музицировал с ним. В школе он долгие годы руководил струнным оркестром, выступал на фестивалях, был бессменным председателем родительского комитета.

Любил спорт. Семь лет служил в РККА (1931—1938), пристрастился ко многим видам спорта: в молодости грудь его украшали значки БГТО, ГТО первой ступени, «Ворошиловский стрелок», парашютист, отменно бегал, прыгал, плавал, ходил на лыжах, обладал приемами классической и вольной борьбы, крутился на турнике. Этому учил и меня (пока я был здоров), и внуков. В 70 лет отец еще забавлялся пудовыми гирями и подтягивался на турнике. Никакого физического труда не чурался.

Большое внимание уделял физической закалке. Меня в школьные годы заставлял спать в холодной комнате, будил в 6 часов утра, до занятий мы ежедневно час пилили дрова, не позволял хныкать или кваситься. К мальчикам он бывал особенно строг и требователен, загонял их в жесткий режим. К девочкам был снисходителен, но учил порядку и опрятности, аккуратности и исполнительности.

Об отце я писал много. В романе «Дом скитальца», в повестях и рассказах он фигурирует под разными именами. И, конечно, в иных художественных деталях он немного отличается от реального Папы Карла.

Если есть во мне что-то положительное, то тому я всецело обязан родителям, родному аулу и книгам. Это абсолютная правда.

2004 г.

ПЕПЕЛИЩЕ

Горе тому, кто плачет в дому,
а вдвое тому, кто плачет без дому.
Русская пословица.

Вот уж год прошел с той печальной вести, а я никак не отволнуюсь...

А поведал мне о том невзначай мой земляк, поэт Жарасбай Нуркан в самый канун моего семидесятилетия. «Извини, мне неловко, но и скрывать вроде как нехорошо: аульного дома вашего уже больше нет. Снесли, разобрали», — сообщил он мне по телефону, придав своему голосу подобающую печаль.

Я обмер. В глазах защипало. Выскочил на балкон и подумал: «Хорошо, что о том так и не узнал мой отец, скончавшийся годом раньше до этого скорбного события в Ташкенте на девяносто четвертом году жизни».

От обитателей того просторного, благодатного деревянного дома в центре аула на берегу Есиля осталось теперь нас трое: я и две мои сестры. И живем мы ныне в разных странах-государствах — в Казахстане, Узбекистане, Германии.

Так распорядилась судьба.

Для меня незабываемы, священны, три родительских дома: бабушкин дом на Волге, в селе Мангейм, от которого, нас отлучили в августе 1941 года. Сестры мои его не помнят: родились позже. Я же помню и описал его во всех подробностях — со всеми ухожами и хозяйскими пристройками — в романе «Дом скитальца». От того дома и даже от самого немецкого села Мангейм ныне на земле и следа не осталось. Сохранились в семейном альбоме две-три фотографии. Помнят то время, то село лишь несколько древних старух, обитающих теперь в Германии, да я немного: столько, сколько запечатлелось в памяти шестилетнего

мальца. Правда, многое врезалось в цепкую, детскую память по рассказам родителей, по фотографиям, по свидетельствам уже отошедших земляков-соплеменников.

Каких только нет названий у человеческого жилища в одном только русском языке! Даль напоминает в своем словаре: дом, изба, хата, хижина, усадьба, дворец, хоромы, лачуга, домина, домишечка, домища. А сколько мудрых пословиц и поговорок создано русскими людьми о доме! Опять-таки заглянем в Даля: «Свой дом не чужой, из него не уйдешь»; «Дома и солома съедома»; «Худу быть, кто не умеет домом жить»; «В гостях хорошо, а дома лучше»; «Ступай домой, и бог с тобой»; «И тесен дом, да просторен он»; «Домом жить, обо всем тужить»; «Полон дом, полон и рот»; «Дом не велик, да лежать не велит». И т.д.

Знаю и у немцев, и у казахов, и у других народов подобных мудростей уйма.

Все эти пословицы имели прямое отношение к родительскому дому на Волге.

Второй дом, дом-очаг, долгие годы хранивший душевное тепло, заботу, нежность, прилежность и старание моих родителей и их детей, сложился в тихом ауле, в Северном Казахстане, на месте ссылки, которое я, однако, как ссылку никогда не воспринимал, а взлелеял в мальчишеской душе как точку отсчета, как благословенную обитель моего земного бытования. С этим домом связаны самые светлые, добрые, сокровенные мои воспоминания. И этот дом я описал в своих опусах неоднократно.

И третий родительский дом, в Ташкенте, в Байсунском тупике, долгие годы служивший благословенным приютом всех детей (нас было четверо), всех внуков, правнуков, зятьев, снохи, близких и дальних родичей, знакомых, шумная и просторная усадьба, притягивавшая всех своей открытостью, щедродушием, свободой, семейным теплом и уютом; дом, не родителями построенный, купленный, но ими достроенный, завершенный, облагороженный, ухоженный, обжитый, согретый их душой, любовью и тщанием. Дом дышал аурой генетической памяти.

О да, было и временное жилье — в Солянке и Гнаденфлюре на Волге, при медпункте в ауле, но оно не стало, не могло стать священным очагом, оно не успело одушевиться, обрести облик родимой обители, осталось в сознании

как бы случайным пристанищем, просто до поры до времени крышей над головой. По поговорке: «Три кола вбито, бороной накрыто, и то дом».

Бабушкин дом в Мангейме, из которого вышли мой отец, четыре его брата (все погибли в трудармии), две сестры (покоятся в земле Казахстана), многие их дети и племянники, исчез с лица земли. Его добили кончина бабушки в канун войны, тотальная депортация по сталинскому указу от 28 августа 1941 года, изломанная судьба российских немцев, к которым имею честь принадлежать и я.

Гибель этого очага и последовавшая за этим разруха в судьбе его обитателей всегда в неутешной моей памяти.

А родительский дом в ауле строился на моих глазах долго и трудно, радостно и мучительно, по бревнышку, старательно, с сомнениями и тревогами, с напряжением. Первo-наперво на это надо было решиться, смириться с тем, что отныне твоя спецпереселенческая судьба, твоя жизнь, твой жребий на земле связаны прочно и конкретно, неразъемно с этим казахским аулом, что мечта о возвращении на Волгу, где стояла колыбель дедов и прадедов со второй половины XVIII — века, несостоятельна, несбыточна, окончательно погасла, умерла, что корни предстоит пустить на этой казахской земле, на берегу степной реки Есиль, что у каждой семьи в конце концов должна быть постоянная обитель (это лишь куст перекати-поля, гонимый беспутным ветром-бродягой, находит временное пристанище в каком-нибудь овраге), и это родовое гнездо необходимо согреть жаром твоего сердца, облагородить неустанным трудом твоих рук, наполнить звуками родной речи, здесь твои дети должны обрести веру, надежду, любовь, нравственные устои, крепкие крылья, сознание своей необходимости в этом прекрасном и далеко не всегда добром мире, без чего всегда немыслимо, невозможно жить полноценной жизнью и чувствовать себя гражданином, а можно лишь кое-как существовать, прозябать без огня в сердце, без надежды и цели в онемевшей душе.

Да, сначала моим родителям надо было утвердиться в этом чувстве, в таком решении и мировидении. А утвердившись в таком сознании, надо было приступить к материализации вожделенной идеи. Предстояло доставать все, что необходимо для воздвижения дома в условиях послево-

енной поры в захудалом ауле. К тому же не для заурядной хатенки из двух комнатушек, с плоской крышей, с дерном в два ряда. О, нет! Для дома просторного, из трех комнат и большой кухни, на каменном фундаменте, так называемой «пятистенки», с двускатной железной или шиферной крышей! Ойдойт! Настоящий дом! Во всей округе не сыскать. Терем! Попробуй достать в те годы добротный строительный лес (а бревна надо сначала тщательно ошкурить, сложить штабелями, год-другой хорошенько, до звона, просушить, что называется, завяливать), столько-то кубов досок (двадцатки, тридцатки, сороковки), лиственную матицу, рамы, косяки, двери, шифер, завезти камни-валуны для фундамента, кирпич для печей, возы мха для прокладок, слеги для крыши, гравий, толь, гвозди, скобы, углы... о, что я буду все перечислять... то известно лишь тем, кто возился в этой буче, испытал эту лихорадку, кто ночами не спал, все думал как одержимый, где, что, сколько достать — раздобыть — упросить — выклянчить, как хранить, чем расплачиваться, как бы не прогадать с плотниками, как их прокормить, как свести концы с концами, как бы не надорваться самому на полпути, как бы не свихнуться от постоянных забот и дум о строительстве своего дома. А ресурсы-то как не раскинь ограниченные. Зарплата сельского фельдшера да санитарки медпункта, ну, плюс огород, коекакая скотина, ну, еще добрые советы и посильная помощь аулчан. Воля, дерзновенная мечта, упорство, немецкие аккуратность и дотошность, сила собственных рук, расчет и организаторская сноровка во имя главной цели — вот тот фундамент, на котором за пять лет и был воздвигнут в конце концов вожделенный родительский дом в ауле.

Дом получился на славу: импозантный, сухой, теплый, просторный — зал, спальня, проходная комнатка, кухня, прихожая, позже пристроили еще столовую. Все было предусмотрено: свет, печь-голландка, отапливающая сразу три комнаты, двойные рамы, разные закутки, столь необходимые в хозяйстве, ровный, крашенный пол. Чистота, уют. Всему определено строго свое место.

Отец гордился своим домом. При случае фотографировал его, подписывал фотографии: «Недостроенный дом фельдшера Карла Бельгера». «Недостроенный» говорилось по скромности, ради красного словца. Намекалось

как бы: дом, конечно, хорош, видно же, но имейте в виду, он недостроен. А когда он будет завершен, тогда залюбуетесь, глаз не оторвете. Отцу мерещились необычно, «елочкой» обшитый фронтон, «петушок» — флюгер на крыше, живописные ставни, узорами отделанная парадная дверь, металлические поручни вдоль деревянных ступенек, зацементированная площадка перед входом, песком посыпанные дорожки к хлеву, к сараям, к нужнику в конце огорода и прочие детали, финтифлюшки, украшения. Я знал о задумках отца. Знал также, что для осуществления их не хватит одной человеческой жизни.

О своих дальних планах отец говорил всем, рисовал радужные картины, любил фантазировать, но до всего этого руки, кажется, так и не дошли. Пишу «кажется», потому что к этому времени я уже учился в институте, в Алма-Ате, потом учительствовал в Джамбульской области, потом поступил в аспирантуру, и в аул приезжал на каникулы или от случая к случаю, и много в становлении ауры родительского дома мне осталось неведомым. Но я охотно приезжал в родительский дом, вначале один, потом с семьей, живал месяцами, работал зимой в зале, придвинув стол к печке-голландке, летом — в шалашике под акациями в уголке огромного огорода, был окутан любовью и заботой и чувствовал себя счастливым оттого, что есть такой родной очаг на земле, где меня любят, ждут и куда неизбывно тянулась моя душа. Здесь увидела свет моя дочь, здесь она жила до школы у бабушки и дедушки, не чаявших, понятно, в своей первой внучке души, урывками два-три года в любви, опеке и внимании, пока мы с женой мыкались по постылым углам в Алма-Ате. Сюда приезжали, избавленные от пригляда комендатуры, наши родичи, разбросанные по империи. Здесь, в ауле, в родительском доме, звучала родная речь, правда, с русскими и казахскими вкраплениями, здесь вечерами музицировали во дворе на радость и забаву аульчан, здесь, в дружной семье, учились тому, чему невозможно научиться ни в школе, ни в вузе — порядочности, деликатности, толерантности, нравственной обязанности и ответственности, долгу перед людьми, совести, добру и щедродушию. Здесь благодарные аулчане шумно и искренне, с подлинным казахским размахом, отметили 60 — летие отца, поставив во дворе восьмиканат-

ную юрту, в которой в течении недели пировали, пели, шумели, славили юбиляра, его домочадцев, произносили высокие речи с батой — благословением более 500 гостей из соседних аулов и района, посчитавших нужным достойно отметить почтенную дату сельского фельдшера, переделавшего за три десятилетия в казахских аулах столько добрых и памятных дел.

Что там говорить, прекрасное было время!

Вспомнишь — сердце замирает и на глаза наворачиваются слезы благодарности, гордости и умиления.

Потом... известное дело... покинули в свой срок детки родное гнездовье, разлетелись кто куда, навстречу неведомой и манящей судьбе. У каждого на земле, известно свой жребий.

Остались в большом деревянном доме родители одни. Слушали, как до-о-олгой зимой неистово завывал в трубах буран, как весной яростно хлестал стены косой дождь; чувствовали как летний зной накалял шифер, как осенний ветер норовил вырвать из пазов сруба слежавшийся белый мох. В доме по-прежнему было чисто, уютно, но выморочно одиноко. Дети наведывались все реже, даже письма и открытки слали нечасто, родичам казахский аул в Северном Казахстане казался далеким и скучным.

А забот меньше не становилось. Скорее, прибавилось с годами. За короткое северное лето надо было успеть обихаживать огород, скотину, накосить сена, впрок заготовить дрова, раздобыть и завезти уголь, сделать кое-какие запасы на зиму, ежедневно натаскивать воду из колодца, доить вовремя корову, пригнать с выпаса овец, уберечь вылупившихся птенцов от стервятников, боже, сколько нескончаемых дел выпадало на долю двух пенсионеров! А ради чего?! Много ли надо двум одиноким людям на седьмом десятке лет...

Сын приглашал в Алма-Ату, можно ведь купить домик в селе поблизости, если так уж хочется жить на земле. Дочери звали в Ташкент, ближе к детям, внукам. Ташкент, сказано же, город хлебный. В ауле привычно, сытно и народ хороший, заботливый, будто родной. Тридцать лет разве малый срок!? Ровно столько, чуть с хвостиком довелось прожить на Волге, которую пришлось покинуть по злой державной воле...

Прощание с аулом, со ставшим родным, так и недостроенным домом было тяжким. «Не уезжай, Карл — агай, — говорили искренне, убежденно казахи — оставайся. Все, что надо сделаем. Времена ведь пошли добрые».

Надо было распродать, растолкать, распихать, раздарить накопившийся за годы скарб. Все с собой, ясное дело, не увезешь. А многое из старья никому не надо.

Какие покупатели в ауле? Дом уступили задешево давним знакомым Шалбаю и Асиме. Что ж не купить? Дом крепок, опрятен, сухой, теплый. На видном месте стоит. Радовались родители: не чужим уступили дом, не пришельцам-варягам, не на произвол судьбы бросили. Шалбай и Асима — милые люди, на глазах выросли, аккуратные, радетельные хозяева. Взяли дом частично в долг, оба учителя, на зарплате живут, но деньги вышлют по мере возможности, поэтапно, честь по чести, за год-другой.

Перебрались родители в Ташкент, к дочерям, к внукам, стали приноравливаться к городской жизни, к базару, к иному ритму бытия, а дом в ауле не забывали, вспоминали о нем, тосковали по нему, как по живому существу, во сне видели. Мать, бывало, чем-либо недовольная на новом месте, сгоряча, запальчиво говорила, пугая отца: « Все! Хватит! Обрыдла мне городская жизнь. Возвращаюсь в аул. В свой дом!»

Но возврата не было. Домом в ауле теперь любовались только на фотографиях, жалели о том, что не доделали то-то и то-то. Нехорошо получилось. Будто спихнули с рук некачественный товар, точно торговцы-сарты на Алайском или Рисовом базаре.

Дом в ауле продолжал жить в сознании, в душе родителей, моих сестер Эльмы, Альмы, Розы, дочери моей Ирины, жены, племянника, двоюродных сестер, многих-многих, бывавших некогда в нем.

А за несколько дней до моего шестидесятилетия (1994) меня любезно пригласило руководство области и района, земляки закатили грандиозный той, меня повезли в мой аул, неузнаваемый, разросшийся, уплотнившийся, совершенно изменившийся, привели в родительский дом, специально освобожденный для меня, чтобы я в нем при желании заночевал, накрыли в зале торжественный дастархан, за которым начальство и почтенные аулчане,

помнившие меня с детства, радостно потчевали меня, упоминая непременно и Карла—ага, и Анну—апа, внимали каждому моему слову, удивляясь тому, как вчерашний малец Гера обернулся солидным седым дядей, водили меня по комнатам, радовались моей радости, восхищались моей памятью, когда я узнавал наш старый продавленный диван, обитый железом сундук, облупившийся комод, закрашенные, но еще видные зарубки на косяке, отмечавшие наш рост, прогибающуюся в спальне половицу, без конца фотографировали, областное телевидение все снимало на камеру, брало интервью, фиксировало мое волнение, допытывалось, что я испытываю в настоящий момент...

А разве опишешь, что я испытывал в те счастливые мгновения? На глаза мои то и дело наворачивались слезы, я был ошарашен радушием земляков, многих которых не узнавал, бормотал что-то невпопад, и пожилые женщины вытирали кончиком платков слезы, говорили, что «першил Белгір» принимал в свое время у них роды, перерезал пуповины их детей, вылечил внуков, снимали с пальцев серебряные, самодельные перстни, кольца и совали их мне как благодарную память, старики гладили свои редкие бородки, одобрительно кивали, и я, шестидесятилетний, тогда депутат Верховного Совета Казахской ССР, известный аулчанам по своим писаниям и выступлениям по радио и телевидению, вконец смутился, расчувствовался, ошалел, почувствовал себя помолодевшим, не сразу и сообразив, что я в сущности и не далеко ушел по годам от окружавших меня в тот миг аульных аксакалов.

А праздничное действо, разворачиваясь, происходило при многолюдье, в присутствии кучки моих соклассников и бывшего нашего классного руководителя, учителя математики, а также знакомых и близких, во дворе, усиленная динамиком, звучала трогательная песня: «Родительский дом, начало начал...» и, казалось, даже дом, уже по-стариковски осевший, уже ссутулившийся, заметно ветшающий, ожил, преобразился, помолодел, встрепенулся, взволнованный свиданием со своим стародавним жильцом, сохранившим в своем сердце непреходящую память о нем.

Ах, сладкий миг человеческого счастья!

Потом я отцу все подробно описал, рассказал, показал кинопленку, и он был на седьмом небе, то и дело вытирал слезы, а один раз так расчувствовался, что вскочил, прикрыл дрожащими руками лицо, вспомнив, должно быть, мою мать, всего полгода не дожившую до этого события.

Отцу тогда шел 86-ой год, и он, конечно, сознавал, что дом свой в ауле ему уже никогда не увидеть. Слава создателю, что увидел хоть на экране на изломе жизни.

(В скобке замечу, что аким района — ныне Шала-акына — вынашивал идею послать за отцом своего порученца, дабы тот привез его в Сергеевку, потом в аул Ибраева, где прилюдно и должна была состояться встреча отца и сына. Хороша, романтична была идея, но я ее отклонил по разным причинам. Теперь думаю: может не прав был...)

Сейчас же, когда пишу эти строки, сам себя утешаю, что посетил родительский дом в ауле одиннадцать лет назад, поднялся на крыльцо, прошел через кухню, комнатушку посередке с двумя окнами на запад, посидел в зале, заглянул в спальню-боковушку, как бы прикоснулся к святому духу родного очага, ладонями прижался к косяку, поклонился порогу своей юности.

Ведь, согласитесь, такое счастье не каждому скитальцу на земле перепадает. Так что я должен быть благодарен судьбе.

Но... ничего этого теперь нет. Как мне объяснили очевидцы, Шалбай и Асима, хранители нашего гнездовья, покинули аул, перебрались в город, в Петропавловск, оставив дом одному из сыновей. Тот якобы продал его кому-то. А новый хозяин, недолго думая, разобрал его по бревнышку, очистил место, решив воздвигнуть современный кирпичный или блочный дом. Недавно я узнал, что и Шалбай скончался, и у Асимы, моей соклассницы, серьезные проблемы со здоровьем.

Сменяются поколения — разрушаются родительские дома, немые свидетели минувших эпох.

Когда закладывали фундамент, помню, отец раздобыл железную капсулу с крышкой на резьбе и попросил написать мне записку-послание потомкам. По прикидке отца дом простоит лет сорок-сорок пять и вот тогда, разбирая его, кто-то из неведомых аулчан может наткнуться

на эту капсулу, расколупать ее и прочесть записку. Вот будет сюрприз! Вот будет находка! На плотном листе бумаги я четким почерком, едва ли не печатными буквами черной тушью написал, что дом этот построил в таком-то году житель аула Ленина Октябрьского района, спецпереселенец с Волги Карл Федорович Бельгер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, приехавший сюда в сентябре 1941 года с женой Анной Давыдовной, сыном Герольдом, дочерью Эльмой. Потом в этом ауле уже после войны родились еще две дочери — Альма и Роза. Что-то в таком духе, сейчас не помню. Обращался я к потомкам-аулчанам XXI века. Тогда это показалось непостижимо далеко. А теперь, поди ж ты, уже разменяли успешно этот самый XXI век.

Письмо свернули трубочкой, обернули целлофаном, аккуратно втиснули в медный патрон, который загнали в капсулу и замуровали в основание дома.

Интересно, нашли ли эту капсулу при разборе дома или она сгинула в обломках на пепелище? В ауле еще кое-кто помнит моего отца, меня, то время. Неужели о капсуле никто не догадался, не подумал?

Недавно позвонил мне мой ровесник, земляк, родом из соседнего аула, академик Аманжол Кошанов. И высказал на полном серьезе идею: дом Карла Федоровича надо бы сохранить, шепнуть о том местному начальству, сберечь дом как музей — как память о славном медицинском работнике, о радетеле культуры, об отличнике здравоохранения СССР и отличнике просвещения Казахской ССР, о бессменном депутате местного и районного советов, о семье немцев-спецпереселенцев, а если этого недостаточно, то можно развернуть в этом доме постоянную литературную выставку о писателях — выходцах этого аула — Галыме Малдыбаеве(он был популярен в 30-40-х годах прошлого века), Ермеке Конарбаеве, Жарасбае Нурканове, Герольде Бельгере, к ним можно добавить длинный ряд именитых земляков-азаматов, выпускников знаменитой в свое время Ленинской казахской средней школы. О, это был знаменательный, достойный очаг культуры в приесильских казахских аулах, источник познания и воспитания, наглядный пример истории и памяти родного края.

«Поздно», — вздохнул я.

«Как поздно?» — встрепенулся друг-академик.

«Дома уж нет. Разобрали».

«Как? Что? Почему?!»

«Так получилось...»

«И никому в голову не взбрело сохранить дом?»

Я промолчал. Нет, никому из местных о том и не подумалось. Те, кто размышляли на таком нравственном уровне, ушли в мир иной. А нынешним благодетелям с временщиковской психологией зачем это надо? И без того у каждого забот полон рот. Ушло — прошло. День прожит и хорошо.

И вот стою я теперь мысленно у пепелища родительского дома в ауле, вспоминаю то время, те бесконечные хлопоты, радости и огорчения по поводу воздвигнутого в ту суровую эпоху дома, долгие годы хранившего тепло сердец и нежность души ныне покойных моих родителей, сестры Розы, похороненных рядком на кладбище Домрабат в Ташкенте и живых моих сестер Эльмы и Альмы, проживающих кто где, и, с горечью думая обо всем этом, молча глотаю слезы и чувствую, как от жалости к себе, ко всем скитальцам, к тем, кто покинул этот мир навсегда, каменеет в груди сердце.

Е-е-е... не амал бар? Что поделаешь? Was ist zu tun?... У жизни свои законы и капризы и человек — покорный раб всесильных обстоятельств.

Третий родительский дом связан уже с Ташкентом, куда мои родители, дабы быть ближе к дочерям, переехали летом 1971 года, где отец прожил 31 год. Дом обрели по городским ценам задешево. Находился он в частном секторе, в так называемом Шумиловском городке, недалеко от аэропорта, возле заброшенного Шумиловского парка, рядом, можно сказать, с Рисовым базаром, в Байсунском тупике. Дом был невзрачен: три комнатушки, большая веранда, недостроенный зал (достроили его потом на мои средства, с отдельным входом, там я живал месяцами и славно работал, окруженный заботой и вниманием родителей и сестер). Но в усадьбе была уйма пристроек и закутков: летняя кухня, кладовка с балаханой, мастерская, курятник, крольчатник, большая русская печь, душ, гараж. Колодец.

Колонка. Клумбы. Дорожки. Сад с фруктовыми деревьями. Виноградник. Смородина. Крыжовник. Правда, все отец перестроил, переделал (он любил вносить коррективы во все), облагородил, оживил, изменил на свой лад и салтык. Некогда украинская хата (бывший хозяин был раскулаченный и высланный хохол), утопавшая в подсолнухах и неимоверных зарослях под сенью могучего орешника, через год-другой всецело изменила облик, обретая практичные черты немецкого хауса. Подворье стало открытым, многолюдным (когда я приезжал в июле-августе в отпуск с женой и дочерью, иногда с внуком), во дворе с утра до вечера толпились, галдели, шумели, озоровали, пировали, без конца чаевничали по 13-17 человек родных и близких (и я для работы находил себе уединение либо в гараже, либо в бывшем, перестроенном курятнике, где стояла железная кровать, столик, самодельный грубый шкаф и колченогий стул и было спасительно прохладно, хотя и пахло наметом, прелыми листьями, мышами, азиатской пылью и нежитью), а в дни семейных торжеств, на именинах родителей, детей, внуков, правнуков, зятьев столы накрывались во дворе, вдоль виноградника и железной сетки на 25-30 человек, и эти праздники с музыкой, танцами, шутками, песнями, вольными разговорами, стенной газетой и плакатами с потешными рисунками и надписями, непременными отцовскими виршами-изделиями с русско-немецким акцентом и подтруниваниями по этому поводу длились до глубокой душной ташкентской ночи. Мама сияла: отрадно было ей видеть всех отпрысков вместе. Ликовал отец: «Вот это интернациональная советская семья — семь национальностей!»

Нет ничего постоянного на этом свете. И все это знают, но до поры до времени о том не думают и счастливыми мгновениями не дорожат.

Так уж устроен человек. Его вечно манит сладкая надежда, что впереди будет еще лучше. И в ловушку привередливой судьбы попадают все. Или подавляющее большинство.

Мудрость, видно, в трезвом осознании того, что за счастьем неминуемо обрушивается какая-либо пакость, а за

бедой нередко случается везенье. Так уж устроен мир изначально.

Добро и свет царили в ташкентском родительском доме довольно долго. Первая беда — кончина сестры Розы в возрасте 35 лет. Ее смерть потрясла нас всех, а родителей подкосила. Потом ушла мама, немного не дотянув до моего 60-летия. Уехали в Россию зять и двое племянников. Потом вслед за сестрой Альмой укатили в Германию сразу четверо. Будто опустошительная буря прошлась по недавно еще прочному семейному клану. Ушли в мир иной сваты-соседи. Обосновались под Алматы дочь, зять, внуки сестры Эльмы. Я из-за тяжелых болезней три года подряд не мог выбраться в Ташкент. В опустевшем, заброшенном подворье на Байсунской, 59 остался отец коротать век с дочерью. Все пришло в запустенье. Все точно потускнело, померкло вокруг. Я общался с отцом по телефону, отвечал регулярно на его письма. А на похороны его поехал с женой. Все остальные — из Москвы, Хакасии, Воронежа, Молдовы, Казахстана, Германии — приехать не смогли. Даже верный, мудрый пес Рекс, вконец одряхлевший, ослабший, тайком однажды покинул двор, воспользовавшись открытой калиткой.

В ташкентском родительском доме чуть-чуть еще тлеет жизнь, пока там обитает в полном одиночестве моя сестра. Жить ей там, конечно, непросто. Скорей всего, невмоготу. Понятно, что душой она тянется к дочери и внукам. И тогда и третьему родительскому дому придет конец. Наступит полный крах. Безнадега. Крушение.

И что дальше? Зачем я об этом пишу? Для чего? Кому интересна моя печаль, которая ведома едва ли не всем живущим на земле, на любом континенте, среди любого народа?

Для меня культ семьи, культ дома — не пустой звук, не абстрактное понятие. Плутая по дебрям судьбы, я ловлю себя на мысли, что гнездо дедов и прадедов, родимое пепелище, место, где был резан твой пуп, дом, в котором ты обитал вместе с родителями и единоутробными братьями и сестрами, откуда ты пошел и есть, где встал на крыло, — священные обозначения, главный исток и ориентир, твоя честь, достоинство, опора, вечная надежда и память. Проще говоря, твои корни, которые, поелико возможно, не след перерубить, вырвать, вытравить.

Я до сих пор говорил о родительском доме в трех временных пластах, можно сказать, в трех эпохах, в трех географических, исторических плоскостях.

Но речь не обо мне. А о тех, кто испытал или испытывает на склоне лет нечто схожее. Таких, как я замечаю, на белом свете не сотни, не тысячи, а, может, и не миллионы. Что-то переменилось в жизни, в судьбах людей. Переменилось повсеместно и круто. Культ дома у кого давно, у кого недавно разрушился. Все меньше родовых усадеб, имений, стабильных, устойчивых родительских домов. Люди живут как придется, бросают родные края, мечутся по всей земле в поисках лучшей доли или, покорные року, обитают, точно на вокзалах, на временных стойбищах, хрущобах, легко, запросто, без души и боли оставляют их, тащат за собой свой жалкий скарб, как тощую торбу, без грусти и сожаления перемещаются в огромных пространствах, ни к чему не прирастая, не привязываясь сердцем. Бивуачное бытие! Какой уж тут родительский дом, праматерь, надежный оплот нескольких поколений, когда все так зыбко, неопределенно, временно. Даже постулат совершенно безнравственный придумали: родина там, где тебе хорошо. Это себе в оправдание придумали те несчастные, у которых за душой ни гроша. И под видом глобализации многим такой иезуитский принцип бытования по душе. Никаких нравственных обязанностей, никакого долга ни перед собой, ни перед другими: где тебе хорошо, там и живи. Какая еще родина?! Выдумки все, мираж, химера! Как все просто! И живут людишки сегодняшним днем, как придется, как придорожная трава, сбитые с извечного круга, уж как жребий выпадет, как случай обернется, не утруждая своей памяти и совести выдуманными поэтами и писателями абстрактными понятиями и сентиментальными причудами.

Это не просто плохо, скверно, сомнительно, это удручающе тревожно. Но мы о том стараемся не задумываться, отметая прочь всякие размягчающие душу мысли о родовом пепелище, о родительском доме. Постулат: «где родился, там и пригодился» давно уже изжил себя под натиском реальных, цинично здравых обстоятельств.

Ну, допустим, так сложилось у российских немцев: их насильно, бесцеремонно, жестоко отлучили, отторгли от родных, веками потом и кровью облагороженных мест на Волге, Украине, Кавказе, Крыму, «немецких слободах»

Москвы и Петербурга. В одночасье, одним махом, отрубили корни и выслали, депортировали по чертовым куличкам необъятной империи. Абортировали душу. Убили, вытравили память. Добились того, чтобы бедняга российский немец не только родительский дом забыл, но и свой язык, историю, культуру, даже нередко свои имя и фамилию. Но ведь и другие не репрессированные народы оказались обреченными на ту же долю. И им был уготован тот же жребий, та же участь. Кто из сотен народов, населявший бывший Советский Союз, способен с гордостью и достоинством говорить ныне о своем родительском доме, о семейных традициях, о родовом очаге, согретом любовью и деянием предков?!

Вот о чем я веду речь.

Вот о чем мои думы и печали.

Былые нравственные ценности катастрофически быстро исчезают, нивелируются, размываются под жерновами все убыстряющегося динамического времени. Нет возможности оглянутся назад, сориентироваться в пространстве бытия, вспоминать обстоятельно, с толком, с благодарностью своих предков и то место, тот дом, тот божий приют, в котором они некогда обитали, жили, заботились о насущном, думали о будущем, боролись и любили.

Что же происходит с людьми, с человечеством?

Обстоятельства навязывают свою волю и делают человека пылинкой в мироздании, щепкой в вечном круговороте жизни. Вот в Париже пришли к нам, казахстанцам, местные казахи. Их тянет к этническим сородичам, к казахской речи, к древним дедовским корням. Один из них говорит: «Я — найман»; другой утверждает: «Я — керей»! Их деды-прадеды покинули не по своей воле просторы Казахстана еще в смутные 20-е годы прошлого столетия. Скитались в Китае, Афганистане, Пакистане, Индии, Турции, перебрались в Европу.

Где их родительский дом?

Что они сохранили в тайниках души от генетической памяти, родовой ауры? Какую искру от священного родового очага они оставляют своим детям, внукам, правнукам европеизированные ныне казахи, из последних сил цепляющиеся за почти истлевшие национальные корни?

Вот знакомый казах Кабил Сюмер (Verein zur forderung der sozialen Belange und der Kultur der Kasacken e. v) из

Мюнхена, говорящий по-казахски с турецким макамом, привез своих чад в Алматы, дабы они припали к родовому роднику, а милые, по-германски ухоженные детки учатся в немецких гимназиях, вольно шпрехают по-немецки, у них иная ментальность и чувствуют они себя в южной столице Казахстана чужими, будто с другой планеты. Национальный патриотизм и восторг отца совершенно не воспринимают, не разделяют.

Где их родительский дом? И какую память, какую трепетную любовь оставил он в их неокрепших душах? Дрожат ли сокровенные струны в их сердцах при словах «казах», «ата-коныс», «туган жер»?

Наверняка родительский дом для них временное обиталище, где удобно, уютно, сытно, тепло. И только, и только...

Во Франкфурте на Майне и в центре Берлина («Александерплац») я почти не услышал немецкой речи. Здесь смешались все вселенские наречия. Здесь обитают, слоняются, мятутся, трутся, тусуются, клокочут, горланят всевозможные европейские, азиатские, африканские, латиноамериканские племена и народности. Сплошное вавилонское столпотворение! Живописное зрелище.

Где их отчий кров? Где их родительский дом? Какая нужда, какая дьявольская сила заставила этих детей разных народов, этой диковинной мешанине рас и племен искать себе место под солнцем на чужбине в иноязычной, инобытийной среде? И они довольны, удачливы, счастливы? Вполне обходятся без национальных корней, без искры священного очага?

Это и есть глобализм? Общепланетарное сознание? В этом и кроется будущее человечества?

Что, собственно, происходит?

В Копенгагене я встречал китайские плавучие рестораны в форме гигантского дракона. Когда я в жуткий ливень, заблудившись, зашел в первое попавшееся кафе, молодая китаянка на беглом немецком языке вежливо растолковала мне дорогу в гостиницу. Возле Оперного театра сосредоточенно мел тротуар китаец.

На открытой площади возле старинного храма играл живописный южноамериканский оркестрик.

Я подумал: где родительский дом этих пилигримов? Где их пепелище? Думают ли они о своих корнях-истоках?

О том же неотступно думалось мне в Амстердаме, в Будапеште, когда я наблюдал за муравейником разных народов. О том же поневоле думается о казахах, валом покидающих родные, захиревшие, безнадежные, обреченные аулы и льнущих к мегаполисам, к городам, где они долго прозябают без постоянной работы, даже без временного жилья, неприкаянные, растерянные, подавленные, озабоченные, в качестве изгоев, бомжей, пауперов. Боже сколько казахов на своей земле, в своей независимой стране толкутся по утрам возле мусорных баков! Не кощунственно ли спрашивать у них о священном семейном очаге, о родительском доме? Они ведь в подавляющем большинстве пасынки судьбы.

Печально все это.

Скоротечная человеческая жизнь обретает трагический привкус временности, случайности, незначительности, неверия в будущее.

«Дуние жалған», — издревле говорят казахи. Обманчивый, лживый мир. Мираж. Туман. Суета сует. Человечество сбивается со своего извечного круга. Искривляются пути-дорожки.

Вот и Абай нашептывает:

Грядущее сокрыто в тумане сплошном.
С надеждою ждущих глаз много кругом.
Пыль дней поднимая, проносятся годы,
Не зная ни рода ни вида ни в чем.

Дни эти, как те, что прошли навсегда,
Пройдут и уйдут, не оставив следа.
И где-то в чреде их настанет День Судный,
Всевышнему ведомо, где и когда.

(Перевод А. Кодара)

А в общем грустная картина — стоять и размышлять у пепелища родительского дома.

Вот какие мысли навеяла мне горестная весть земляка-поэта Жарасбая Нуркана.

С тех пор прошел почти год, а я никак не отволнуюсь...

3-10 мая 2005 г.

МОЙ ЗЕМЛЯК ИЗ КАРАКАСА

Пухлый, пестрый, испещренный диковинными марками и наклейками иностранный конверт я долго вертел в руках. Незнакомый почерк. Незнакомый адрес. Незнакомая фамилия. Венесуэла. Каракас. Унгефуг. Кто это может быть?

У меня есть знакомые в кое-каких европейских странах, с которыми изредка переписываюсь. Но у кого из Латинской Америки до меня может быть дело?

Алессандро Унгефуг? Имя звучит по-испански. Фамилия немецкая. Вроде даже как знакомая.

Письмо написано на литературном немецком языке. Но в текст там-сям вплетены близкие мне словечки и выражения поволжских немцев. Выяснилось, что в руки автора письма из неведомого Каракаса, столицы да-а-ле-е-ко-ой Венесуэлы, каким-то образом попала издающаяся в нашем Алматы на немецком языке газета «Дойче Альгемайне Цайтунг». Рассеянно просматривая ее, взгляд его споткнулся вдруг на стоящей под статьей фамилии Бельгер. Интересно: что за Бельгер? Откуда?

Вспомнилось: еще в довоенное время в Автономной республике немцев Поволжья, в Гнаденфлюрском кантоне, в селении Мангейм проживали какие-то Бельгеры. Может, этот, в газете, их потомок? Оказывается, писатель, да еще депутат. Любопытно... Взволнованный пенсионер из Каракаса Алессандро Унгефуг немедленно пишет в Алматы в немецкую газету письмо-запрос. Так-то и так, уважаемый герр Бельгер, если вы являетесь выходцем из поволжского села Мангейм, то очень прошу, дайте о себе знать.

Я тотчас ответил. Да, сам-то я родился в городе Энгельсе Саратовской области, но мои родители уроженцы села Мангейм. До войны я там бывал не однажды. Я сын знакомых вам Карла Бельгера и Анны Гертер.

Боже, как обрадовался моему письму Унгефуг из Каракаса! Выяснилось, что он знает многих из моих родственников. Его призвали на службу в Рабоче — Крестьянскую

Красную Армию еще в 1940 году. Служил он на Украине, где и застала его война с фашистской Германией. Вскоре очутился в плену. Фашисты не стали разбираться, кто он — русский или фольксдойче. Отправили в концлагерь. Потом он батрачил у одного немца-богача, который называл его не иначе как «русишес швайн». Каких только унижений и оскорблений он не вынес! Никаких вестей от родных и близких, понятно, не имел. Более того, о том, что Автономную республику немцев Поволжья распустили, а немцев депортировали в Сибирь и Казахстан, что родной дом разрушен до тла, Унгефуг узнал впервые несколько лет спустя уже после войны. Неведомо было, остался ли кто в живых из многочисленной семьи Унгефугов.

Так и мыкался на чужбине хуже собаки, пока не освободили из плена американцы. Советских военнопленных тут же отправили на родину, а там они как изменники оказывались в сталинском концлагере.

— Ты кто? — спросил его американский следователь.

— Унгефуг.

— Немец, что ли?

— Да, — ответил Унгефуг, не уточняя, что он немец поволжский.

— А где родился?

— В Мангейме.

Чистая правда: в Мангейме. Но в каком? В одном только Советском Союзе Мангеймов было четыре: на Волге, под Одессой, на Кавказе и на Украине, но откуда о том было знать американскому следователю? Он знал лишь о городе Мангейме в Германии.

— А -а ... Выходит, ты местный немец?

Унгефут непроизвольно мотнул головой. Это был судьбоносный миг.

— О'кей! — сказал американец. — Иди! Ты свободен?!

Таким образом, волжанин Унгефут избежал советский концлагерь и остался в разрушенной Германии. Да и где теперь его родная сторонушка? Казахстан и Сибирь он знал лишь понаслышке, даже представить их себе не мог. А вот что депортированным соплеменникам в Советском Союзе живется не совсем сладко, представлял себе ясно. О родных он по-прежнему не имел никаких вестей.

Чем только не занимался бедный Унгефут ради выживания!

Работал садовником, сторожем, строителем, пекарем, стрелочником, грузчиком, продавцом, официантом. Каких только мытарств не испытал! Все горести бездомного бродяги, лишенного всего на свете, сполна изведал. Наяву перебивался с хлеба на воду, надрывал тело и душу, а во сне, случалось, видел родной Мангейм, Волгу, братьев и сестер, пребывая в неизбывной тоске и унынии.

С отчаяния подался в соседнюю Голландию — не прижился. Мотался по Канаде — и там не встретил счастья-удачи. Жизнь тех лет — отравленные горем и беспросветной нуждой страницы. Без слез и вспоминать невозможно. Что долго рассказывать? По прихоти судьбы очутился однажды в Венесуэле. И там мытарился изрядно. Наконец, на какой-то фабрике подыскал себе работу. Женился на местной. И изъяснялись-то поначалу с трудом: она тараторила по-испански, он бормотал по-немецки. Пошли дети. Со временем свыкся со скудной, но шумной жизнью Каракаса.

Но тихое, милое сердцу немецкое село Мангейм на Волге не выходило из памяти. Ему было невдомек, что оно уже давно превратилось в русское село Советское. Не ведал он и о том, что его исконные жители развеяны по всем закоулкам необъятной российской империи и смешались с русскими, узбеками, казахами, башкирами, чалдонами. Ни о каких национальных катаклизмах на территории Советского союза гражданин Венесуэлы Унгефуг и представления не имел. И вдруг — надо же! — полвека спустя всплыла перед его глазами столь знакомая фамилия Бельгер.

Унгефуг лишился днем покоя, ночью — сна. В письме ко мне он просил меня разыскать родных: вдруг хоть кто-то уцелел в лихолетье и обитает теперь в Казахстане. Я полистал старый отцовский альбом и — о, диво! — нашел поблекшую фотографию матери Унгефута. Получив ее, венесуэльский пенсионер, разменявший восьмой десяток, разрыдался как ребенок. Потом по моей просьбе мой отец написал бывшему односельчанину обстоятельное письмо обо всем, что знал о многочисленной родне Унгефуг. Пользуясь своими депутатскими полномочиями, я довольно быстро обнаружил в нашем Павлодаре родную сестру Унгефута. Выяснилось, что все остальные его братья и сестры погибли в годы войны кто в ссылках, кто в Сибири, кто в Казахстане, кто в Каракалпакии, кто в трудармии. У

уцелевших брата и сестры была одна мечта — встретиться-свидеться. Но как? Старая, измученная болезнями Мария из Павлодара не в состоянии была добраться до брата Саши в Каракасе на краю земли. На скудной своей пенсии еле-еле сводила концы с концами с мужем-инвалидом. И престарелый, слепнущий брат не осмелился отправиться в вояж в неведомый Казахстан. Что делать? Как быть?

Я встретился с тогдашним германским послом в Казахстане господином Бракло, поведал ему все, и он высказал мнение, что встречу брата и сестры можно, пожалуй, организовать на территории Германии. Так будет удобно обоим. Унгефута воспряли духом. Началась активная переписка и между ними, и с разными общественными организациями. На это ушло немало времени. Между тем Мария Унгефут похоронила мужа и перебралась с детьми и внуками в этнический «Фатерланд». А господин Бракло — надо же было так случиться! — был переведен послом Германии в Венесуэлу. Теперь появилась возможность организовать деловую встречу Унгефута с послом, который был в курсе всех событий.

Алессандро Унгефут продолжал писать мне письма называл меня «дорогим братом», «земляком», «уважаемым господином», «благодетелем». Раз или два я получал от него небольшие, аккуратно упакованные посылки-пакеты, с карандашами, ручками, стиральными резинками, линейками, кассетами, блокнотиками, расческами, баночками кофе и плитками шоколада. О Казахстане он по-прежнему ничего не знал. Полагал, что он находится где-то возле Афганистана и Пакистана, а по Алматы бродят верблюды и ишаки. Он искренне считал, что в Казахстане голод и мор, бесконечные стычки и разборки, женщины ходят в паранджа, а мужчины отпускают дремучие бороды до пупа. Что тут скажешь? Такое вот представление.

И вдруг наша переписка оборвалась. А год спустя получил весточку от его сына Робертино. Письмо было написано на плохом немецком. Сын сообщал, что состояние отца ухудшилось, что хворает, совсем ослеп и беспомощен. Ни о каком дальнем пути и речи нет. К тому же жуткая инфляция «съела» все его накопления. Пенсии едва хватает на житье-бытье. Все грустит-печалится, вспоминает родное село Мангейм на Волге. И вас, господин Бельгер, часто

вспоминает. Убивается : остались ли на белом свете мангеймовцы, кроме нас двоих?

Бедный, бедный земляк мой Унгефут!

Действительно, редко кто в этом мире вспоминает ныне исчезнувшее с лица земли поволжское село Мангейм. Да, совсем-совсем немногие. Да и из них трое-четверо проживают теперь в Германии, один-двое в Канаде, мой отец в Ташкенте, да я в Алматы.

И, пожалуй, все.

Все ушло, растаяло в дымке прошлого, кануло бесследно в Лету — и далекие безмятежные дни, и тяжкие будни, и призрачные надежды, и многолюдное немецкое село на Волге Мангейм, и даже память о нем.

Видно, не зря говорят казахи: голова человека — мяч Аллаха. Судьба играет человеком. И в сущности каждая человеческая жизнь на земле — трагедия. Назови её как хочешь — роком, судьбой, фатумом, лживым, обманчивым миром, жребием-таланом — все равно.

Мало ли на свете одиноких, неприкаянных горемык, лишившихся по злой воле родины и в горестях и муках коротающих свой куцый век?

2000 г.

ЗЕМЛЯНИКА СТЕПНАЯ

В середине лета мальчику стало совсем худо. Синий кашель — «кок жотел» — бил его часами, выворачивал наизнанку, содрогал его щуплое, изнуренное тельце. Он ртом хватал воздух, шевеля лиловыми губами, точно чебачок, выброшенный на берег. В запавшей груди свистело, хлюпало, клокотало. Еще весной отец скорбно сказал: двухстороннее воспаление легких. А теперь решил: коклюш. Дружки-казашата называли эту хворь «коксау». Советовали: «Глотай топленое масло», «Смазывай грудь жиром ежа», «Жир сурочий тоже хорош».

Днем ослабевшего мальчика выносили на солнышко, усаживали на плотную, как ворс, травку, подстелив заскорузлую телячью шкурку, укутывали в шаль, на голову нахлобучивали изъеденную молью трухлявую шапку. Мальчик ловил на себе жалостливые взгляды родителей.

Отец, спеша в свой медпункт, обычно задерживался возле сына-подранка, терпеливо ждал, пока тот тщетно пытался откашляться, молча клал перед ним крохотную плитку гематогена в блестящей облатке.

Мать ставила перед ним кружку парного молока и поспешно отворачивалась, скрывая слезы. Мальчик долго смотрел на молоко, но чувствовал, что поднять и поднести кружку к губам он не в силах. К тому же испытывал отвращение к любой еде. А если и отпивал через силу глоток теплого, еще пузырящегося после дойки молока, пахнущего степным разнотравьем, из носу тут же шла кровь.

Силы покидали мальчика с каждым днем.

А лето буйствовало. Солнце подолгу висело в зените. От земли, от густотравья шел дурманящий дух. По небу плыли, клубились белесые облака-барашки. Вдали, вдоль Есиля-реки, голубел тугай. Пустынный аул, казалось, погрузился в истому. Порхали-метались вокруг разноцветные бабочки, опускались на краешек синей кружки, трепеща, прозрачными крылышками. Иногда, волоча хвост в репейниках, подползал соседский пес Майлыаяк, опускал-

ся на брюхо, вывалив язык, и подолгу глядел слезящимися, подслеповатыми глазами на мальчика. И в серых зыбких зрачках его тоже плескалась жалость.

«Плохо тебе?» — безмолвно вопрошал пес.

«Сам ведь видишь, — смущался мальчик, — совсем ходить не могу».

«Ай, бишара, бишара...» — сочувственно смаргивал слезы Майлыаяк.

Пес был стар и мудр. И понимал лишь по-казахски.

«Хлебушка у тебя нет? — робко спросил он -А то так надоел мне айран-шалап».

«Жоқ... И крошки нет».

Пес смиренно опускал голову, жмурился. Ему было неловко за свой нелепый вопрос.

«А что есть?»

«Гематоген».

«Ол не нәрсе?... Что это еще?» — полюбопытствовал пес и нетерпеливо облизнулся.

«Кәмпит».

«Нет, — вздохнул пес. — Старому псу кампит не по зубам. Сам ешь».

Майлыаяк зевнул и опустил большую, костлявую голову на передние лапы, покосился на кружку с молоком. Ноздри его затрепетали.

«Нельзя — сказал мальчик. — Болмайды. Опоганишь».

«Понимаю», — согласился пес и втянул язык в пасть.

К обеду солнце начинало припекать. Над тугаем вдоль Есиля дрожала хмарь. Мальчик до рези в глазах всматривался в причудливую игру миража, сознание туманилось, все вокруг струилось в теплых потоках света. Чудилось мальчику, будто он взлетает на невидимых крыльях, невесомо скользит по густому, настоенному степным разнотравьем, вязкому воздуху, поднимается все выше, выше, вот он уже барахтается среди пушистых облаков, и ему легко, легко, кашель отпустил его и блаженное тепло разливается по всей груди. Земля осталась далеко внизу, и видится ему с вышины весь аул, голубая лента речки, живописно обрамленной тугаем, и одинокий колодец возле кладбища, и перелески возле стана, и стадо, пасущееся вдоль оврага Терен-сай, и дорога, ведущая в соседний аул Коктерек. А Майлыаяк, ставший вдруг маленьким и потешным, точно

мышонок, задрал морду вверх, недоуменно моргает, бессловесно вопрошая:

«Эй! Куда ты? Куда?!»

Жара и хворь сморили мальчика.

Очнулся он ночью. В двухрамное окошко у топчана заглядывала луна. За печкой-голландкой упоенно сипел сверчок. В глухой тишине послышался мальчику всхлип.

— 1st er aber armselig, — шептала мать.

Мальчик прислушался, сразу смекнув, что речь идет о нем.

— Ja, es ist schlimm, — глухо проронил отец.

— Ich habe Angst... Я боюсь...

— Что поделаешь?.. Бронштейн из Марьевки обещал достать рыбий жир. Может, это ему поможет. Иначе... иначе...

— Что, майн Готт?.. Либер Хайланд! Неужели?!

— Будем надеяться... но, боюсь, не жилец он на этом свете...

— Was?.. 1st er den Tode verfallen?!

Мальчик затаил дыхание. Он знал: der Tode — смерть. В груди стало пусто. Будто жизнь вмиг вытекла из нее. Словно он выкашлял последние силы.

Луна нырнула в тучи. Нежилась там, покачивалась, резвилась. Сверчок за печкой умолк. Темень мгновенно сгустилась. И родители у стенки напротив перестали шептаться.

Сон уже не шел. Что? Не жилец? Он умрет? Он обречен? Что это? Как это? Почему? Вся надежда.... Последняя надежда на какой-то рыбий жир? На это тягучее, вонючее лекарство, от которого тошнит при одном его упоминании?

Не жилец.... Значит, не будет жить? Не будет дышать, видеть, слышать? И ничего не будет? Ни солнца, ни неба, ни дома, ни отца-матери? Как такое может быть? Куда все денется? Или все будет, только его не будет? Мудрено! Да, он знает, слышал: люди умирают. На войне вон сколько погибло. И в ауле дедушка Елемес умер. Но ведь от старости. И Шаймурат умер. Но ведь его легкие, сказывают, черви источили. И Шолпанка умерла. Так от сыпного тифа. А он, он, он-то почему должен умереть? Ему ведь только двенадцать!

На рассвете, проваливаясь в мучительную дремоту, мальчик решил: нет, нет, он не сдастся злой хвори, не смирится со своей слабостью, он назло всем, всем, всем встанет и пойдет, пойдет....куда? куда? — ...да хоть до пруда за аулом, а может, в степь за логом или даже до Каменного брода.... — да, да... — возьмет дрын и наперекор всему и всем доковыляет до околицы, на простор, где парят в вышине вольные ястребки, высматривая мышей и сусликов, где в синеве, за облачком, самозабвенно заливается жаворонок, где сигают в пучках серебристого ковыля беззаботные зеленые кузнечики. Там, он надеется, ему будет легко, боль в груди отступит, вернутся силы и проклятый синий кашель перестанет его донимать. И не один он пойдет, не один, а с закадычными дружками, с Аскером, Кёккёзом, Темешем, Сяльтаем. Ну и с Майлыаяком. Пес, хоть и старый, полуслепой, весь в репейниках, облезлый, в беде его не оставит.

С утра было ясно: день занимается солнечный. За окном ровный ветер клонил-раскачивал ветлу. Отец давно отправился в медпункт. Мать возилась в сенцах, разливала только что надоенное молоко по крынкам, чтобы оно отстоялось, а потом можно было деревянной ложкой собирать густые, с золотистым отливом сливки.

На тумбочке, возле его топчана, дожидался завтрак: синяя кружка с парным молоком, круто сваренное куриное яйцо и темно-коричневый квадратик гематогена. Теплое, пахучее свежей травой и чуть-чуть отдающее полынью молоко он выпил почти все, медленно сжевал вязкий, липкий гематоген, а яйцо положил в кармашек курточки: угостит потом при случае своих тамыров.

Он осторожно выбрался из дому, шатаясь, добрел до угла хлева, где в наземе и золе копошились куры, ведомые нахальным красноштанным петухом с дерзкими, черными глазами-пуговками, сделал свое маленькое дело и, жмурясь на солнце, унимая дрожь в коленках, постоял у калитки, озираясь по сторонам.

Безлюдно, выморочно было в ауле. У колодца за дорогой гремела цепью и бадьей непомерно распухшая бабка Балшекер, а возле соседской шошалы грелся на солнцепеке, одним глазом посматривая вокруг, шелудивый Майлыаяк.

«Иә...аманбысың?» — безмолвно спросил пес и чуть-чуть пошевелил хвостом-мочалкой.

«А ты?», — так же без слов поинтересовался мальчик.

«Е-е, Құдайға шүкір... Слава всевышнему, — ответил по-стариковски пес. — Что бог дал, то и хорошо».

Мальчик долго стоял у калитки, держась одной рукой за штакетник, другой растирая больную грудь. Он чувствовал, что слаб, руки словно плети, а голова на тонкой шее все тяжелеет, точно разрастается надувным мячом, уши горят, во рту противная горечь, а по всему телу волнами пробегала знобкая дрожь.

«Не жилец он на этом свете», — послышался ночной вздох отца.

«Ich habe Angst...» — сдавленный всхлип мамы.

Ватага пацанвы на пустыре возле хибары охотника Абильмажина заметила его, помахала руками

— Кар-ри!

— Кел мунда! Иди к нам!

— Ойнаик. Поиграем.

«Дойду — не дойду», — засомневался мальчик, оторвавшись от штакетника. Голова закружилась сильнее и в носу защипало: неужто опять пойдет кровь? Не надо было пить молоко. Всегда так...

Аульные огольцы встретили его ликованием:

— Оу, выздоровел?

— Окреп?

— Маладес!

— Нам что-нибудь прихватил? Кампит-мампит есть? — загалдели вразнобой.

Мальчик достал из кармана крутое яйцо. Все пришли в радостное оживление. Аскер мигом очистил яйцо, разломал на пять-шесть равных долек.

— Мог бы и больше принести, — пробурчал Кёккёз.

Сяльтай, четвертый год просидевший в первом классе, по праву старшего спросил:

— Ну, и дальше что будешь делать?

— Пойдем к пруду, искупаемся.

— Охота в моче бултыхаться! Там одни коровы прохлаждаются.

— Сразу паршой покроешся. Коростой обрастешь.

— Тогда к Тас-откелю.

— Далеко. И течение сильное.

Лида в балку, — решил рассудительный Аскер. — Там, на склоне, земляника поспела. Наедимся от пуза.

— Ия, ия, — возбудились все. — Жидек жейміз.

«Дойду ли?», — мелькнуло в голове мальчика, и сердце его затрепетало от страха и радости.

Пошли. Кто вприпрыжку, кто трусцой, кто оседлав прутик вместо стригунка. Мальчик плелся позади, любуясь озорниками и боясь, что вот-вот рухнет в придорожную траву.

— Эй! Что с тобой?

— Шевелись, Кари!

— Ты что, как пьяный аулнай?

— Уже близко! — подгоняли-подбадривали его дружки-тамыры.

— А вон и Майлыаяк спешит к тебе на подмогу.

Действительно, со стороны аула старческой трусцой, понуро свесив большую, сухую голову, приближался верный Майлыаяк. Вскоре пес догнал мальчика, бросил на него беглый взгляд, слегка подергал хвостом, но проявил деликатность, ни о чем не спросил.

Добрели до южного склона оврага Терен-сай. Ватага мгновенно рассыпалась вдоль склона, припала к траве, раздвинула шершавые, зубчатые листья, под которыми спряталась сочная, краснобокая земляника с розовыми, нежными усиками.

— Смотри, смотри! Море!

— А красная какая! Будто кровь на белых листочках.

— А сладкая — язык проглотишь.

— Эй, осторожней. Не топчи.

— Видишь, целые земляничные гряды.

Вскоре затихли, засопели, зачмокали, дорвавшись до спелой, ядреной, сплошняком усыпавшей крутой склон степной земляники.

Сладкий земляничный дух дурманил голову.

Мальчик опустился на край полянки, начал выбирать из-под листьев тугую, розовую землянику, пожалев, что не прихватил литровую кружку или помятый солдатский котелок. Вот бы был сюрприз для родителей. Земляника со сливками — такое лакомство! Пальчики оближешь!

Он почувствовал облегчение. Противная дрожь в теле утихла. И голова уже не так сильно кружилась. И хрип в груди улегся. Земля была сухая, теплая. Ветерок трепал се-

ребристый ковыль в плоской степи за оврагом. Вдалеке, в зыбучем мареве, смутно темнел аул. Какой же он был маленький, невзрачный, убогий, точно отставший от отары сирота-ягненок. В носу щекотало от удушливого запаха нагревшихся на солнце пожухлых листьев. Во рту стало вязко.

Майлыаяк устроился рядом, уткнулся мордой в траву, то и дело чихал, фыркал, досадуя на неуемную возню муравьев, жучков, паучков в земляничной гряде. Одним глазом он следил за мальчиком, приличия ради раза два слизнул горсть розовых ягод, но вкуса не различил и по обыкновению вывалил язык, тяжело водя тощими боками.

Солнце вскарабкалось к зениту и припекало все заметней. Пацаны наелись земляники всласть.

— Эй, хватит!

— Все не съешь.

— Пузо лопнет.

— Завтра ведь тоже будет день.

— Айда домой!

Ватага мгновенно собралась в круг и направилась к большаку. Надо было пройти длинный лог, выбраться на склон, обогнуть болотистый томар, а там до аула рукой подать. Ну, километра два. Или чуть больше.

«Не дойду...», — понял мальчик, едва встав на ноги. Слабость вновь ударила в коленки. И в животе было нехорошо. Мутило. Кровь тяжело била в уши.

Он весь подобрался, точно ощетинился, сжал кулаки, стиснул зубы, переждал боль в груди и пошел на неверных, непослушных ногах, словно на ходулях. Майлыаяк, волоча хвост, побрел рядом.

Ватага вырвалась вперед, о чем-то шумно, вразнобой заспорила, но мальчик их не слышал, слова долетали будто из-за плотной завесы. Мысли его были заняты одним: лишь бы не упасть, не осрамиться перед тамырами, не стать посмешищем, не прослыть слабаком, доходягой, как-нибудь доковылять до аула, до дома, до топчана, рухнуть на соломенный матрас, да так, чтобы не видели родители, чтобы не расстроились, и отлежаться, забыться... Ни о чем больше он сейчас не думал.

Не мог думать.

Из оврага он благополучно выбрался. И до томара на повороте оставалось совсем немного. Там можно присесть на кочку, прилечь на осоке, передохнуть, унять дыхание, собраться с силами. Да, да, лишь бы дотянуть до болота. Оттуда и до аула на худой конец можно докричаться. А, может, на счастье, проедет на своей раздрызганной арбе аульный поштабай и позволит пристроиться на задке.

На взгорке страх пронзил его: «Нет, не дойду... Упаду и больше не встану».

Ног он не чувствовал. Грудь окаменела. Сердце подкатывалось к горлу. Пальцы похолодели. Мелкая дрожь колотила все тело. На лбу выступила холодная испарина.

«Не жилец на белом свете...» «Либер Хайланд... Либер Хайланд» — доносилось привычное причитание мамы.

Больше ничего на ум не приходило. Аскер, друг закадычный, как-то сказал:

«Когда человек умирает, душа его подкатывается к кончику носа».

«Душа — это что?» — спросил он тогда у Аскера.

Аскер погладил бритую голову, поковырял в носу.

«Душа — это божье дыхание. Дыхание обрывается — душа отлетает».

«Как отлетает?»

«Ну, растворяется в воздухе».

«А как это заметишь?»

«Говорят, кончик носа холодеет. Как у собаки, — объяснил всезнайка Аскер. — Нос похолодел, ты околел. Душа отлетела — ты умер».

«И все?»

«И все», — уверенно подытожил Аскер.

Мальчик хотел пощупать свой нос, но не было сил поднять руку.

Ему почудилось, что он не идет, а как будто скользит в вязких струях воздуха. Все вокруг колыхалось. И звуки все исчезли. Словно окутали его в тяжеленный тулуп, под которым мальчик задыхался.

На краю болота, на повороте к проселочной дороге, он споткнулся и упал. Майлыаяк вздохнул и улегся рядом.

— Эй, эй! — послышалось впереди. — Не болды?

— Вставай! Тұр!

— Видишь, уже пришли.

— Вон твой дом!

Тамыры мигом обступили его. Все всполошились.

— Встань, Кари!

Мальчик виновато прошептал:

— Әлім жоқ... сил нет...

Его подхватили под мышки с двух сторон, но ноги подкашивались, а голова клонилась набок, точно шляпа подсолнуха. Сознание мутилось. Он плохо соображал, что хотели от него тамыры.

— Ладно, — решил, наконец, Темеш. — Полежи. А мы мигом сбегаем за твоим коке.

— Не бойся. Тут рядом, — подтвердили остальные.

Страшная догадка пронзила его. Вот и все. Вот и все. Сейчас душа покинет его. Он отчетливо видел себя, бездыханно скрючившегося на обочине дороги. Он дотянулся рукой до кончика носа. Холодными были пальцы, а нос — теплый. «Значит, душа еще в теле, не подкатилась к кончику носа», — обрадованно подумал он.

Майлыаяк по-прежнему лежал рядом.

Мальчик не помнил, сколько пролежал на краю болота. Услышал вдруг голос отца:

— Harri, Harri... was ist los?!

И тут же почувствовал, как очутился в родных, надежных объятиях.

Такого живописного шествия никто в ауле не видел. По открытой на все стороны проселочной дороге шагисто шел, развевая подолом белого халата, рослый местный фельдшер и нес на руках обмякшего, вконец обессилевшего мальца. За ним, еле поспевая, возбужденно семенила ватага аульных, голоногих сорванцов, одетых в лохмотья, кто во что горазд. А замыкал шествие старый, мудрый пес Майлыаяк.

Отец подавленно молчал, хлопал белесыми ресницами, судорожно вел кадыком на жилистой, тощей шее.

— Ну, зачем ты пошел, не спросясь? — без укора поинтересовался он у сына.

Мальчик всхлипнул, дрожащим голосом пролепетал:

— Ты... ты... сказал... не жилец я, сказал...

— Что-о?! Когда?

Отец заморгал сильнее, губы его задрожали.

— Ночью... Я слышал... я слышал...

— Ах, глупыш мой... — проронил отец и сильнее прижал к груди сына. — Глупыш... Ты ведь у меня единственный...

У колодца застыла ни живая ни мертвая мать. Потом побежала навстречу, бормоча:

— Ach, Непје! Ах, либер Хайланд!

— Ничего, ничего, — успокоил ее отец. — Alles 1st vorbei.

Мальчика уложили на топчан, укрыли. Отец дал понюхать нашатырь. От жалости к себе и к растерянным родителям ему хотелось заплакать. Но и слез не было.

— Я... не умру? — прошептал.

— Что-о?... О чем ты говоришь, милый?! -Никогда так ласково отец не говорил. — Будешь... будешь жить назло всем чертям!

Мать прослезилась.

— Есть хочешь?

— Нет ... нет. Спать ... спать...

Наутро он очнулся от радостного возгласа отца:

— Смотри, смотри, Гарри!

В низком оконце возле топчана показалась морда Майлыаяка. Пес, упершись передними лапами о раму, немигающе смотрел на своего друга старческими, преданными глазами. На обмякших его ушах, точно серьги, висели две репейные колючки.

«Ну, как?» — спросил Майлыаяк. — Живой? Оклемался?»

«А ты?»

«Е-е, что со мной сделается? Шүкір, айналайн».

Мальчик улыбнулся. И дотронулся рукой до кончика своего носа. Ему почудилось, что все плохое миновало, что он преодолел затянувшуюся хворь, все напасти, себя самого. И, видно ему предопределено жить, коли душа еще не подкатилась к носу...

...Стояло лето второго послевоенного года. А я помню тот день во всех подробностях и поныне. И кажется, именно тот случай, тот поход на земляничную поляну странным образом определил мою судьбу.

28-30 мая 2005 г.

АЛМАТЫ – ЛЮБОВЬ МОЯ, ЖИЗНЬ МОЯ...

Над городом месяц гуляет,
Вся в зелени Алма-Ата.
И над Алатау сияет
По-южному ярко звезда.
Фридрих Больгер

О любви еще скажу чуть позже, а что касается жизни, резонно сразу же объясниться.

Ныне я неотвратимо приближаюсь к 70-летнему рубежу своей жизни, и ровно 50 лет (полвека) я живу и работаю в Алматы. Когда знойным летом 1954 года я, воспитанник аула на берегу Есиля, впервые очутился в земном раю у подножия белоголового Алатау, Алма-Ате исполнялось ровно сто лет. С того счастливого мгновения моей жизни -представить только — минуло полстолетия, вобравшее суть и смысл моего личного бытия.

Вот и праздную я нынче вместе с родным городом свой юбилей.

Первое свидание с Алма-Атой врезалось в душу на всю жизнь. О ней, зеленой красавице юга, мы, северяне, мечтали еще в старших классах, восторженно внимали упоительным рассказам земляков, которым судьба даровала счастье жить и учиться в воспетом поэтами столичном городе, грезили о диковинных горных садах, пестрых и шумных базарах, уютных парках, прямых, как стрела, улицах, окаймленных пирамидальными тополями и тенистыми карагачами, огромных, с голову ребенка, пахучих апортах, о прославленных писателях, поэтах, артистах, с которыми, уверяли нас, запросто можно встречаться.

«Апырай! — думалось нам, аульным грамотеям. -Посмотреть бы на это диво хотя бы одним глазом!»

И вот я, аульный наивный юнец без паспорта, без разрешения комендатуры (немец-спецпереселенец!) с тощей, обтерханной сумкой на плече, сомлевший от долгой, трехсуточной тряски, вышел на залитую ослепительным

солнцем площадь железнодорожного вокзала «Алма-Ата II» и застыл, опешил в изумлении. Вокруг простирался сказочный мир. Все внове. Все непривычно. В Северном Казахстане, где я рос с семилетнего возраста, степной тугой воздух врывался в легкие с напором, ширя грудь, а здесь он, мягкий истомленный, перемешанный с ароматом цветов, слоисто струился, обволакивал тебя и его надо было пить, заглатывать, затягивать в себя с усилием. Там взгляд устремлялся в безбрежную даль, от горизонта до горизонта, и не было никаких преград, кроме редких березовых колков и зеленой ленты тугая вдоль Есиля-реки, а здесь взгляд твой сразу упирался в неприступные величественные горы, которые явно мешали взору степняка, и их хотелось непроизвольно отодвинуть, отстранить. Там солнце всегда как бы окутано хмарью, подернуто белесой дымкой, приглушено, притенено, а здесь сияет во всю мощь с высоты нестерпимо голубого, точно тщательно промытого накануне летним ливнем неба. И запахи вокруг струятся иные, бойко звенит трамвай, у ларьков толпится разношерстный люд, слух улавливает разноплеменную речь и монотонное журчание воды. Лишь через день-другой убедился, что то журчали-бормотали неведомые мне доселе арыки, чистые и ухоженные, навевая прохладу, покой и утешение.

Алма-Ата очаровала меня с первого взгляда, с первого легкого дуновения заблудившегося ветерка, сразу и бесповоротно. Какая же она была юная, чистая, уютная, опрятная! О да... тот полувековой давности утопающий в зелени, окаймленный кудрявистыми прилавками гор очаровательно милый город совсем-совсем не был похож на нынешний грохочущий, задымленный, мутным смогом затянутый, не в меру разросшийся мегаполис.

«Елу жылда ел жаңа» — гласит казахская мудрость. В пятьдесят лет обновляется земля. Это так. И я тому свидетель. Все-все изменилось. Да что там земля! Горы, кажется, осели. И солнце потускнело. И небо лишилось первозданной сини. Реки иссохли. Моря обмелели. Почва истощилась. И люди не те. От этой Алма-Аты, города моей юности, мало что уцелело. Даже столь привычное, звонкое ее имя (Алма-Ата) по-русски ныне звучит глухо, непривычно. Чарующая женственность ее обрела бесполость. С высоты своих лет глядя на эти разительные перемены, я при всей

своей писательской фантазии не могу себе представить, каким станет мой любимый город еще через полстолетия. Он будет, конечно, другим. Совсем другим. Абсолютно неузнаваемым. Но каким — Аллах весть. Боюсь, доморощенные нувориши к тому времени снесут Алатау и воздвигнут на его месте помпезные дворцы с казино и ночными барами. А луну приспособят для автостоянок. Время все убыстряется, прогресс ошеломляет, а человеческие корысть и жадность не знают предела.

А тогда... в мои юношеские годы все воспринималось поэтически радужно. КазПИ им. Абая и КазГУ им. Кирова в те года располагались еще в бывших верненских женской и мужской гимназиях по улице Советской напротив парка им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев (старожилы, случалось, говорили еще по привычке парк Федерации). В парке успешно функционировал открытый лекторий, давались изо дня в день концерты, читались лекции, в одном углу проводил соревнования шахматный клуб, в другом — располагалась танцевальная площадка. По елям резвились беспечные, юркие белки. В импозантном соборе находился тогда Центральный музей. По несколько раз на дню лился по всей округе будоражащий и ласкающий слух печальный и гордый полонез Огинского, в уютной одноэтажной филармонии вдохновенно рассказывал о музыке, просвещая простой люд, молодой Кельберг. В Оперном театре еще пела легендарная Куляш, и мы, аульные бала, одетые по бедности как попало, считали своим долгом непременно послушать «Кыз Жибек». Студенты с энтузиазмом деньденьской пропадали в «чеховке» и «пушкинке», жаждали встреч с Ауэзовым, Мукановым, Мусреповым, Жароковым, вечерами в тесном общежитии делились впечатлениями, не пропускали ни одной премьеры в театрах, знали поименно всех артистов, ученых, спортсменов, жадно впитывали в себя городскую культуру, тянулись к знаниям. Конечно, в карманах гулял ветер, одевались кто во что горазд, питались плохо, но обходились как-то в подавляющем большинстве одной стипендией. У меня сохранилась записная книжка, в которую я, неизменный «кассир» комнаты, аккуратно заносил цены на самые необходимые продукты для нашего «колхоза» — картофель, мясо, соль, лук, макароны, хлеб, яблоки, сахар, и нетрудно подсчитать: то, что мы покупали тогда за 200 рублей, ныне вряд ли обре-

стоил 20 тысяч тенге. Такова разница в ценах. Баранина в магазинах стоила рубль семнадцать копеек за килограмм. Тогдашний один рубль весил значительно больше нынешнего 100 тенге. Газеты стоили одна — две копейки; за десять рублей можно было приобрести многотомное сочинение классика. Билет в кино стоил двадцать копеек. Яблоки на Зеленом базаре никто в килограммах не продавал, а только ведрами, корзинами, мешками или даже возами.

И Алма-Ата была тогда очень компактна: на юге она обрывалась на уровне Арычной (ныне проспект Абая), на севере — Ташкентской (ныне проспект Раимбека), на востоке — парком им. Горького, к западу тянулись «линии» — Тринадцатая, Пятнадцатая, Семнадцатая, Девятнадцатая, Двадцать первая (ныне они все проспекты, именные улицы). Тастак, казачья станица, Алма-Ата I, «шанхай» — считались «далекой окраиной». Нынешний проспект Достык был сплошь застроен купеческими домами с затейливыми крылечками, и казались тогда внушительными, прочными. И все утопало в садах, убогие домики скрывались за пышной, буйной зеленью. Нынешний Алматы трудно называть городом-садом.

Можно ностальгировать, но невозможно не считаться с реальностью. Иное время, иные масштабы, иные запросы, иные мотивы и песни. За 50 лет население города наверняка выросло в шесть-семь раз. А о масштабах и темпах градостроительства и вовсе говорить нечего...

Похорошел ли Алматы? Бесспорно. Стал город величественней, современней, богаче, представительней, внушительней по всем экономическим, культурным, политическим параметрам. И хотя лишился статуса столицы, не оказался брошенной женой, не потерял былой славы, значимости и перспективы. Особенно в последние годы, с обретением республикой независимости, Алматы стало не узнать. Стихийный строительный бум коренным образом изменил его облик. Иногда кажется, что город охватил бесшабашный купеческий разгул, и на него обрушился явный избыток казино, ночных клубов, ресторанов, сомнительных оздоровительных центров, заправочных станций, непонятных комплексов, чужеродных предприятий и фирм, загадочных организаций и офисов и прочей показушной мишуры, замешанной на ненасытности, вожделении, мздоимстве и корысти. Душа человека, чудится мне, замет-

но растерялась, заметалась, поблекла и осиротела в этих джунглях цивилизации, оглушена наглым и бесцеремонным треском, грохотом заемных новшеств, жлобством и вымогательством самодовольных нуворишей-горлопанов, ошалевших от скорой и неправедной наживы, от допинга-дурмана. Духовность и нравственность сильно пошатнулись под натиском долларопоклонников. Но, видно, с этим придется мириться, необходимо потерпеть, переждать, пока уляжется и утишится содомо-гоморровый шабаш... Он, полагаю, вечно длиться не может.

Одно очевидно: властям все труднее и сложнее управлять мегаполисом. Он сейчас все более похож на дикого, норовистого мустанга, наметом мчащегося по вольной степи. Очевидно и то, что, хлынувший из всех захолустьев Казахстана, в более благополучный и ухоженный оазис, разнородный люд наравне с авантюристами и рыцарями удачи не испытывают сыновней любви к городу. Не стал он им родным и желанным, а лишь объектом наживы или временным пристанищем. Отсюда и равнодушное, безалаберное, потребительское отношение. Отсюда и загрязненность, запущенность всей ауры города, небрежение, тесень, бестолковость, рвачество, что хочу, то и ворочу, беспорядочная продажа всего и вся, скопище «элитных домов», насильно втискиваемых в каждую щель и без того перегруженного центра, беспредел зарвавшихся КСК, нерадивых дворников и многое-многое другое, что коренных горожан отнюдь не радует.

И все же, все же.... Алматы — дивный уголок земли, жемчужина независимого государства, отрада и гордость казахстанцев, город, обласканный и облагороженный теплом и любовью миллионов сердец многих поколений и народов. Таков он, город моей любви, моей жизни. На своем веку мне доводилось побывать в разных странах и городах, но что жить могу только здесь, осознал давно...

2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

С.В. Ананьева. Романное творчество Г.Бельгера 5

РОМАН

Туюк су 13

РАССКАЗЫ

НА ОТМЕЛИ 235
МАРИНА, ПУПСИК И Я 257
БЫЛА ВЕСНА 265
ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК 276
АУЛ 292
РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ 311
18 августа 2007 года 311
«Отныне вот твоё занятие» 315
Зарядка 317
«Эй, недобитый фриц, дай спирт!» 320
Выборы 323
Отец косил сено 328
Ночь в степи 333
Котлован 339
Колодец 342
Оркестр 345
ОТЦОВСКАЯ ТЕТРАДЬ 349
Дедушка Фридрих 350
«Умер по дороге домой» 351
Роза 353
Между жизнью и смертью 354
Вальс «Мой старый друг» 356
Отец любил животных 359
ПЕПЕЛИЩЕ 363
МОЙ ЗЕМЛЯК ИЗ КАРАКАСА 380
ЗЕМЛЯНИКА СТЕПНАЯ 385
АЛМАТЫ — ЛЮБОВЬ МОЯ, ЖИЗНЬ МОЯ 395

Герольд Бельгер

Избранные сочинения в десяти томах

ТУЮК СУ
Том четвертый

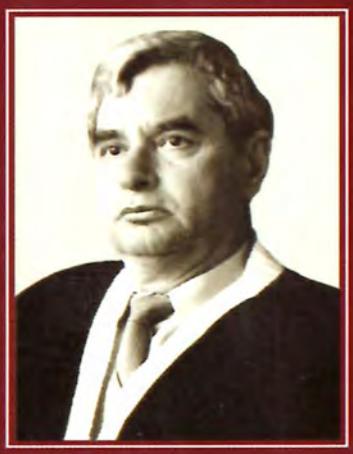
Художественное оформление обложки — Ян Логинов.
Директор издательства — Ш.Байкенова.
Редактор — Г.Кудайбергенова. Дизайнер — К.Кенебаев.

ИБ № 138

Сдано в набор 14.06.2010 г. Подписано в печать 28.07.2010 г.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Объем — 25,0 п.л. Тираж 2000. Заказ № 189

Издательство «Балалар әдебиеті»,
050009. г. Алматы, проспект Абая, 143. тел/факс: 8 (727) 394-37-64

Отпечатано в типографии ТОО «Полиграфсервис»,
050005, г. Алматы, ул. Зеленая, 13 «А», тел.факс: 8(727) 233-32-53



Герольд Карлович Бельгер (1934) – казахстанский прозаик, переводчик, публицист, эссеист, литературный критик, литературовед, исследователь литературы российских немцев.

Рос в казахском ауле на берегу Есиля, окончил казахскую школу. Лауреат премии Союза писателей Казахстана им. Беимбета Майлина (1988), заслуженный работник культуры Казахстана (1987), лауреат Президентской премии мира и духовного согласия (1992), лауреат Казахского ПЕН-клуба (1996), лауреат Независимой премии «Тарлан» (2002), лауреат высшей журналистской премии «Алтын Самрук» («Золотой Грифон») – 2007 и др. Автор 50 книг и 1800 публикаций на русском, казахском, немецком языках.

Награжден орденами «Парасат» (1994), «За заслуги перед Германией» (2010) и медалями.

ISBN 978-601-252-033-0